

*Другу моему,  
Леониду Леонтьевичу Ласкавому,  
посвящаю...*

**Владимир Рунов**

---

**Страна  
отношений**

---

**Записки  
неугомонного**

---

ООО «Книга»  
2012

УДК 882  
ББК 84 (2Рос=Рус)6  
Р 86

Р 86 Рунов В.В.

Страна отношений. Записки неугомонного/ В.В. Рунов. под  
ред. А.В. Зоркиной. – Краснодар, 2012. – 512 с.

*Книга известного кубанского писателя Владимира Рунова довольно трудно поддается жанровой классификации. Писатель, как и в других своих произведениях, ведет нас по жизни – своей и общества, в котором живет. Жизни прошлой, настоящей и будущей, и, как опытный собеседник, продолжает разговор чрезвычайно интересный, увлекательный, доверительный и, к тому же, на литературном языке самой высокой пробы.*

УДК 882  
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-905568-07-7

© В.В. Рунов  
© ООО «Книга»

ООО «Книга»  
Краснодар  
2012

## Слово издателя

Первая книга Владимира Рунова «Беседы у догорающего камина» сразу стала событием. Главы из неё печатались в газете «Кубанские новости». И первые же номера с отрывками романа вызвали огромный интерес. Их передавали друг другу, копировали, изумляясь легкости, изяществу стиля, открывая для себя удивительные, интереснейшие факты недавнего и далекого прошлого, характеры известных и не очень людей, живших или живущих, известных или забытых непамятливыми потомками. Приняли «Беседы у догорающего камина» с восторгом. Вот что написал о первом романе В. Рунова главный редактор журнала «Молодая гвардия» Александр Кротов:

«Рождение писателя яркого и самобытного – всегда загадка. Она связана с удивительной и неизбывной человеческой потребностью своего внутреннего преображения и с той особенной духовной работой (не видимой нашему взору), что тем не менее – при наличии дарования дерзнувшего – связывает его внутренний мир и внешний мир в строгую гармонию. Талантливых книг, разумеется, меньше, чем серых и посредственных. Бездарность – это отсутствие дара. Дар – способность соединить несколько миров в один, при этом не разрушив и не поглотив ни одного. В книге Владимира Рунова эта поразительная особенность таланта ведет его своей путеводной звездой и по нынешней жизни, и по той, что ушла уже навеки от нас, и от живших ранее поколений, оставив в едином земном пространстве, словно в чистых и безоблачных небесах, неизгладимый инверсионный след перешедших в иные миры. Тех, кто жил и живет в России. О них и пишет Владимир Рунов пером тонкого, вдохновенного и изящного беллетриста».

Так десять лет назад прекрасный русский литератор Александр Кротов оценил писательский дебют известного кубанского журналиста. Такая оценка была не только лестной, но и многообещающей. Кротов не ошибся. Но, думаю, даже известный, талантливый литератор не представлял, каким событием в будущем станет каждая новая книга Владимира Рунова.

Он из числа тех удивительных прозаиков, чей дар погружает читателя в повествование с первых страниц в мир настоящей ли-

тературы, «мир тонкого, вдохновенного и изящного беллетриста», что и определяет долгую жизнь его книг. Для нашего «не поэтического и не литературного» времени такой устойчивый, искренний, заинтересованный интерес читателя исключительный, и, если хотите, уникальный.

Книги Владимира Рунова не встречают, к сожалению, официальных оценок, газетные полосы не пестрят рецензиями, интервью писателя, сообщениями о премиях, наградах. Это местная «традиция», заложенная давным-давно самой писательской организацией, члены которой не умели, да и не хотели радоваться успеху друг друга. Но читатель его книги уже хорошо знает, и главное, что тоже случается не часто, читает, любит, восхищается эрудицией автора, глубиной оценок и анализа событий нашего непростого прошлого и ещё более сложного настоящего. И изяществом стиля, резко выделяя его из числа современных литераторов, упрощающих язык до уровня телеграфных сообщений. Сам же Рунов этого традиционного замалчивания, характерного для провинциальной «общественности» словно и не замечает. Он работает, продолжает писать. С его оценками – событий ли, характеров героев, чьи имена на слуху у кубанцев, – можно порой не соглашаться. Но они выписаны так ярко, точно, образно, что хочется продолжить разговор с автором и после прочтения книги. Мир его героев не отпускает. А это и есть литература.

Наше издательство гордится тем, что из шести книг Владимира Рунова издание трёх последних – «Особняк на Соборной», «Времена между причиной и следствием», «Страна отношений. Записки неугомонного» – было доверено нам. И отношение к ним читателей нам известно доподлинно. Спустя годы после выхода в свет, скажем, «Особняка на Соборной» нам звонят почитатели его таланта из разных городов страны: «Как давно не читали ничего подобного!» Два года спустя после выхода в свет книгу спрашивают, ищут, просят переиздать. Не это ли высшая оценка? Надеемся, что и у новой книги Владимира будет такая же счастливая читательская судьба.

**Татьяна Василевская,**  
генеральный директор ООО «Книга»  
заслуженный журналист Кубани

## Глава 1

### ПАРЕНЬ В КЕПКЕ И ЗУБ ЗОЛОТОЙ

*Пуškai твоя суровая десница  
Убийцу справедливости найдет,  
Пригретого тираном, что даёт  
Отраве по земле распространиться...*

*Данте Алигьери*

Утро началось с сенсации – в отставку отправлен непотопляемый московский мэр, причём с формулировкой крайней неопределенности: «За утрату доверия»!

Вот так, взяли за шиворот и публично вывели вон. Че хошь, то и думай: не то в «общак» залез, не то украл да не поделился? «А что вы хотите, времена настали серьезные!» – враз скисли вечные резонеры.

И то верно, иные размышления ныне мозги и не посещают, тем более – накануне по телевизору многообещающе «молотили» супругу градоначальника, мужеподобную даму с властной усмешкой поперёк самоуверенного лица.

Мэр жену защищал и причиной гармоничности семейного уюта назвал талант супруги к успешному предпринимательству, которому он якобы только мешал. Конечно, а как без таланта преодолеть путь, особенно в московских буреломах, широко и вольно прошагать от фрезеровщицы с фабричной окраины до алмазной звезды из первой сотни списка «Форбса» и при этом не по-

пасть под молотки всяких там солнцевско-гальяновских, тамбовско-курганских и уж тем паче питерских группировок, а проще говоря, бандитов хуже некуда. Хотя талант к удачному замужеству – вещь тоже редкая...

## Единство противоположного

Современный московский «Великокнязь Юрий» слыл не только долгоруким, но и многопалым: он и швец, и жнец, и на дуде игрец. А особенно ярко и убедительно он выглядел в экстремальных ситуациях, когда что-то ослепительно горело, громко взрывалось, глубоко тонуло, сильно мерзло или мерзко пахло. По зову того же телевизора страна кидалась к экранам и ждала, когда на месте беды в водовороте свитских кепок появится та единственная, что озабоченно натянута на переносицу.

Тогда – камень с души, ибо все знали, что именно под ней, под главной кепкой страны, скрывается голова, которая лучше всех знает, что делать, куда бежать, что нести, а главное, что при этом обещать, уверенно, убедительно, горячо и громко, с размахом широкого русского благодетеля. Вот это Юрий Михайлович Лужков умел делать великолепно, вселяя в простодушные сердца и мечущиеся души веру, что уж после данного безобразия со всеми прочими безобразиями, сотрясающими столицу, будет покончено раз и навсегда. Что важно, верили! Ведь не поверить Юрию Михайловичу невозможно, потому как все знали – если в эпицентре события появился Лужков, то побегут хромые и возликуют убогие.

А как в «красные дни» Москва гуляла! Боже ты мой! Тогда кепка на затылке, вместо лица масляный блин, сапоги всмятку, расписная петухами рубаха нараспашку, аэрометла в небесах, а у микрофонов на Тверской рядом неутомимый Иосиф, и в два горла аж до Рогожской заставы оглушающе грохочут: «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской...»

Что и говорить, гулять могли, а главное – умели, раскручивая ликование к исходу дня, когда «...небо над столицей озарилось грандиозным салютом». Так падкая на «халяву» (а Юрий Михайлович в праздничных случаях был особенно щедр) пресса сооб-

щала серым от зависти россиянам о завершении воистину грандиозного народного гуляния в честь очередного Дня города, который возглавляет лучший мэр всех времен, а может даже и народов.

– Москвичи! – раскинув руки, взывала «голова» с высокого крыльца, и толпа, изрядно выпившая, осыпаемая огненным смерчем, отвечала восторженным ревом.

Однако и «грандиозно» – слабо сказано! Лужковские салюты давно достигли уровня бразильских карнавалов, где на эти цели списывают четверть национального бюджета. Но там хоть восьмимесячной холодрыги и суточных снегопадов нет, у нас же чем глубже кризис, тем громче радость – режь последний огурец! «Золотая жила» фейерверков да ещё, пожалуй, воздушных шаров-шариков ныне успешно разрабатывается повсеместно, от торжеств в честь юбилея главбуха жилищной конторы до миллионного «зайца», пойманного в электричке.

Однажды я соблазнился и перед Новым годом купил здоровенный китайский ящик с обещанием сюрпризов незабываемого восторга. Пожилой армянин, торговавший за базарной оградой паленой пиротехникой, уважительно помог загрузить неподъемный короб и сказал:

– Маладэц! Парадуэш сэмью!

За пять минут до боя курантов семья и гости столпились на дачном пустыре, с трудом сдерживая выпирающие из шампанского взведенные «на боевой» пробки. Из-за забора ночное небо уже громили нетерпеливые соседи. С последним ударом кремлевских часов ахнули и мы, да так, что всё враз обвалью стихло, и только хриплый бас откуда-то из кромешной тьмы подал признаки осознания происшедшего:

– Ни х... себе!

Собаки, поодиночке и озираясь, вернулись только через неделю, а кошек мы вообще больше не видели...

Скандалная сенсация с Лужковым взбудоражила до иступленного состояния отечественных политехнологов, наших неударжимых говорунов, советчиков на все случаи жизни. Вышколенная пресса, дружно включив заднюю передачу, массивно громила вчерашнего кумира с разоблачительными формулировками больше-

вистских парткомиссий. Снова нестерпимо запахло классовой ненавистью бедных к богатым.

Соратники, чтоб не превратиться в соучастников, а то, не дай Бог, и в подельников, притихли и, попрытав «мигалки», приготовились нырять в «метро». Самый главный из них, чем-то похожий на сонного гиппопотама (всегда рядом и тоже в кепке, правда, чуть сзади, но не далее, как на расстоянии козырька), получив вдруг на минуту в шеврон «ИО», враз начальственно набылчился и, чтобы не повторять ошибок шепетовского парикмахера Шлемы Зельцера (Что да Как?), кинулся с кувалдой на медного Петра, любимца отставного мэра, вспомнив по случаю, что уже стаскивал однажды с пьедестала Дзержинского, за что и был вознагражден доверием.

Петровский монумент, возвышаясь над старинной шоколадной фабрикой и сильно смахивая на пожарную каланчу с брандмейстером на крыше, раздражал горожан, особенно московскую творческую интеллигенцию (впрочем, недовольную всегда и всем), однако сделал личную судьбу придворного скульптора воистину шоколадной.

Будучи при большой силе, Юрий Михайлович на всех возразителей плевал с той самой «колокольни», поскольку с подачи «гиппопотама» благоволил опасно плодovitому ваятелю, позволив даже победительного Георгия Победоносца на Поклонной горе обусть в грузинские чувяки. Зато «верный» Зураб, тот самый ваятель, как только услышал об отставке мэра, да ещё со столь опасной мотивировкой, тут же открестился.

– Да я с ним лет пять как не общаюсь! – не моргнув, уверяет скульптурный гений в услужливо подставленные микрофоны. – Впрочем, и до этого мы были так, знаете ли, шапочно... Здравствуй-прощай, как делишки? Вот и все...

Поверьте, я вовсе не собираюсь анализировать деятельность Лужкова на посту московского градоначальника, тем более ни в коей мере не осведомлен о ее закулисной стороне, которая, как я полагаю, по законам нынешних «рыночных» жанров была не менее насыщенной. Зато внешняя, безусловно, много энергичнее, продуктивнее, а главное – компетентнее, чем у его предшественника, вознесенного в розовые облака отечественной смутой начала девяностых годов.

Лютые идейные демагоги, вышедшие из пыльного вузовского захолустья и путавшие канализацию с колонизацией, в ту пору смело пересаживались в руководящие кресла, умея из конкретно-конструктивных действий только нажимать кнопки унитазов. Поэтому появление Лужкова, знавшего, как заготавливать капусту, где на зиму взять картошку, как подметать улицы и куда перемещать, pardon, фекальные массы, ежесуточно производимые гигантским мегаполисом, было воспринято как приход, по меньшей мере, спасителя.

Похоже, что у нас во всех случаях очередного крушения политической формации об этих проблемах человеческого бытия вспоминают немногие, а уж как и что делать, знают вообще единицы (кстати, в любую эпоху). Лужков был из тех, кто знал, и знал не плохо, а потому мог всегда убедительно объяснить:

– Только тогда, когда лопается оставленная без присмотра городская канализация, особенно в зимнее ненастье, только тогда вы в полной мере сможете осознать, какая же она большая, наша с вами столица!

И действительно, единственное, что объединяет всех нас без исключения, – это канализационная труба: бедных и богатых, умных и дурных, красивых и уродливых, правых и виноватых, медиков и больных, прокуроров и подследственных, трудолюбивых и ленивых, народных и антинародных, героев и трусов, бомжей и домоседов, глухих, слепых и прочее, прочее, прочее.

Даже Абрамович, склонный, как известно, к роскошному эксклюзиву, вряд ли додумается потянуть под себя отдельную трубу с серебряным напылением. Хотя, после моей подсказки, почему бы и нет? Я слышал, что некоторые олигархи, переживая за продолжительность сладкой жизни, все свои выделения, как старый Брежнев, прямиком отправляют под пломбой в секретные лаборатории для исследований – что и как? И правильно, поскольку не столь важно качество унитаза, будь он трижды золотой, сколько то, чем на него надо садиться.

Но это так, необходимое отступление от магистрального сюжета. А сюжет в том, что в роли вновь назначенного мэра Юрий Михайлович, в прошлом способный, но мало известный производитель с большим трудовым опытом, повел себя показательно

твёрдо, то есть энергично и решительно, без всякой дискуссионной демагогии стойко отбивая наскоки народных избранников, пытавшихся во главе с тогдашним Главизбранником Русланом Имрановичем Хасбулатовым тянуть всех к ответу, обеспечивая при этом лично себе право на полную безответственность.

Дело в том, что человек во все времена ведет себя так, как ему позволяют, а Борис Николаевич Ельцин, провозгласив достаточно разнузданные «демократические ценности», позволил многим и многое из того, что позволять было ни в коем случае нельзя. Его громогласный рык: «Берите суверенитету, сколько унесете!» – воспринялся как разрешение горластому невежеству, наделенному депутатскими полномочиями, шумно вторгаться в любую сферу, даже не имея о ней никакого представления.

Поэтому в грядущую зиму страна (Москва – прежде всего) вступала в состоянии полного хозяйственного развала. Когда дело дошло до того, что от гостиницы «Россия» (где квартировал депутатский корпус) и до Спасской башни некому было расчистить заснеженные дорожки, и депутаты, чертыхаясь и матерясь, сами तोпили тропу в Кремль сквозь метровые сугробы, решено было Лужкова от должности, выражаясь современно, отрешить.

Я тогда репортерствовал из Кремлевского дворца в интересах кубанского радио и хорошо помню, как для объяснений на трибуну потребовали мэра. Он неторопливо прошёл через зал, поднялся к микрофону и со спокойной уверенностью (что по тем временам случай для чиновника, даже такого уровня, редчайший, если не единственный) сказал, четко подчеркивая основную мысль:

– Меня на эту должность избрали москвичи, и не вам, господа товарищи, меня снимать! – а затем с не меньшим достоинством, поскрипывая английскими ботинками, удалился прочь.

Зал возмущенно взвыл, но Борис Николаевич, скульптурно украшавший главное место в президиуме съезда, только криво ухмыльнулся. Он уже состоял в перманентном противостоянии с депутатами и использовал любую возможность, чтобы выразить им свое истинное «фе».

Юрий Михайлович, как я понимаю, в те времена находился с Президентом в прекрасных отношениях и поэтому на своих про-

тивников мог с уверенностью плевать в любую сторону и с любого расстояния, что и делал, наживая как врагов, так и друзей.

А вот Руслан Имранович как-то умудрился эти отношения испортить, и когда испорченность достигла чрезвычайно опасного противостояния, то на роль «оппонента» Ельцин пригласил уже не Лужкова, а танковый взвод из Таманской гвардейской дивизии, и тот с короткой дистанции «плюнул» так, что Белый дом, где укрылись упрямцы-депутаты, враз превратился в угольные руины.

Вот на этой убедительной ноте и завершился первый этап современного российского парламентаризма, когда казалось, что Хасбулатов станет писать музыку, а Ельцин под неё танцевать, как потом на глазах у всего света плясал под звуки бундесверовского оркестра. Словом, как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин:

– Хотели как лучше, а получилось как всегда!

Ну а дальше, действительно, как всегда – дальняя дорога, казенный дом, камера строгого режима, куда доведенный до белого каления Борис Николаевич железным посылом отправил вчерашних соратников, с которыми, между прочим, собирался строить новую Россию.

А вот Юрий Михайлович в том случае тоже правильно сориентировался и ещё раз показал свою разумность, нужность и готовность сотрудничать с Президентом в любых ситуациях. В итоге милостиво был приближен на расстояние закрытого теннисного клуба и дружеского застолья с обильной выпивкой, что расценивалось как знак доверия особого качества. И было за что!

Это он, Лужков, в короткие сроки сумел навести в Москве порядок, в смысле ликвидации следов октябрьского смертоубийства возле Дома правительства, успокоить население убедительностью личного общения с рядовыми гражданами, раздачей подарков пострадавшим и выражением им искреннего соболезнования. И это Юрий Михайлович тоже научился делать замечательно! Пожалуй, на том этапе это был самый удачный ельцинский кадровый выбор.

В его команде, по большей части состоящей из откровенных демагогов, мошенников, дилетантов, врунов, неумех и пьяниц, мэр столицы оказался самым конструктивным и полезным для об-



щества человеком. В ту зиму он не только справился с метровыми снегами, но и сумел вывести Москву из ужасающего экономического состояния.

Он работал как вол, смело брал на себя любую ответственность, выглядел в своем непритязательном кепи подчеркнуто земным простолюдином, а главное – результативным организатором, что на фоне тогдашней приватизационной растащивки и алчного аферизма создало ему покровительство Президента и симпатии москвичей.

Хотя, я думаю, та лужковская дерзость, что взбудоражила депутатов, кому надо, все-таки запомнилась. Может быть, не столько сама дерзость, сколько способность к ней. Эти вещи в обстановке всеобщей захребетности хорошо откладываются в пульсирующей подкорке, особенно у тех, кто, прищурив очи, привык отслеживать поведение близкого окружения, тайно оценивая предрасположенность к коварству и двурушничеству, подозревая в этом, как правило, совсем не тех. Наша история дает немало тому примеров.

## Картина маслом

Вот один из них эпохи послесталинского передела власти. Никита Сергеевич Хрущёв, благодаря министру обороны Жукову удержавшийся тогда в должности главы государства, сразу усвоил опасность предупреждения, коим маршал Победы уgomонил вошедших в раж Никитиных противников.

– Учтите! – сказал тот Молотову и компании, интриганам ещё тем. – Если вы рассчитываете на армию, то зря – без моей команды ни один танк из расположения не выйдет!

Этого стало достаточно, чтобы Никита Сергеевич не только удержался на высшем государственном троне, но и разогнал, наконец, к всеобщей радости, сталинских соратников по дальним захолустьям: Булганина – в Ставрополь, Маленкова – в Усть-Каменогорск, Шепилова – в Киргизию, Кагановича – на Урал, а Молотова – так вообще в Монголию.

Нетрудно догадаться, достаточно было короткой команды Жукова в пользу «антипартийной группы» (так наименовал недругов

Хрущёв), и полетел бы «стойкий ленинец» ясным соколом кто знает куда подальше, чем город Асбест, насквозь пронизанный колючей зловердной пылью.

Там, на студеном Урале, самом что ни на есть пронзительном гулаговском месте, в должности директора горно-обогатительного комбината и завершил бурную трудовую биографию грозный Лазарь, переживший в конце концов всех партийных и антипартийных. Лишь пару лет не дотянул Каганович до векового юбилея, установив абсолютный рекорд долгожительства среди тех, кто вознесся на заоблачные вершины советской власти (член Политбюро, и притом много лет). Какой-то секрет, видимо, знал, если несмотря на серьезные житейские передрыги, уберег себя от инфарктов, инсультов, самых продуктивных недругов величественных старцев, цеплявшихся за власть, как дьявол за торбу.

Дорого обошлась та товарищеская услуга броненосному Георгию Константиновичу. Хрущёв быстро просчитал варианты и сделал выводы в отношении уж слишком «танкоопасного» соратника. Через полгода, расслабив сурового полководца публичными фимиамами и наградными благостями (членство в том же Политбюро, четвертая Золотая звезда на мундир), нанес удар с коварством камышового кота, упруго выскочившего из плавневых зарослей.

Опять на Пленуме ЦК, после суточной «артподготовки», обвинив маршала в бонапартизме и стремлении подмять армейские политорганы, умело перелицевав вчерашние достоинства в сегодняшние недостатки, Хрущёв с назидательным треском снял прославленного героя со всех постов и отправил в пенсионное забвение.

Жуков оказался первым и единственным Маршалом Советского Союза, кто был уволен в отставку вчистую, незамутненную никаким дальнейшим вниманием, особенно со стороны компартии, защите интересов которой он отдал лучшую часть жизни. Ему не предложили продолжить воинскую службу в так называемой «райской группе», этаким уникальном подразделении генеральных инспекторов при Министре обороны, составленном исключительно из прославленных фронтовых полководцев, с высоким государственным статусом и максимально возможным в условиях советской власти уровнем житейского благополучия (дачи, машины, адъютан-

ты, ординарцы, пайки «от пуза», санатории навсегда, лучшие клиники для себя и семьи, обязательное депутатство в Верховном Совете и, что важно, членство в ЦК, на худой конец, кандидатство в это членство).

При этом никаких конкретных обязанностей, покойная жизнь вплоть до национальных похорон в Кремлевской стене. Жуков был лишен всего, даже дачу хотели отобрать. Правда, когда он показал бумагу за подписью Сталина, разрешавшего ему пользоваться лесным участком до конца жизни, отстали.

Жуков оказался «лишенцем» в полном смысле этого слова. Единственное, что позволили, – это ниша в стене, хотя семья слезно просила похоронить отца на родине, в деревне Стрелковка Калужской области. Но нет, не разрешили! И после кончины маршала все равно держали под присмотром. Было это уже при Брежнев, который если что-то и перенял из Хрущёвского наследия, так это хамское отношение к Георгию Константиновичу. Приказал даже тайно заглянуть в рукописи мемуаров:

– Чё он там пишет по ночам?

И потребовал:

– Если про меня не напишет, издавать не позволим!

Пришлось писать...

Однако современное лицемерие тоже не ведает границ. Сравнительно недавно я бродил по Новодевичьему кладбищу и в ужас пришёл от заброшенности могилы жены Жукова, Галины Александровны. Именно ее ранняя смерть потрясла маршала и вскоре свела в могилу. Если суровый полководец кого-то любил глубоко и нежно, так это была именно эта молодая женщина, разделившая с ним самые горькие годы жизни, близкий ему и бесконечно родной человек.

В бездонной лужковской казне не нашлось денег, чтобы поправить расколовшийся камень, выкорчевать разросшийся кустарник, в колючих дебрях которого потонул еле различимый, почерневший от забвения бюст. Родственникам, судя по всему, происходящее тоже глубоко безразлично. Горько все это видеть, господа!

Ничто так не определяет реальное состояние наших душ, как подобные картины. Возводим громоподобных исполинов, одеваем

в золото и мрамор величественные храмы, оглушительно трубим в медь на парадах, а вот по конкретному случаю сердце равнодушно молчит. Уже и не помним, да и не знаем, что благодаря этой скромной женщине легендарный полководец сумел собраться и прожить достойно опальные годы, преодолеть тяжкие испытания, черную неблагодарность, унижительное забвение, подчеркнутую всеми телодвижениями власти ненужность. Это все они преодолевали вдвоем. Поставив жене памятник, Жуков почти сразу и умер...

Ну а если снова вернуться к Хрущёву, легко и просто победившему непобедимого маршала, сможем заметить, что успешно выполнив эту задачу, он тут же осуществил и следующую, показав «боевому маршальскому братству», что никакой ширины лампасы, ни орденская завеса до пупковой линии в случае даже видимости непослушания не спасут их от барского гнева. И былинные богатыри, водившие в бой всесокрушающие армии, не боявшиеся ни Бога, ни чёрта, в праздничные дни присмирившей гурьбой толпились на мавзолеейной трибуне, уважительными аплодисментами встречая главу государства, румяной округлостью и одеждой мешком сильно похожего на Синьора Помидора.

С энергичным сопением, размахивая лапами макинтоша, он вприпрыжку преодолевал гранитные ступени, непременно разогретый первомайской рюмашкой под любимые вареники со сметаной. Был в ту пору весел, необузданно энергичен, щедр на обещания, особенно коммунизма, в котором якобы будет жить нынешнее поколение.

Поколения ликующей рекой нескончаемо текли по разукрашенной вдрызг Красной площади с портретами сияющего «Синьора Помидора» над головами. Смешно сказать сегодня, но верили! И ещё как! Хотя почему нет? Над стоящими на мавзолее, в том числе и верными маршалами, «заря коммунизма» уже взошла!

Так неугомонный «мечтатель» Никита Сергеевич Хрущёв в обстановке всеобщего идолопоклонства куролесил ещё лет восемь, всякий раз подчеркивая, что «жизнь стала лучше, жить стало веселей!». Правда, пока только в Москве, куда со всей центральной России советские труженики ездили за любительской колбасой, поскольку другой не было, а в провинции так вообще никакой. Нако-



нец, Никита Сергеевич так увлекся, что за многообещающей трескотней и осознанием собственной исключительности потерял ную на опасность и по законам дворцовых жанров тут же угодил в силки, хитро расставленные сговорившимися соратниками. Обвинённый на таком же Пленуме во всех смертных грехах, и прежде всего в волюнтаризме, через пару дней «верный ленинец» очутился в дальнем Подмоскovie в деревне Петрово-Дальнее, тоже в состоянии глухо изолированного изгнанника, где и просидел на садовой завалинке до конца жизни. Во какие дела!

Так что картина маслом «Меньшиков в Березове» для нас просто символична, хотя и совсем не поучительна. Советские коммунисты, привычно прокричав на закрытых партсобраниях «Одобрям-с!», понятия не имели, что такое «волюнтаризм». Предполагали, конечно, что какое-то паскудство, но вряд ли догадывались о философском учении, берущем начало аж от Августина Блаженного, утверждавшего проявление воли в качестве высшего принципа человеческого бытия. Правда, в нашем Отечестве на все случаи этого самого «бытия» есть своя собственная трактовка, близкая и понятная каждому: «Ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак!».

Если по-серьёзному, так у нас всякий начальник волюнтарист ещё тот, а уж Юрий Михайлович – краше некуда. Освоившись в кресле мэра, он скоро начал «двигать горы» по широким московским просторам и сам того не заметил, как возложил на плечи горностаевую мантию благодетеля императорского уровня. Со всех сторон побежали проворные прикоснуться к руке милостивца и хоть чуть-чуть отщипнуть для себя кусочек щедрот. «А уж как благодарны и верны будем!» – читалось в сиянии плутовских глаз.

Я хорошо помню, с каким благоговейным придыханием говорили о мэре люди его окружения или считавшие, что они в близком к нему кругу. Однажды, оказавшись в обществе столичных журналистов, я ощутил это достаточно убедительно.

Дело было в немецком городе Трире, известном как родина Маркса. Туда я попал благодаря замечательному знатоку советского кино Елене Петровне Лебедевой, на небольшой, но достаточно престижный телефестиваль с фильмом «Святая музыка полета» о Геленджикском гидроавиасалоне.

К тому времени Карл Маркс уже потерял актуальность, поэтому музей оказался закрыт, и мы, сфотографировавшись на фоне дверной ручки, решили переместиться в соседний гаштет, украшенный сияющей бородой «основоположника», с литровыми кружками пива, поднятыми над роскошной гривой.

Гаштет оказался тоже не последним местом в мировом коммунистическом движении, поскольку молодой Маркс проводил здесь большую часть дня, утомляя посетителей рассуждениями о пагубности мирового классового неравенства. Говорят, первые разговоры о бродячих «призраках» начались именно тут.

Превосходное пиво, да под жареных карасей с тушеным сельдереем, сделало свое дело, и, демонстрируя друг другу эрудицию, мы весело резвились, упражняясь в зубоскальстве по поводу молодых Карлушиных пристрастий к местным барышням, пиву, хорошей рыбке и классической немецкой философии, тогда только собираясь громить ее со всем жаром неукротимой энергии, хотя на том этапе отдавая основное внимание прелестным фройляйн и мозельскому пиву, да, может быть, иногда молодецкому мордобою.

Правда, нашу раскованную компанию портил некий молодой человек с напускной сумрачностью, старательно подчеркивающий ее капризно выдвинутой губой. Сосредоточенно разбирая на составные части большую рыбу, ни с кем не чокаясь, он при каждом усилении хохота с недобрый хмыканьем произносил что-то вроде «ну-ну...» и ещё глубже погружался в тарелку. Молодой человек (как шепнула мне на ухо Лебедева) оказался чиновником из лужковской пресс-группы, накануне получившим ощутимое повышение по службе и в данном случае осуществлявший некие властные функции, в том числе и над нами. Наконец, решив, что пора завершать весь этот бедлам, он встал, многозначительно застегнул пиджак и, потребовав тишины, сказал:

– Я предлагаю поднять тост за нашего выдающегося соотечественника, человека, данного нам судьбой, мэра нашей столицы Юрия Михайловича Лужкова!

Мы пристыженно затихли и, опрокидывая стулья, шумно поднялись, чтобы стоя выпить за Юрия Михайловича, пожелав ему здоровья и больших успехов на важном государственном посту.

После этого молодой «вожак», ещё больше оттопырив губу, ни на кого не глядя, пошёл к двери:

– Распустились тут!..

«Какой удалец! – подумал я. – Ведь обязательно расскажет Юрию Михайловичу о своем рыцарском поступке, да ещё добавит, как решительно поставил на место развязавшихся журналюг. А Юрий Михайлович, может, даже головой кивнет одобрительно. Приятно-с, а главное – перспективно!..»

## Школа идолопоклонства

Мне всегда чрезвычайно любопытны люди, превращавшие идолопоклонство в основной промысел жизни. Помню знакомого ещё по аспирантуре университетского доцента, увесистого добродушного мужика с багровым склеротирующим лицом. Свои трескучие брошюры по истории КПСС он непременно дарил супруге с надписью: «Товарищу по партии, верному другу по совместной борьбе за светлые идеалы социализма!»

Дело было в семидесятые годы, и к той поре социализм, вполне созревший, уже давно «стоял на дворе», и формы борьбы за него носили отвлеченный характер (может быть, когда-никогда кафедра общественных наук окрысится на коллегу по поводу слишком густого запаха чеснока, которым доцент, начитавшись журнала «Здоровье», что-то лечил). Но супруга доцента и сама и.о. доцента, иногда, как бы случайно, забывала брошюры на столе, чтобы мы видели и оценили. Их так и звали – «товарищи по партии». На работу и домой они шли, тесно прижавшись друг к другу, солидные, неторопливые, обернутые просторными одеждами: он – в добротный югославский ратин, она – в каракульчу, добытую явно по блату, что тоже являлось формой борьбы за хорошую жизнь, а значит, и за «идеалы».

И уж совсем меня утвердил в мысли о вечности нашего всегда корыстного идолопоклонства другой случай, произошедший тоже на фестивале и тоже с участием прекрасной Лены Лебедевой, собравшей на белом днепровском пароходе целое созвездие актеров отечественного кино. Не нынешних «картонок», журнальными отти-

сками которых хорошо разжигать дачные буржуйки, а настоящих, искренне любимых народом. Я позволю себе назвать нескольких: Людмила Чурсина, Владимир Зельдин, Клара Лучко, Игорь Дмитриев.

Пароход неторопливо спускался вниз от Киева к Ялте, и длинными влажными вечерами пассажиры сумерничали в музыкальном салоне. Иногда уютные посиделки заканчивались небольшим концертом с участием народных артистов. Я давно заметил, что лучше всего актеры поют друг для друга. Так было и в тот раз.

Господи, как они пели в те волшебные летние ночи! Пели хорошие сердечные песни о вечных ценностях, о любви, лунной дорожке на тихой воде, о прекрасной реке, сблизившей два братских народа.

Но однажды, уверенно раздвинув публику крутым бедром, на авансцену, тяжело продавливая эстраду, вышел коротенький человек, напоминавший дубовый обрубок. Я нередко видел его в судовом баре в обществе смазливых девиц. Он всегда что-то нечленораздельно торопливо бормотал, похохатывая и потирая руки, словно в предвкушении удовольствия, сами понимаете, какого свойства.

Господин сей был весьма влиятельной фигурой в мире кино, достигшей этого в период, когда отечественный кинематограф развалился на обугленные обломки в аккурат посреди взбунтовавшейся страны, то есть в Москве. Судя по всему, у господина водились денюжки, и немалые, так как он с помпой открыл и с не меньшим шумом содержал сочинский кинофестиваль, куда собирал стремительно нищавшую актерскую элиту. Вот тогда и явился к ней (элите) в образе благодетеля, правда, сильно похожего на сельского мироеда, хорошо описанного когда-то литературными классиками.

Многие на пароходе суетливо искали с ним общения, как его ищут разорившиеся дворяне, которым ещё вчера кофе подавали в постель. Искать-то искали, но втихую поговаривали, что Марик (так уважительно называли нашего героя) при Советах «держал» в Долгопрудном карусель, да крупно проворовался на махинациях с билетами, в результате надолго сел. Потом я видел какие-то подхалимские телепередачи о нем, где сей факт подавался как преследование за противление властям, герой казался чем-то вроде осовремененного «народовольца». Зато сейчас «в шоколадной гла-

зури» ездит на шестиметровом «Роллс-Ройсе» и «звезд» для Сочи отбирает по головам, как гуртовщик лошадей в ярмарочный день.

Выйдя на эстраду, Марик напустил властную хмарь на толстое лицо, чем пресек шушуканье, и сказал высоким, бабьим голосом:

– Я хочу спеть нашу любимую с Юрием Михайловичем... – и, кивнув небритому звукорежиссеру с женской косой по пояс, завопил, игриво раскачивая коленом:

*Москва, звонят колокола,  
Москва, златые купола,  
Москва, по золоту икон... –*

и так далее.

Пел громко, но плохо. Главное счастье подобных фигур в фантастической наглости, а отсюда уверенности в себе. Я, привыкший помалкивать в обществе значимых людей, слегка завидовал тем, кто, будучи величиной близкой к нулю, всегда стремился хозяйствовать любыми положениями. Хотел – пел, хотел – плясал, хотел – на дуде играл, хотел – поучал именитых, как снимать кино, при случае мог и до академиков добраться. Зато отлично понимал, перед кем надо в поясном поклоне ломать шапку. Юрий Михайлович был из тех, кто любил, когда ему выражали подобные знаки уважения, подчеркивая значимость мэра в любых сферах человеческой деятельности.

Чего скрывать, с кучей подданных в кепках Лужков строил в России свое государство, и называлось оно «лужковская Москва». И в этом ему способствовала тонушая в нищете Россия. Стоило зарегистрировать в столице предприятие, находящееся в провинции, как доходы прямиком текли на столичные счета. Львиная доля российских доходов стала оседать в Москве, а при таких деньгах и заяц будет считать себя медведем, но чаще – волком, хитрым, злобным, невероятно активным и безжалостным до крайних степеней, когда дело касается собственной сытости. Крестьяне знают, что волк может сожрать много, очень даже, но никогда не будет сытым. Ни-ког-да!

Звон московских денег скоро настолько перекрыл державные мелодии Кремлевских курантов, что со всех сторон на призывные

звуки побежали толпы самых быстрых, самых хитрых и самых алчных. Они сразу сообразили, что основополагающая ельцинская установка: «Разрешено всё, что не запрещено!» – очень просто передушивается в любые жульнические комбинации. Вот почему, прежде чем кидать в толпу звонкие лозунги, надо хотя бы попытаться представить их последствия, тем более что в России во все времена «закон, что дышло...», а лозунги о хорошей жизни – вообще развлечения для дураков.

Ну, скажем, кто-нибудь понес хоть какое-то порицание за вселенский обман в виде «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме!» или хотя бы, на худой конец, рванул на груди рубаху: «Вяжите меня, люди добрые, не со зла это...»? Да никто даже не почесался: ни вчерашние коммунисты, ни тем более сегодняшние, которые по-прежнему считают, что нужен строевой ранжир, на первый-второй рассчитайся, запевай и вперед, под водительством очередного идола. Уверяют – иначе бандитский беспредел, с которым страна столкнулась сразу, как спустила советские флаги. Правильно, беспредел! Так флаги, однако, спускали тоже коммунисты, пусть «расстриженные», но с прежним жаром обещавшие хорошую жизнь.

Наверное, не пришло ещё время измерить количество крови, пролитой за очередную политическую мистификацию. Знаю, цифра будет оглушающей, как оглушающе прозвучало лично для меня, что совсем не Берия подписал наибольшее количество расстрельных списков, а тот самый самозабвенный «Синьор Помидор» – Никита Сергеевич. Телеграфировал с обидой Сталину из Киева, где секретарствовал: «...Мы вам направили восемнадцать тысяч на ВМН (высшая мера наказания – В.Р.), а вы дали разрешение только на две. Почему?...»

Стоп, стоп, надо тормозить, а то, не дай Бог, понесет меня снова по политическим ухабам и неизвестно ещё – куда?

## Романтик из аула

Давайте лучше вернемся к Юрию Михайловичу, которого воочию я видел два раза, зато однажды наблюдал в течение целого

дня. Было это в такой дикой сибирской глухомани, что до сих пор знобит. Где-то там, неподалеку, крутится меж таежных сопок полная загадочных тайн Подкаменная Тунгуска. Та самая Угрюм-река, что сподобила Вячеслава Шишкова на эпический роман о неприступном таежном золоте, о которое рвали свои жилы и ломали чужие хребты ухватистые да рискованные русские мужики, коим ничего не стоило переждать недельную пургу, зарывшись в двухметровый сугроб, или остановить шатуна-медведя еловым дрыном, сунув его через оскаленную пасть прямо в раскаленную утробу...

Реактивной гурьбой на шести «ЯК-40» летим из Красноярска в Северо-Енисейск – поселение, ещё в пору царских ссылок срубленное из еловых бревен, почерневших от старости до цвета угольных отвалов. Все, что поверху, крыто лиственничным тесом, который от времени только каменеет. Шифер же звонко лопается при первых морозах, а они здесь за пятьдесят. Но за околицей (по статусу вроде районный городок, а фактически гольная деревня) жильё отсечено от леса вполне приличной взлетно-посадочной полосой.

Самолеты столь ношенные, что у меня невольно крутится мысль – не списаны ли вообще. Успокаивает то, что на одном из бортов находится губернатор Красноярского края Александр Лебедь, громогласный генерал, отчаянный до такой степени, что через год таки разбился насмерть, правда, в почти новом вертолете. Вместе с ним сейчас летит Юрий Михайлович Лужков. Все мы гости и добираемся в поселок Полюс, на золотодобывающее предприятие, принадлежащее Хазрету Совмену, лучшему старателю страны и будущему президенту Республики Адыгея. Я с ним знаком, пару раз встречался в телепередаче, где, готовясь к президентству, он рассказывал о своей уникальной одиссее по жизни. Действительно, на фоне советской монолитной действительности (право-лево) судьба Совмена куда более разительна.

После призыва на военную службу стройный и красивый юноша из прикубанского аула попадает на флот, но не куда-нибудь в суровый Североморск, на атомный подводный исполин, а в Ялту, в отряд ВМФ особого назначения, точнее – на прогулочную яхту Политбюро, конкретно – самого Брежнева.

Все свободное от вахт время юный сигнальщик и по совме-

стителству киномеханик проводит в богатой судовой библиотеке, где попадает под очарование ранних рассказов Джека Лондона и тогда впервые узнает, что самая испепеляющая человеческая лихорадка – это золото, особенно с густой насыщенностью кровавых северных сияний.

Не самородки с корявый кулак старателя, а исповедальные произведения великого американского бродяги о безбрежных полярных просторах будоражили душу молодого матроса, родившегося на берегах самой южной русской реки – Кубани. Вздуроражили настолько, что, уволившись по завершении военной службы, он едет не в родной аул, а на Чукотку, спрятав на дно «дембельского» рундука «Сына волка», сборник пронзительных рассказов Лондона, прощальный подарок экипажа, так и не понявшего до конца, почему из Ялты надо ехать на Чукотку.

– Я никогда не видел Аляски, – рассказывает Хазрет, – но Чукотка, до которой рукой подать, поразила меня грозным безмолвием и ужасами ее освоения, от которых бледнел бы любой неукротимый янки, отчаянно грызший ледяную мерзлоту Клондайка в поисках драгоценной жилы.

Совмен помолчал, словно решая для себя, говорить или нет, а потом, усмехнувшись, продолжил:

– Золото, как я вскоре понял, нужно всем, а Стране Советов, постоянно ожидавшей войны, тем более. Единственное, чего у неё было в избытке – это оружия и эков. Для оружия нужно было много золота, а для золота – много эков. Их в Стране Советов всегда было предостаточно, потому как это самая безгласная, дешевле перловой похлебки, законвойная рабсила. Не рабочая, заметь, а именно рабская... Во время войны Сталин, гнавший во все стороны «лошадей», приказал доставлять заключенных в чукотскую глухомань самолётами. Набьют под завязку военный «Дуглас», разомкнут над точкой сброса наручники и с бреющего, без всяких там парашютов, коленом под зад на заснеженный склон: «Лети, братан! Убьешься – значит, не судьба, не убьешься – твое сиротское счастье!»

Сотню сбросят – тридцать трупов, остальные сутки-двое отлеживаются, лижут раны, а потом с оханьем – за кайло, топоры,

тачки, прииск обустроить, а по весне бить шурфы, мыть в ледяной воде золотишко, укреплять Родину-мать лучшим в мире металлом. А для могил, пожалуйста, пустые отвалы, их там не мерено...

Хазрет пришёл на телепередачу в белоснежном костюме от Кардена, оттененном под горло малиновой сорочкой дорогого китайского шёлка, в ароматах настоящего парижского «Живанши». Представить его небритым, в грубых, заляпанных глиной старательских одеждах было просто невозможно. А ведь так он ходил много лет.

— Поначалу на узкопленочной «Украине» я на дальнем приiske кино крутил. Веселые советские кинокомедии скрашивали тусклую жизнь, прежде всего, неправдоподобностью сюжетов, да вот заработки были, под стать кино, смешные, — продолжал Совмен с какой-то потаенной грустью на холеном гладком лице. — Скоро понял, либо надо в артель, либо вести неопределенный образ жизни. К тому времени моя черноморская романтика испарилась без остатка, впрочем, сохранив острое желание оставаться мужчиной. Наконец, я решился и, натянув бахилы, пошёл в старательскую артель, причём самую, как бы это помягче выразиться... неблагоприятную. С точки зрения советского уголовного кодекса там все было малоблагополучно... Так вот, та артель была самая что ни есть... А уже через полгода я уже руководил ею. У меня все-таки десять классов (это ценилось), опыт общения с достойными людьми, да и сила в руках, а решимости и сообразительности никогда не занимал.

Не скрою, руководителем я оказался успешным, быстро укоротил лапы тем, у кого они слишком чесались: чуть что — к ножам! Пьянки до подзаборного замерзания прекратил. Вспоминая Ялту, убедил братву, что при таких заработках надо гулять в хороших ресторанах, в обществе красивых девочек, лучше на берегу теплого моря под пальмами или магнолиями.

Работали, правда, как звери, и когда подбили итоги пятилетки, оказалось, что на отвалах, почти вручную, мы намыли драгметалла больше, чем механическая драга, протаскивавшаяся по золотоносной целине. Самый главный начальник по союзному золотому промыслу, прилетевший на прииск с Большой земли с ворохом знамен, спросил у меня:

— Ну, бригадир, чё хочешь в награду?

Я уже при деньгах, осмелевший, возьми и бабахни:

— «Чайку» хочу купить новую!

Думал, сейчас он меня за наглость бахилами потопчет. Но тот только усмехнулся:

— Зачем тебе «Чайка» в этакой глухомани?

Отвечаю:

— В аул поеду! Уходил в армию с парусиновой котомкой, бабушка из наволочки пошила, а вернуться хочу, как министр обороны с парада на Красной площади, — объясняю. — Мы, кавказцы, народ гордый — если конь, то лучший, если кинжал, то самый дорогой, если папаха, обязательно из молочного ягненка. Куплю папаху и на «Чайке»...

— Ну, хорошо! — засмеялся министр. — Придется попросить за тебя, — и добавил: — Заслужил!

— А кого, если не секрет? — осторожно интересуюсь.

— Алексея Николаевича! — отвечает. — Слышал про такого?

— Знаю двоих! Один на угольном складе в Анадыре работает, а второй здесь, приисковой баней заведует. Оба из ссыльных, ребята проворные, но не до такой степени...

— Ну, нет! — рассмеялся министр. — Тот Алексей Николаевич повыше будет. Косыгин, председатель союзного Правительства. Только ему право дано. Телеграмму вот прислал поздравительную за высокие производственные достижения. Пишет, страну выручили в сложное время...

Все, думаю, хана! Времена у нас всегда сложные: где я, а где Косыгин... А через неделю ищет меня по поселку начальник радиостанции:

— Хазрет! Ты че прохлаждаешься, тебе в Горький надо. Сначала тут, в Госбанк, а потом на автозавод, забирать свою «Чайку»...

Пока я от Горького до Адыгеи доехал, всю милицию по трассе на уши поставил — не поймут, что происходит. А когда в Майкопе оформлял, милиционеры в парадном явились. Уважение было к хорошим вещам, а уж к автомобилю, да такому — тем более. Ко мне потом грузины с мешками денег приезжали — продай!..



## Золотые черви

В Северо-Енисейске, не сходя с полосы, быстро перебираемся в вертолеты и дружной эскадрилей снова в воздух. Говорят, лететь ещё километров четыреста строго на север. Внизу пейзаж меняется в сторону усиления суровости. Середина сентября, но кое-где видны просторные снеговые поля. Сквозь хилое редколесье мелькают русла речушек, притоков все той же Тунгуски. Все с вывернутым наизнанку дном, словно злобный исполин забавлялся.

– Драга! – кричит в ухо сопровождающий, крепкий мужчина с обветренным лицом. – Ее работа!

Он же рассказывает, что Северо-Енисейский район – самый золотонасыщенный в России.

– Драгметаллов море! – кричит, стараясь преодолеть оглушающий грохот моторов. – Но рассыпаны на больших глубинах, добраться трудно, а добыть ещё сложнее. Вон гляди, как драга речку растерзала, слизала с поверхности что могла, забрала доступное и привет... А основное там осталось! – наш гид показал пальцем куда-то под днище вертолета.

Мы уже знали об уникальном предприятии, которое построил Совмен на самом краешке полярного круга, в абсолютно безлюдной местности, где по всем демографическим канонам жить, а тем более трудиться, нельзя. Климат зашкаливает за немыслимые пределы – морозы дикие, летом гнус разнообразный, но одинаково свирепый, волки голодные стаями бродят. Однако самое удивительное, что именно тут, в этом безлюдье, впервые внедрены золотодобывающие технологии, в которые никто не верил. Уж больно бажовскими мотивами про серебряное копытце отдавало. Стукнул им – и собирай драгоценности в лукошко. А тут совсем невероятно – роль старателей взяли на себя... черви! Вот такие хитрые червячки, которые пожирают породу, размолотую в пудру, а чистым золотом какают, не глотают, не зашивают в мотню, не прячут на черный день, не закатывают в ухо.

Говорят, лет сорок назад этот способ придумал какой-то очередной «полусумасшедший Перельман», но маститые академики подняли его на смех, убедительно запинали со всеми золотыми экс-

крементами. А вот Совмен, уже дававший стране способом «бери больше – кидай дальше» тонны драгоценных металлов (бывало, и платина попадалась), случайно узнав, заинтересовался, не поленился, разыскал в архивах документацию, ко всему описанному отнесся крайне серьезно. И это серьезное нам предстоит увидеть сейчас воочию.

Главный зритель – это, конечно, Лужков. Они с Совменом давние друзья, более того, Лужков – убежденный сторонник реализации этого проекта. Нет-нет, не коммерческий соучастник, а именно дружеский партнер, давно оценивший целеустремленность и деловую хватку своего адыгейского друга.

Совмен тоже искренне любит Лужкова и недавно подарил столице покрытие для куполов храма Христа Спасителя – килограммов сто рудного золота самой высокой пробы.

Сейчас же, надвинув кепку на нос, мэр слушает рассказ Хазрета, время от времени озаряя лицо изумленной улыбкой:

– Уж больно все удивительно! За два года у чёрта на рогах построить самое эффективное предприятие отрасли! Да как это можно?!

Мы идем плотной толпой, впереди непривычно оживленный Хазрет с Лужковым и Лебедем, позади все остальные. Заходим в пролет огромного заводского цеха. Такой вполне может украсить, ну, скажем, Уралмаш или Волгоградский тракторный (я там бывал), а стоит выйти из-под крыши, сразу попадаешь в образцово-показательную глухомань с какими-то зловещими сумерками – полярная ночь подступает.

Окрест впечатление, что дальше нога человека и не ступала, а рядом, в огромном цеху, надёжное тепло от большущих стальных баков. Там кипит процесс – черви едят каменную пыль, спуская отходы в золотую канализацию. Кругом километры трубопроводов, каких-то сложных конвейерных переходов, грохочущих молотилок, зубчатых колес величиной с парковые аттракционы. Как их сюда докатили? Все пытит, грохочет, гудит... И при этом относительно малоллюдно, изредка промелькнет сквозь переплетение конструкций озабоченный человек, облаченный в униформу с надписью «Полюс». Вообще золото, насколько я понимаю, – дело молчаливое и



сильно таинственное. Чем меньше возле него «рук» мелькает, тем меньше «прилипает» (а по оценке знатоков, где-то четверть мирового золота вообще ворованная).

Тут все ясно, к благородному песку не подберешься ни с какой стороны, компьютерная механика добычи равнодушна к страстям человеческим. Вокруг загадочно перемигиваются какие-то лампочки – красные, желтые, зелёные, что-то контролируют, что-то сообщают, за чем-то (или кем-то) следят, наверное, и за нами. Времена, сами знаете, лихие, никому верить нельзя!

Где-то среди паутины труб тянется и та главная, бронированная, но малозаметная, по которой струится золотой ручеек, не прерываясь ни на секунду. Вот вам и черви-червячки, волшебные гномики. Прямо как в сказке братьев Гримм, день и ночь что-то полезное пилят, строят!

Но основное зрелище нас ожидает в нескольких километрах от завода. С полчаса едем автобусом к гигантскому кратеру, где добывают породу. За спиной выстроилась длинная вереница стотонных американских карьерных самосвалов. Я таких и не видел сроду! Какие-то сверхъестественные, сверкающие лаком и никелем лунные мамонты, с колесами в два человеческих роста. Говорят, заводятся с пол-оборота на любом морозе, и обязательно при этом добавляют:

– Наше в этих условиях – чистый хлам!

Совмен поясняет, что цена такой машины – миллион долларов, но овчинка выделки стоит. «Американцы» круглый год без всякого «головняка» обеспечивают конвейерную подачу битого камня от карьера к шаровым мельницам, которые стряпают «пищу» для ненасытных червей, превращая золотоносную породу в невесомую пудру.

Радушные хозяева хотят показать эффектное начало золотодобывающего процесса – взрыв породы. Подготовка к нему заканчивается на наших глазах. Возле днища кратера суетятся ярко-оранжевые джипы, потом тревожно взвыл предупреждающий «ревун», и в следующую минуту установилась гробовая тишина. Минута эта, отстукиваемая метрономом через репродукторы, тянется долго. Со смотровой площадки хорошо виден огромный, ну просто гигантский скальный откос, который через мгновение срежет взрыв

и превратит в тысячетонную гряду золотиносной массы. Драгметалла там пять ведер. Ждем!

И вот, обреченно захрипев где-то в земных глубинах, дикая сила, самое дьявольское изобретение человеческого разума, вспарывает недра гранитной крепости, с оглушительным грохотом поднимая над вздрогнувшей тайгой тучи «марсианской» пыли. Звук чуть позже упруго бьет по ушам, потом ещё долго с хрустом ломается меж отрогов сопков, пока длинное тягучее эхо не затихнет где-то далеко-далеко.

Не успела осесть раскаленная пыль, как дымно взревели самосвалы. Откуда-то снизу, из укрытий, к каменным барханам стали выползать ярко-желтые японские экскаваторы, тоже неправдоподобно большие. Три гребка стальной лопатой, и грузовой исполин, тяжело присев на колеса, прикрученные гайками, кои надо подымать краном, с ревом лезет наверх.

Картина ошеломляющая – конвейер пошёл! Даже Лужков, наверняка выдавший виды, изумленно разводит руками. Лицо радостное, кепка на макушке, что-то кричит в ухо Совмену, делится впечатлениями. Мне кажется, что в отношениях, особенно дружеских, Юрий Михайлович – человек надёжный, крепкий, в общении – располагающий. Вон, в какую даль всего на несколько часов с тройной авиaperесадкой прикатил с одной целью – чтобы товарища авторитетом поддержать. Поэтому и друзья у него значимые, один Совмен чего стоит!

Но главное впечатление Хазрет приготовил на завершение экскурсии. После взрыва и грохота шаровых мельниц нас ведут вибрирующими под ногами железными пролетами. Ребристыми лестницами карабкаемся под крышу, на самый верх главного корпуса.

И вот оно – святая святых – не пробиваемое ничем помещение разлива золота. Здесь тихо и жарко, но я бы сказал, умиротворенно. К таинству действия допущен единственный человек – пожилой неулыбчивый адыг, скорее всего, какой-то близкий родственник Хазрета. Как все металлурги, одет войлочной, в плотную слегка прожженную спецовку, ботинки грубой кожи, на голове потертая фетровая шляпа, на лбу темные очки – раскаленное золото слепит не хуже электросварки.

Рядом, на просторном металлическом поддоне, стынут два штабеля аккуратно уложенных слитков. Каждый, если не забыл, по 14 килограммов, хотя профессионалы предпочитают измерять драгметаллы в унциях. В одной унции 31,103 грамма. Вот и считайте, сколько этих самых унций в слитке, похожем на удлиненный брусок хорошо сбитого деревенского масла, который с трудом отрываю от стола.

Золото возбуждает, все весело галдят, поднимают над головой слитки, прижимают их к животу, фотографируются. Совмен снисходительно смотрит на оживленную толчею и затем, попросив тишины, говорит:

– Мы перед конечной операцией – разливом металла. Я хочу попросить Юрия Михайловича и Александра Ивановича выполнить ее!

С шутками-прибаутками на Лужкова и Лебеда повязывают войлочные фартуки, подают темные очки, надевают грубые непрожигаемые рукавицы и вручают тот самый черпак, которым разливается четвертая часть российского золота – столько, сколько добывает «Полюс».

Адыг подходит к крану, вмонтированному в стенку, медленно его откручивает, и в жаропрочный ковш бесшумно льется вязкая золотая струя. Лужков сосредоточен, а вот суровый Лебедь, озорно подмигивая, даже улыбается, что уж совсем редкость. Поддерживая деревянную рукоять в четыре руки, два политических гиганта того времени бережно склоняют ковшик над чугунной низложницей. Пара минут, и она заполнена до краев. Ковшик, судя по всему, мерный: один черпак – один слиток.

Ура, Россия обогатилась почти пудом золота! Все счастливы, бурно аплодируют, а Лужков и Лебедь, мне кажется, слегка смущены...

## Цена простоты

Осенний день в приполярных широтах ужат до предела, и когда под тяжестью впечатлений, в том числе от роскошного банкета с концертом и экзотическими фруктами из настоящих тропи-

ков, мы тем же путем вернулись в Красноярск, ночь уже перешла в следующие сутки. Лужков (ключевая фигура события) спешит домой. Перед окнами депутатского зала оглушительно разогревается спецрейс в виде изрядно потрепанного «ТУ-154». На нем почетные гости летят в Москву, а уже потом несколько кубанцев – в Краснодар. Так повелел щедрый хозяин «Полюса».

Пока, погрузившись в кожаное кресло вип-зала, я рассматривал памятные сувениры, в том числе золотую медаль с тевтонским профилем Совмена, мой надежный попутчик и оператор Юра Архангельский пошел искать туалет. Медаль – это хорошо, тем более высокопробного сибирского золота. Но наиболее значимые персоны отмечены, однако, особо – отлитой из золота визитной карточкой владельца прииска. Я не сподобился, значит, не очень значимый, поэтому слегка обиженно урчу, хотя и понимаю, что человек – существо завистливое, ему всегда мало.

Из размышлений по этому поводу меня выводит необычно оживленный Юра. Оказывается, у туалета ему сподобилось пообщаться с самим Лужковым. Вай!

– Ты не поверишь! – рассказывает мой верный друг, активно хлопоча руками и лицом. – Топчусь я возле двери, запертой с обратной стороны – кто-то засел основательно. Сортир шикарный, но на одно очко. Вдруг сзади подходит Лужков, представляешь, без всякой свиты и даже охраны. Совсем один! И спрашивает у меня: «Вы туда?» Я, конечно, шаг в сторону: «Прошу вас, Юрий Михайлович!» А он: «Нет, дорогой, в эту дверь надо ходить в порядке живой очереди всем без исключения». Так и не пошел. Вот настоящий мужик!.. – Юра поднял палец над головой, как римский центурион.

Юра, не раз снимавший (в смысле – на камеру) персон высшего государственного уровня, но так и не привыкший к небрежной хамоватости охранников, расчищавших дорогу «хозяину» всеми доступными способами, особенно в толпе журналистов, которых не без основания считают исчадиями ада, был в полном смысле потрясен. Это же надо только представить – Лужков, один, без охраны, без свиты и даже без кепки, занимает очередь, и куда! Было отчего прийти в восторженное изумление, особенно такому эмо-

циональному и категоричному человеку как лучший телеоператор дважды орденоносной Кубани. Словом, мэр столицы – прост, как Ленин! – сделал окончательный вывод мой дорогой друг.

Юра это ценит особо, поскольку иногда и сам прост до бесцеремонности. Я помню, брали мы с ним интервью у Виктора Степановича Черномырдина, тогда председателя Правительства России. В ту пору он сидел на Старой площади, в кабинете Брежнева. Дело было глубокой ночью. Часа два мы ожидали в приемной, пока ЧВС (так его звали за глаза) выкроит для нас десять оговоренных заранее минут. Пару раз Виктор Степанович стремительно проходил мимо.

– А, кубанские казаки! – говорил, усмехаясь. – Ждите, ждите, приму вас... Вот сейчас с банкирами разберусь и приму...

И хотя мы на казаков похожи, как степные сурки на горных орлов, тем не менее, приятно, что Виктор Степанович с уважением относится к казачеству вообще, а кубанскому особенно. Интервью оговаривал Николай Дмитриевич Егоров, тогдашний губернатор Краснодарского края, и суть его должна коснуться до мучительности многолетнего долгостроя – Краснодарского Центра грудной хирургии. Забегая вперед, скажу, что Виктор Степанович пообещал, но ничего не сделал, и долгострой ещё долго коптил небо, пока за дело не взялся другой губернатор – Александр Николаевич Ткачев. Он нашёл более действенные рычаги, и стройка стремительно пошла.

Так вот, где-то в полвторого ночи нас приглашают в кабинет. Я его сразу узнал, поскольку Брежнева тут часто для газет фотографировали за просторным генсековским столом. Только памятные часы в виде штурвала куда-то исчезли.

Однако суть моего рассказа не в интервью. Оно, к сожалению, не блистало ни с моей стороны (от волнения я был очень напряжен), ни со стороны интервьюируемого лица. ЧВС, видимо, сильно утомился. На следующий день он уходил в отпуск, и эта встреча была завершающей в его бесконечном рабочем графике. Мы присели за приставной стол, и Юра почтительно испросил разрешения приколоть на галстук премьера микрофон.

– Давай, цепляй! – устало махнул рукой Виктор Степанович.

Охранник сидел чуть в стороне и внутренне напрягся, когда Юра, прикалывая на галстук звуковую петличку, стал манипулировать ручонками возле премьерского горла. Мало кто знает, но к тонкому микрофонному проводу несколько ниже прицеплено передающее устройство (на нашем языке – «баклуша»), довольно увесистая железяка, вызывающая, например, у аэропортовского персонала постоянное чувство тревоги.

Обычно эту «баклушу» мы кладем в карман того, у кого берем интервью. Юра, в отличие от меня, осваивается много быстрее, что и произошло.

– Виктор Степанович, – говорит вдруг, – а можно эту штучку я положу вам в карман?

– Да, клади! – снова устало соглашается премьер.

Охранник на глазах вспотел, а у меня от такой раскованности вообще язык к небу прилип...

Впоследствии Юра сей факт тоже оценил как ленинскую простоту. Ему Черномырдин сильно понравился, а вот охранник, который не спускал с нас раскаленных оранжевых глаз, – не очень!

Уже в гостинице «Москва» (позже сталинским ударом лихо снесенной Лужковым), ослабив напряжение дня стаканом водки, я стал гнобить коллегу нудными поучениями. Но Юра, расслабленный тем же и упрощенный ещё более, не без резона заметил:

– Да пошёл он... (в смысле охранник).

И сказал куда! В переводе на древнеиндийский это означало в «таинственную пещеру волшебного лотоса». Правда, по-русски посыл уместился в одно слово. И я, сраженный чеканной логикой, умолк до утра. Как же приятно и самоудовлетворяюще, лежа изрядно выпивши в уюте легендарного отеля, посылать всех на «нефритовый стержень» (тоже, кстати, из лексики индийского эроса). Главное, безопасно, никто ведь не слышит. Вот тогда сурок и начинает чувствовать себя орлом, а в отдельных случаях – даже казком. Но утром, слава Богу, вместе с разумом возвращается и он, сурок, смирный, пушистый, ласковый. Не судите строго – будешь махать саблей, башку рано или поздно, но срубят обязательно. Таковы уж реалии второй древнейшей профессии, правда, нередко по причине излишнего усердия гармонично воссоединяющейся с пер-

вой. Я говорю о ней, о современной отечественной журналистике...

Через два года Совмен стал президентом Адыгеи, легко и просто потеснив с этого поста видного советского парторботника Аслана Алиевича Джаримова. С точки зрения здравого смысла – это был полный абсурд. Но кто, где и в какие времена у нас руководствовался здравым смыслом?

Достаточно вспомнить Горбачева, величайшего говоруна и прохиндея, тоже легко и просто овладевшего сознанием (точнее, его отсутствием) миллионов людей байками об ускорении, перестройке, ещё какой-то хрени, плюрализме, например. Это когда заходишь к начальнику со своим мнением, а выходишь с его, часто ещё более дурацким.

Понимание абсолютного тупика и краха подобных экспериментов приходит, к сожалению, только когда рушится все и, как сказал поэт, «вода бежит из крана, позабытого заткнуть», заливая все окрест, в виде очередного реформаторского потопа.

В день избрания Совмена ликование охватило солнечную республику. Я радовался со всеми, как дитя неразумное, хотя не переставал с уважением относиться к Джаримову, которого хорошо знал и гостеприимством которого не раз пользовался. Именно он взял на свои плечи все трудности формирования самостоятельности Адыгеи. Именно он, на мой взгляд, мудро и взвешенно, не поддавшись ни на какие провокации, вывел из болезненных процессов новорожденную республику, ринувшуюся в одиночное плавание по бурным хлябям гайдаровских испытаний. В результате как-то вдруг и сразу исчезло все, начиная от знаменитого адыгейского помидора и кончая ещё более знаменитым майкопским стулом, на котором сидело полстраны.

Опустели легендарные туристские тропы, начинавшиеся из волшебного Гузерипля к бескрайней лазури Черного моря, через вершины снегового Кавказа, рододендроновые поляны, запахи загадочных эдельвейсов, по пьянящим альпийским лугам, с грузом впечатлений на всю жизнь. Всякое лето по путевке «за три копейки» нескончаемые вереницы счастливой советской молодежи шли горными тропами прекрасной Адыгеи, опекаемые надёжными, как страховой полис, советскими профсоюзами. Последней, зато сразу

намертво, встала единственная в стране шпагатно-веревочная фабрика – в случае чего и повеситься не на чем.

Однако до этого, слава Аллаху, дело не дошло, но недовольных «партократом» Джаримовым появилось сколько угодно. Вот тогда и вспомнили о Совмене. Вспомнили и вскричали: «Вот тот, кто выведет нас на взлетную полосу успешного предпринимательства из сумеречных лабиринтов социалистического застоя! Если в северной глухомани он создал предприятие мирового уровня, то можете себе представить, что сотворит из яркой жемчужины Северного Кавказа! Только с ним мы станем здоровыми и богатыми! Да здравствует великий Хазрет!» – звучало на всех углах.

Вяжите меня, люди добрые, среди восторженных крикунов был и я! Вспоминая про золотой сибирский ковш, я искренне считал, что Совмен, и только он, твёрдой рукой отважного первопроходца поведет республику к всеобщему благоденствию и процветанию.

Первое, но легкое, почти прозрачное сомнение появилось у меня в день инаугурации. Как и положено для события такого масштаба, он был прекрасен. Сияло окрест все: солнце, вода, зелень, умытые городские улицы, нарядные горожане, а главное – их лица, одухотворенные надеждой. Однако в час торжества «фанфары» не прозвучали и «каре́та» с триумфатором не появилась...

В переполненном зале Майкопского городского театра установился легкий гул:

– Где же наш новый президент? По слухам, в аэропорту, в ожидании дорогого гостя – Юрия Михайловича Лужкова. А он задерживается и неизвестно насколько?..

Время идет, гул усиливается, суэта нарастает. Наконец, на разукрашенную сцену осторожно, как босиком по талым лужам, выходит главный приближенный, он же известный врач, мечтающий о политической карьере. Приблизившись к микрофону, доктор озабоченно подтвердил – задержка действительно связана со встречей многоуважаемого Юрия Михайловича, и голосом адъютанта Его превосходительства из одноименного фильма успокаивающе добавил, что «литерный уже миновал Тоннельную». Терпеливо ждем! Минут через сорок «адъютант» снова на сцене:

– Не волнуйтесь, господа, литерный прошёл Верхне-Баканскую.

После этого народ махнул рукой и повалил из душного зала на улицу, понимая, что до Нижне-Баканской ещё пилить и пилить. Стоя группами, пили пиво, кушали мороженое, под томатный сок ели неповторимые майкопские чебуреки, говорили «за жизнь», втихую пеняя Лужкова. Наконец «литерный» прошёл Нижне-Баканскую, и по панически стремительным перемещениям челяди стало понятно, что кортеж уже в городе.

И вот под бурные, долго не смолкающие аплодисменты из-за тонированного стекла просторного белого «Мерседеса», улыбаясь, как эстрадный премьер, народу явился долгожданный Юрий Михайлович, главный фигурант праздника инаугурации президента республики Адыгея.

Кого там только не было! Не было только Аслана Алиевича Джаримова, бывшего президента, вчистую проигравшего выборы. Более того, за грохотом ритуальных барабанов о нем даже не вспомнили.

Во времена оные чеховские интеллигенты в таких случаях, взяв собеседника за пуговицу сюртука, поблескивая пенсне и потряхивая обсыпанной табаком козлиной бородкой, говорили:

– Нехорошо-с, батенька! Очень нехорошо-с...

Лично для меня этот факт стал следующей точкой отсчета сомнения, но с окраской уже большей насыщенности. К сожалению, я не ошибся, худшее оправдалось...

## Жужелица треклятая

Сегодня ясно, что Хазрет Меджидович не столько руководил, сколько правил. Как я понимаю, он взошёл на пост главы республики, не сильно представляя, как и чем будет заниматься. Одно дело прииск, где все на виду. Привычно громко скомандовал, и крепкие мужики за хорошие деньги тут же взялись за топоры и тачки. А здесь инвалиды, детсады, лазареты, аграрии, ЖКХ с вечными спущенными штанами, и все с глазами, полными слез:

– Отец родимый! Когда делиться будешь?

Он и делился – строил за свои кровные больницы, проводил дороги, покупал комбайны, скрежетал зубами от бессилия и, как

ему казалось, вопиющей лени министров, не способных организовать народ на трудовой подъем. В поисках Конька-Горбунка новый президент нагонял на чиновничество страх и ужас, искренне считая, что «заяц, ежели его бить, спички может зажигать». Помните, у Чехова: «Человек от битья умнее бывает, так и тварь!»?

Вообще, страх – радикальное средство воздействия, особенно на тех, кому есть что терять (а министру наверняка всегда есть). Ещё Наполеон утверждал, что человеком управляют две страсти – страх и личная выгода. Правда, со своими чеканными формулировками на любой случай он плохо кончил, погибнув в изгнании, на пустом каменистом острове в возрасте всего 52 лет. Но кто это помнит?

Не знаю, насколько Совмен в управлении республикой руководствовался наполеоновскими наставлениями, но что своих министров (как Бонапарт маршалов) гонял нещадно – это точно. Наезжая в Майкоп из швейцарского далека и обнаружив, что дело стоит ровно на том месте, где было оставлено, он без раздумий снимал старого министра и назначал нового, нередко ещё хуже того, что снимал.

Министерский «конвейер» работал, что золотодобывающая драга, безостановочно. Одних руководителей министерства культуры сменилось штук десять. По старой сталинской традиции он бросал их на склоны судьбы без всяких парашютов. Не успевал один с оханьем подняться, как на голову уже летел следующий. Несмотря на празднично красочные ожидания, будничные реалии (как это часто бывает) оказались проще, жестче и радикально одноцветнее. Чуда преобразования не произошло, решительные министерские отставки по принципу «упал – отжался» если и привели к оживлению, то лишь в чиновничьей среде, всегда озадаченной лишь двумя вопросами: «За что?» и «Кто следующий?».

Семидесятилетний Хазрет Совмен, к сожалению, не сумел повторить успех почти одноклассника, семидесятидвухлетнего немецкого адвоката Конрада Аденауэра. В 1949 году тот, в ранге канцлера, пришёл к руководству только что созданной Федеративной Республики Германия, собранной из кусков трех оккупационных зон – США, Великобритании и Франции (четвертую Советский Союз пре-



образовал в Германскую Демократическую Республику и отделил ее от ФРГ «бетонной стеной» из четырех ударных армий Западной группы войск).

Аденауэр, вошедший в мировую историю как величайший мудрец, изображал из себя согбенного старца, седого, как лунь, и молчаливого, как полярная сова. Советская пропаганда, не жалея красок, поносила его, «вдохновителя реваншистского курса, направленного на ревизию основ послевоенного устройства Европы».

Штатный карикатурист «Правды» Борис Ефимов, самоучка, но энергичный, как стиральная доска, сточил сотни карандашей, изображая германского канцлера в образе старой вороны с выдраным хвостом. Господь сподобил Ефимова при ясной голове (страшно сказать, родился в 1900 году, а Ельцина пережил) дотянуть аж до 108 лет. Наверное, длинную жизнь Бог дал, чтобы убедить лихого карикатуриста в большой ошибке – не того клеймил! Совсем и не немец, а вон тот молодой соотечественник, ушлый комсомолец из Ставрополя, что в аденауэровские времена, как петух с хуторского плетня, страстно звал к коммунизму, клялся в верности идеалам. Вот его надо было вязать! Так ведь если б Господь надумил, как и куда оно на самом деле повернет! Но даже в страшном сне не могло привидеться, поэтому и грешили привычно на неприятного «фрица»...

Аденауэр, придя на послевоенные развалины (не хуже, чем у нас), сумел сплотить немцев идеей восстановления страны, твёрдо пообещав, что жить в ней будет комфортно всем. И что странно, в частности для нас – обещание выполнил! Договорился даже с непредсказуемым Хрущёвым об установлении дипломатических отношений и возвращении в Германию военнопленных, а их у нас находилось больше миллиона.

– Че дармоедов кормить! – махнул рукавом Никита и отпустил даже без выкупа.

Показной кротостью и уважительным послушанием Конрад «доил» страны-победительницы, но убедил соотечественников, что кредиты проедать нельзя (а уж тем более – разворовывать), подчёркивая, что путь к успеху лежит только через организованный по всем направлениям совместный труд и усердие каждого.

Совмен, к сожалению, этого сделать не смог (да и не захотел), пойдя привычным «совдеповским» путем, который предшественник Лужкова на посту мэра Москвы, Гаврила Попов, назвал «командной экономикой победившего социализма». Это когда надо бояться начальника до холодной испарины, при этом тащить все, что плохо лежит, а благодетеля, по возможности, обирать до нитки. Ну, в последнем Совмен сразу разобрался и «лавочку раздачи подарков низшим чинам» быстро закрыл, после чего столь же быстро стал терять популярность.

Вообще-то, в этом ничего удивительного нет! Одно из наших распространенных качеств – это что-то слезно выпросить, а потом быстро съесть или лучше – выпить.

Я помню, как в конце девяностых годов тогдашний губернатор края Николай Игнатович Кондратенко, только вступивший в должность, объезжал северные районы Кубани. Картина была кошмарная, некогда процветавшие хозяйства пугали остовами разгромленных ферм, голодный скот с предсмертным стоном тонул в навозе. По запущенным до всесильного пырея пашням сновали мышиные полчища. На Кондратенко, отдавшего сельскому хозяйству края всю жизнь и вкусившего плоды его процветания, страшно было смотреть.

– Что, жидовские прихвостни, смотрите?! – кричал он, потрясая пудовыми кулаками перед понуро стоящими руководителями района. – Да вас ревтрибуналом надо!..

Вечером, после забойного телерепортажа на эту тему звонит мне многолетний приятель Паша Майоров и говорит:

– Я думал, ты мне друг, но, к сожалению, в очередной раз ошибся. Ты ведь знаешь, Володя, что я еврей, но жена у меня русская, и что самое ужасное – теща русская. Так вот после твоего репортажа, ты бы послушал, как они на меня орали: «Из-за вас, жидов, у нас все неприятности». С твоей подачи на меня повесили и мышей, и черепашку, и колорадского жука, и даже американскую белую бабочку. Единственное, от чего мне удалось отмазаться, – это от жужелицы, поскольку ни они, ни я не знаем, что это такое!..

Особенно безрадостная картина ожидала нас в куцевском совхозе «Степнянский». Он был построен в голой степи по целинной программе, объявленной ещё Хрущёвым, и сразу приковал вни-



мание краевой прессы. Сколько по этому поводу было сказано и написано громких слов, сколько снято передач! В том хоре был и мой звонкий молодой голос...

Я помню, как у кромки ну просто бескрайнего пшеничного поля брал интервью у первого секретаря Куцевского райкома партии Ивана Радченко, этакого широкого, пырьевского колхозного персонажа. Сверкая лысиной и энергично жестикулируя, он рассказывал о фантастических урожаях, увесистых надоях, об агрогородках, населенных дружелюбными трудолюбивыми селянами, при этом с нескрываемой любовью перетирая в ладонях горячие зерна и целуя тучный колос.

По итогам той жатвы Радченко стал Героем Социалистического Труда и тем самым окончательно завершил портрет любимых Пырьевым сельских киногероев – радушных, умелых, настоящих кубанцев, что радовали всю страну бессмертным фильмом под названием «Кубанские казаки»...

И вот сейчас, жарким летним зноем, бредем улицей того самого агрогородка, яркие фотографии которого ещё недавно украшали самые читаемые в стране газеты и журналы, опустевшего, как перед вражеским нашествием. Жуть берет! Огромная автобаза, построенная по современному проекту из прочного железобетона, с боксами для машин, ремзоной, смотровыми площадками, помещениями для отдыха водителей, удобным административным корпусом, разбита в прах прямым попаданием человеческого безумия.

На территории с оторванными воротами (и всем, что можно оторвать) вольно разбросаны скелеты машин – без колес, с выбитыми стеклами, вырванными внутренностями, а вокруг ни одной живой души. Подумалось: вот в каких декорациях Тарковскому надо снимать свои удручающие мировой безысходностью фильмы. Ни один съехавший умом фантаст ярче не придумает...

У Кондратенко лицо багровое, желваки ходуном, губы шепчут слова, которые ни одна телекамера не выдержит. Я его понимаю! Он – крестьянский сын эпохи военной голодухи, когда любую краюху делили на четыре части: армии, заводам, детям и последнюю, самую малую – себе... Делили и надеялись! Надеялись на лучшее, тем и жили.

Я-то помню, как массово горели глаза, когда открывали эти поселения, символ новой крестьянской жизни, о которой мечтали поколения, десятилетиями недоедавшие и недосыпавшие. Под духовой восторг колхозных оркестров, лихой каблучный перестук и песни агитбригад, под восторженные крики: «Вот она – наша новая Куцевская, славная что в труде, что в бою!».

Ведь где-то рядом, на таких же полях, летом сорок второго года опрокинула немецкие танки казачья лава генерала Кириченко. Увы, сегодня Куцевская на всех языках звучит как пугающий символ бесчеловечной жестокости и неукротимой алчности...

Идем дальше. Дальше ещё краше! Возле разбитой в дым совхозной бани в зековской позе, касаясь задницами дорожной пыли, сидят на корточках четыре хорошо подданных мужика, расхристанные, небритые, в опорках на грязных ногах, слюнявят сигарки беззубыми ртами.

Кондратенко справился с собой, настроен мирно поговорить:

– Ну что, хлопцы, так и будем жить?

– А че, нам хорошо! – пересмеиваясь, отвечают, не отрывая задниц от земли.

– Чего ж хорошего?! – ещё очень даже мирно спрашивает Николай Игнатович. – Баню вот зачем порушили?

И тут самый наглый, швыркающий носом, этакий самодовольный заводила-подстрекатель, подымает нечесаную башку и, пуская сквозь ноздри вонючий дым, говорит:

– Мужик, ты, кажут, с края? А че нам привез – выпить, закусь? Баню? Да она нам без надобности. Мы, если приспичит, в ставке скупаемся, на травке обсохнем. Лучше скажи, чем народ порадуешь, че привез?

– Ты куда котлы дел, сукин сын? – в голосе губернатора слышались раскаты приближающейся грозы.

– А ты не гони! – ещё больше наглет заводила. – Ты меня прихмели сначала, а потом спрашивай! А котлы мы вчера, хе-хе... цыганам спроворили. Сейчас вот отмечаем... Хе-хе, присаживайся!

Хлопцы противно заржали, им разговор явно нравился – во Павло дает!

– Котлы... цыганам! – голосом шолоховского Нагульнова про-

рычал Кондратенко. – Да я тебя... мать твою! Юрка, выключи камеру!.. – это Архангельскому.

Помните, как в «Поднятой целине» краснознаменец Макар Нагульнов «учил» кулака Банника, пригрозившего стравить семенное зерно свиньям, лишь бы не сдавать колхозу, – рукояткой нагана по морде. Я видел «Кондрата» во гневе, но таким – никогда!

Заводила, уловив, что сейчас его втопчут в пыль, стартанув прямо с карачек, разбрасывая костлявые ноги, побежал за ближние плетни, впереди «хлопцев», тоже убежавших изо всех сил в разные стороны.

– Что же это творится?! Какой же бес в них вселился? – ни к кому не обращаясь, удрученно бормотал губернатор, возвращаясь к притихшему вертолету.

Мне казалось тогда, что нет силы, способной вернуть этой земле созидательные стимулы. Но я ошибся! Сила пришла, и пришла с самой неожиданной стороны. Была она свирепа до степеней невозможного, представлений, не укладывающихся в рамки нормального общества. Кто мог подумать, что рядовая колхозная кладовщица, такая нахальная, наетая до телесной бесформенности тетка, выросшая тут же, среди кизяков, подсолнухов, вареников и мешкотары, скупит все окрест и станет олицетворением новоявленного плантарторства. Любая промашка в батрачестве на неё, настоящую Салтычиху, будет караться радикальным способом – «монтажкой по башке». Сам видел по TV такую надпись на дверях современной кубанской помещицы, разъезжавшей по запуганным хуторам в бронированном «Мерседесе», в окружении «цепных псов». Они и «взяли за глотку» отважную некогда станицу Кущевскую, местные «цапки-цаповязы», доморощенные идола, с размаху выбивая кистенем по черепам, вжатым в плечи, репутацию «образцового фермерского хозяйства», опоры «нового порядка», очень похожего с тем, что пытались установить здесь оккупанты трагическим летом 1942 года...

### Кончина адыгейского помидора

Как ни старался президент Совмен вернуть к жизни адыгейский томат, а ничего путного из этого не вышло. Однажды в Мо-

скве на Центральном рынке, что на Цветном бульваре, я случайно увидел Марию Владимировну Миронову, легендарную актрису и мать незабвенного Андрея Миронова. Закутанная в шаль и уже мало кем узнаваемая, она тяжело шла вдоль торговых рядов, похожих на выставочные витрины, и приценивалась к плодовоовощному изобилию, нагроможденному сверкающими египетскими пирамидами. Мне стало любопытно, и я по возможности с отрешенным видом пристроился неподалеку. За каждой такой пирамидой стоял жгучий брюнет – усатый, с хитрыми глазами и улыбкой профессионального плута, этакий базарный меняла из «Багдадского вора».

– Что мадам желает? – звучит вкрадчиво, с обволакивающими южными интонациями.

– Мадам желает хороший помидор! – низким, чуть хриплым голосом отвечает актриса, с нескрываемым презрением рассматривая умопомрачающие ценники.

– Вай! – кричит носатый красавец, воздевая руки над роскошной помидорной грудой. – Так это лютчие! – и склонившись, утвердительно сообщает: – Из Майкопа, бабюшка! Мамай клянусь!..

– Да ты когда-нибудь видел настоящий майкопский помидор? – криво усмехнулась Миронова. – От него за версту полевой запах идет, а от твоих, – актриса сделала сценическую паузу, – дустом тянет, как от вошебойки.

– Вай! – снова вскидывает руки враз изменившийся «меняла». – Да я тебя, старюха!..

Мгновенно сбившись в стаю, продавцы дружным ором понесли вослед величественной даме что-то свое («гыр-гыр-гыр»), видимо, восточное негодование. В России это можно, попробовали бы дома!

Я ещё какое-то время осторожно тянулся за Марией Владимировной и ее спутницей, теткой средних лет с полупустой кошёлкой в руке, улавливая обрывки разговора.

– Превратили Москву чёрт-те во что! – устало бурчала Миронова, не обращая ровно никакого внимания на «гыр-гыр». – Уже не столица России, а какой-то... Тегеран!

Это были как раз времена, когда приезжие из независимо-го Азербайджана массово осваивали Москву, становились хозяевами не только Центрального рынка, но и всего Цветного бульва-

ра и даже Трубной площади, где в конце позапрошлого века молодой Антоша Чехонте болтался из любопытства по знаменитому птичьему рынку, заноса в книжицу наблюдения и слова. «Ваше местоимение», например.

Сейчас же и все прочие столичные рынки давно и монолитно перешли под тотальный контроль кавказских выходцев, утверждавших свои правила, законы, традиции и ставшие подлинными «местоиметелями» некогда наших «местоимений». Это они поволокли в Москву и прочие российские города караваны турецких помидоров – прочных, как армавирский презерватив, и хлорированных, как московский водопровод.

Куда тут адыгейскому! Тем более овощные «обозы» с Кубани перехватывались на дальних подступах к столице такими же отморозенными «цапками», с такой же монтировкой в руках. Попробуй, российский крестьянин, доберись до московского рынка – ребра вмиг пересчитают!

Естественно, после таких «рыночных отношений» тихо скончался благоухающий запахами летней пыльцы адыгейский помидор, завяло сочное кубанское яблоко, загнулся черноморский столовый виноград по двадцать две копейки за килограмм, вымокла рассыпчатая подмосковная картошка, сгнила тугая, как полковой барабан, воронежская капуста, пропали радовавшие ещё Есенина рязанские огурцы. Нас заставили поедать модифицированные муляжи, лабораторно сконструированные из дистиллированной воды и химических элементов, и даже продовольственно всезнающий телеведущий Антон Привольнов рекомендует ныне ходить по базару с армейским дозиметром.

Когда-то Гайдар, организовавший в стране пустые прилавки, утверждал, что «рынок» все поставит на место. Он и поставил! А Юрий Михайлович словно ослеп. А чего ему смотреть в ту сторону с домашней пасекой, овчарней, коровником, птичником и прочим обширным личным подворьем. Вот откуда, оказывается, написанная на лицах краснощекая сытость семьи! При таких делах другие интересы выплывают наружу...

Как раз в пору исчезновения отечественных томатов в аккурат посреди Москвы, на берегах забавных речушек с поэтически-

ми названиями Сосенка и Серебрянка, на бывших родовых владениях сподвижника Дмитрия Донского – стольника Акима Серкиза, изрубленного монголами в схватке на Куликовом поле, энергичный выходец из того же Азербайджана стал создавать невиданное торжище под названием «Черкизон», сосредоточие всех человеческих пороков, мрачные тайны которого не в состоянии уместиться в сотню уголовных дел. Что-то среднее между таинственной Сухановской тюрьмой и невольничьим рынком Дикого Запада с гигантскими прибылями в карман жгучего «выходца»...

Вот почему нынче в массовом общественном сознании надолго укрепилась не героическая станица Куцевская, а бандитское гнездовье «Куцевка», не достопочтимое Черкизово – приют художников и влюбленных, а страшный «Черкизон», по сравнению с которым хитровские катакомбы, куда Гиляровский водил Станиславского, чтобы познакомить с московским дном, выглядят, как театральные подмостки, где доброжелательные оборванцы рассуждают о смысле жизни и высоком предназначении человечества.

Сунул бы сегодня отважный репортер Владимир Алексеевич Гиляровский во владения близкого друга московского мэра? Страшно даже подумать, что бы было! Там ведь дна до сих пор не нашли. Правда, похоже, не сильно и искали.

А кому искать? Лужкову? Телевидение не удержалось и показало однажды всему белому свету невиданный пир по случаю открытия дворца на турецких берегах, где на золоте едят, из золота пьют, сидят на нем и даже им укрываются.

Сияющий, как Али-Баба, владелец «Черкизона» радовал друзей невиданными достижениями на берегах Сосенки и Серебрянки, сделавшими его долларовым мультимиллионером. Кого только не было на том пиру! Весь российский столичный бомонд отметил, от народных артистов до «артистов» из народа, и все – сгибаясь в почтении. Ну а в центре внимания опять Юрий Михайлович, уже без декорации, то бишь кепки, во фракной паре, при бабочке, распираемый от восторга за успехи драгоценного друга.

– Тельман! – с ударением на последнем слоге иступленно, на все просторное, как зал имени Чайковского, мраморно-парчовое великолепие кричал мэр, поверженный вызывающей роскошью па-

радного банкетного пространства. – Ты наш друг! Мы гордимся тобой! Ты пример для нас всех!..

Ничего не скажешь, хорош пример, особенно для обитателей дремучих московских «хрущев», где в бедности и болезнях дождаются конца жизни вчерашние стахановцы и ударники коммунистического труда, перевыполнявшие бесчисленные пятилетки, но так и не дождавшиеся обещанного коммунизма...

Четырехлетнее президентство Совмена прошло без особой народной радости, поэтому и расставание стало без выраженной печали. Говорят, Лужков предложил другу должность, но тот отказался и уехал доживать в спокойную и надёжную Швейцарию, куда, судя по всему, перекачал накопления, добытые, в отличие от многих (если не всех), непосильным созидательным трудом. Я говорю об этом без всякой иронии, поскольку Хазрет Меджидович пришёл к своему материальному успеху через многолетнюю работу в невероятно трудных условиях Крайнего Севера.

Когда эталонный ныне олигарх, владелец «Челси» и флотилии эксклюзивных яхт, чукотский «благодетель», ещё жарил шашлыки своему покровителю, лейб-жулику Березовскому (БАБу), Совмен на той же Чукотке, стоя по щиколотку в студеной воде, долбил шурфы в вечной мерзлоте, где кроме самородков только мамонты сохраняются в приличном виде, да и то как умершие особи.

Материальное благополучие пришло к нему не в результате приватизационных махинаций и изобретательного жульничества, на которые большущим мастером был БАБ (все-таки не простой проходимец, а член-корреспондент Академии наук), ныне, как крыса Шушара, скрывающийся в туманах Альбиона, в страхе ожидая от подельников окиси таллия или полония 210-го, хотя могут и ледорубом...

Имущественное благополучие господина Совмена – результат продуктивной и, скажем прямо, талантливой предпринимательской деятельности. А какой ещё, если сам Косыгин в суровое госплановское время отметил его, как бы сказали сегодня, эксклюзивно, причём в ряду с Гагариным. Будь все такие бизнесмены, цвела и пахла бы страна родная, да вот не получается! Не получается построить у нас «рыночную» гармонию даже на такой компактной территории как благословенная Республика Адыгея. Почему – дога-

дываюсь, но от рассуждений на эту тему пока уклонюсь. Как говорил Петя Ручечник (помните сей любопытный персонаж из культового романа «Место встречи изменить нельзя?»): здоровее буду!..

## Душевный уют

Давно замечено, что даже достойным людям (а Совмен, несомненно, достойный) огромные личные состояния не приносят ожидаемого житейского спокойствия, а уж тем более душевной уютиности. Жизнь, окольцованная телохранителями, превращается в тягость, в огромную психологическую нагрузку, ибо страшно за себя, за близких, прежде всего за детей.

Особенно сейчас, в эпоху имущественного расслоения, когда большая часть гражданского общества, глядя в полупустую тарелку, наливается голодной завистливой злобой. Хотя, если честно, так было всегда, даже в «счастливое» советское время. Как-то преуспевающий и известный всей стране эстрадный кумир Леонид Осипович Утесов возмущенно жаловался поэту Михаилу Светлову:

– Представляешь, Мишенька, купил «Волгу». Посмотри, какая красавица! Выхожу после концерта, а на крыле гвоздем, – негодующий певец поднял палец, показывая размеры гвоздя, – нацарапано: «х...й». Ну, не твари?!

Мудрый Светлов усмехнулся и, нахмутив лоб, ответил:

– А чего ты хочешь, Леня?! У тебя «Волга», а у него только гвоздь...

Я часто задумываюсь над понятием «душевный комфорт», считая его единственно верным мерилom качества человеческой жизни. Есть люди, которые в поисках смысла жизни вдруг срывают с себя бриллиантовые «Ролексы», плюют в этрусские антикварные вазы, расставленные в личных покоях, бросают писающих мальчиков в мраморных нужниках и, натянув простые холщовые одежды, уходят из дворцов, от балдахинных над просторной кроватью, коллекционного фарфора, утки по-пекински и, бросив на обочине «Бентли», бредут глухим бездорожьем в поисках душевного выздоровления.

Немного, конечно, но случаи такие бывают, даже сейчас, ког-

да за деньги запросто могут угробить кого угодно, а за большие деньги, не дрогнув, задашат младенца, наступив сапогом на горло...

Однажды дорога занесла меня на север вятских лесов, на берега реки Великой. Громко сказано о речушке чуть больше лесного ручья, тихо струящейся сквозь гулкие северные граниты, раскрашенные серо-зелёными мхами. Но есть в ней, в речушке этой, величайшая тайна – температура воды зимой и летом одинакова – десять градусов. Вокруг исполинские сосновые леса, я такие видел только на полотнах великого русского берендея Ивана Шишкина. Зайдите в Третьяковку, найдите картину «Строевой лес в Вятской губернии», писанную полтора века назад, и поймете, почему многие годы художник пел песню русскому лесу, а вятскому особю. Говорят, здесь, на Великой, Шишкин больше месяца ходил буреломными лесами, пытаясь разгадать тайну, что вот уже сотни лет влечет сюда людей, чтобы окунуться в волшебные воды Великой, очищающей тело, а опять же главное – душу.

Рядом под стать огромная церковь, построенная ещё во времена Ивана Грозного, и небольшой монастырь. Сейчас в нем живет десяток монахов. С одним я разговорился. Короткая осень угасала, и братья спешили запастись дровами, укладывая их каким-то странным способом, выстраивая поленницу в виде большой закрученной спирали. Я спросил одного: почему так? Тяжело разогнувшись, он объяснил, что зимой снега достигают крыш, и тогда дрова выбирают, двигаясь по узкому коридору меж двухметровых сугробов. Способ этот называется шатровым, придуман Бог знает когда, и лучшего пока нет. Дров нужно много – морозы тут нередки под сорок, поэтому исполинские печи в храме не затухают с начала октября и по середину апреля.

Мне стало интересно, что же все-таки движет человеком, чтобы столь жертвенно расстаться с мирским и вот так самоотреченно ворочать бревна в лесной глухомани, вместо того, чтобы радоваться жизни во всех ее увлекательных современных проявлениях.

Монах внимательно меня слушал, задумчиво подымая глаза к сосновым кронам, закрывавшим полнеба, слабо улыбался в жидкую бородку и молчал. Он был сравнительно молод, от силы лет тридцать пять – сорок (оказалось, моложе – тридцать два года),

щупл телом, руки, я заметил, когда он снял грубые рукавицы, тонкокостные, нервные, с длинными худыми пальцами, как у пианиста.

– Я и есть пианист! – ответил, наконец, и тут же поправился: – В той жизни был пианистом. А здесь, как видите, черный монах.

На мои осторожные расспросы кротко улыбался и почти ничего не отвечал, заметив деликатно, что им запрещено рассказывать о «той жизни», но проводить до церкви предложил сам и вдруг при прощании сказал:

– Вообще я из Москвы! Жил в «высотке» на Котельничной набережной, родители из мира кино. Закончил консерваторию, довольно успешно концертировал, пару раз достиг даже лауреатства... А потом все обрыдло. Причем как-то сразу – суета, лицемерие, вранье, алчность, распутство... С утра до вечера!.. Люди, сами того не ведая, искушениями себя калечат! О Боге вспоминают, когда что-то надо!.. А здесь хорошо, покойно... Вот скоро придет зима, и останется одна тропа – к храму... Храни вас Господь! – он повернулся и быстро пошел туда, где черные братья, встав в цепочку, передавали друг другу увесистые чурбаки, остро пахнущие свежеспиленной сосновой корой. Он спешил, худой, чуть сутулый, в темных печальных одеждах, хрупкий, ищущий в этих местах свое представление о человеческом счастье...

Знал я ещё одну монашку, правда, из мира кино – Ольгу Гобзеву. В семидесятые годы она предстала кинозрителям ослепительной красавицей в модном тогда мини. Природа благоволила ей с рождения. Очаровательная юная москвичка обращала внимание до такой степени, что великий Бабочкин (тот самый, который играл Чапаева), набравший курс во ВГИК, из толпы страждущих сразу выделил темноволосую девушку с огромными мечтательными глазами.

Уже на первом курсе ее прямо «под белы руки» привели на съемочную площадку – наконец в нашем кино появится своя, советская Клаудио Кардинале! Эпизоды с ней вставляли в картины, как праздничные открытки, зная, что девушка обязательно полюбит, независимо от роли запомнится главным – утонченной красотой. Надо сказать, что к этому времени кинозритель уже подустал от бойких доярок, энергичных сварщиц, станочниц в замасленных комбинезонах и неудержимых в напоре комсомольских активисток.



Очень хотелось иметь свою Джульетту, а Оля Гобзева более чем кто подходила на эту и другие подобные роли.

Казалось, свет съёмочных юпитеров ярче и ярче будет разгораться над её очаровательной головкой. И вдруг гром среди ясного неба – многообещающая Ольга Гобзева ушла в монастырь!

Я увидел ее на одном из кинофестивалей, закутанную во все черное, голова с нескрываемой сединой обтянута платком, взгляд кроткий, улыбка грустная. Церковь в порядке исключения разрешила ей посещение кинофестивалей, но, видимо, с определёнными целями и строгими наставлениями. Сестра Ольга, уже чёрная монашка, всегда была там как бы в стороне, почти ни с кем не общалась, особенно с кинематографической тусовкой, привычно оттягивающейся до рассвета на шумных «междусобойчиках». Разные слухи ходили о причинах её ухода от мирского. Несчастливая любовь, прежде всего, но, по-моему, точнее всего причину определил тот самый чёрный брат, что из вятских лесов, – обрыдло!

## Морозовское сукно

Есть примеры похуже. 13 мая 1905 года Европу оглушила весть, стремительно разлетевшаяся с Лазурного берега. В Каннах, в собственной роскошной вилле с фонтанами и павлинами, покончил с собой крупнейший богач российской империи, сорокатрехлетний Савва Тимофеевич Морозов, промышленник мирового уровня. Ткани производства его фабрик носила половина России, причём сам он был продолжателем делового морозовского рода уже в четвертом поколении.

Ещё на заре девятнадцатого века его дед, тоже Савва и тоже Морозов, крепостной ткач из мастерских Кононова, не без труда выкупился и основал небольшое шёлковое производство, выросшее впоследствии в широко известную компанию «Товарищество Никольской мануфактуры Саввы Морозова, сына и Ко».

Мануфактурой, что переводится с латинского как ручные изготовления (поскольку в годы оные ткани плелись руками), по привычке называлось все, что впоследствии разбредось на шёлк, ситец, шевиот, бостон, коверкот, пан-бархат, креп-жоржет и даже

драп. Гоголевский Акакий Акакиевич как раз из морозовской мануфактуры «строил» свою драгоценную шинель, то есть из ткани тончайшей шерсти, которую уже тогда определяли всем понятным словосочетанием – «морозовское сукно».

Из такого же добротного материала чеховский портной Меркулов, герой рассказа «Капитанский мундир», шил парадные одежды и на Их Превосходительство гофмейстера графа Андрея Семёновича Вонляровского, и на барона Шпущеля Эдуарда Карлыча, и на консула персидского, и на поручика Зембулатова, и даже на их Благородие, вечно пьяного капитана Урчаева, который «в благодарность» за новый мундир из выборного морозовского сукна, как и положено в угнетаемые времена, огрел бедного Меркулова биллярным кием по спине.

И вот такой человек, одевавший всю Российскую империю, от гимназистов до членов императорской фамилии, зачем-то полез в петлю. Правда, если разобраться более предметно, то некоторые основания для рокового решения у Саввы Тимофеевича были, поскольку вел он себя не совсем адекватно для предпринимателя такого масштаба, вольнодумствовал, дружил с марксистами, более того, помогал им крупными суммами.

Он вообще был человеком широкой души, к тому же прекрасно образованным. Закончил с отличием Московский университет по химическому факультету, был бесконечно влюблен в театр, особенно Московский Художественный. Знаменитое по сию пору здание в Камергерском переулке куплено им, удобно перестроено и подарено МХАТу. Можно с уверенностью сказать, что без морозовских денег театральный эксперимент Станиславского и Немировича-Данченко остался бы теоретической мечтой, а Малый театр, как утверждают специалисты, «не открылся бы, а если бы открылся, то никогда бы не выжил».

Правда, существует современная и, как считается, более уточненная версия, чем просто бескорыстное меценатство. Оказывается, щедрость крупнейшего русского богача имеет более романтическое объяснение, чем стремление к политическому переустройству России под руководством Ульянова-Ленина, как впоследствии трактовалось в советской прессе.



Савва Тимофеевич бесконечно был влюблен в актрису Малого театра Марию Андрееву, которую Владимир Ильич Ленин почему-то называл «товарищ Феномен». А Ленин просто так ничего не говорил, а уж тем более не делал, во все вкладывал глубокий смысловой подтекст. Так вот, сегодня существует мнение, что роман с Морозовым был партийным заданием искусительной Маши, с которым она успешно справилась и «раскрутила» потерявшего голову миллионера, как бы сказали нынче, на «самашедшие бабки».

Можно себе представить, что почувствовал влюбленный Савва, узнав вдруг, что очаровательная Машенька талантливо играет не только на сцене, в частности, в пьесе Горького «На дне», но и в жизни, и между пылкими уверениями в вечной верности ему регулярно спит с «великим пролетарским писателем». А тот тоже, гусь славный, при встречах с меценатом всегда душевно тряс руку.

– Голубчик вы наш, – рокотал в прокуренные усы, – где найти слова признания за ваше доброе и чистое сердце?!

От степени такого цинизма повеситься, конечно, можно, особенно столь тонкому и увлеченному человеку как Савва Морозов. Но в последнее время появилась и другая версия этой истории. Будто Савву, выдузив у него под «Машку» сотысячный транш на поддержку бомбистов, угробил Леонид Красин (в довоенное советское время широко известный как ледокол), большевик с подпольным стажем, боевик, которому кого-то прикончить, что в табакерку чихнуть.

Но лично я думаю, это плетут со зла к большевизму вообще, а к Красину в частности. Вон недавно новый ледокол, опять его имени, снова вызволял из ледового плена в Охотском море какие-то зазевавшиеся суда.

История с Андреевой просто стала последней каплей в этом «сучьем» мире, где нет, не было и не будет ничего святого, – сломался Савва!

А Андреева с Горьким после этой трагедии с комфортом покатали по Европе, потом первой-классной паровой каюты – в США (не исключено, что на деньги того же Морозова). Цель – вроде политическая иммиграция, но много позже, сразу после смерти Горького, большевики признались, что Марию Андрееву Ленин

не зря называл «Феноменом» – под этой кличкой она числилась в агентурном досье и, как утверждает БСЭ (Большая советская энциклопедия), «по поручению ЦК ВКП (б) сопровождала Горького для сбора средств революционному подполью».

Маша вообще была личностью весьма затуманенной. Никто толком и не знал, например, какая у неё настоящая фамилия – то ли Андреева, то ли Юрковская, то ли Желебужская? Если в США она прибыла секретарем и помощником Алексея Максимовича, то уезжала уже в качестве жены. В такой роли она потом осела рядом с Горьким на острове Капри, где супруги прожили несколько плодотворных лет. Жили бы припеваючи дальше, да Ленин, специально приехав на Капри, не позволил...

Там, на лучезарном острове, Мария Федоровна старалась забыть грустную историю с Морозовым, да и другие подобные истории, которых у неё, видимо, было немало. Но когда потребовалось, ей напомнили, кто она такая есть, – словом «Феномен».

Поэтому последняя «грусть» уже связана с самим Алексеем Максимовичем. Однажды, уже в разгар торжества советской власти, захворавшего писателя навестили Сталин с Молотовым. Зная слабость Горького к сладкому, привезли в подарок красиво оформленную коробку шоколадных конфет отечественного производства, кстати, той самой фабрики, перед окнами которой неутомимый Зураб водрузил впоследствии в качестве корабельного паруса фигуру медного Петра, как известно, предпочитавшего горькое сладкому...

Вообще, в сталинских зловещих технологиях коробки шоколадных конфет играли не последнюю роль. Через два года после смерти Горького именно вождь посоветовал Павлу Судоплатову, известному деятелю советской разведки, использовать коробку конфет для ликвидации Коновальца, ненавидимого большевиками лидера украинских националистов (Коновалец, на беду, тоже любил шоколадные сладости).

Тогда устройство изготовил «русский Левша», он же сотрудник научно-технического отдела НКВД Тимашков, хитро замаскировав в конфетную коробку взрывной механизм, с помощью которого вылетала бритвенно заточенная тончайшая пластина. Ею и срезало Коновальцу «буйну голову», после того как Судоплатов, выступав-

ший в роли связного ОУНа, вручил ему в роттердамском ресторане «Атланта» подарок производства харьковской кондитерской фабрики. Московскую коробку Коновалец не взял бы ни под каким видом, поскольку всех «москалей» люто ненавидел.

Что любопытно, великий человеколюб Иосиф Виссарионович предупредил Судоплатова, что если при «акте» пострадает хоть один человек, партия спросит с него очень строго. Степень сталинских «строгостей» все хорошо знали, поэтому когда на глазах у всех голова Коновальца отделилась от туловища и улетела в открытое окно прямо на крышу соседнего дома, посетителей «Атланты» постигло только полубомбочное состояние. Что и говорить, дела такие делать умели!..

Однако вернемся во дворец миллионера Рябушинского, где советское правительство определило на местожительство великого пролетарского писателя с чадами и домочадцами.

Вожди тепло приветствовали больного классика, строго взглянули на растерянных врачей, а затем сочувственно и ласково погрузились в неторопливую беседу. Горничные неслышно накрыли чайный стол, а к чаю лично Сталин раскрыл подарочную коробку, подчеркнув, что в стране налажена прекрасная кондитерская промышленность, и фабрика «Красный Октябрь» выпускает вот такое чудо!

Гости предпочли с лимоном, правда, добавив в ароматный грузинский чай по ложечке армянского коньяка, а Горький почтил вниманием сталинский подарок, в охотку съев аж три пахнущих вишневым ликером конфеты.

— Действительно, чудо! — лицо Алексея Максимовича озарила знаменитая лучезарная улыбка, так нравившаяся советским пионерам и комсомольцам.

На следующий день все газеты на первых полосах сообщили о встрече руководителей партии и правительства с Горьким, где обсуждались вопросы советской литературы. Были отмечены ее огромные заслуги под руководством великого пролетарского писателя в деле укрепления коммунистических идей в широких слоях трудящихся масс.

Все бы хорошо, да вот после того визита корифей занемог не на шутку и, несмотря на паническую врачебную суету (консилиумы-

расконсилиумы), ночью впал в кому, а к утру взял и помер.

Было это теплым, умиротворенным московским летом, 18 июня 1936 года, как раз в самый разгар «большого террора». Года за полтора до этого в коридоре Смольного застрелили Сергея Мироновича Кирова, руководителя Ленинграда, подающего большие надежды молодого, но уже видного партийца. Кто убил, было ясно сразу — «враги народа», сколоченные в тайную антисоветскую организацию.

Только через шестьдесят лет отсидевший свои 15 лет, полуслепший в одиночке Владимирского централа генерал разведки Павел Судоплатов написал, что никакие не враги, а ревнивый муж расквитался за измену жены с выдающимся трибуном и лидером ленинградских коммунистов.

Сергей Миронович был ещё тот «топтун», не пропускал ни одной юбки! Не снимая сапог, мог делать «эти дела». На сапоги просто времени не хватало, очень занят был заботой о пролетариате.

И вот, пока страна, не жалея сил, боролась с «врагами», Алексей Максимович, несмотря на крылатый афоризм собственного сочинения «Если враг не сдается, его уничтожают!», не во всем оказался последователен. Он высказался так после восторженных впечатлений от посещения гигантской стройки Беломоро-Балтийского канала, воодушевленный энтузиазмом бодрых толп специально подготовленных зеков, весело машущих кайлом. После этого с одобрением отнесся и к лагерной перековке «социально вредных элементов», поддержав, однако, вышеупомянутым афоризмом безоговорочное уничтожение «социально опасных», то есть открытых «врагов народа», вроде тех, что убили Кирова.

И вдруг — на тебе, вступается за неразоружившихся недругов советской власти, скрывающих истинные намерения под личной видных деятелей науки и культуры. Пишет в Политбюро, звонит по кремлевской «вертушке», домогается личного приема, беспрерывно хлопочет. И за кого? За агентов международного империализма! Надоел, старый хрен, хуже горькой редьки! Мешает к тому же... Так в 68 лет (для классика мировой литературы возраст расцвета) «буревестник революции» тихо угас, сложил, так сказать, «крылья».

Боже, что тут началось! Хоронили всей страной, три номера «Правды» до отказа заполнены соболезнованиями, все Политбюро во главе с вождем встало у гроба, а потом урну с прахом несли на собственных плечах от колонного зала до Кремлевской стены, а это почти полкилометра. Орудия грохотали... У нас вообще национальное развлечение – любить после смерти.

Да, чуть не забыл! Мария Федоровна Андреева благополучно дожила до глубокой старости, скончавшись в 85 лет, за неделю до Нового, 1954 года (Сталина пережила), почитаемая как заслуженный ветеран партии с подпольным стажем. Последние двадцать лет занимала пост директора Московского дома ученых. Свой орден Ленина не снимала с груди никогда. Феноменальная была женщина, причём во всех проявлениях, и в актерстве тоже. Ирину, между прочим, в «Трех сестрах» играла, да так, что Чехов пошёл за кулисы, чтобы выразить признание...

Копаясь в книгах о прошлом и открывшихся архивах, я не перестаю удивляться людям ушедшей эпохи. Все-таки не было у них нынешней всесокрушающей алчности. Поедали, конечно, друг друга со вкусом, но в основном за идею, причём с какой-то обреченной самоотрешенностью. Я прочел как-то письмо Наума Эйтингона, знаменитого «генерала Котова», организатора и руководителя физической ликвидации Троцкого.

Письмо из Бутырской тюрьмы адресовано Хрущёву и датировано 25 февраля 1955 года, то есть через два года после смерти Сталина.

Хрущёв уже стал безоговорочным хозяином СССР и с каждым днем набирал силу, особенно после сенсационного доклада перед закрытием XX съезда партии, разоблачающего сталинские репрессии. Со слов Хрущёва было ясно – социалистическая система прекрасна, но ее сильно подпортил Сталин, которого из нашей замечательной истории надо немедленно выкинуть и забыть как страшный сон.

Так вот письмо из Бутырки Эйтингона, видного советского разведчика, который сидит уже два года (осужден ещё при Сталине), за что – слабо понимает, несмотря на выдающиеся агентурные качества:

*«Центральному Комитету Коммунистической партии. (все почтительно, с заглавной буквы – В.Р.). Выражаю мою большую благодарность за ту хорошую, честную, полную интереса и смысла жизнь, которую я прожил, и за оказываемое мне доверие, которое я всегда старался оправдать.*

*Если поможете моим маленьким детям и близким – спасибо. За то, что Вас побеспокоил – простите. Прощайте.*

*Эйтингон.*

*25 февраля 1955 г.*

*Москва, Бутырская тюрьма, камера 195»*

К Эйтингону в тюрьме относились уважительно – наслышаны были о его заслугах перед Родиной, поэтому полковник Колтунов, зам. нач. тюрьмы, под грифами «Только лично» и «Совершенно секретно» незамедлительно отправил письмо в секретариат Хрущёва.

Через месяц депешу доложили новому «хозяину» (которому, кстати, в то время лишь размышлялось о целесообразности своего разоблачительного антисталинского доклада). Прочел письмо и Сулов, уже примеряющий ряску «серого кардинала».

Результат – ноль! Так, без всякой помощи детям и близким, сидел до упора в той же Владимирской особо важной «тюряге» заслуженный-презаслуженный бессребреник «генерал Котов», а в действительности генерал-майор внешней разведки Наум Исакович Эйтингон, кавалер семи боевых орденов, помимо всего, ещё и один из активных участников «атомного проекта».

– Это когда разведчики «на блюдечке с голубой каемочкой» притащили нашим ядерщикам ворох секретной американской документации по взрывным устройствам особой мощности, а проще говоря, атомной бомбе, – рассказывал мне в Воронеже сын опального генерала профессор Владимир Наумович Эйтингон, декан экономического факультета. – Так и отбыл отец свои 15 лет. А потом, после реабилитации (уже при Брежневле), получил во искупление однокомнатную «хрущеву» в самом хулиганском микрорайоне Москвы, где и дожил до смерти... Но честью, однако, ни разу не поступился! – добавил сын с твердостью в голосе.

Когда на Кубе в 1978 году умер Рамон Меркадер, отсидевший в Мексике 20 лет за убийство Троцкого, его жена Рокелия Мендоса пожелала похоронить мужа в Москве. Комитет госбезопасности, по ведомству которого Меркадер проходил всю сознательную жизнь, так и не назвав мексиканским тюремщикам своего настоящего имени, не в силах был отказать в праве погребения на территории России одного из самых заслуженных своих агентов и принял решение сделать это тайно.

Тайно доставить тело с Кубы и захоронить его без всяких почестей, в узком семейном кругу. Ну а какой семейный круг может быть у человека, отсидевшего в одиночке практически треть жизни – сам-друг да безутешная вдова.

Тогда ничего не понимающая Рокелия кинулась к московским друзьям покойного, но нашла только Эйтингона. Несмотря на вкрадчивые рекомендации с Лубянки, он таки пришёл, мало того – во всех боевых наградах (которые до этого никогда не носил). Более того, сказал прощальную речь, подчеркнув силу идей, ради которых лучшие люди шли на Голгофу:

– Один из них – Герой Советского Союза Рамон Меркадер, который сегодня здесь, на Кунцевском кладбище, заканчивает свой многотрудный земной путь...

Кагэбешники, привычно сидя за каждым кустом и камнем, таки добились, чтобы на могиле самого известного советского боевика стоял более чем скромный памятник с нелепой надписью – «Лопес Рамон Иванович, Герой Советского Союза». Шоб никто не догадался!

Так маскировали тайну, известную даже кладбищенским собакам. Вели себя как последние идиоты! Впрочем, делали так всегда и результат получили в итоге, как и положено, соответствующий. А какой он ещё может быть, если в стране, где при жизни всего лишь трех поколений трижды менялось государственное устройство? И какая у такого государства может быть безопасность, если за одно и то же сначала награждают, а потом сажают или, наоборот, сначала сажают, а потом награждают?..

## Зуб золотой

Я более чем уверен, что даже после известных потрясений ждать от мадам Батуриной ухода в монастырь или от Юрия Михайловича (не дай Господь, конечно!) повторения судьбы «бедного Саввы» – не стоит. Не те человеческие типажи, а главное – не те времена!

Отринув в августе 1991 года эпоху «победившего социализма» и отряхнув с ног его прах за одну ночь, в виде каких-никаких, но морально-нравственных ценностей, мы тут же получили оружие неуправляемые толпы (тогда ещё от восторга), вселенский раздрай, неукротимую говорильню снова о «сброшенных цепях». Все это сопровождалось неконтролируемым воровством, безудержным пьянством, массовым бездельем, обманутыми вкладчиками, полчищами проституток из Содружества Независимых Государств, ещё большим количеством «челноков» из бывших ударников комтруда и стахановцев, бандитизмом на телеэкране и ещё более убедительным в жизни, ну и тягой к массовому переименованию, больше всего там, где все и заваривалось – в Москве.

Ну скажите, какая разница для обывателя, где его ночью огреют бейсбольной битой: на улице Степана Разина или на Варварке, на Красной Пресне или просто на Пресне? Но это стало навязчивой руководящей идеей – вот переименуем все, тогда на старой закваске новое и поднимется!

Я думаю, нет ни одного мэра на планете, чтобы при нем, как при Лужкове, произошло столь тотальное переименование всего, на что падает взгляд. Это сколько же надо денег ухлопать (а где их «хлопают», там обязательно крадут), чтобы перелицевать одни таблички на другие, а потом долго объяснять непонятливым, что ржавый речной пароход «Юрий Долгорукий» ещё вчера назывался «Маяковский», а строился лет пятьдесят назад как «Лазарь Каганович».

Не прошло и одной пятилетки, как по разоренным странам Содружества (СНГ) понеслись слухи о «сказочном острове Буяне, царстве славного Салтана». Войдя в роль столичного монарха, Юрий Михайлович, естественно, стал слушать только самого себя.

Ну, может быть, ещё «лебедь белую» – Елену Прекрасную, и превратил «желанную страну» в город перевернутых «стаканов» с нелепыми башенками над ними, чердачными светелками непонятного предназначения да шпилями, очевидно, для золотых петушков. Любой петушок обезумел бы от увиденного и от собственного оглушительного кукареканья тут же околел.

На этот раз «иноземное» нашествие на Москву происходило при широко распахнутых воротах, очень скоро превратив столицу во вселенский «проходной двор», средоточие мыслимых и немыслимых пороков, от стреляющих по гражданам пьяных майоров милиции до крупнейшего в мире потребителя тяжелых наркотиков.

Лужков образца 1993 года и Лужков 2003 года – совершенно разные люди. Тот – умелый трудяга, исполнительный дворецкий при «ельцинской» семье, разумный при выборе цели, уравновешенный при ее достижении. Этот – неуправляемый благодетель, живущий по законам «личного острова» в океане бедности. На острове «белка песенки поет и орешки все грызет». А «орешки», естественно, «не простые, все скорлупки золотые», «ядра», само собой, «чистый изумруд». Все в семью, правда, на этот раз уже собственную.

Показные благодетели на государственных постах – очень опасные для общества люди. Они живут, а главное – руководят народными массами по понятиям, которые изобретают сами, или по их указаниям эти правила строчат усердные подхалимы.

Взял, например, «царь Салтан» и подарил городу N стоквартирный дом. Заметьте, не шубу со своего плеча, а большой жилой дом, причём даже не на содержимое «орешков», что нагрызла ему старательная белка, а на средства московского бюджета. Тогда почему дом позиционируется как подарок мэра? Потому, что градоначальнику такого уровня выгоднее всего смотреться как размашистому меценату, доброму благодетелю, неутомимому заботнику, к стопам которого не хило припасть и народному артисту, чтобы потом с придыханием рассказывать по телевизору, насколько начальствующий благодетель прост, обаятелен и доступен. Не то, что эти протокольные рожи «из новых», у которых и унитаз с автоматом Калашникова. А это наш, простой замоскворецкий парень! Помни-

те, как про него задушевно пел Марк Бернес: «Паренек с московскою гитарою и девчушка в мамином платке, бродят дружной парою, неразлучной парою» и так далее?..

«Господи! Каким был простым, таким и остался!» – причитают бывшие девчушки «в мамином платке», уютные московские старушки, отбарабанившие лет этак сорок на каком-нибудь «Серпе-Молоте» и получившие от мэра к грошовой пенсии грошовую прибавку. В других городах и этого нет!

Юрий Михайлович в образе «замоскворецкого парня» и «народного градоначальника» любил общаться с народом по собственному телеканалу, непременно превращая это действие в крупное событие. Зрители, естественно, подобранные и заранее расставленные в ударных местах, выражали мэру горячее признание за все: за заботу, надежду, за то, что не покинет их никогда и не оставит без своей милости. Юрий Михайлович, конечно, обещал...

Особенно живописно выглядел при нем ведущий телепередачи, этакий услужливый малый с повадками профессионального угодника, совсем как завидовский загонщик. Что бы при этом ни говорил градоначальник, все воспринималось как изумленное откровение, после которого аплодисменты звучали уважительной реакцией благодарных подданных «короля».

Это было естественно, потому как де-факто Москва давно называлась городом имени Лужкова. А чего мелочиться, уже везде и всюду, всуе и всерьез говорили: «лужковская Москва». Был же Московский метрополитен имени Кагановича, тогдашнего хозяина столицы. А почему сейчас нельзя? Тот тоже что хотел, то и творил. Взял и храм Христа Спасителя снес, до собора Василия Блаженного добирался. И развалил бы, да война помешала...

Рано или поздно, но любая фантасмагория завершается. Эта закончилась поздно. Спасибо Президенту, умело уложившему невиданную, ну просто чудовищную столичную коррупцию в лаконичную фразу: «За утрату доверия». И на том спасибо!

О таких деятелях как Юрий Михайлович Лужков впоследствии говорят плохо или ничего. Я думаю, за чередой новых забот и потрясений о нем скоро забудут, а если и вспомнят, то опять же через красноречивый бренд – знаменитую кепку, самый распростра-



ненный в ту пору головной убор российского чиновничества, выполнявший исключительно маскировочные функции.

А зуб? А зуб остался, такой же золотой, по-прежнему острый и ненасытный. Как пасть египетской акулы...

---

## Глава 2

---

### ПОСМОТРИ МНЕ В ГЛАЗА

*Времена не выбирают,  
В них живут и умирают...*

*Александр Кушнер*

**Н**у вот, как не хотела, а умерла! – с этими обнадеживающими словами Гена распахнул дверь старого «Москвича» и начал процесс извлечения тела из душной теснины автомобильного чрева. Дело это было почти ритуальное. Вначале втягивался до пределов возможного объемный пивной живот, который при движении автомобиля обычно подпирал рулевую колонку. Затем с печальным скрипом продавленного сиденья разворачивалась вся фигура, и только после этого к левой ноге присоединялась правая, которую Гена ласково называл «грабкой». Сейчас поймете, почему! Беда в том, что правой ноги, точнее ее нижней части по коленный сустав, у Гены не было вообще, а заменял ее медово пахнувший выделанной кожей, с нарядными хромированными накладками ножной протез.

Это был дар министра обороны, причём, не дожидаясь износа, регулярно сменяемый. Как утверждал Гена, на нем, учитывая его неутомимость, испытывали достижения советского протезостроения. Но скорее, как уже считал я, военное ведомство заглаживало некую вину перед бывшим летчиком дальней бомбардировочной авиации Геннадием Максимовичем Ходоркиным, моим одноклассником и давним другом.



## На Дальнем Востоке

Вы вправе спросить: отчего такое внимание сурового министра, которому легче взять штурмом Кенигсберг, чем потом давать его участнику какую-никакую завалященскую квартирку? Тем паче, это были времена, когда половина калек, бойцов разнообразных героических штурмов, ещё ковыляла по жизни на берёзовых чурбаках, сработанных простым плотницким топором в артелях таких же безногих и одноруких.

Из окон нашей школы, где мы с Генкой всегда обретались на задней парте, видна была одна из таких кустарных мастерских. Там с раннего утра дробно стучали молотки – то инвалиды сколачивали дощатые тачки на списанных подшипниках для совсем уж обезноженных бедолаг. Мы иногда заходили туда, выпрашивая подшипники для самокатов, но чаще меняя их на самосад, уворованный у Генкиного деда, старого и злого Иохима. Белый как лунь, похожий на таежного лешего, Ходоркин дед выращивал в огороде нечто такое, что у малоподготовленного курильщика сразу вышибало последние мозги.

Мой младший брат Витька, обманчиво тихий пятиклассник, как-то втихаря «дернул» затяжечку и тут же упал без признаков жизни. Слава Богу, кое-как его отнюхали соседским нашатырем, ну а потом, само собой, выпороли. Но нет худа без добра, потом Витька долго шарахался от всякого табачного дыма.

Ну да ладно! Пока друг мой драгоценный с сопением и кряхтением выбирается из своего «Москвича», тоже, кстати, минобоновского «презента», я расскажу о первопричинах столь щедрого внимания, а потом и довольно любопытную историю, связанную с утратой Генкиной ноги. Как раз есть время!

В конце всякого пути Геннадий с сосредоточенным видом обязательно открывал капот и надолго уходил под него, что-то ощупывая, к чему-то прислушиваясь, принимаясь, при этом ни на что не отвлекаясь, обращая в сторону попутчика лишь мятые вельветовые штаны, в обширных пространствах которых помещалась задница совсем не пенсионных размеров. Глядя на этот вальяжный зад, трудно было представить, что в «школьные годы чудесные»

(как пелось в песне нашей юности) Генка был стройным кудрявым парнем, самозабвенным фантазером, бесконечно влюбленным в пилота и поэта Антуана де Сент-Экзюпери, писавшим стихи «под Маяковского» и игравшим в драмкружке железнодорожного клуба юного лицеиста Сашу Пушкина.

Он выбегал на сцену в перекрашенном анилиновым красителем цирковом парике, бабкиной манишке и сюртуке, перешитом из железнодорожного мундира старого Иохима, и вскинув навстречу софитам длинную руку, под дружное ржание зала пронзительно кричал:

*Старик Державин нас заметил  
И, в гроб сходя, благословил...*

Сергей Кириллович Державин был директором узлового клуба и смеялся пуще всех.

После окончания школы, провалившись на первом же экзамене в мединститут, куда меня Генка соблазнил аргументом, что ближе и ходить не надо – институт находился перед нашим домом – мы, в конце концов, вместе «загремели» в горный техникум, охотно подбиравший всех двоечников мужского пола и сквозь пальцы смотрящий на скудные познания в области точных наук, где не больно выедешь на рассуждениях о смысле жизни вообще, на что Генка был сильно горазд, да и я мало чем отличался.

Жили мы тогда в Хабаровске, где Геннадий родился перед войной, а наша семья переехала туда в шестидесятые годы из Свердловска вслед за отцом, назначенным в управление Дальневосточной железной дороги начальником паровозной службы. Страна тогда бурно осваивала дальневосточные просторы, заманивая туда романтиков и прагматиков. Романтиков, прежде всего, иллюзиями. Тут уж старалось киноискусство. Помните, как в популярном кинофильме того времени «Первая перчатка» колоритный председатель колхоза, в блистательном исполнении Сергея Блинникова, звал домой на Дальний Восток Никиту Крутикова, вчерашнего фронтовика, проявившего талант боксера и по этой причине осевшего в Москве.

– Вспомни-ка, ветер с Хингана снегом пахнет, а мы с тобой по первотропку на глухаря... – шептал он в ухо, да так душевно, что сманил-таки, правда, ненадолго. Тоска по красивой девушке

вернула Никиту с полпути в столицу. Девушки – они ведь основной магнит по жизни (у нормальных, конечно, мужчин).

Или «Поезд идёт на Восток», был такой забавный фильм, насквозь музыкальный, весёлая любовная комедия несуразных положений. Сам председатель Союза композиторов Тихон Хренников, обласканный лично Сталиным, во весь экран растягивал звучный аккордеон и под стук колёс пел на всю страну:

*Дует ветер молодости во все края...*

Глядите, и тут ветер! Словом, каждое утро Всесоюзное радио раздувало бодрими песнями паруса мечты, будоражило молодую поросль, призывая как можно быстрее собирать чемоданы:

*Едем мы, друзья, в дальние края,  
Станем новоселами и ты, и я...*

Ну а прагматиков манили длинным рублем, как известно, готовых во все времена ради этого лезть куда угодно – в тайгу, в шахту, штольню, в шурф, в прорубь, в омут, к чёрту на рога. Но надо подчеркнуть: власти тогда свои обещания выполняли. В этом отношении вранья нынешнего не было и в помине. Опережая события, скажу, что за два месяца летних каникул, проработанных перед десятым классом в изыскательской партии, я, рядовой подсобник, получил столько денег, что по приезде домой моя изумленная мама на полном серьезе звонила начальнику экспедиции Семену Брониславовичу Бронникову, чтобы удостовериться – не ограбил ли я, случаем, кого?

Правда, изыскательская партия работала в даурских степях (это на маньчжурской границе), раскаленных до кухонной сковороды, поэтому и добавляли нам к основному окладу всякие там коэффициенты: отдаленные, полевые, безводные, энцефалитные, пешеходные, сверхурочные и прочие щедрые деньги, отчего у моей мамы и произошло ступорное состояние, когда я вывернул на обеденный стол дорожный рюкзак. Государство тогда не жалело денег на освоение Дальнего Востока, поэтому ехали «в дальние края» эшелоны романтиков и прагматиков, заселяя «нашенскую землю», откуда сейчас, к сожалению, при первой возможности убе-

гают «на всех парусах», при отсутствии всякого «ветра надежд».

Милый моему сердцу город Благовещенск, где я не раз бывал на кинофестивале «Амурская осень» (кстати, с той же Ольгой Гобзевой), каждый год уменьшается на пару тысяч жителей, о чем честно сообщается на транспаранте, вывешенном возле гостиницы «Зоя», где в дни фестиваля живут именитые российские кинорежиссеры, тоже не Бог весть какие нынче материально (да и морально) успешные.

А в те далекие годы завербованный труженик два раза в месяц, удовлетворенно шмыгая простуженным носом, шуршал банковскими билетами весьма крупных достоинств. А как солидно они выглядели! Нарядные сотенные бумаги сталинского образца размером и расцветкой были похожи на царские «катеринки». Правда, на месте атласного бюста императрицы красовался лютый враг всякого самодержавия, бывший присяжный поверенный Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Стянутые в аккуратные пачечки, денежки воздействовали на общественное сознание посильнее всякого кино и даже старинного вальса «Амурские волны», под пьянящие звуки которого курьерские поезда дальнего следования Москва – Владивосток (во все времена, между прочим, под номером один) медленно пересекали великий Амур по знаменитому хабаровскому мосту ещё царской «чеканки», честно отработавшему больше ста лет. Сейчас мост разобрали, но новый, ещё более впечатляющий, можно увидеть и даже пощупать на пятитысячной купюре, если она, конечно, вам перепадет.

Но в пору моей неугомонной юности такие деньги при желании можно было заработать, и не методом «купи-продай», а поехав в далекую изыскательскую партию, да в какую-нибудь таежно-степную Тмутаракань, да в возрасте, когда впереди вся жизнь и любой рассвет, где бы он ни занимался, всегда в радость.

## Дом на улице Истомина

Это, конечно, неугомонный Генка подбил меня и ещё трех друзей нашей дворовой компании отправиться в экспедицию, красочно фантазируя о несметных заработках, на которые мы всклад-

чину купим вожаденный мотоцикл «Иж-49», мечту всех пацанов моего поколения. Купим и со сладостной бензиновой вонью будем носиться по хабаровским холмам, поперек утопленных ныне под роскошный проспект помойных речек Чердымовка и Плюсинка, каждый в свой день недели, вызывая жгучую зависть у одноклассников. И таки подбил!

В нашем доме в самом центре города (как бы сейчас сказали, престижном) на улице Истомина квартировало много всякого начальства, в основном военного и железнодорожного, и какая-то часть местной творческой элиты. Этажом выше, например, поселился начальник Дальневосточной железной дороги, генерал Сугак, подтянутый, подчеркнута вежливый, с приятным лицом всегда корректного человека. В квартире напротив жил другой путейский генерал, директор изыскательского института «Дальгипротранс» по фамилии Губельман.

Вот его побаивались, и немало, поскольку он один в один смахивал на Сталина: в форменной фуражке, при таких же грозных усах и почти всегда с дымящейся трубкой во рту. Присутствие в подъезде Губельмана угадывалось по густо смешанному запаху одеколона «Кремль» и дорогого табака «Капитанский».

– Опять Губельман пролетел! – ехидничал Генка, шумно втягивая генеральские запахи. Он хотя и не жил в нашем доме, но часто болтался во дворе, имея виды на губельмановскую дочку – очаровательную Соню, с рано оформившейся великолепной фигурой и загадочной обворожительно-белозубой улыбкой. Мы с Сонькой дружили. Она не заикливалась на своей внешности, была веселая, заводная девчонка, слегка авантюрная, и хотя училась в музучилище по классу виолончели, охотнее всего брэнчала на гитаре, предпочитая фугам и сонатам дворовый фольклор, всякие там частушки-переделки в стиле дерibasовского жаргона.

*Я был батальонный разведчик,  
А он писаришка штабной,  
Я был за Рассею ответчик,  
А он спал с моею женой... –*

надрывалась Сонька, обрывая изящной рукой гитарные струны.

По вечерам мы кучковались в дальнем углу, под сенью старых дровяных сараев. Однажды ночью их в одночасье спалили, и Сонька клялась, что это дело рук ее бабки – старой «народоволки» Рахиль. Мы, оглашая окрестности «блатняком», дожидались, пока начнут с треском распахиваться окна.

– Немедленно прекратите эту похабель! – загремел, наконец, турбинный голос с митинговыми раскатами. Как всегда, первым не выдержал писатель Подподушкин, живший на третьем этаже в пятикомнатной квартире. Он считался чем-то вроде классика «краевого разлива» и был известен под псевдонимом Аким Таежный. Был Аким величествен, как памятник самому себе, с вечными сумерками на мордотой физиономии, за что получил во дворе прозвище Храпоидол.

– Не дай Бог, с таким в лесу встретиться! – весело жужжала Сонька, походя сочинявшая песенки про лесных зверушек, наделая их человеческими пороками.

Аким писал пудовые романы о «бескрайних амурских просторах» и всегда носил с собой огромный, похожий на инкассаторский мешок брезентовый портфель, нередко сгибаясь под его тяжестью.

– Туда рукописи – обратно гонорары! – комментировала Сонька.

У Генки по этому поводу было иное мнение:

– Вот и снова к нашему «классику» пришло большое человеческое счастье!

Заглазно ехидничая, он намекал на то, что всякую среду в подвале управления дороги «номерных» людей отоваривал продуктовый спецларек. Но при личных встречах с Подподушкиным Генка лебезил и норовил дотащить портфель до подъезда, поскольку сам мечтал о писательской карьере. Одно время даже таскал какие-то заметки в газету «Молодой дальневосточник», правда, я не помню, чтобы их печатали.

– Да шо вы их ублажаете, Аким Петрович! – заливалась из соседнего окна собачьим лаем Серафима Вашук, старейшая комсомолка Приамурья. – Выйти да дать всем хорошенько по жопе!

В дни революционных праздников ее возили по школам, где представляли подпольной кличкой Сима-Огонек. Обвязанная крас-

ными галстуками и обколотая значками, она, несмотря на свои семьдесят лет, непременно просила, чтобы ее называли именно так – Сима-Огонек.

– О то верно! – откуда-то сверху вторил табачным рыком отставной военком края, бывший кочегар канонерской лодки «Таймыр» Макар Дубов. Перекрывая Вашук, он оглушающе басил:

– Суточный наряд вызвать и всыпать каждому! И на гауптвахту, всех до единого!

Наконец, в окне вывешивалась Сонькина бабка, старая Рахиль, достойная отдельного представления. Ещё при царском режиме ее этапом выслали в родную Читу из Одессы, где она училась на провизора. Якобы за какие-то проделки с пироксилином. Это такая дьявольская смесь, которой полусумасшедшие курсистки начала прошлого века набивали аптечные реторты и швыряли их в царских сатрапов, чтобы потом соскребать ихние останки с булыжных мостовых. Однажды я зашёл к Соньке по каким-то школьным делам и вижу такую картину. На кухне за большущим столом, накрытым газетой, сидит расхлыстанная бабка в бигудях и засаленном халате, окутанная дымом, как корабельная батарея во время цусимских сражений (курила, как все профессиональные бунтари, взапой, но исключительно папиросы «Казбек», которые Губельману давали в ларьке), и перед ней – что вы думаете? – здоровенный маузер, разобранный на части. Мурлыкая под нос, она неспешно протирает их масляной тряпочкой. Как потом объяснила Сонька, это ее главное наследство – именное оружие, подаренное бабушке ещё во времена Дальневосточной республики красным командармом товарищем Лазо.

Не обращая на меня ровно никакого внимания, Рахиль споро, в минуту-две, с железным лязгом собрала оружие, вбила в него обойму (слава Богу, пустую), прицелившись в окно, щелкнула курком и только тогда спросила:

– Тебе че надо?

Я, робко переминаясь, забормотал:

– Соне учебник по ботанике передать... Она просила...

Бабка показала «вольной» в дальнюю комнату и сказала:

– Ладно, иди!

В молодости, видать, была ещё та барышня! Ходили слухи, будто она родная сестра знаменитого революционера Емельяна Ярославского, который по первородству тоже из Читы и тоже Губельман, правда, ко времени нашего отрочества уже торжественно откочевавший под сень кремлевских елей. Но Сонька, однако, эти слухи не подтверждала и говорила:

– Зачем нашей неугомонной еврейской семье ещё Миней Израилевич, когда нам и Рахиль Соломоновны много!

Так вот, с появлением «на сцене» Рахиль Соломоновны ночной скандал стал приобретать иную звуковую драматургию.

– Софа! – вкрадчиво начинает она. – Ты слышишь, моя дэвочка? Не доводи бабушку до белого каления, возвращайся немедленно домой, если не хочешь важных неприятностей. Ах, ты прячешься! Так я тебя вижу, негодница! – Голос Рахиль постепенно приобретает базарную модуляцию. – Софа! Не спеши быть потаскухой, от тебя это не уйдет. Учти, завтра приедет Лазарь, так я ему все расскажу. Он лично замкнет тебя у кладовку на воду и хлеб. Ты этого добиваешься? Софа! Кто эти гицели, шо крутятся возле тебя? Я все вижу, я вижу, чем ты там занимаешься... Софья! Не позорь Губельманов, иди у кровать, иначе я не знаю, что с собой сделаю... Идъетка! Ты хочешь, шоб бабушка выбросилась с окна? Ты этого желаешь, неугомонная дрань? Неблагодарная! Ты кончишь желтым домом, я тебе обещаю...

Мы прятались за сараями и давились от хохота, а потом по отмашке Соньки начали хором вопить:

*Рахиль, ты мне дана*

*Небесным провидением.*

*Рахиль, ты мне нужна*

*В минуты наслаждения...*

Не дожидаясь конца скандала, в который уже вступило полдома, через дыру в заборе мы незаметно перетекали на улицу адмирала Истомина и через центр города шли к Амуру, на знаменитый Утес, где бренчали на гитаре, курили бабкин «Казбек», несли околесицу до середины ночи, а по возвращении домой выслушивали от родителей все, что в таких случаях причитается выслушать,

обязательно про казенный дом и дальнюю дорогу в том числе. Утром, стараясь не попадать на глаза соседям, тихо разбегались по своим делам, а вечером... А вечером все начиналось сызнова.

*Отелло, мавр венецианский  
Одну девчонку полюбил! –*

визгливо заводила Сонька, и мы нарочито противными голосами подхватывали:

*Любил Отелло сыр голландский  
Московской водкой запивать.*

И так далее...

## Запомни и заруби себе на носу

Поездку нашу в экспедицию устроила как раз Сонька. Она переговорила с отцом, и тот, на удивление, почти сразу согласился. Через день мы уже стояли перед Семеном Бронниковым, высоким костлявым мужиком в ношенном железнодорожном мундире с погонами, по-моему, капитана. Он был начальником изыскательской партии, которой предстояло отправиться в Борзю, в том числе и нам, пятерым юнцам, полным бесшабашной глупости.

Вы, конечно, не знаете, где находится Борзя? И слава Богу! Потому что нормальный человек, особенно сейчас, может отправиться туда только по приговору шариатского суда или по приказу министра обороны, поскольку Борзя была, есть и, видимо, долго будет восточным форпостом Отечества с невероятным количеством военного люда на случай время от времени обостряющихся обстоятельств на советско-китайской границе.

Борзя в ту пору – маленький пыльный городишко на юге Читинской области, где было две примечательности, вокруг которых и крутилась вся жизнь: важный железнодорожный узел, откуда пути расходились на Китай и Монголию, и войсковые гарнизоны, натканные за каждой сопкой. Достаточно упомянуть, что минимум два советских министра обороны в разное время служили в Борзе – это Жуков, когда готовил разгром японцев на Халхин-Голе,

и маршал Язов, которого Ельцин за участие в ГКЧП засадил в тюрьму, но потом, слава Богу, выпустил и даже, кажется, простил.

Борис Николаевич вообще, как любой широкий и крепко пьющий русский мужик, был человек щедрый и отходчивый. Но, как ни странно, для подобных российских типажей обладал совершенно невероятным, особенно для текущих дней, качеством – он никогда не ругался матом. Никогда! И это, между прочим, строитель по профессии! А где вы видели строителя, чтобы он не выражался по матушке, тем более на ответственном объекте, да ещё в конце завершения квартального плана. Я помню, когда на радость всем кубанцам футбольная команда «Кубань» в очередной раз вышла в класс «А» (по тем временам, высшая лига), и Сергей Федорович Медунов, безоговорочный хозяин «всея Кубани», приказал немедленно перестроить городской стадион (тоже, кстати, «Кубань»), чтобы к началу нового сезона на месте старого скромного сооружения стояло новое, в два раза больше и в три раза лучше. Я видел авралы, но тот общекраевой аврал могла превзойти только всеобщая мобилизация по случаю начала новой войны. Самое интересное – это планерки, которые по поручению Медунова дважды в сутки проводили ответственные советские и партийные работники. Столь изобретательного мата я не слышал до того ни разу.

Но поскольку ныне вся страна – «строительная площадка» (не в смысле стройки, а в смысле разговорного колорита), то на этом языке изъясняются все поголовно: депутаты и девственницы, моряки и пограничники, защитники среды и враги всякой экологии, очники и заочники, школьники и школьницы, профессора и бомжи, зеки и конвоиры, слабые и сильные, генералы и рядовые. Боже, а как красочно общаются на нем «звезды» шоу-бизнеса! Может быть, менее изысканно, чем кордебалет Большого театра, но очень зычно! Я уже не говорю о мире кино, театра, литературы, конечно же, педагогики, обсуждающей вечные реформы, и особенно медицины. Вот он, подлинно современный русский язык, на котором мы разговариваем друг с другом минимум последних лет двадцать.

Несомненное «завоевание» текущего времени – это выход ненормативной лексики из сумерек векового подполья и ее



триумфальное шествие в публичном формате, но уже не на заборах и воротах, а в широкой прессе, по телевизору, в театральных спектаклях, кино и книгах. В том числе и с участием классиков, например, утонченного эстета Андрея Вознесенского, с ностальгирующей слезой и изысканным матом вспоминавшего в «Виртуальном романе» свое босоное детство.

А вот Борис Николаевич, несмотря на подлинно босоное происхождение, тем не менее, матом не ругался и другим не позволял. Мы, кстати, время от времени пеняя его (наверное, есть за что), как-то не сразу замечаем, что он первый и пока единственный деятель в российской истории, сделавший три уникальные вещи: добровольно ушёл с поста главы государства, сам привел на свое место преемника и, наконец, публично попросил у народа прощение. До него этого никто никогда не делал и делать не собирался. Все как раз наоборот (ближайший пример – Горбачев). Как ни странно, но Ельцин молча проглотил известие, а в итоге смирился, что тогдашний генпрокурор выпустил из тюрьмы всех участников октябрьской бойни возле Белого дома, чего по нынешним ситуациям уж точно ожидать не приходится ни по разуму, ни по милости, ни по широте души. Даже по этому поводу сдержался, не выругался! А надо было, наверное...

Но это все попутные рассуждения, вызванные движением флюидов далеких воспоминаний о поездке в южное Забайкалье, в город Борзю, которая по нынешним временам была бы со всех сторон обставлена криминальными сюжетами. Тогда же она, та поездка, выглядела как увлекательное путешествие в духе ранних повестей Анатолия Рыбакова, правда, без классовых врагов и врагов вообще. Страна в ту пору жила в обстановке послевоенного умиротворения, и общественный порядок любой «Анискин» неподкупной рукой твердо наводил на территории, равной двум Бельгиям. Тем паче в краях, где запах «мест не столь отдаленных» перекрывал все иные ощущения.

Я помню, в типографии, которая находилась в подвале рядом с угольной котельной, отопливающей управление Дальневосточной дороги, а заодно и наш дом, работал механиком крайне нелюдимый мужик по фамилии Дранкин. Его побаивались, особенно

какой-то невероятной тяжести взгляда с лиловым оловянным отливом. Даже собаки! Пес Барсик, ласковый дворовый подхалим, готовый за обглоданную косточку ходить перед любым на задних лапах, завидев Дранкина, поджимал хвост и, выгнув взъерошенную спину, прятался куда возможно.

Рассказывали, что в конце войны Гаврила Дранкин, пользуясь редким умением, собрал из списанных деталей «американку» (этакую небольшую плоскопечатную машинку с ручным приводом) и, соорудив в ивовых дебрях левого берега Амура земляную норку, наладил там производство главного богатства той поры – продуктовых карточек, делая это с таким мастерством, что казалось, комар носа не подточит.

Однако власти быстро расщелкали, что массив выдаваемых талонов на продукты питания изрядно превышает количество нормированного продовольствия, и принялись энергично выяснять – в чем дело? Обнаружив, что минимум каждая десятая карточка – искусная подделка и действуя методом логических вычислений, а заодно и слежки за ростом благополучия соответствующего контингента, Дранкина накрыли прямо в его пещере за неправомерными делами.

Судебный процесс был показательно открытый, демонстративно громкий и трибунально короткий. В отличие от «сладкой жизни» нынешних фальшивомонетчиков, Дранкину под гул общенародного одобрения впаяли на полную катушку, то есть высшую меру наказания – расстрел. От неминуемой смерти его спас День Победы. В честь этого события казнь заменили на двадцать пять лет лагерей, из которых большую часть Гаврила отсидел на подъемном кране лагерной зоны Ванинского порта. И «проветривался» бы на той высоте и дальше, но его как успешного рационализатора советской пеницитарной системы освободили досрочно по распоряжению гугаговского начальства, правда, с условием, что если ещё раз затеет нечто подобное, то его без всякого суда прикончат неминуемо. А освободили за то, что якобы он придумал и изготовил какие-то хитрые самозатягивающиеся кандалы, при одном виде которых зеки признавались в том, чего и не было.

Но когда Дранкин вернулся снова в родную типографию, ку-

да охотно взяли, поскольку лучшего наладчика и сыскать было невозможно, его, как рассказывал главный инженер, хромой и болтливый Василий Малов, со стороны органов постоянно профилировали. То есть время от времени Гаврила исчезал и возвращался через пару суток с мятой подавленностью и взглядом ещё большей свирепости. Тот же Малов утверждал, что Гаврилу часами держали в глухом подвале под ослепительной лампой и по очереди орали:

– А ну, посмотри мне в глаза, ублюдок!

Можете себе представить, что это были за «очи», если их взгляда не выдерживал даже такой отпетый негодяй как Дранкин. Зато в Хабаровском крае долгое время ни у кого не возникало и тени желания печатать что-либо непозволительное, а уж тем более денежные знаки, которыми нынче лихие и плохо битые ребята наводнили всю страну.

Но если рассуждать откровенно, пятерым молодым хлопцам, сколоченным крепкими дворовыми традициями не лучшего свойства и впервые вырвавшимся из-под какой-никакой, но опеки родителей, жить без неприятелей и неприятностей было скучновато. Поэтому сразу после погрузки в общий вагон скорого поезда «Владивосток – Москва» мы определили главным своим врагом Сёмку Бронникова, нашего начальника, на первый взгляд, чрезвычайно противного, высокомерного человека.

Он встретил нас на вокзале и, отодвинув рукав уже нового мундира, показал на циферблат здоровенных часов марки «ЗиМ», которые выдавали всем железнодорожникам. У моего отца тоже были такие.

– Вам во сколько приказано было явиться? – проскрипел он сквозь желтые прокуренные зубы, глядя поверх наших голов.

– Так... как бы вроде... в десять! – забормотал Генка, добровольно взявший функции вожака.

– Что значит «вроде»? А точнее?

– Ну, в девять сорок! – нагло ответил я, уже в ту пору заводившийся с пол-оборота от любого, даже кажущегося хамства, от кого бы оно ни исходило. По этому поводу я имел много неприятностей, но должных выводов, к сожалению, не делал. Мама утверждала, что во мне бродят избыточные гены диковатых арма-

вирских черкесов. По свидетельству Федора Щербины, написавшего в начале двадцатого века «Историю города Армавира и черкессогаев», род Айдиновых (наших пращуров) отличался неумной непредсказуемостью в поведении, драчливостью в поступках и даже склонностью к угону скота у зазевавшихся соседей. Мама же, как и большинство кавказских женщин, была сдержанна, рассудочна и поразительно терпелива. Поэтому всегда меня учила (правда, без особого успеха), что язык надо держать за зубами. Так и на этот раз. «Чего влез?» – запоздало пенял я себя.

– Что значит «ну»? – Бронников со всей насупленностью переключился уже конкретно на меня. – Запомни и заруби себе на носу: девять сорок – это девять сорок, а не десять и не пятнадцать минут одиннадцатого, как приперлась ваша компания! Что касается «ну», то в разговоре со старшими для собственного благополучия засунь это слово, сам догадайся, куда... А если не догадаешься, я подскажу!

– Так ведь, Семён Брониславович, поезд только через час... Че спешить-то? – миролюбиво затянул Генка.

– Это не имеет значения! – отрезал Бронников. – Значение имеет только распоряжение руководства. Запомните это и зарубите на носу! С приходом состава я жду возле шестого вагона вместе с моими вещами. – Он повернулся и, заложив руки за спину, демонстративно равнодушно пошёл в сторону вокзального ресторана.

– Вот те на! – засмеялся самый щуплый, но и самый ехидный Борька Рыжкин. – Это мы, значит... сопровождающие... их чемодан... лица. Так, кажется, говорят в сообщениях ТАСС? Хороша у нас миссия...

– Главное, многообещающая! – добавил трусоватый, но самый эрудированный внук бывшего харбинского нотариуса Валерка Дербас.

– Да ладно вам! – зарычал Генка. – Тоже мне, представитель японского микадо! (Валерка был несколько монголоиден, и ему за это нередко доставалось). Все равно что-то таскать придется... Разбирайте Сёмкино барахло...

Так заглазно Сёмкой Бронников и прижился в нашей ершистой компании.

## Транссиб, Транссиб, страна моя!

Только проехав по легендарному Транссибу, можно представить себе, какая это гигантская страна, где вам выпало счастье родиться! Мне повезло, я преодолел Транссибирскую магистраль четыре раза – туда и обратно. Это было в тот период юности, когда впечатления прилипают навсегда. Когда стоишь у окна грохочущего тамбура, и ещё ничем не омраченные жизненные впечатления наматываются на сознание, незамутненные заботами, неурядицами, утратами, накручиваются музыкой радужных ощущений, кажется, что так привольно и восторженно будет всегда. Именно так, и никак иначе, стремительно поглощая пространство, ваша судьба с легким запахом угольной гари могучих паровозных котлов полетит навстречу неизвестному, а от этого ещё более волнующему и прекрасному.

Как я понимаю, нашему поколению повезло. Его почти не коснулись потрясения злого и жестокого века, выпавшие на долю отцов и дедов. Мы не воевали (просто не успели), нас не сажали (мы были продуктом новой формации), о нас заботились (мы не ведали, что такое холод и голод), нас учили (поверьте, ничего не было совершеннее советской средней школы). Нас ограждали от праздности и пороков прочным государственным заслоном из лучших достижений разума и чувств: литературы, искусства, музыки, кинематографа, радио (того удивительного советского радио, которое доносило в каждый дом самые проникновенные голоса страны) и, конечно же, спорта.

Слов нет, мы были балбесистыми, бывало, и хулиганистыми, но тем не менее, росли любознательными и любопытными, особенно, как бы сейчас сказали, в гуманитарных сферах – литературе, истории и особенно – прочно забытой ныне географии. Нас окружали прекрасные фильмы о великих открытиях и великих людях. Мы хорошо знали имена подвижников, положивших на алтарь Отечества свой ум и жизнь. С помощью потерятой на изломах школьной карты мы распахивали окно в огромный зовущий мир: вместе с командой парохода «Челюскин» ломали льды Чукотского моря, продирались тропами Ерофея Хабарова и Дерсу Узала, дышали

студеными ветрами Берингова пролива, летели через полюс вместе с Чкаловым и Грозовым, искали пропавшую экспедицию Сигизмунда Леваневского. Мы преклонялись перед сильными людьми, исполненными патриотических убеждений. Нам хотелось быть такими, как Олег Кошевой, Александр Покрышкин, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Николай Гастелло, Иван Панфилов, Лев Доватор, Иван Папанин. Я уверен, что страна без настоящих героев всегда будет уязвлена массовыми пороками, где пьянство и безделье – ещё не самые худшие...

Большинство перечисленных имен, увы, нынешним молодым людям мало что говорят, да и задача любви к «родным гробам» давно снята с повестки дня. Рыночная прибыль, и только она, проклятая, возбуждает худшие качества, поэтому и имеем нынче народный эгоизм невиданной массовости, когда всем на всех наплевать.

Однако я по-прежнему убежден, что люди, стоящие у станка, и люди за прилавком – это совершенно разные человеческие общности. Первые по зову «Вставай, страна огромная!», молча сцепив зубы, берут в руки винтовку и становятся в строй. Вторые, торопливо сгребая с прилавков барахло, «шушарами» скользят в глухие подвалы в ожидании, когда все притихнет. Им сугубо по барабану, какая власть в городе – петлюровцы или большевики, демократы или просвещённая тирания, лишь бы им было прибыльно, а значит, и хорошо...

## Смятая бескозырка

Звонко ударил станционный колокол, и вокзал медленно поплыл за окнами. Бронников за бутылкой коньяка с удобствами почетного железнодорожника (был у него на груди такой знак) разместился в мягком купе, отослав нас в последний, шестнадцатый расплацкартный вагон, мотавшийся на поворотах, как овечий хвост. Причем оказались мы в самом концевом отсеке. После нас только тамбур, где оглушительно хлопал дверьми вагонный туалет и убежали сквозь торцевое окно рельсы.

Одна волнующая радость – вагон под потолок был набит военными моряками, ехавшими в отпуск. Сразу после войны действи-

тельную на флоте служили по семь лет, но в ту пору срок службы несколько снизили, по-моему, до шести. Однако длительность армейской службы не пугала никого (в авиации – пять лет, на сухопутье – четыре) ни дедовщиной, ни какой иной чертовщиной. Много позже мой буйнакский командир гаубичного дивизиона, гвардии подполковник Леонид Тихонович Яманов, отвоевавший три года, а год провалявшийся в Кизляре на госпитальной койке, объяснял появление «дедовщины» так:

– Она возникла, когда из армии ушли последние фронтовые офицеры, а в строевые части стали призывать судимых. Они и потянули в казармы порядки и дух зоны, а противостоять уже было некому.

И он, скорее всего, прав! В шестидесятые морякам был установлен двухразовый обязательный отпуск, и радостные тихоокеанцы ехали домой целыми экипажами. В города и родные веси добирались подолгу – с Камчатки, Сахалина, из Владивостока, Охотска, Николаевска-на-Амуре – в сущности, уже взрослые мужики, крепкие, бывалые, закаленные пронзительными океанскими штормами, настоящие мореманы, не боявшиеся ни Бога, ни чёрта.

Угодив в тот вагон, мы немало подрастерялись от обилия бушлатов, тельняшек, бескозырок, бронзовых лиц, хриплых глоток. Притаившись в своем тупичке, не без робости стали ожидать, что же будет. Тем более, в вагоне был установлен казарменный порядок, и когда мы попытались закурить, в купе сразу появился широкоплечий матрос, как оказалось, дневальный.

– Эй, салажата! – хмурым басом обратился он, оглядывая стол, заваленный вперемежку просаленными и разодранными пакетами с маминой снедью. – Дымить – в коридор! Продовольственный бардак в кубрике убрать!

– Хорошо! – робким хором пролепетали мы.

– Отвечать надо не «хорошо», а «есть»! – матрос расправил лицо и, добродушно рассмеявшись, спросил: – Куда и зачем?

– Пока до Читы, а потом дальше... – за всех ответил Генка. – Работать будем в партии, изыскательской...

– Вот это хорошо! Хвалю! В школе ещё учиться? Я тоже после седьмого класса на конеферму пошёл. У нас в Белоруссии

есть такой Мстиславский конный завод. Не слышали? Знаменитый! Не лошади – слоны!.. Я там перед армией веттехникум закончил. Ветеринарный, значит.

Матросу, видать, хотелось поговорить со свежими гражданскими лицами, а нам с флотским пообщаться – одно удовольствие. Он присел на краешек нижней полки. Как-то сразу запахло атмосферой любимого фильма нашей юности «Иван Никулин – русский матрос».

– Битюгов выращивают, смотреть страшно! – продолжил старшина второй статьи Олесь Олько (он нам назвался, а мы – ему). – Копыта, что твоя сковорода! Две тонны санями в гору тянет и не охнет. Я, между прочим, в Минске на республиканском смотре юнатов серебряный жетон получил по уходу за животными, а Клюква, кобылка моя, кило сахара съела вместе с кульком. Можешь представить, вытянула втихаря из кошёлки у тётки-распорядительницы и съела. Та зазевалась, а эта съела! Ха-ха-ха! Ее потом возили на республиканскую сельхозвыставку как рекордистку по дойке.

– Кого, тетку? – спросил Рыжкин.

– Кобылу! – снова захохотал Олесь, сбросив напускную строгость.

– Как по дойке? Это ж не корова! – вытаращил глаза наивный, но зато способный, особенно в математике, Петька Фабер (он за полкласса решал контрольные).

– Э, мил друг! – матрос устроился поудобнее. – Наши белорусские лошадки почище всяких коров будут. За лактацию, это когда жеребенок у нее, по пять тысяч литров молока дают. В Мстиславке при нашем техникуме кумысная ферма есть, так люди со всей республики едут. Кумыс – он от всех болезней! Вот закончу службу, и снова туда. Уже ждут, пишут: «Давай быстрее!»

Олесь опять заразительно расхохотался и поведал, что в вагоне почти весь экипаж (кроме коренных дальневосточников) – с гвардейского эсминца «Беззаветный». После трехмесячной боевой службы в Охотском море корабль отмечен приказом Главкома ВМФ и вместо директивных десяти суток отпуска удостоен аж тридцати пяти.

– Это без дороги! – не без гордости пояснил Олесь.

– Чего это вас так отметили? – спросил я.

– За умелые и решительные действия по защите морских рубежей Советского Союза – сказано в приказе!

– Так войны давно нет? – встрял Генка.

– Войны нет, а врагов – сколько хошь! Япошки свои сторожевики переделали в краболовов и шарят по нашему дну, как у себя в кармане, – Олесь, сгорбив ладонь, выразительно показал, как шарят. – Представляешь, мы за последнее патрулирование пять браконьерских шхун притащили в Охотск. Лезут, понимаешь, со всех сторон. Один резвый сейнер удирал, пока трубу пушечной очереди не снесли. Капитан, недорезанный камикадзе, представляешь, в рубке задраилсЯ и выходить ни под каким видом не хотел, сидел, как крысенок. Уже в порту дверь автогеном резали. До последнего шипел и плевался, хотя брюхо так и не вскрыл. Врет, трусил! Говорит, это только на случай войны. Струсил, барбос!

Олесь посмотрел в зеркало, поправил бескозырку и, уравнив звездочку с носом, добавил:

– Наш корабль заслуженный – гвардейского получил за курильские десанты. Японцев ещё тогда душевно громил, да так, что тырса от них в разные стороны летала. За Цусиму надо ж кому-то рассчитаться. Вот к осени вернемся и снова – в бой! Краб как раз подрастет, и полезет япошка неугомонный из всех щелей, а мы его по ушам! Ну ладно, хлопцы, бывайте! – он встал и, оглядев ещё раз нашу обитель, напомнил: – Вы хоть и гражданские лица, но за порядком следите. А то попадете под руку Жеки Лютого, он вам наряд вне очереди и выпишет. Узнаете тогда, что такое корабельная дисциплина...

Главстаршина Лютый, балакавший на полтавской мове двухметровый богатырь, был старшим по вагону. Его зычный голос, долетавший пока издали, и без наряда приводил нас в трепет. Олесь объяснил, что сопровождающие отпускную команду офицеры, как положено, едут в купированных вагонах, а тут власть целиком у боцманов.

– Наш боцман – всем боцманам боцман, и Лютый он не только по фамилии. Однако скажу прямо, грозен, но справедлив... и товарищ надёжный!

– А если расслабиться чуток в хорошей компании? – спросил

кто-то из нас, выразительно прищелкнув по горлу (дома, во дворе, мы «Анапой» уже баловались).

– Ты шо! Ума лишился? – опешил Олесь.

– На губу посадят? – засмеялся Дербас.

– Хуже, дорогой! – от добродушного гостя и следа не осталось. – На первой станции снимут и ту-ту – обратно. А там и на губу по полной программе, и ещё че похуже, с комсомолом обязательно разберутся. Привыкайте, хлопцы, к флотскому порядку, и жизнь сразу интереснее станет! – он с шиком вскинул руку к виску и ушёл, оставив острый запах сапожной ваксы.

## Полундра!

Кстати, в серьезности предупреждения дневального мы вскоре убедились. Есть на Транссибе станция Могоча. Это как раз в том гиблом месте, где магистраль слегка подворачивает на север, к зоне вечной мерзлоты. Места здесь даже для суровой сибирской дремы исключительно мрачные. Ещё в далекие времена самых неугомонных декабристов сюда и определяли на вечное поселение. Не зря после этого стали говорить:

– Бог создал Сочи, а чёрт – Могочи!

Так вот в этих самых Могочах одного из матросов нашего экипажа чуть не ссадили. А проступок-то пустяковый, тем более с нашей «колокольни». Во время стоянки парень вышел на перрон в тельняшке, а тут патруль!

– Документы! Одеться по форме! Следовать в комендатуру! – голосом, как железом по стеклу...

Боже, как забегали все! Побелевший до полотняного состояния матрос влетел в вагон (стоянка всего десять минут). Через три мгновения он и Лютый, одетые по всей форме, в бескозырках с белым верхом, уже мчались, нет, летели в конец станции, к дверям вокзальной комендатуры. Остальные прилипли к окнам. Выскакивая, Лютый рывкнул:

– На платформу запрещаю!

– Снимут Лёху! – сквозь зубы причитал Олесь. – Как Бог даст, снимут! А у него в Алапаевске через неделю свадьба...



– Да прекрати каркать! – бормочет кто-то напряженным голосом. – Может, обойдется!

– Обойдется? – недоверчиво тянет мрачный голос с верхней полки. – Знаю я этих комендантских... Тем более на «железке». Псы сторожевые! Говорил я Лёхе, уйми восторги... Нет, Наташка меня ждет! Вот и дождется дулю с маком твоя Наташка...

Все взгляды – на массивную дверь комендатуры, но та монолитно врезана в кирпичную кладку ещё тех, царских строений, от которой сибирской ссылкой и сейчас несет за версту.

Наконец из дверей неспешно вышел перетянутый ремнями начальник патруля, тот самый старлей, что задержал матроса Лёху. Вольно опершись на деревянный барьер, взглядом ястреба стал рассматривать состав, выискивая очередную жертву. Но на перроне, возле кипятка, только редкие пассажиры торопливо гремят чайниками, поезд вот-вот отойдет.

– Отпустят или нет? Отпустят или нет? – стучало в груди тяжёлым предметом. Время истекало. Уже появился хмурый мужик в фуражке с малиновым верхом, дежурный по станции. Неторопливо подплыв к колоколу, издал первый предупредительный звон. Через минуту ещё два, и все – поехали. А наших все нет! Мы уже считаем их своими и близкими, переживаем не меньше!

И тут дверь комендантской с треском распахнулась! Из нее вылетели радостно возбужденные Лютый и Лёха. Со всех ног ринулись они к поезду, но тут же натолкнулись, как на стенку, на того старлея. Но что значит выучка! На мгновение приостановившись и подобрав ногу, они перешли на парадно-строевой: «Смирно! Равнение нале-во!».

Руки в синхронном приветствии подброшены к натянутым на бровь бескозыркам. Вытянувшись в струну и оглушительно печатая шаг подошвами тяжелых ботинок, моряки прошли мимо старшего лейтенанта пехоты, всем видом подчеркивая выправку и неукоснительность законов корабельной дисциплины. Знай тихоокеанцев! Полундра, братва, едем!

Уже на ходу сильные руки подхватили бегущих ребят и стремительно втащили в вагон, звонко отстукивающий стыки. Дальневосточный экспресс набирал скорость. Мрачный старлей, как тень

вполне реального страха, остался на опустевшей платформе, а командный голос Лютого долго сотрясал вагонные полки. Все на той же полтавской мове он громоподобно сообщал экипажу, что думает по этому случаю и что сделает с каждым, когда вернутся они на родной эсминец, что ожидает их во владивостокском доке, считающая с бронированного днища солевые наросты океанских походов.

Бравая команда «Беззаветного» слушала боцманский разнос со счастливыми улыбками до ушей, а Леха, сверкая на парадной фланельке знаками матросской доблести, сидел, уткнувшись лицом в смятую бескозырку. Ещё не верил своему счастью! Видать, старший воинский начальник станции Могоча был не столь суров, как места, где он комендантствовал.

## Сорри!

Флот и военные моряки были предметом особой гордости граждан той страны, которой уже нет и никогда не будет. Туда брали самых лучших, самых сильных, самых рослых парней из всех союзных республик. Вот и праздник военно-морского флота в том же Хабаровске являлся горячо ожидаемым и воистину всенародным событием, почти как первомайская демонстрация. На Амуре, ближе к правому берегу, накануне выстраивались в кильватерную колонну корабли пограничной флотилии, свежепокрашенные, расцвеченные флагами сторожевики и канонерские лодки. Толпы оживленных горожан, усыпавших высокий берег, с нетерпением ждали сумерек.

И вот светило наконец уходит под знаменитый мост, и тут же по чьей-то невидимой команде ярко озаряется чернеющее небо. Вопли восторга вплетаются в орудийный грохот. Парад и праздничный салют были зрелищем, которое зажигало глаза и души, особенно мальчишек, поголовно мечтавших о ратной славе. Конкурсы в морские военные училища превосходили мыслимые пределы. Наш приятель с улицы Серышева Витя Кудakov, вечный отличник и лучший спортсмен школы, поехал поступать во Владивосток в высшее военно-морское командное училище и... пролетел, как фанера. Бедный, полгода ходил подавленный, как монашествующий инок, не общаясь ни с кем, зубрил математику и физику. Зато на

следующий год поступил с блеском и приехал на каникулы, усыпанный по всем местам золотыми якорями.

Сонька Губельман, встретив его во дворе, восторженно всплеснув руками, воскликнула:

– Ба, Витя! Какой ты... муаровый! Прямо как Вячеслав Тихонов в фильме «Максимка»!

Вячеслав Тихонов был ее любимый актер. Однажды она призналась, что писала ему длинные письма, но, к сожалению, без ответа.

– А ты все такая же ехидна! – обиженно протянул нарядный Витя.

– Все такая же! – Сонька согласно тряхнула гривой и во всю свою луженую глотку запела:

*Отчего у нас в деревне  
У девчат переполох,  
Кто их поднял спозаранку,  
Кто их так встревожить мог?  
На побывку едет молодой моряк.  
Грудь его в медалях, ленты в якорях...*

Это был, как бы сказали сейчас, забойный шлягер, с которым входила в известность Людмила Зыкина, тогда просто Люда, простая московская дивчина, медовый голос которой сильно укреплял советские военно-морские силы. Каждое утро он звучал по радио, и все про него, про молодого моряка, что так тревожил девчонок всей страны. Прекрасные были времена...

Как-то вечно занятый отец нашёл возможность прихватить нас с братом в служебный вагон и повез из Хабаровска во Владивосток, где я испытал чувство, близкое к обморочному состоянию. И совсем не от океана, который, прикрытый Русским островом, смотрелся из города на высоких холмах замкнутым водным пространством, окаймленным синеющими берегами, а от серо-стальных махин – боевых кораблей, стоящих на рейде Амурского залива. Даже на расстоянии от них исходил какой-то священный ужас. До этого прожив осознанную жизнь возле железной дороги, я рукотворных предметов больше паровоза и не видел. Прав-

да, дымный локомотив «ФД» (Феликс Дзержинский), тянувший составы по полторы сотни груженных вагонов, тоже поражал любое воображение мощью, окутанной свистящим паром и запахом горелого масла, особенно когда на узловой станции занимал все видимое пространство.

Сейчас об этом помнят только старые люди. Россия – одна из немногих стран Европы, не имеющая национального транспортного музея. Воспетые в державных гимнах паровозы, вытянувшие советское государство из дикой послевоенной разрухи, с появлением тепло- и энерготяги долго гнили в забытых тупиках, пока спущенные с цепи горбачевские «кооператоры», алчно расталкивая друг друга, не «порвали» их на ржавые куски и не продали за гроши туркам. Те, в свою очередь, перепродали итальянцам, но уже, само собой, по реальной цене, впятеро дороже. Там, возле Неаполя, в огнедышащих мартенах Беньоли и завершились наши ударные пятiletки, кривоносовские (Кривонос – знаменитый машинист) рейсы, стахановские маршруты, на которых рвали пупы и жилы прадеды да деды. Нынешнему поколению от тех «народных» паровозов остались только серенады про «кондуктора» и «сиреневый туман». У нас вообще принято при любой общественно-политической формации в прошлое плевать изо всех сил, поэтому и колотит настоящее (я уже не говорю о будущем) дубиной по пустой башке.

Но вернемся, однако, к боевым кораблям, особенно к лодкам, которые их строили, а конкретно – к прочно забытому ныне адмиралу флота Советского Союза Сергею Георгиевичу Горшкову.

За всю советскую историю в таком звании пребывало трое, три живые легенды: Николай Кузнецов, Иван Исаков (Ованес Исакян) и Сергей Горшков. Последний тридцать лет (дольше всех) командовал военно-морскими силами СССР.

Он скончался 18 мая 1988 года, и в скороговорке дежурного некролога, подписанного уже Горбачевым, ни слова не сказано, что именно при Горшкове был создан океанский атомный флот, который настолько изменил соотношение сил в мировом пространстве, что стоило возле любого американского авианосца показаться из пучины мокрой шкуре советского атомного чудовища, как разговор шёл уже с применением «сорри». Для впечатления о «чудовище»

могу добавить, что горшковская «Акула» (американцы ее иногда именуют «Тайфун») имеет водоизмещение в 50 тысяч тонн (пятьдесят тысяч!). Страшно даже представить! Это в двадцать пять раз больше, чем знаменитая «С-13», что зимней ночью 1945 года под командованием Александра Маринеско отправила на балтийское дно самый крупный гитлеровский транспорт «Вильгельм Густлов», под завязку набитый отпетыми атлантическими пиратами, экипажами сорока подлодок вермахта, перемещавшимися для дальнейших злодеяний из Либавы в Штеттин. А если «для впечатления» добавить ещё два десятка ядерных межконтинентальных ракет с точностью наведения до пяти метров в радиусе, то уважительное «сорри» будет естественной реакцией, подтверждающей паритет сверхдержав, который реально существовал в «горшковские» времена.

Сегодня «сорри» нам никто не говорит. Но, слава Богу, спохватились, по шпангоуту собираем утерянное, видимо, вспомнив вещице заветы Петра Аркадьевича Столыпина. Он хотя и родился в Дрездене, но всегда утверждал, что «у России есть только два союзника – это ее армия и флот». В отличие от того же Горбачева, который хоть и появился на свет в глухой ставропольской деревне, но зарабатывает на старость тем, что в той же Германии предлагает местным толстосумам за пару-тройку сотен тысяч евро отужинать в компании с ним свиной рулькой под шнапс и квашеную капусту. Самое смешное, что ужинают и платят! Сорри, но тогда не терпится спросить: насколько потянет совместно справиться нужду? Этот ресурс, я полагаю, перспективен, тем более, его можно разделить на две функции – малую и большую. Если цена сходная, бургеры, особенно после пива, в очереди будут стоять. Я их возможности знаю, пару раз бывал на знаменитом Октоберфесте – мюнхенском пивном фестивале, где физиологические процессы отлажены, как Ниагарский водопад. Моя мать в таких случаях говорила: «Чего не сделаешь, если совести нет и никогда не было!».

А вот Витя Кудаков, застенчивый романтик, несмотря на весёлые Сонькины подначки, стал вице-адмиралом, командиром соединения атомных субмарин. На его командирской тужурке не хватало места для знаков боевого отличия, а вот жизнь оказалась не слишком длинной. Витя погиб в той печально знаменитой авиака-

тастрофе, что одномоментно унесла весь командный состав Тихоокеанского флота.

Было это, когда впавший в старческие сумерки Брежнев не в состоянии был управлять страной, и незаметный до поры государственный бардак, слившись в семейно-приятельский хоровод, «весело» закружился вокруг кремлевских башен, приближая национальную катастрофу. Сыну – пост замминистра, зятю – народного артиста СССР и Гертруду (Героя соцтруда), свояку – генерала армии, другому зятю – генерал-полковника, ордена любые пригоршней. Остановить межсемейную вакханалию было уже немыслимо! Смачные поцелуи генсека возросли до уровня высшего государственного признания, и заполучить его рвались самые бессовестные.

Вот когда начинались «танцы со звездами»! Это и привело к настоящему, а не эстраднему «ледниковому периоду», когда промерзло все до омертвевшего состояния, а самое страшное – основополагающие человеческие достоинства: Совесть, Честь, Долг.

«А какие у вас с ним отношения? Или у него с вами?» – это вопросы, которые чаще всего задавали друг другу (а сейчас так тем более) с желанием продвинуть дельце с обязательным шкурным интересом. Все иные механизмы (законы, постановления, параграфы, правила) только декларировались, в лучшем случае играя роль расписного холста в каморке папы Карло.

## Медные трубы

Поскольку по жанровой особенности (записки все-таки – не роман) я уже «съехал» с колеи основного сюжета (вернусь обязательно), то хочу рассказать историю, которая, на мой взгляд, как нельзя лучше подтверждает, что были в нашей действительности люди (и немало!), для которых слова присяги всегда оставались критерием смысла жизни. Именно им, прошедшим страшную и поучительную войну, принадлежит создание в послевоенной Советской Армии системы осознанной дисциплины и жесткой требовательности, когда от проходной станции Восточно-Сибирской железной дороги до элитарного подмосковного Звездного городка действовали порядки, одинаково распространенные на всех, от

безвестного матроса до прославленного космонавта.

Мы любили и гордились своей армией. Парни того времени шли на призыв под «Прощание славянки» и не прятались по подвалам да за гаражами от участкового инспектора, а уж тем более – за «мамкин подол». Служба в армии была почетным долгом не на словах, а на деле. Служили все физически здоровые ребята, все, кому исполнялось восемнадцать лет, вне зависимости от кадрового и имущественного положения родителей. Хотите подтверждение? Пожалуйста! Никита Михалков, уже жутко популярный юноша, снявшийся в фильме «Я шагаю по Москве», имевший папу, дай Бог каждому, отложил до лучших времен задуманный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «отрубил» положенное не за кулисами театра Советской Армии, а рядовым матросом в камчатской боевой флотилии. Этот штрих биографии всегда будет вызывать к нему уважение, одному из крупнейших в мире кинохудожников, что бы там ни говорили и как бы ни царапали себе лицо ядовитые завистники.

Так вот, продолжу о Звездном городке, который после 12 апреля 1961 года представлялся стране как райское место, где в уважительном довольстве пребывают былинные богатыри, герои-космонавты. Однако мало кто догадывался, что даже после полета Юрия Гагарина, когда весь мир восторженно стонал от одного упоминания этого имени, в наглухо закрытом гарнизоне в плане дисциплины ничего не изменилось. Было так же жестко, строго, как в любом армейском подразделении.

В тени славы Гагарина в ту пору совсем не просто было разглядеть человека, который командовал отрядом космонавтов, пятидесятилетнего генерала Николая Каманина. Я думаю, назначение именно его стало фактом неслучайным. Тот дальновидный, кто принимал решение, видимо, понимал, что нынешние безвестные лейтенанты-капитаны, весёлые, раскованные ребята родом, как правило, из сельских мест и службой из дальних гарнизонов, сведенные в небольшой коллектив избранных, завтра будут известны всему человечеству. Есть отчего ослепнуть-оглохнуть и потерять ориентиры! В случае происшествий это может стать проблемой посложнее, чем отделение одной ракетной ступени от другой. И тог-

да никакие рамки и ограничения не остановят обожаемых героев от сладостных искушений и нехороших поступков. Медные трубы – вещь более грозная, чем пламя космических турбин.

Николай Петрович Каманин и сам прошёл через них, да такие звонкие, что голова свободно могла пойти кругами. Он был из числа первых Героев Советского Союза, молодым командиром авиаотряда, что на глазах у всего потрясенного мира вызволял из ледового плена экипаж и пассажиров парохода «Челюскин», затертого полярной ночью во льдах Чукотского моря. Ситуация сложилась более чем трагичная. Свыше сотни человек, включая нескольких женщин и двух детей, успели в последнюю минуту прыгать на лед попеременно с торопливо собранным скарбом, но шансов на благополучный исход практически не было. До ближайших ненецких чумов сотни миль, непрерывающаяся пурга, мороз за сорок, и только тоненькая прерывистая ниточка морзянки связывала обреченных путешественников с остальным миром. Загнется последний аккумулятор, и останется слушать только погребальный вой полярной ночи.

Пароход «Челюскин», построенный в Копенгагене, затонул в первом же рейсе. Судьба его пассажиров и экипажа ожидалась ещё более мучительной, чем обитателей «Титаника», погибшего тоже в первом плавании. По всем прогнозам их ожидало медленное замерзание среди снежных торосов и ледяных застругов, зубастым частоколом окружавших место гибели судна.

Датская газета «Политикен» на третий день после катастрофы опубликовала некролог в память руководителя экспедиции Отто Юльевича Шмидта: «На льдине он встретил врага, которого ещё никто не мог победить. Он умер как герой, человек, чье имя будет жить всегда среди покорителей Северного Ледовитого океана». В публикации все было правда, кроме того, что ее персонаж был жив и просто так умирать не собирался.

Российского академика Шмидта хорошо запомнили в Копенгагене – колоритного, огромного, громогласного бородача. Он приезжал принимать «Челюскина», удивив сдержанных датчан невероятной энергией, оптимизмом и ироничным добродушием. Математик, астроном, полярный первопроходец, Шмидт за два года до

«Челюскина» уже прошёл Северный морской путь из Архангельска в Тихий океан на пароходе «Сибиряков». Но Арктика в этот раз показала, кто в доме настоящий хозяин! Казалось, впереди благополучное завершение опасной затеи, ещё немного – и забрезжат скалистые очертания Берингова пролива, а там – чистая вода аж до самого Владивостока. Но нет! В последний момент ледовые челюсти с гулким грохотом сомкнулись и потянули обреченное судно обратно в ночную мглу Чукотского моря.

Датчане, природные мореходы, сразу оценили ситуацию и в знак печали сняли шляпы в память о безрассудных русских. Что делать? Только смириться – Арктика взяла очередную жертву!

И тем не менее, шмидтовская экспедиция была спасена, все сто одиннадцать человек! Здоровыми и невредимыми их доставили на Большую землю. Последним, как и положено капитану, ледовый лагерь покинул Отто Шмидт. Подвиг этот совершили летчики под руководством двадцатилетнего командира ВВС Николай Каманина. Их имена узнал весь мир. Та же «Политикен» напечатала большущие, на газетную полосу, фотографии белозубых богатырей в меховых регланах под заголовком: «Браво, лучшие пилоты мира!».

Москва тогда впервые ввела в официальный государственный обиход невероятный по грандиозной торжественности ритуал встреч народных героев (его потом повторяют для папанинцев, Гагарина и всех космонавтов первой десятки), с массовым всенародным праздником, выходом героев на трибуну Мавзолея, засыпая открытые машины по пути на Красную площадь дождем цветов и разноцветных листовок. Гремели репродукторы, звучали песни, кричали запруженные публикой столичные проспекты, посылая героям восторженные приветия и воздушные поцелуи. Это действительно была пора всеобщей искренней радости и больших надежд!

С тех пор понятие «челюскинцы» на долгие годы вошло в государственный обиход как символ героизма, мужества и преданности Родине. Смотрите, юноши и девушки, смотри, молодая поросль, с кого надо делать жизнь! – читалось на всех плакатах.

Удовлетворение правительства тогда было оформлено в учреждение высшего государственного звания – Героя Советского Союза.

С той поры это были самые почитаемые люди огромной страны. Имена первых героев-летчиков знал любой школьник, и не только тех поколений. Я и сейчас могу назвать без запинки всех семейных: Каманин, Ляпидевский, Леваневский, Водопьянов, Молоков, Слепнев, Доронин.

## Сын героя

И вот такому человеку было доверено возглавить первый отряд космонавтов. К той поре Каманин прошёл войну, командовал штурмовыми авиасоединениями, особо отличился в боях при окружении Будапешта. В приказе Верховного Главнокомандующего, торжественно озвученном Юрием Левитаном на всю страну, снова заблистала его фамилия: «При штурме столицы Венгрии особо отличились летчики пятого штурмового авиационного Винницкого Краснознаменного орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого корпуса под командованием генерала Каманина».

За четверть века из улыбчивого, звонкоголосого лейтенанта он преобразился в сурового, немногословного генерал-полковника. Таким и пришёл в отряд будущих космонавтов. Говорят, он как-то незаметно, но почти сразу выделил Юрия Гагарина из числа своих питомцев, ещё только готовящихся к неизведанной и во многом пока непонятной судьбе. Возможно, тот чем-то напоминал ему сына Аркадия.

Судьба этого удивительного мальчика трагична, и тяжесть той трагедии всю оставшуюся жизнь давила сердце отца. Каманин хотел видеть в сыне продолжателя своего дела. Сложись все иначе, и в числе первых космонавтов мы наверняка бы увидели Аркадия Каманина, самого юного боевого летчика Великой Отечественной войны, уже в пятнадцать лет награжденного двумя орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

Знаменитый писатель Константин Симонов вспоминает, что однажды, отправляя с фронта срочную газетную корреспонденцию, он наткнулся у связанного самолёта «У-2» на мальчишку лет четырнадцати в форме и погонах сержанта.

– Ты что тут делаешь? – спросил Симонов, ища глазами летчика.



Мальчишка вскинул руку к фуражке:

– Старший сержант Каманин! Мне приказано доставить ваш пакет, товарищ подполковник!

– Ты что, летчик? – на лице Симонова обозначилась вся гамма удивления.

– Так точно! – четко ответил мальчишка ломающимся голосом.

– А долетишь? – не удержался от следующего вопроса изумленный Симонов, которому, казалось, и удивляться уже было нечему. На фронте сынов полка он видел предостаточно, правда, чаще во второй линии, при штабах или возле полевой кухни. Но чтоб у самолёта!

– Долечу, товарищ подполковник! – слегка обиженно ответил мальчишка. Приняв пакет, он лихо запрыгнул в кабину, сменил фуражку на шлем, поправил очки и, взявшись за штурвал, почти детским голосом крикнул:

– От винта! – сразу, с места, взревев мотором, уверенно пошёл на взлет.

Естественно, пораженный Симонов не удержался от дальнейших расспросов, благо, рядом оказался пожилой старшина из батальона аэродромного обслуживания.

– Сын командира дивизии, – пояснил солдат. – Аркашка Каманин. Орел! Летает, как Бог! Все рвется на штурмовик, но говорят, рановато... Умение есть, но силенок мало! А так – летчик готовый!

– Сколько же ему лет? – не скрывал удивления самый именитый фронтовой журналист. В ту пору Симонова знали все, от Верховного Главнокомандующего до этого самого солдата.

– По-моему, через пару месяцев пятнадцать будет. Он ведь возле капониров вырос. Сначала в моторах копался, потом на самолёт перешёл, – солдат попросил разрешения закурить и, вытянув кисет, собрался крутить сигарку, но Симонов предложил командирский «Беломор».

– Спасибо! Слабенькие для меня! Так вот, летную подготовку он сдавал самому Егору Филипповичу Байдукову... Ну да! Тот, что с Чкаловым в Америку летал. Когда приземлились, генерал, он позади, за второго пилота сидел, говорит: «Сынок, если я не подпишу тебе разрешение на вылет, то Чкалов мне никогда не

простит, – и показал на небеса. – Давай, летай! Там твое место!» Обнял Аркашку и трижды расцеловал. А в прошлом месяце подвиг совершил, – оживился старшина, затянувшись-таки «Беломором». – Вы запишите, товарищ подполковник, настоящий подвиг... Из соседней дивизии разведывательный «Ил-2» немцы подбили, он кое-как через линию фронта перетянул и на брюхо сел, винт погнул, загорелся. Аркашка как раз недалеко пролетал. Увидел, тут же приземлился, зарулил. Летчика вытащил, фотоаппарат с разведданными снял и быстро сюда, на аэродром. Капитана Бердникова, так, по-моему, фамилия подбитого летуна – в санбат, разведданные – в штаб. Орел, словом! Напишите о нем, товарищ подполковник, обязательно... Скажу вам, этот пацан далеко пойдёт. Только бы не сгорел там, – старшина снова показал в небо. – Тут мессеры всякий день рыщут, он уже как-то раз еле выкрутился...

Но старшина ошибся! Вскоре после войны Аркадий Каманин необъяснимо тяжело заболел (вроде как стремительно развившаяся лейкемия) и сгорел на глазах, не дожив даже до совершеннолетия. Его погребли, как павшего на поле брани солдата, под сложенные боевые знамена, с почетным караулом, орденами впереди, залпами траурного салюта, навсегда погрузив безутешных родителей в неизбывное вечное горе.

Каманин впоследствии почти ничего не рассказывал о сыне, но нередко поздними вечерами, когда пустело кладбище, приезжал. Вспоминают, подолгу сидел в оградке, комкая в руке мокрый платок... Скорее всего, именно в Гагарине он рассмотрел то, что мечтал увидеть в родном сыне.

## Серебряный Гриша

Был такой замечательный журналист и хороший писатель Ярослав Голованов (к сожалению, несколько лет назад умер). Так вот он, как никто другой, ближе всех подошёл к тайнам космической темы хотя бы потому, что после окончания МВТУ им. Баумана был распределен в конструкторское бюро Королева и принимал участие в разработке первых космических стартов. Более того, Сергей Павлович, уловив однажды, что компанейский и остроумный молодой

инженер даже отчеты и предложения по сугубо технической тематике старается расцветить красочными сравнениями и метафорами, предложил ему вести дневниковые записи, чтобы когда-нибудь написать правдивую, а главное – компетентную историю освоения космоса, без лукавства и излишней похвалы.

Я с Головановым однажды встречался в рамках подписной кампании, если мне не изменяет память, газеты «Известия», где он тогда работал и представлял в телепередаче ее интересы. Ярослав оказался милым, абсолютно доступным человеком, к тому же любителем товарищеской компании, и разговор за добрым кубанским ужином как-то сам собой коснулся публикаций на космические темы. В ту пору только чуть-чуть начали приоткрываться дверки абсолютно фетишизированной советской секретности на все, что касалось космоса. Было интересно узнать нечто земное о современных небожителях. Тогда я впервые услышал имя Григория Нелюбова, второго дублера Гагарина, так называемого не экипированного, то есть присутствующего на старте, но не готового для немедленного полета.

Если основной дублер Герман Титов был облачен в скафандр, прошёл исчерпывающую предстартовую подготовку и в случае чего мог тут же занять место в кабине, то Нелюбов оставался в обычной военной форме, но в автобусе располагался сразу за Гагариным, на всех кинокадрах раннего утра двенадцатого апреля 1961 года его хорошо видно.

Позже, в одной из публикаций, Голованов достаточно подробно описал историю выбора космонавта номер один, и она была далеко не бело-розовой, как взхлеб описывали ее советские газеты. По некоторым предположениям, первым космонавтом как раз мог стать капитан Нелюбов. Он во многом был предпочтительнее, более опытный как летчик, умелый, физически сильный, находчивый. Как личность – более яркий, всегда в центре внимания, остроумный балагур, гитарист, любитель старинных романсов, словом, душа любой компании, а в них он толк знал, в том числе и в хорошей выпивке в кругу друзей. А их у него было полно везде, где Гриша появлялся, этакий современный гусар с искусительными глазами.

Королев, гениальный провидец, прекрасно понимал, что на

человека, первым проникшего в космос, обрушится волна такой славы, что вполне может потопить его в океане всемирной любви. К тому же мы так устроены, что худшее (а оно, к сожалению, есть у каждого) при публичной известности, особенно внезапной, часто распирает до невозможности даже самых скромных до той поры. Но в чем это худшее и в какие формы, а главное, размеры оно может преобразоваться? Увы, но об этом часто становится известно только тогда, когда немного что можно изменить.

А широкая народная молва требует от популярных личностей если не полного совершенства, то нечто близкого к нему, и в случае нехороших поступков мало что прощает вчерашним любимцам. Например, после подлого убийства президента США Джона Кеннеди его вдова, молодая и прекрасная Жаклин, тут же превратилась в абсолютно обожаемую персону с оглушительным поименованием «невеста Америки». Но стоило этой «невесте» через несколько лет выйти замуж за греческого миллиардера Аристоса Онасиса («неприлично богатого человека, с лицом предводителя мафии», как ехидно называли его американские газеты), рассерженные американцы тут же потребовали выдворить коварную «изменщицу» из страны. Так что любовь к обожаемым персонам быстро превращается в пресловутую «морковь», если что не так.

Генерального конструктора Сергея Павловича Королева эти проблемы заботили. Он нередко доверительно обсуждал их с Каманиным, пережившим в свое время оглушительную славу. Надо отметить, что с приближением старта размышления и наблюдения за кандидатами в космонавты стали приобретать приоритетный характер. Кому же быть первым?

В конце концов, с учетом изучения всего комплекса личностных качеств, основная тройка предварительно сформировалась в такой последовательности: Нелюбов, Титов, Гагарин. У каждого из них были приверженцы с набором своих аргументов, где на первое место все-таки ставилась техническая и физическая готовность, иными словами, профессиональная надёжность. И тогда Королев дал указание психологам ещё раз провести на этот раз абсолютно скрытое наблюдение, чтобы составить максимально объективный человеческий портрет каждого кандидата, прежде всего, с учетом

прогнозирования его реакции на мгновенную и небывалую славу и, если хотите, определение поведенческих склонностей после полета.

Никто, кроме узкого круга особо доверенных, в число которых входил и Каманин, не знал, что такие наблюдения ведутся круглые сутки. И когда на стол Королева положили выводы комиссии (ее, по-моему, возглавлял академик Газенко), то минусов человеческого свойства у Нелюбова оказалось больше всех, а у Гагарина – меньше всех. Эксперты особенно отметили его доброжелательность, чувство товарищества, добросовестность и почти полное отсутствие претензий на личное превосходство, чем, по оценкам со стороны, грешил Нелюбов. И после этого «тройка» сформировалась окончательно. Выглядела она уже иначе: старший лейтенант Гагарин, старший лейтенант Титов и капитан Нелюбов.

Королев оказался прав, хотя даже он, с невероятным запасом аналитического потенциала, не смог в полном объеме предвидеть масштаб всепоглощающего взрыва мирового восторга, в центре которого утром 12 апреля 1961 года оказался простой парень из Смоленщины, рядовой военный летчик Страны Советов. Таким доступным и улыбчивым он остался и после своего легендарного полета, до дня трагической гибели 27 марта 1968 года. Таким мы его и помним!

А вот с Гришей Нелюбовым после гагаринского взлета стали происходить вещи, которые даже всезнающие психологи не предполагали. Он абсолютно не выдержал испытания чужой славой. Прежде всего, стал больше выпивать и однажды возле ресторана на железнодорожной станции (видите, опять станция) был остановлен военным патрулем. Вместо того чтобы покаяться, повел себя высокомерно, грубо оскорбил офицера, начальника патруля.

Каманина не было в тот момент в Звездном, он вместе с Гагариным совершал официальное турне по Индии, где воочию убедился, как трудно удержаться от осознания всепоглощающей известности, даже такому человеку как Юрий. Пользуясь отсутствием командира, за Нелюбова хлопотали, уговаривали начальника патруля отозвать рапорт, но тот уперся, затронута была офицерская честь, а в те времена это было совсем не пустым звуком.

Когда вернулся Каманин и узнал обо всей этой истории, он

не задумываясь отчислил Григория из отряда и отправил служить на Дальний Восток, в обычный строевой авиаполк, расположенный в самой глубине Приморья. Перед отъездом из Звездного, в особом отделе, Нелюбова предупредили, чтобы он навсегда забыл о своем пребывании в отряде космонавтов и вообще обо всем, что видел, что слышал, что знает.

Там, на краю света, Гриша уже издали наблюдал, как взлетели к славе и золотым звездам Героев его бывшие коллеги. Этого он выдержать не смог и стал ещё сильнее запивать, вопреки предупреждению рассказывать встречным-поперечным, что тоже из отряда космонавтов, более того – был дублером Гагарина. Ему мало кто верил, считая обычной похвальбой падающего в бездну человека. В полку речь уже предметно шла об увольнении, от полетов его давно отстранили.

Боролась за него только жена. Боролась до последнего. В день трагедии она умоляла его не выходить из дома, поскольку дорога у Григория всегда лежала в одну сторону – в винный отдел местного военторговского магазина.

– Обещай мне, Гриша! – умоляла она. – Скажи, что ты останешься дома! Скажи, что будешь меня ждать! Посмотри мне в глаза! Ну посмотри, Гришенька!

Гриша смотрел и обещал, тем не менее, жена для верности заперла его на ключ и ушла на работу с привычно тяжелым сердцем. Но неслучайно во всех служебных характеристиках подчеркивалась изобретательная находчивость Нелюбова, особенно в критических ситуациях – он спустился по бельевой веревке через окно третьего этажа и таки ушёл...

Трудно сказать, куда его несли пьяные ноги, но изувеченный труп нашли в нескольких километрах от военного городка, возле насыпи Транссибирской магистрали. Составом он был отброшен в глубокий сугроб.

– Там и закончилась недолгая жизнь Гриши Нелюбова, – грустно завершил рассказ Голованов. – А парень был серебряный! Давайте, друзья, помянем! – добавил он с неподдельной грустью.

Вздыхнув, мы молча прижали рюмки к груди...

## Жизнь без героев

Сегодня, как ни горько признать, мы живем без героев. Их нам заменяют личности с шумной, чаще скандальной известностью, а если с точки зрения психически здорового общества, то сильно сомнительного свойства.

Недавно Президент вручал Золотые звезды Героев России двум летчикам, спасшим в невероятной ситуации полтораста пассажиров. Изношенный до дыр «ТУ», летевший глухим северным маршрутом, внезапно обесточился до такой степени, что по всем авиаканонам стопроцентно должен был рухнуть в лесную глухомань, «украшив» первые полосы средств массовой информации очередным сообщением об очередной беде на российском воздушном транспорте.

То, что произошло в действительности, должно стать основой потрясающего по драматическому напряжению кинотриллера, что-то вроде новой версии «Экипажа», снятого когда-то сверхталантливым Александром Миттой и повергнувшего страну в состояние восторга от изобретательной неправды.

А тут правда, да такая, что кровь в жилах стынет! Поняв полную обреченность, экипаж, лишь на мгновение уловив «свет в конце тоннеля», сумел так протащить умирающий самолёт в «игольное ушко», что битые жизнью седые летуны развели руками.

– Так может быть только в кино, но никак не в небе, тем более нашем! – говорили в один голос опытные, сверхопытные и суперопытные пилоты, сажавшие самолёты в условиях, когда по всем законам аэродинамики должны были падать. Но судьба, выбросив из рукава двух тузов, предложила поиграть с ней в Госпону удачу.

Игру ту смертельную летчики выиграли, и выиграли за счет редкого самообладания, нереального для нынешних времен профессионализма и, конечно, того качества, которое во все времена называется мужеством. Этого немало, но для той ситуации недостаточно! Почему же тогда удача стала возможной? Почему все-таки лайнер не погиб?

А потому, что мужество и мастерство сложились с феноменом человеческого долга, удивительным, особенно в наши алчные времена, когда каждый второй за рубль в церкви пёрнет!

Чудо даже не в том, что сели, а в том, что нашлось куда сесть. Давно забытый в дремучих дебрях, можно сказать, заброшенный человек, но, заметьте, не спившийся, не потерявший облик, не тронувшийся от одиночества умом, не опустившийся от ненужности до привычного ныне скотского состояния, продолжал (хотя никто и не просил) нести службу на давно списанном и всеми забытом аэродроме.

Каждый день и несколько лет, зимой и летом, он выходит на взлетно-посадочную полосу, срезает дикие побеги, убирает снег, сметает падающие листья, заделывает выбоины, не позволяет выламывать плиты для свинарников. Слово предчувствует, что бетонная полоса в бескрайней тайге – единственная «соломинка», за которую в случае чего сможет зацепиться погибающая душа. Господь оценил и, как в рождественской сказке, вовремя подставил милостивую «ладонь» под слепо-глухую махину, приняв её на полосу, изначально спроектированную для малой авиации, густо летавшей когда-то в тех местах.

В той счастливой истории немало «почему», в том числе и почему зрителю аэродрома не дали звание Героя? У нас такие люди – вся надежда на будущее, если оно, конечно, состоится. Но главное «почему» заключается, однако, в том, что через неделю все забыли про героев. Убивать будут, никто и не вспомнит имена! Рискую, но думаю, что и Президенту это будет непросто сделать за хлопотами и заботами о нас, ленивых и неразумных. Но там хоть референты расторопные, чуть что, полистают протоколы, подскажут.

А обыватель, тягающий чемодан из угла в угол большой страны, где-нибудь в аэропортовской суеде, перекрещенной миноискателями, вытягивая из спадающих штанов поясной ремень, увидев вдруг высокого брюнета с Золотой звездой на лацкане лётного мундира, в лучшем случае, забыв о брюках, гундосо протянет, растерянно оглядываясь по сторонам:

– Надо ж, тот самый! Как его?.. Вот чёрт, забыл!

– Я и не помню! – пожмет плечами такой же, одномоментно стараясь надеть на просвеченное тело пальто и пиджак. Все спешат, не до этого! Добраться бы живым до дома!

А вот с рассказами про «чукотского» благодетеля с фамилией из старых еврейских анекдотов или стареющую примадонну телевизор «каждый» день надрыгается, все поведает – с кем, когда и что. А если в прилетном зале, не дай Господь, нарядным жирафом ещё возвысится несравненный Филя, тогда уж совсем «кранты»! Толпа простофиль тут же перекроет восторженным визгом взлетно-реактивное пространство. Мы ведь о нем, славненьком, все знаем: когда подрался, с кем, за что, кто обидел, почему страдает, куда спешит!

Так и ведут нас по жизни телебалагуры, беззаботные «смешарики», натуральные и крашенные «блондины», подлинные «герои» нынешнего безвременья. По этой причине, никого уж и не удивишь, почему каждый четвертый призывник – дезертир по убеждениям и трус по поведению. Вот только Родину, в случае чего, кто будет защищать? Филя? Вряд ли! У него ко всем публичным достоинствам вполне может оказаться и белый билет самой востребованной ныне раскраски...

## Очарование Ингодой

С Генкой мы часто уходим в хвостовой тамбур, благо, он безлюден, хотя гремит железом, как убегающий сатана. Дружья вместе с примкнувшим к ним Олесем увлеклись «бурой», дурацкой игрой с бесконечным и часто спорным картежным сюжетом.

Мы же в одиночестве курим, иногда мечтаем. Надо отметить, что оба дымили уже по-взрослому, поскольку грешили этим класса с седьмого, к тому же любили глядеть в вагонное окно, особенно когда навстречу помчалась Ингода, поразительная по живописности река с бурными гранитными перекатами и островками, заросшими малиновой порослью, с дремучими лесами на другом берегу и даже на расстоянии осязаемой снеговой прозрачности водой.

Реки, на мой взгляд, вообще лучшее создание природы, сибирские особенно. Ингода, поворачиваясь всеми гранями, демонстрировала нам свое уникальное великолепие, и что удивительно, сохраненное рядом с человеком, который бежал мимо со ско-

ростью курьерского поезда и мог только скользить по ней восторженным взглядом.

На протяжении сотен километров железная магистраль завораживающе повторяет изгибы речного русла, то прижимаясь к нему на расстояние насыпи, то уходя дальше, но ни на мгновение не теряя друг друга. Долгие часы поезд идет, вжимаясь в каменные ниши, вырубленные в горных откосах вдоль упругого потока, подпертого с одной стороны крутыми обрывами, с другой – сменяющимися, но одинаково захватывающими дух картинами тайги с неохватными соснами; раскинувшими кроны до половины бурлящей стремнины, полными волнующих тайн кедровниками; загадочной темнотой еловых буреломов, оттеняющих задумчивые хороводы березовых рощиц, весело разбегавшихся по грибным полянам. В каждом вагонном окне вместе с волшебной Ингодой искрилось входящее в зенит короткое и от этого ещё более прекрасное забайкальское лето.

– Да-а-а! – пуская сквозь ноздри сигаретный дым, тянет мой задумчивый друг. – Вот так выглядит фантастика, Вова!

Сигареты тогда почти не курили, больше папиросы. Их названия я и сейчас помню: «Север», «Норд», «Пушка», «Дели», «Три богатыря», ну конечно, «Беломор» и самые лучшие, в картонных коробках, «Казбек» и «Герцеговина Флор» (последние, говорят, Сталин особо уважал). Но Генка, готовясь к отъезду, «дернул» у своего Иохима несколько пачек коротких, под мундштук, сигарет под названием «Байкал». Их выпускали в непромокаемых упаковках специально для геологов, изыскателей, поисковиков и прочих бродячих трудяг. Поскольку дед Ходоркина всю жизнь заведовал «тылами» разных поисковых экспедиций, то, видать, не сидел сложа руки и натаскал на «черный день» все, что плохо лежало. Помните, как однажды сатирик воскликнул: «Каждый имеет то, что охраняет!»?

Иохим «охранял» долго и немалое, поэтому от этого немалого немало оказалось и на чердаке его просторного дома, который он срубил ещё до войны из неподъемных листовенниц на речной окраине Хабаровска и жил там, как леший на таежной заимке, прочно, сытно и нелюдимо. Когда дед отбывал на рыбалку (а у него это был почти промысел), мы иногда пробирались в «пеще-



ры», где хранились «сокровища», по большей части из имущественного снаряжения дальневосточных первопроходцев, и тогда в полной мере начинали понимать масштаб и качество заботы о них со стороны партии и правительства. В ту пору все, что характеризовалось как хорошее, приходило именно с этой стороны, то есть со стороны КПСС, вокруг которой требовалось ещё теснее сплотиться.

Бабке Лизавете, беззаветно любившей Генку, мы объяснили, что надо «погонять» под крышей диких пчел. Прошлым летом ее укусил здоровенный шершень, еле откачали в городской больнице. Поэтому бабуля даже лестницу помогала нам ставить.

Боже ты мой, чего только на том чердаке не было: двойные утепленные палатки с противомоскитными пологам; ящики диметилфталата – противно воняющей, но исключительно радикальной жидкости от гнуса и мошки; походные «буржуйки» и сияющие настоящей медью небольшие примусы; канистры с чем-то таинственным, скорее всего спиртом; треноги для теодолитов и ящики с оптикой; какие-то пологи из неподъемного морозозащитного брезента... Особенно меня поразили спальные мешки из волчьих шкур, крытые ярко-оранжевой перкалью, такой синтетической непромокаемо-непродуваемой тканью.

– Можешь на полярной льдине спать, как у Христа за пазухой, – уверял Генка, – а оранжевый, чтоб легче найти, особенно когда замерзнешь до звона, – и добавлял почему-то загадочно: – Без трупа нет пенсии...

Забравшись на чердак, мы, как два лесных хоря, невесомо шелестели промеж несметных богатств, но решались брать только курево, упакованное в блоки. Запасливый Иохим натаскал их на старость штук эдак сто, но без ущерба для глаза мы «укатили» лишь пару упаковок, уже на свой собственный «чердак». То ли от лежания, то ли по какой иной причине, от сигарет шёл устойчивый запах плесени. Потом Бронников объяснял, что курево для поисковиков пропитывают специальными составами, чтоб комаров отгонять. Однако лихая на язык Сонька Губельман тут же окрестила их «матрасом моей бабушки». Под этим ярлыком мы и использовали Иохимовы запасы, пугая не только комаров, но и людей со слишком острым обонянием.

Так вот, стоим мы с Генкой в гремящем тамбуре, смолим «матрасом» и рассуждаем о смысле гармонии, восторгаясь бесконечной Ингодой.

– Взгляни окрест! – «пушкинским» жестом Генка широко повел рукой. – Какая красота, а главное, людей нигде нет, источника всех напастей.

– Чем же они тебе помешали? – поинтересовался я, зная Генкину склонность к театральщине и выдумкам.

– Мне – ничем! – он пожал плечами. – А красоте этой – радикально. Давай предположим, остановились мы здесь на часок! Все оборвем, затопчем, изгрызем до основания!

Он повернулся ко мне и, сплевывая под ноги табачную горечь, убежденно продолжил аргументировать:

– Знаешь, после шестого класса я ездил с Иохимом в Углич, это где-то рядом с Москвой. У деда, поскольку на «железке» работал, билет бесплатный. Он меня от скуки и жадности прихватил, билета-то два. Бабка не захотела, огород, видите ли, некому поливать, гори он ясным сном! А дело в том, что в Угличе жил его брат-близнец. Вылитый Иохим, только ещё страшнее. Звали его Фердинандом, поскольку на сегодняшний день он помер, – Генка развел руками. – Так вот, незадолго дед тот, ну, брат который, освободился из тюрьмы...

– Он что, сидел? – изумился я.

– И очень долго! – ответил Генка. – Говорят, не то что-то сболтнул, хотя на него не сильно похоже, молчаливый, как пень. Может, в зоне потом отучили. Но дело не в этом! Ниче от той поездки не помню, кроме стука колес, запаха каких-то противных микстур, седой бороды на подушке и здоровенного бревна...

– Бревна? – с изумлением опешил я.

– Во такой толщины! – Генка широко распахнул руки. – Изгрызанного посерединке до самой малой косточки, – он сложил пальцы кружком, подчеркивая тонкость бревнышки.

– Кто изгрыз? Чего ради?

– Вот в этом весь секрет! В обычной человеческой темноте и дремучей религиозной глупости, – самоуверенным голосом подчеркнул друг, наслаждаясь моим распахнутым ртом. – Ритка, Фер-

динандова внучка, ну, вроде как моя двоюродная сестра, училась там в культпросветучилище на экскурсовода и как-то повела меня в местный музей, где проходила летнюю практику. Углич – городишко такой... исторически памятный, правда, одни церкви пополам с пивными. Посмотрели мы место, где ухлопали царевича Дмитрия...

– Как ухлопали? – ахнул я.

– Очень просто, взяли и прирезали прямо возле крыльца. Бояре делили царскую «шкуру», а пацана, шоб не мешал, прикончили... Дело не в том! В том музее на видном месте стоит вот то самое бревно, которое считалось сильно целебным. Помогало якобы от зубной боли. У тебя когда-нибудь зубы болели?

– Да вроде нет!

– А у меня болели, да так, что я всю ночь волком выл... Прижмет, так станешь грызть что угодно! Вот они, люди те, темные да забитые, изгрызли его аж до самой сердцевины. Почище бобров. А ты говоришь, не могут! – Генка, довольный произведенным эффектом, оглушительно захохотал. – Ещё как могут! А такого великолепия, – он показал рукой на Ингоду, – им как раз на один зубок!

Мы стояли долго, пугая друг друга всякими жутковатыми историями, пока в сумеречный тамбур не заглянула проводница:

– Батюшки! – запричитала она. – Шо ж вы, ребятки, надымили, как паровозы?..

## Тринадцатая экспедиция

Поезд пришёл в Читу чуть свет. Вагон храпел богатырским сном, и только Олесь поднялся нас проводить, но на перрон выходить не стал. В армейской среде Чита пользовалась дурной славой. В городе стояли важные штабы, и патрулей, особенно на вокзале, в любое время было полно. Дальневосточное направление всегда было густо насыщено войсками, а в окружном городе и за несвежий подворотничок можно угодить на «губу».

– Ну, давайте, хлопцы! – Олесь протянул каждому широкую, как саперная лопата, ладонь. – Старайтесь! Я вам из окна помашу, шоб фараонам на глаза не угодить. Спокойнее будет! Нас ещё во Владике предупредили: Хабаровск да Чита – самые гауптвах-

товские города. Чуть что, а ну, поди сюда, гвардии старшина первой статьи! Ловят нашего брата-отпускника за каждую промашку... Вон Лёха до сих пор отойти не может! Самураев не боялся, во всех группах захвата впереди, а тут трусит...

На перроне нас уже ждал Бронников. Гладко выбритый, подтянутый, в окружении чемоданов, баулов и ящиков, он стоял под перронными часами, будто занял это место ещё с вечера.

– Значит так! – опять взглянул на свои большие часы. – Я с утра в управлении дороги. Вы здесь, на вокзале. Скорее всего, поезд будет днем, какой, ещё не знаю. Но завтра надо обязательно быть в Борзе... Не разбредаться, не лезть куда не нужно, не хулиганить. За старшего Ходоркин. Ясно?

– Ясно! – уныло ответили мы.

– Вот и ладненько! – впервые улыбнулся Бронников, как-то сразу изменив «палочную» атмосферу.

– Сергей Брониславович! – тут же воспользовался Генка. – Можно мы вещи сдадим в камеру хранения, а сами немного город посмотрим?

– Ну, если обещаете, что к часу дня будете стоять под этими часами, то можно.

– Обещаем, конечно! – звонко загалдели, закивали бойко.

Сбросив в полупустой камере объемный багаж (везли ещё и приборы), сорвавшимися с поводов мустангами ринулись на привокзальную площадь в ожидании увидеть город на уровне прекрасной Ингоды, но увы...

Большую пыльную площадь с чахлой тополиной растительностью венчало здоровенное здание, украшенное помпезной колоннадой. За версту было видно, что тут размещается власть, причём абсолютно непреклонная. За колоннадой, сколько хватало взора (с небольшим вкраплением безликих типовых пятиэтажек), растекалось почерневшее от времени и воздействий суровой природы рубленое топором деревянное пространство, подчеркивающее, что большую часть года в этих местах не солнце греет, как сейчас, а лютуют свирепые забайкальские морозы. Можно, конечно, удивляться директивной изобретательности социалистического зодчества, сумевшей создать архитектуру, не оставляющую никаких сомнений, что

именно тут расположена столица знаменитой российской каторги. Если согласиться с утверждением, что архитектура – это застывшая музыка, то далее похоронного марша фантазий не хватает.

Несомненно, именно от гонимого ими царского режима большевики переняли месторасположение самых известных отечественных острогов и продвинули их значимость в жизни народа до массовых сердечных судорог. Лучше и не придумаешь! Вслушайтесь в кандальную «мелодию» только одних названий: Нерчинск, Сретенск, Балей, Петровск-Забайкальский, Кокуй, Хапчеранга. В каждой «ноте» звучит далекий отзвук Дворцовой площади и Петропавловской крепости. Без малого двести лет пролетело, как государь-император Николай I определил эти места для охлаждения вольнодумствующих и строптивых, а «во глубине сибирских руд» по сию пору ничего не изменилось. Все так же приходится уповать «на гордое терпение». Вот только «терпил» стало в тысячи раз больше.

Я думаю, что на белом свете не так много мест более страшных, чем российская каторга. Мест, где социальные «недуги» (любого, кстати, общества: царизма, социализма, демократии) лечили, печат и, скорее всего, будут лечить не столько лишением свободы, сколько разнузданным и поощряемым властью уничтожением личности через ее крайнее унижение и ничем не ограниченным изобретательным скотством.

Все мои посещения подобных заведений (слава Богу, только в качестве профессионального созерцателя) заканчивались всегда ощущением непроходящего ужаса и мучительными размышлениями – как это возможно в стране, где уже были Спас на Нерли и Эрмитаж.

Кинорежиссер Сергей Мирошниченко снял документальную ленту «Русский крест», посвященную великому актеру Георгию Жженову, по велению «вождя народов» отсидевшему лучшие годы в свирепых северных лагерях. Мирошниченко провез Жженова по местам, где тот «тянул срок», и что удивительно, народный артист СССР, награжденный двумя орденами Ленина и почти всеми степенями «За заслуги перед Отечеством», любимец публики, создавший образы боевых генералов, утонченных аристократов, бла-

городных милиционеров и проницательных следователей, как только вновь приблизился к «шконке», сразу превратился во «фраера мутной воды», со взглядом исподлобья и хрипучим жаргоном, где в одном слове пять смыслов. Он давным-давно не в зоне, да вот зона никак не хочет уходить из него.

Ленинградский профессор Самойленко написал когда-то книгу «Тринадцатая экспедиция», где поведал о своей беде. Известный ученый и руководитель крупных этнографических коллективов попал под суд за какие-то бухгалтерские проделки. Чтобы не пропасть от тоски и униженности, принял решение, что это очередная командировка в неизведанную этнографическую среду, и занялся там научными наблюдениями, о которых знал только он один. Иначе смерть, и неважно от кого – зеков или «топтунов». Убили бы обязательно, узнав вдруг о профессорских выводах, а они оказались неожиданны, даже для самого Самойленко. По его мнению, советская тюрьма – точный слепок с первобытного общества со всей атрибутикой внутренних признаков и отношений: с татуировкой по телу, определяющей место в среде, немотивированными запретами (западло), унижением отторгнутых (твое место у параша!), абсолютная власть (вор в законе), единственным наказанием – назидательной смертью, ну и прочим в том же духе.

Скажите мне, люди добрые, на территории какой нормальной страны, вкусившей достижения современной цивилизации, даже без космоса, вполне легально, более того – законно, могут существовать «острова» и даже «архипелаги», где значительная часть людей живет по обычаям и понятиям «первобытного человеческого стада»? Так, кажется, ученые люди именуют население раннего палеолита. Вот к какому выводу пришёл ещё сорок лет назад университетский профессор, в жестоких читинских лагерях отмучивший свою «тринадцатую экспедицию», несколько лет среди убийц, грабителей, бандитов, насильников, лиходеев, чахоточных и иных порочных «отбросов общества». Спал, правда, на нижней «шконке», у окошка. Так решили «паханы», оценив образованность профессора, безотказно писавшего для всего лагеря прошения и письма на высочайшие имена...

## Как хорошо быть генералом

– Что-то мне тошнотворно от этого городишка! – сказал, наморщив лоб, Валерка Дербас.

– И что ты предлагаешь? – спросили мы.

– Давайте от скуки слазим вон на ту горку! – Валерка показал на высоченную вершину, египетской пирамидой нависавшую по другую сторону железной дороги.

– А почему нет? – воскликнул Генка.

И мы полезли...

К часу дня вернулись под впечатлением, потные, изрядно вымотанные, но весёлые и от этого крайне болтливые. Бронников появился через несколько минут, охладив наш пыл сильной озабоченностью.

– Вот что, братцы! – сказал он, вытирая лицо клетчатым платком. – У нас проблема – нет билетов! Весь подвижной состав погнали для вывоза войск из Порт-Артура. Раз в сутки ходит только сборный, «пятьсот-весёлый». Говорят, временно, а сколько протянется – никто не знает. Да и на него только по воинскому требованию... Даже не представляю, что делать? – Бронников ещё ниже огорченно опустил уголки рта и потянулся за «Беломором».

– А долго? – спросил Петька Фабер.

– Что долго?

– Ждать долго?

– А кто знает! – Бронников закурил, как доменная печь, выпустив в небо густой шлейф сизого дыма. Мы не видели его ещё таким растерянным. Видать, и знак Почетного железнодорожника не сильно тянул.

– Хотел пойти до Тышкова, – раздумчиво продолжил Сергей Брониславович, – так не пускают! Они тут все на ушах стоят из-за этой порт-артурской кампании... Черт знает, что делать? А завтра в Борзе генерал Корабельников ждёт, специально из Москвы прилетел. Мы там срочные изыскания должны для... Да ладно! – он махнул рукой, окончательно затухая.

И было из-за чего! Как потом выяснилось, Брунька заранее не заказал проездные документы и поехал «наобум Лазаря», начи-

сто забыв, что щедрый Никита Сергеевич Хрущёв не только пообещал отдать Мао Цзэдуну нашу военно-морскую базу в Порт-Артуре, более того, приказал это выполнить в такие сроки, что бежать, не оглядываясь, было бы проще. Потом, кстати, такой же «финт» «проделал» Горбачев с выводом группы советских войск из Германии. Тоже бежали, спотыкаясь и бросая даже исподнее, переселяясь с танками-пушками-самолётами в бескрайнее и чистое «русское поле». После этого кому, как не ему, быть «лучшим немцем»!

Однако почему так сильно страдал Бронников? Он, оказывается, должен завтра вместе с важной комиссией из Минобороны определять площадку для вывода бронепоездов. Мы потом видели этого генерала Корабельникова, страшнее не придумаешь! Он разговаривал, аки зверь рассерженный, хотя все прибыли вовремя и стояли навтыжку. А если бы опоздали? Страшно представить! Поэтому и охал окутанный слоистым дымом Брониславович перед угрозой оставить «наш бронепоезд» без запасного пути. А их перегоняли из Китая аж десять штук, бронированных монстров с пушками и пулеметами. Не оставлять же «друзьям до гроба»! Хотя с утра до вечера по радио пели лучшее произведение композитора Вано Мурадели: «Русский с китайцем – братья навек».

В нашей хабаровской железнодорожной школе № 2 тот «хит» был предметом особой гордости, как бы сегодня сказали – «брендом». На всех смотрах художественной самодеятельности, особенно тех, что проводил Дорпрофсож (мы не знали, что это такое, но боялись, поскольку директор школы, величественная, как портрет актрисы Ермоловой, Луиза Марковна Шакальская, часто с придыханием говорила: «Не дай Бог, узнают в Дорпрофсоже!»), наш хор, в котором пели все, даже записные двоечники, повергал в неописуемый восторг любое жюри, когда под духовой оркестр оглушающе гремел:

*Москва – Пекин, Москва – Пекин,  
Идут, идут вперед народы  
За светлый путь, за прочный мир,  
Под знаменем свободы...*

А потом враз пианисимо, чуть слышно, почти шелестяще, под

вкрадчивые ужимки дирижера, старенького и кособокого учителя пения Семена Лазаревича Нежного по прозвищу Котенок (так он называл всех девчонок):

*Сталин и Мао слушают нас,  
Слушают нас, слушают нас...*

А потом снова в рев:

*С песней шагает простой человек...*

И так далее.

Времена к той поре, особенно после расстрела Берии, слегка потеплели, но не до такой степени, чтоб срывать оборонные задания, поэтому башку могли снести запросто, особенно генерал Корабельников, служивший по ведомству размещения и расквартирования войск под протекторатом КГБ. Все это на ухо мне поведал осведомленный Генка, пока Бруня ходил в станционный буфет принять для успокоения, как он выразился, «пять капель».

И тут я вспомнил, что начальник Забайкальской железной дороги Тышков – приятель моего отца. В Свердловске, на улице Челюскинцев, мы жили дверь в дверь. Тышков иногда заходил к нам поиграть в шахматы, но больше разобрать очередную партию Ботвинника, который боролся тогда за мировую корону. Даже «Правда» печатала отложенные поединки, и ночами вдвоем, тихо споря, они искали победные пути для нашего замечательного гроссмейстера Михаила Моисеевича Ботвинника, за которого «болела» вся страна, и что важно, Советское правительство, поскольку Ботвинник, в конце концов, отобрал звание чемпиона мира у противных капиталистов.

– Так что же ты молчал? – икнув от неожиданности, всплеснул руками Бронников. – Надо что-то срочно делать! Одно слово Тышкова, и мы едем...

Компания возбужденно загалдела, засуетилась, появился вдруг какой-то шанс. Мы с Бронниковым побежали к дежурному по вокзалу, откуда я довольно быстро дозвонился до мамы, все ей объяснил. Она пообещала тут же сообщить отцу, а если моя мама что-то обещала, то можно быть уверенным, что она это сделает (я очень

горжусь, что это качество в какой-то степени передалось и мне).

Через полчаса нас под теми же часами разыскал начальник читинского вокзала, толстый, надутый мужик, очень похожий на актера Яншина в такой же роли, который, по словам Бронникова, до этого и смотреть в его сторону не хотел. Он сообщил, что по личному распоряжению генерал-директора тяги (было у высшего железнодорожного начальства такое звание) Тышкова Георгия Анисимовича ему поручено лично посадить нас в поезд Москва – Пекин, который подойдет... Начальник вокзала посмотрел на наручные часы марки «ЗиМ» и внушительно промолвил:

– Через сорок три минуты! Прошу быть возле десятого вагона. Экспресс стоит недолго! – и удалился, как памятник, медленно передвигая внушительными ягодицами в натянутых на них штанах с опущенной до колен мотней.

Бронников взглянул на меня столь выразительно, словно это я был генерал-директором тяги.

– А Брунька нас зауважал! Мамой клянусь! – Генка шутливо пихнул меня в бок, когда мы разбирали в подвале камеры хранения завалы из нашего барахла. Вдруг откуда ни возьмись появились четыре дюжих носильщика. Они молча отодвинули нас в сторону и так же молча, сопя, как четыре носорога, потащили ящики и чемоданы наверх.

Мой друг, сунув руки в карманы, изумленно смотрел в ватные спины, согнувшиеся от тяжести, и молвил:

– Слушай, старик, как хорошо быть генералом!

## Прощай, немытая Россия!

Но ещё весомее нас зауважали, когда из «сиреневого тумана» сверкающим призраком, будто сошедшим прямо с гляцевых страниц лучшего в ту пору журнала «Огонек», появился скорый Москва – Пекин. От всех других пассажирских поездов, похожих на скопище раскатанных до оглушающего звона вагонов, окутанных запахом винегрета, мочи, хлорной извести и ещё чего-то необъяснимо прокисшего, пекинский экспресс отличался, как прогулочное ландо от ломовой телеги. Сверкая лаком бортов и стекла-



ми окон, будто их вымыли с душистым мылом на соседней станции, мягко постукивая на рельсовых стыках, состав неслышно подошёл к кромке вылизанного перрона, конечно же, на первый путь. Вокзальный диктор, словно объявляя об очередном снижении цен, голосом под Левитана торжественно сообщил:

– На первый путь прибыл международный экспресс Москва-Пекин. Стоянка – четырнадцать минут! Уважаемые пассажиры, просьба не отходить далеко от вагонов... Трудовая Чита приветствует вас!

У подножек тут же встали во фрунт вышколенные проводники, все в белом, даже белых перчатках, которых мы сроду не видели.

Пассажиров проветриться вышло немного. Мужчины с толстыми лицами, по большей части, свекольного цвета, в полосатых пижамах, тучные дамы, обернутые в шёлковые халаты до пят. Они стали прохаживаться вдоль состава, неторопливо беседуя друг с другом, снисходительно рассматривая окрестности. Во всяком случае, никто не кидался с чайником и вечным вопросом:

– Слушай, браток, где тут у вас кипятком разжиться?

Начальник вокзала, преодолевая вельможность, подвел нашу гурьбу к вагону, возле которого уже маячил бригадир поезда, бравый службист с чапаевскими усами, начищенным орденом Славы на мундире и таким же знаком, как у Бруни, – «Почетный железнодорожник». На фронте вагона сверкала надпись, выполненная рельефными буквами из латуни: «Спальный вагон прямого сообщения».

– Интересно! – съязвил завистливый Борька Рыжкин. – Есть ли вагоны кривого сообщения?

– Вот ты, Рыжуха, противный! – тут же отреагировал Ходоркин. – Косого-кривого! Запомни, придет срок, посадят тебя, стриженного под овцу, в красноармейскую теплушку с надписью «Восемь лошадей и сорок бойцов». У нас, на Дальней речке, таких «телятников» полный тупик, призывников возят. Будет тебе тогда вагон «косого» сообщения, особенно когда все восемь дружно начнут качать на твою пустую башку. Правду я говорю, Сергей Брониславович? – Генка всегда приглашал к своим рассуждениям союзников.

Рыжуха покраснел, как помидор, и уже собрался было от-

ветить пообиднее, но сдержался, очевидно, вспомнив, как год назад сцепился с Сонькой и та, весело глядя ему в глаза, сказала:

– Ты, Рыжий, запомни, у меня бабка сумасшедшая! Чуть что – заору, выскочит со своим товарищем маузером и разбираться не станет. Тогда посмотрю, какая я тебе «крыса Шушара»! А ей чё! – уже в нашу сторону. – Она же у нас грач-птица весенняя, белоказаками битая, газами травленная... Ей как с гуся вода! – и взяв на гитаре звучный аккорд, вдруг с непривычной злостью добавила: – Тоже мне, Артемон хренов... Пошёл вон!

Мы оглушительно захохотали, представив Рахиль с маузером наперевес, но Борька, тем не менее, притих. У него и у самого бабка была ещё та стерва! Она работала в нашей школе уборщицей и гонялась с мокрой тряпкой за каждым, кто не вытирал у порога ноги...

Ситуацию разрядил Бруня:

– Мальчишки! Не ссорьтесь! – сказал с отеческими интонациями. Наш «капитан» уже вошёл в образ значимой персоны, уныние с лица сбросил, не то от радости, что едем, не то от посещения буфетной стойки. Уже на обратном пути, когда мы почти сдружились, он рассеял всякие сомнения в отношении вообще всех станционных буфетов, сказав, что даже перед смертью его последним желанием будет рюмка хорошего коньяка.

– Только настоящего, армянского! – подчеркнул особо.

– Вы будете первым покойником, Сергей Брониславович, для которого приготовят не соборование, а возлияние, – заметил Валерка.

– Почему первым? – встрял эрудированный Петька Фабер. – Антон Павлович Чехов, например, перед последним вздохом тоже попросил бокал шампанского.

– Во, видишь! – обрадовался уже хорошо подданный Бруня и, подняв указательный палец, со значением произнес: – Сам Чехов! А он толк в хорошей жизни понимал...

– В жизни же, а не в смерти! – пробухтел под нос Петька, единственный из нас, кто носил нательный крестик...

Снова как из-под земли появились носильщики. Честно говоря, от нашей привычной бравады не так уж много осталось. Мы было услужливо вцепились в багаж, но носильщики, снова умело

оттеснив нас, споро занесли вещи в вагон, аккуратно расставили их по нишам и полкам, ни разу не ударив углами ни о поручни, ни об двери, не расколов ни единого зеркала, и только после этого бригадир сделал приглашающий жест:

– Прошу вас, товарищи пассажиры!

И мы пошли! Боже ты мой! Пошли навстречу невиданному доселе дворцовому великолепию, осторожно ступая по пушистым коврам поцарапанными о читинскую гору пыльными башмаками, вдыхая свежий воздух накрахмаленного быта с запахом не-весомых стружек золотого табака, пропущенного через пары медовой ферментации. Такие запахи бывают только там, где решаются судьбы мира, в Женеве, например, во Дворце наций. Через пятнадцать лет (хорошо, хоть мама дожила!) я был там в составе группы советской молодежи, совершавшей турне по Швейцарии в честь столетия Ленина. Мы бродили по осеннему, усыпанному кленовыми листьями Цюриху, и он весь был окутан такими же ароматами. Только тогда я сообразил – так пахнет спокойствие и благополучие. Честно говоря, мне и сегодня непонятно, чего ради Владимир Ильич поперся обратно, в такую горькую для него страну.

Уж коль сказал: «Прощай, немытая Россия!..» – так и «дави педаль». Тем более в тихих цюрихских кафешках, где любил посидеть за кружкой прохладного баварского пива, да ещё в обществе очаровательной Инессы, где на подоконнике всегда стояли свежие гладиолусы, а под окнами в любое время года цвел жасмин. Там царили те же запахи, что в том экспрессе, может быть, чуть-чуть усиленные молотым кофе и подогретыми сливками.

А он взял и вернулся... И «немытая» Россия, наконец, умылась... кровью. Самого чуть не ухлопали на заводе Михельсона, всадив в шею две пули. Красавица Инесса, как радужная бабочка в жерле керосиновой лампы, сгорела от вульгарной дизентерии. Одна Надежда Константиновна, потухший призрак швейцарского благополучия, ещё долго бродила по огромной кремлевской квартире, до последнего угла обнюханной сталинскими осведомителями, темной и мрачной, рядом с заваленными рухлядью могилами первых российских царей, в забитом ржавыми скобами Архангельском соборе...

## Тайны китайской кухни

Купе были двухместные, но в вагоне ехало всего четыре человека – молодая супружеская пара, которая все время стояла, обнявшись, прямо на проходе, пожилой китаец во френче под Мао Цзэдуна (по-моему, в нем и спал) и лысый генерал в растянутой майке на обвисшем теле и галифе с синими лампасами.

Разместившись, мы оказались в таком сочетании: я с Генкой, Рыжкин с Дербасом, Фабера взял к себе Бронников. Сразу, как проехали Карымскую (есть такая станция, где по лихой дуге от Транссиба ветка уходит на юг, к китайской границе), двери отодвинулись, и в проеме появилась Петькина голова.

– Господа офицеры! – он обвел хитрым взглядом наше уютное (особенно после передвижной казармы) «гнездышко», заполненное до краев сладкой истомой популярной тогда песни. Она проистекала прямо из лампы, что стояла перед окном, прикрытым шелковыми занавесками:

*Где ж ты, мой сад, вешняя заря,  
Где же ты, подружка, яблонька моя?  
Я знаю, родная,  
Ты ждешь меня, хорошая моя... –*

заливался приторный тенор, наверняка в страсти заламывая руки.

– Так вот! – продолжил Петручио. – Штабс-капитан путевого хозяйства, почетный скиталец проселочных дорог Советского Союза, граф Бруни имеет честь пригласить вас, – Петька показал пальцем на меня, – и вас, – жест в сторону Генки, который, сняв штаны, пытался пришить к ширинке оторванную пуговицу, – в фешенебельный ресторан на званый обед в честь благополучного исхода из так называемой «трудовой» Читы. Надеюсь, – он обратился уже к одному Ходоркину, – минут десять вам хватит, чтобы надеть камзол...

– Пошёл к чёрту! – буркнул Ходоркин, пытаясь тупой иглой проткнуть грубую ткань.

– Поспешайте, друзья! – уже другим тоном сказал Петька. – Вы же знаете, Брунька ждать не любит и вполне может напиться в одиночестве! – и тут же исчез.

– Вот блин! – Ходоркин с досадой хлопнул себя по голым коленкам. – Зачем тогда натрескались пирожков с ливером?

Я согласился:

– Действительно, зачем?..

В пустом ресторане, пахнущем прохладным ветром «с Хингана», Бруня занимал крайний столик. Он объяснил, что на пути «туда», то есть в Москву, пассажиров потчуют русской кулинарией, и показал меню, где среди прочих разносолов значились расстегаи с зайчатинной, пошехонский сыр со слезой, рассольник по-замоскворецки, пожарские котлеты и длинный перечень крепких напитков, где особенно запомнилась вологодская водка на болотной клюкве. Интересно даже!

– А в эту сторону китайцы стараются! Я уже кое-что заказал! – загадочно сказал «старший товарищ».

Что заказал Бруня, стало ясно через минуту. Балансируя в проходе, появился улыбающийся китаец в белой курточке, расшитой павлинами. На подносе, который он нес к столу, стояла маленькая фарфоровая чашечка и средних размеров консервная банка.

– Вы зря взяли это пойло! – сказал Дербас вдруг. – Это ханшин – рисовая водка, в ней чуть больше двадцати градусов. Ее пьют подогретой... Ни хао! – кивнул он официанту.

– Ни хао, ни хао, товарищ! – обрадовался китаец, словно не видел Валерку лет десять.

И здесь произошло то, что окончательно повергло Бруню в ступор, – Валерка заговорил с официантом на китайском языке. Потом, повернувшись к Бронникову, перевел:

– Он предлагает традиционный китайский обед с тридцатью разными блюдами. Это что-то близкое к дегустированию, но зато отличная возможность познакомиться с национальной кухней. Рекомендую – это очень интересно!

Обескураженный вконец Бруня молча кивнул в знак согласия и, минуя фарфор, выпил банку залпом. Долго сидел, закрыв глаза, и потом, скривившись, с уверенностью сказал:

– Действительно, говно!

Китаец с низкими поклонами и лстивыми улыбками пригласил нас за другой, более просторный стол, с большим стеклянным

кругом посередине, этакая поворотная площадка в два уровня, внизу больше, а сверху поменьше.

Минут через пятнадцать стекло было уставлено небольшими тарелочками, мисочками, вазочками с какими-то остро, но приятно пахнущими кушаньями. По мере поглощения, блюда добавлялись, посуда менялась, все было очень привлекательно, особенно после пирожков с ливером. Принесли палочки, которыми, как выяснилось, умели есть все, кроме меня (я и по сей день не умею).

– Это салат из дайкона! – по ходу трапезы пояснял Валерка. – Что такое дайкон? Нечто среднее между редисом и редькой, но тут секрет в чесночном соусе. Китайцы по части соусов непревзойденные мастера, они могут вам приготовить рыбу со вкусом курицы или, наоборот, курицу со вкусом рыбы...

Бруня с набитым ртом только мотал головой в приступах изумления.

– А вот эта капуста называется «бай цай», значит «белый овощ». Что касается капусты, тут им вообще конкурентов нет. Квасить ее они придумали раньше изобретения пороха. Кстати, рекомендую! – Валерка показал на большое блюдо, медленно поплывшее по кругу. – Это кунг пао, мясо нарубленного цыпленка, обжаренное в растительном масле с арахисом и имбирем, – и тут же восхищенно протянул: – У-у-у! Попробуйте, знаменитая утка по-пекински. Готовить ее очень сложно, но зато это лучшее, что можно придумать из птицы вообще...

В отличие от всех, я ел вилкой, торопливо поглощая разное и испытывая от этого невероятные вкусовые ощущения, хотя, как пояснил Валерка, китайский обеденный ритуал предусматривает медленность, задумчивость и сосредоточенность. Разговоры во время трапезы не возбраняются, но должны носить неторопливый и непременно доброжелательный характер.

– Ба! Наконец, моя любимая лапша – ло мин. Бабушка летом готовила ее во дворе, обязательно на открытом огне, – Дербас потянулся палочками к большой тарелке, где золотистой грудой возвышалась аппетитная, парующаяся масса, украшенная стручковой фасолью и огненно-красным перцем. – Говорят, этому блюду сорок веков... О-о-о! Рекомендую особо, дим сум, в переводе –

«маленький подарок»... Обязательно попробуйте! Нечто вроде хинкали из мелко порубленных креветок с побегами молодого бамбука. Здесь искусное ассорти: соевый соус, вино, сок красного лука, кунжутное масло, обязательно черный перец свежемолотый, мука разная: кукурузная, соевая, пшеничная. Дим сум едят по всему юго-востоку Азии... Попробуйте обязательно!.. Вообще китайские кушанья надо не есть, а пробовать по чуть-чуть, понемногу, возвышая взор к потолку и наслаждаясь процессом насыщения и приятными размышлениями...

Официант что-то шепнул Валерке на ухо, и он, взявший на себя внимание, покровительственно засмеялся:

– Нас ожидает презент от персонала – жареный арбуз и пирожки с манго!

Бронников просительно взглянул на возгордившегося Дербаса и почему-то свистящим шепотом попросил:

– Валер! Грамм двести... Нет, лучше триста, водочки, только нашей... Можно?

Китаец понял и без перевода:

– Тичас! – и через пару минут на столе появилась седая от инея бутылка «Московской», легендарной водки, которую пили тогда от Курил до Кенигсберга. Сто «наркомовских» грамм – это как раз была «Московская», и китайцы, видать, об этом хорошо знали. Нас пятеро, но употреблял только Бронников. Ему по плечу – он фронтовик, нам ещё рано.

В купе мы переваривали не столько обед, сколько впечатления от него. Благодушный Бруня спросил у Валерки:

– Слушай, а где ты так научился чесать по-китайски?

Мы засмеялись, поскольку знали, но ответил, как всегда, Ходоркин, который, если честно, тайно завидовал Дербасу, особенно когда тот демонстрировал недостижимую для Генки эрудицию. Дома у Дербасов, например, говорили только по-английски, и даже всезнающая Сонька часто слушала Валерку развесив уши. Самолюбивого и рослого Генку это задевало, тем более что Сонька ему сильно нравилась.

– Его родной язык! – коротко сказал Ходоркин. – Родился в Харбине.

– Ну, тогда понятно! – протянул Бруня. – Тогда понятно... – и добавил: – Я, между прочим, тоже на КВЖД бывал. Нищета у них несусветная...

– Там и сейчас голодно, – ответил Дербас. – Бабушка в прошлом году умерла, а дед по-прежнему в Харбине. Пишет, очень голодно. По карточкам дают в день горсть риса, луковицу и три ложки растительного масла. А это, – он кивнул в сторону вагона-ресторана, – скорее агитпункт, сказание о земле китайской.

– Откуда же ты тогда, братец, так осведомлен обо всех этих разносолах? – орудя зубочисткой, спросил Бронников.

Валерка вздохнул:

– Видите ли, Сергей Брониславович, мой отец в Харбине был самый известный адвокат и нотариус. Он знал китайские законы, от Конфуция и далее, лучше самих китайцев. Его пригласили работать в советское консульство как специалиста в области китайского законодательства, национальных традиций и обычаев. А это целая планета! Что касается разносолов, то господин Линь Цзынь, лучший ресторатор Харбина, считал за большую честь, когда наша семья появлялась в его ресторане «Великая стена» отобедать или на воскресный ужин. Тогда на стеклянный круг выставляли до ста блюд! Я ел даже фаршированную бананами змею в ананасовом соку и жареную картошку с леденцами. Это очень вкусно!..

– Мда-а-а! – протянул перегруженный и ворочавшийся, как медведь в берлоге, Бронников. – Хотя и непонятно. Интересно, как это – есть змею, и зачем леденцы-то с картошкой? Дикость какая-то...

По правде говоря, после китайской еды и русской водки всесокрушающий сон овладел нашим начальником. Он долго сопротивлялся, но вдруг захрапел так, что китаец в мундире Мао Цзэдуна испуганно подскочил, особенно когда «храповицкий» достиг децибелов воздушной атаки...

## Прекрасное время

Перед Борзей явственно запахло границей. За окнами поезда, мчащегося меж голых возвышенностей, то и дело мелькали

армейские палатки, заборы со сторожевыми вышками по периметру, пограничники в седлах. Воистину, от этих мест исходил какой-то грозный дух, напоминая, что в складках этих обнаженных сопок накапливались войска 1-го Дальневосточного фронта, чтобы за десяток дней всеокрушающим ударом в пух и прах разнести три японские армии и войти в Северный Китай, знаменуя, наконец, победительный итог невиданной человеческой бойни, названной Второй мировой войной и стоившей планете Земля сто пятьдесят миллионов жизней.

– Я видел тут маршала Мерецкова, Кирилла Афанасьевича. Он командовал нашим фронтом, – задумчиво сказал Бруня, неотрывно глядя в окно. – Многие ребята уже после девятого мая погибли, – добавил он. – Всю Германию прошли, а здесь полегли...

На вокзале в Борзе нас встречал длинноволосый парень, в узких, осуждаемых тогдашним обществом брюках, со странным именем Бенецион. Это был техник экспедиции Опарышев, с которым Генка через три дня подрался, поскольку тот назвал его недоумком.

Бенецион приехал раньше, чтобы подобрать жилье. Он и подобрал: себе и Брунке приличную комнату возле станции, в помещении кондукторского резерва, а нам в старой деревянной школе брошенный класс, куда стащили железные кровати с продавленными сетками, даже без подушек. Но мы не роптали, нам было все интересно. Настоящая жизнь начиналась!

С раннего утра и до вечера, в образе усердных монгольских верблюдов, мы мотались по путям и тупикам, нагруженные геодезическим оборудованием, всякими там треногами, рейками, колышками, рулетками, нивелирами, теодолитами, ещё какой-то хренью. Под руководством Бронникова обозначали границы и чертили ландшафт будущего «стойбища» для бронепоездов. Другая их половина, как сказал Бруня, должна стоять на станции Отпор – это на самой китайской границе. Все бы хорошо, но сильно раздражал техник по имени Бенецион. Он был старше нас года на четыре, однако держал себя крайне чванливо, общался сквозь зубы, в основном, «принеси-унеси», «поди сюда» и т.д.

Узнав от Бруни, как по звонку и властно разрешились трудности при отъезде из Читы, он не полюбил нас, как может не лю-

бить подвальный жилец соседа, живущего над ним. Так оно и было! Бенецион с крепко пьющей матерью пребывал на захолустной хабаровской окраине и с «младых ногтей» наливался злобой ко всему, что противостояло «подвалу» и образу жизни в нем. Бруня как-то поведал, что и в личной жизни у него тоже как-то не очень складывалось, ухаживал за какой-то легкомысленной барышней из состоятельной семьи, но как в том романсе:

*Он был титулярный советник,  
Она генеральская дочь.  
Он робко в любви объяснился,  
Она прогнала его прочь...*

Увы, но молодость почти всегда бескомпромиссна в оценках и радикальна в поступках, особенно когда создается непростая, а ещё хуже, конфликтная ситуация. Разрешить ее иногда тянет с помощью кулаков, тем более нам, сколоченным в неуправляемое дворовое товарищество. Мы не принимали жизненных тонкостей (да и не понимали их) и часто стремились обслуживать свои амбиции с категоричностью задиристых идиотов. Объявив Бенециона врагом, тут же «окрестили» его Бенькой, а лохматую собаку, прибывшую к нашему «очагу», демонстративно называли Опарышем. Бронников осуждал нас, пытался мирить, но без особого успеха. Он не мог, мы не хотели, поэтому всякий раз кто пойдет с Бенькой на работу, определяли с помощью жребия.

По правде говоря, Бенецион и сам был из породы тех, кто жил по принципу – «Удавлюсь, но не покорюсь!», поэтому надо признать, самым большим его врагом были не мы, а он сам.

Впоследствии я встречал немало людей, которых гипертрофированные амбиции буквально разрывали изнутри. Часто хотелось дать в морду, но с возрастом, слава Богу, желание из практической плоскости стало переходить в теоретическую, но дать все равно хотелось (да и сейчас хочется).

После драки Беньки с Генкой в коллективе запахло жареным. Жаловаться Бруне было «западло», и в нас стали просыпаться инстинкты уличной стаи, что для Бенециона вполне могло закончиться серьезными неприятностями, «темной», например. Че-



го греха таить, мы уже имели опыт коллективных драк на улице. Однажды завязались прямо в центре города с известным певцом Кола Бельды. Помните, был такой развесёлый нанаец, пел на всех телевизионных «Огоньках»: «Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам...» Он про тундру только пел, а сам жил в центре Хабаровска, часто бывал пьян и слыл большущим забиякой. Уж не помню, с чего началось, но Кола порвал на мне рубашку, я тоже в долгу не остался, и пошло-поехало. Подросла милиция, но Кола в тех кругах знали как большого драчуна, поэтому нам как-то с рук сошло, хотя «народному» немало перепало по широкой «физии». Всех поволокли в участок, но поскольку Бельды и там вел себя хуже всех, орал матом, сломал стул, нас с миром отпустили, а его оставили. Потом когда я его встречал на улице (он жил где-то рядом), Кола присматривался сквозь и без того узкие глазки, очевидно, гадая: где я эту рожу видел?

Замечательный был артист, но умер рано, а всему причина – водка. У северных народов, оказывается, есть какой-то особый ген, что позволяет им хлестать водку, как воду. Мы как-то зимой с Генкой пошли на Амур за рыбой. Нанайцам как коренному народу разрешалось бить во льду большие майны и ловить сетью, и все знали, что у них можно рыбой разжиться, но только за спирт. Питьевой спирт в Хабаровске продавали свободно, поэтому купив в центральном гастрономе две бутылки с голубой этикеткой (тогда никаких ограничений не было и в помине, продавали хоть младенцам), мы пошли по льду в сторону левого берега. Нашли майну, возле которой сидел одинокий дед и курил длинную трубку. Рядом грудой поленьев высилась замерзшая рыба, в основном, здоровенные щуки. Такса была простая: бутылка спирта – сколько унесешь! Пока мы выбирали щук покрупней, дед налил в глиняную плошку спирт, поджег его и, сдувая от края синее пламя, стал неспешно пить, как чай, причмокивая и покуривая.

– Никогда не победят того народа, – произнес Генка чью-то умную фразу, – который так хлещет спиртягу!

Мы старались нагрузиться как можно больше, но оледенелые щуки в руках крутились, выскакивали, вмиг разрушая всю набранную «поленницу». Наконец, с громоздкой охалкой мы кое-как

отошли метров на двадцать и с облегчением бросили поклажу прямо в снег. Генка достал веревку и с помощью припасенного гвоздя, просунув его сквозь жабры, сплел гирлянду, которую волоком по льду, как два заблудших джекклондоновских бродяги, мы потащили к правому берегу.

В Хабаровске в ту пору считалось, что рыбы никогда не бывает много. Генкина бабка научила мою маму делать из щуки котлеты с черемшой, добавлением козьего молока и медвежьего жира. Поверьте – это было нечто! Но кушать надо было обязательно прямо со сковороды, свежепожаренные и непременно раскаленные. Тогда, как говорят нынче, кайф выше крыши...

Но давайте вернемся в Борзю. Борька сбегал в комнату, притащил рюкзак и, покопавшись в нем, достал большущий кастет.

– Ты че, рехнулся? – спросил Генка в гробовой тишине.

– А чего он?

Мы-то знали, что Рыжий подчас непредсказуем. Самый слабый из нас, он иногда мгновенно наливался злобой и способен был на поступки крайние. Но чтобы кастет?!

– А ну дай сюда! – Генка встал и, решительно взяв Борьку за шиворот, хорошенько встряхнул. – Ты че, совсем обалдел! И что у тебя ещё есть из этого арсенала? – он взвесил на руке увесистую свинчатку. Рыжий молчал, пытаясь сбросить цепкую Генкину лапу.

– Ну вот что! Если увижу у тебя нечто подобное, изувечу. Понял? Я тебя спрашиваю, ты понял?

– Понял! – буркнул Рыжий. – Для вас же стараюсь...

– Молодец, что стараешься! Так настаеешься, что мы потом хором будем хлебать твои старания... – Генка размахнулся и запустил железяку в темноту, на крышу мучного пакгауза, примыкавшего к старому железнодорожному тупику.

– Учти! – снова Рыжему. – Не в солдатском, а в арестантском вагоне поедешь, а то и пешком потащишься...

– В кандалах и по шпалам! – добавил благоразумный Дербас.

В конце концов, договорились Беньку не трогать, а о нарастающем конфликте рассказать Бронникову, пусть регулирует. На следующий вечер Бруня собрал всех и, обращаясь, главным образом, к Опарышеву, сказал:

– Нам страна доверила важное государственное задание, определив жесткие сроки его исполнения, и если мы их сорвем, тем более по причине внутренних конфликтов, отвечать буду я как ваш руководитель. Поэтому принимаю такое решение – ежели подобное повторится, я имею в виду драку или что-то вроде, то виноватые будут лишены премии в полном объеме, а это, между прочим, сто десять процентов вашего заработка. Понятно?

Всё, как «бабушка отшептала»! Мы притихли, Бенька угомонился и впоследствии даже пытался учить нас работать на теодолите. Сто десять процентов премии – это были приличные деньги, что ещё раз подтверждало истину: личный интерес – всегда самый действенный рычаг.

И когда власти (особенно нынешние) пытаются обобранный и скудно живущий народ звать к «великой цели», то сомнения в ее достижении закрадываются сразу на старте, особенно по прочтении так называемых деклараций руководящих персон о доходах, по степени туманной таинственности сравнимых, пожалуй, только с древнеегипетской клинописью. Тем более, можно писать все, что душе угодно! Например, владею плантациями папайи в долине реки Нигер, подаренными мне вождем племени бамбара, с которым я учился в Университете дружбы народов. Все равно проверять никто не станет, а если проверят и выяснят – да, владеет! Ну и владей, хрен с тобой!

Хотя лично я полагаю, что расшифровка «секретов» происхождения невиданного благополучия современных руководящих персон – не такая уж сложная штука. Достаточно спросить, но только в сопровождении пронзительного, лучше этакого «дзержинского» взгляда, и прямо в глаза:

– Откуда у вас, друг любезный, при жаловании в пятьдесят тысяч рублей расходы составляют пятьдесят тысяч, но уже в евро?

Во всем мире (кроме нас, конечно) налоги платят не по доходам, а по расходам. На чем горят в США наши шпионы? Вы угадали – на расходах! Не удержался господин «Икс, Игрек, Зет» от искушения и выкатился на «стрит» в новеньком «Кадиллаке», стоимостью в сто тысяч долларов, при заработках «под крышей» аптекаря в десять. Только выехал, а уже догоняет налоговый инспектор и спрашивает строго:

– На какие такие средства, мистер Смит-Вессон, вы приобрели столь дорогую штучку? А ну-ка быстренько (как Дзержинский), прямо в глаза мне глядеть!

И спекся «Вессон», он же и «Смит», лет этак на сорок. А у нас начальник какого-нибудь административно-организационного департамента по координации жадности с глупостью без тени тревоги катит по центру многолюдного города на личном «Ленд Крузере», да ещё с мигалкой, при жаловании, достаточном только на подкачку одного колеса, и ничего, спокоен, как черепаха Тортила!

«Ленд Крузер», дворец «о трех этажах» в деревне Просторы (где земля давно меряется не на сотки, а на квадратные сантиметры, стоимостью по цене итальянской замши), ещё кое-что из домашней «утвари» (бриллианты, меха, коллекционные сервизы, другая мелочь) – все оформлено на тещу, работающую всю жизнь в парикмахерской при коммунальной бане. А потом, для таких случаев есть вообще аргумент волшебной действенности:

– Ребятки! Не пойман – не вор! Хи-хи-хи!

Тем более у того, кто ловит, тоже все может числиться на бабушке, но уже на своей. Да и жена, голубка сизокрылая, с госпожой Батуриной вполне может потягаться по степени успешности. Вот и лови их, как маринованных рыжиков по тарелке!

Но если наберемся однажды решимости и прекратим играть в эти «забавы», тогда, возможно, что-то и сдвинется, тем паче читинские остроги навзрыд (ох, как навзрыд!) плачут по многим «персонажам» в чиновничьих лампадах и расшитых мундирах. И вот после этого в «фамильный» дворец переселится детский интернат для ослабленных малышей, «Ленд Крузеры» – в МЧС, бриллианты – в алмазный фонд, а бывших начальников – в Нерчинск, и запомните, минимум лет на двадцать пять, без права переписки, с карцером и с телевизором, но только с одной программой – «Про это».

В ином случае призывы к социальной гармонии выглядят не более чем попытками позвать всех лезть скопом на Эверест босиком и в одних кальсонах. В лучшем случае, массы ответят: «Ищи дурака!..»

Кстати, за отличную работу (такую оценку дал нам Сергей

Брониславович Бронников) при подготовке топографических схем под путевое хозяйство для спецобъектов (так именовались в секретных документах бронепоезда) мы и получили те суммы, что так переполошили мою маму несоразмерностью количества. Хотя Иохим (как рассказывал Генка) бурчал, что Брунька нам не доплатил, и он давно его знает как жулика и пьяницу. Впрочем, послушать Иохима, так у него все жулики, и большинство пьяницы.

Более того, за «стахановский труд» нам выдали грамоты, что крайне удивило родителей, часто упрекавших нас в отсутствии усердия.

– Может быть, действительно ты взялся за ум! – раздумчиво сказал папа, читая раскрашенную бумагу с девизом, начертанным золотом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Награды на общешкольном комсомольском собрании вручал сам Лазарь Наумович Губельман, чем до глубины души потряс впечатлительную Луизу Марковну Шакальскую, которая, если говорить честно, была о нашей компании (и не без оснований) не очень высокого мнения. Счастливая безмерно, она даже приобняла щуплого Рыжкина, выразив удивление, что такой худенький и так славно трудился, а главное – слушался. Потом я узнал, что в социалистической идеологии подобные действия трактовались как сочетание моральных и материальных стимулов. Кстати, совсем неплохо придумано. Фотографию одного из нас решили даже повесить на школьной Доске почета. На педсовете, говорят, немало спорили – кого? В конце концов, остановились опять на самом худеньком, Борьке Рыжкине.

– Рыжий! Ты там смотришься, как волк среди красных шапочек! – хохотала Сонька.

– Нет, ты гляди! – плачущим голосом возмущался Борька. – Я ее трогаю? Ну скажи, Володька, трогаю?.. Дождется-таки!

– Боря, успокойся! – гладил его по взъерошенной голове Генка. – Это в ней зависть бурлит!

Но, между прочим, такая приятность и на Рыжего благотворно подействовала. Мы тогда по-настоящему возгордились, что с нашим участием грозные советские «спецобъекты» заняли новые исходные позиции. То было время, когда страна выходила из по-

слевоенной разрухи, гудела огромными стройками, сияла «Хрущёвской» решимостью и жила большими надеждами.

Прекрасное, скажу я вам, было время! Где-то невиданными темпами возводились Байконур и Саяно-Шушенская ГЭС, создавалась гигантская авиапромышленность, выпускавшая сотни современных самолётов, был построен первый в мире атомный ледокол, с огромным пропагандистским шумом поднималась казахстанская целина. У нашего поколения и тени сомнения не было, что мы делаем важные, а главное, своевременные дела. Будущее рисовалось в самых радужных красках.

Извините меня за несдержанность (накипело!), но «просрать» достигнутое невероятным трудом миллионов могут только целеустремленные, от рождения заточенные на злобную ненависть ко всему отечественному враги, причём в тесном взаимодействии с клиническими недоумками, которые у нас почему-то всегда в президиумах. Последние если что умеют, так это выбирать самый влиятельный на тот момент «президиум», лучше всякого Мухтара угадывая свой «момент истины» на предмет, когда надо «делать ноги»... В другой «президиум», более подходящий.

Есть просто уникальные мастера этого промысла, всегда «в шоколаде», всегда при «мигалке», всегда на телевизоре и главное – всегда убедительны. Во времена канувшие – воинствующие атеисты, сейчас – смиренные прихожане, в любое время впереди любого «крестного хода», будь то Первомайская демонстрация или Святая Пасха. Словом, всегда и везде: ссы в глаза – Божья роса!..

## Когда весна придет, не знаю

Вечером, измотанные, мы возвращались в обжитой «класс», падали на тощие матрасы со ржавыми следами толстой проволоки и лежали без движений, подняв на кроватные спинки натруженные за день ноги. Даже болтать не хотелось, да и тематики особой не было, с утра одно и то же. Бронников вошёл в производственный раж, себя не жалел и нас гонял как сидоровых коз, выбивая, как он говорил, излишнюю «одомашненность», неустанно повторяя:

– Вы у меня людьми вернетесь!

Валяясь после ужина, мы покуривали все тот же лежалый «Байкал» и от скуки слушали в душной темноте радио. О, это волшебное Всесоюзное радио, невозвратная сила, очищавшая народ от любой скверны, отрада миллионов простых людей, рассеянных по огромной и пестрой стране! Раздвигая сумерки, в «мягких домашних тапочках», радио входило в каждый дом с мелодиями и словами, способными растопить любое окаменевшее сердце:

*Снова замерло все до рассвета,  
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,  
Только слышно – на улице где-то  
Одинокая бродит гармонь...*

Особенно нравились песни на стихи Фатьянова. Слова простые, как девичье дыхание на крепком мужском плече, а сколько волнующего смысла! Они прокалывали душу чувством сопричастности к этой прекрасной жизни, наполняя ее надеждами на будущее, одухотворенной, прежде всего, ожиданием любви. Вслушиваясь в музыку ясных и таких понятных слов, всякий человек искал и находил в них что-то свое, сокровенное, родное, близкое только ему одному:

*В городском саду играет  
Духовой оркестр.  
На скамейке, где сидишь ты,  
Нет свободных мест.  
Оттого, что пахнет липа  
Иль роса блестит,  
От тебя, такой красивой,  
Глаз не отвести...*

Мне и сейчас кажется, что даже в самом имени Алексея Фатьянова была скрыта какая-то тайна звуков, словно их воспроизводила некая магия, сошедшая с небес, способная без труда проникать в суть вечного любовного романа мужчины и женщины:

*Мне б тебя сравнить бы надо  
С песней соловьиною,  
С тихим утром, майским садом,  
С тонкою рябиною... –*

задумчиво пощипывая гитару, пел сверхпопулярный в те времена Марк Бернес. Он пел это во второй серии фильма «Большая жизнь», снятого после войны в продолжение первой, очень удачной картины, где заблистал всеми гранями бесценный дар Петра Алейникова, угадавшего образ такого симпатичного трудяги, бесшабашного, в меру ироничного и бесконечно надежного друга.

А вот со второй серией не получилось. Фильм по указанию ЦК изругали, песню объявили кабацкой, Бернеса напугали (хотя популярные деятели «кукиш» «в кармане» и прятали, но ЦК боялись почти смертельно). Уже много позже я узнал, что в какой-то степени Леша Фатьянов сам подтолкнул к таким выводам. В отличие от своих стихов, струящихся, как лесной ручей по луговой осоке, в жизни он был человек широкий, громкий и в шумности своей часто не знавший пределов. Он был воистину народный бун, нередко бунтарь, огромный, громогласный, публично плевавший на чопорные порядки, царившие в Союзе писателей. Лешу пытались ставить на место. В летописи этой довольно мрачной организации не было другого человека, которого бы так много раз исключали. Правда, потом принимали обратно. Не возвращать было нельзя, просто невозможно, потому что Леша, поцелованный Богом, был украшением русской песенной культуры, может быть, ее самой крупной драгоценностью, таким необработанным алмазом, вроде легендарного «Шаха», которым персидский венценосец откупился от гнева русского императора за убийство Грибоедова. Стоило диктору радио произнести:

– Музыка Соловьева-Седого, стихи Фатьянова, «Соловьи», – как даже в нашем борзинском «бунгало» устанавливалась тишина до осторожного тиканья старого будильника:

*Майскими короткими ночами,  
Отгремев, закончились бои,  
Где же вы теперь, друзья-однополчане,  
Боевые спутники мои... –*

растекалось из радиоэфира по всей стране...

Мой суровый отец, ни разу не отвернувший от смертельных опасностей жестокого века, зимой сорок второго чудом не растер-

занный в свирепой бомбежке станции Бологое, куда фронтовые железнодорожники подтаскивали грузы для осажденного Ленинграда, одиноко доживал жизнь на пашковской окраине Краснодара. Когда звучала эта песня, отворачивался к окну и плакал...

Сколько таких слез было пролито старыми солдатами, даже в страшном сне не представлявшими, что на родной земле, которую они отстояли, лишившись всего – родных, дома, очага, рук, ног, ребер, зубов – наступят времена, когда на «перестроечных» Арбатах будут продавать их боевые награды алчные, ничего не опасавшиеся «пауки».

Мне до сих пор загадочно, что свело их в дуэт, давший результат воистину сказочной творческой силы, таких разных – ленинградца Соловьева под псевдонимом «Седой» и москвича Фатьянова по имени Алеша. Василий Павлович Соловьев-Седой, гениальный композитор, любимец народа и (что важно!) партии и правительства, в той жизни был прекрасно благоустроен. Он и депутат, и делегат, и лауреат, и народный артист СССР, наконец, Герой Соцтруда, а главное, к чему бы ни притронусь, все превращалось в заслуженный успех – одни легендарные «Подмосковные вечера» чего стоят! Солидный, немногословный, когда надо, официально важный, неторопливый, знавший себе цену, он всегда и везде источал житейскую уверенность, украшенную стабильным благорасположением властей, от Сталина до позднего Брежнева. Не случайно лет тридцать возглавлял ленинградскую композиторскую организацию, и что особенно примечательно – всегда, всюду и для всех без исключения – Василий Павлович!

А вот Фатьянов очень редко бывал Алексеем Ивановичем. Чаще Леха, Лешка, Леша, в лучшем случае – Алексей, дерзкий весельчак, душа компании, легко возбудимый балагур, с немыслимым диапазоном человеческой живости, от обнимания с малознакомым человеком до мордобития такого же. Однажды в поезде подрался с каким-то генералом, тот в чем-то проявил неучтивость к поэзии. Люди, близко знавшие Алексея Фатьянова, утверждали, что он принадлежал к ярко выраженному русскому архетипу неумного творца, который если пел – то громче всех, если угощал – то всех подряд, коли любил – то обязательно на уровне обожествления, а еже-

ли не любил – то до крайних определений и даже рукоприкладства.

В отличие от Соловьева, подслеповатого коротконового толстячка, Леша был высок, красив, с широкой белозубой улыбкой, густой каштановой гривой, да вот в жизни ни одно из этих качеств особого благоуспеха ему не принесло, за исключением женщин, которые влюблялись в неукротимого Лешку с мимолетного взгляда, хотя предан был только одной – своей жене Галине, тоже очень красивой, но удивительно терпеливой, способной вынести все: и радость, и горе со своим неумным мужем.

Милиция нередко крутила ему руки как отпетому хулигану. Однажды благодарный Союз композиторов (в отличие от неблагодарного Союза писателей) решил в честь популярного поэта-песенника устроить большой праздничный фестиваль. Для этой цели выбрали город Владимир, возле которого в маленькой деревне (Малое Петрино) родился юбиляр. Растроганный Алексей приехал на сутки раньше, но на вокзале с кем-то повздорил, словом и даже действием обидел местных милиционеров, и после короткого сидения в железной клетке получил очередные пятнадцать суток. Утром следующего дня, плача навзрыд, подметал привокзальную площадь, а мимо шли приехавшие на «фатьяновский» фестиваль известные всей стране люди. Им и в голову не могло взбрести, что в дальнем углу, в лохматой гурьбе пьяниц и дебоширов, беззвучно вызывает (конвой кричать запрещал) виновник торжества.

Всесильные, особенно из Союза писателей, его недолюбливали. А за что любить? За прямоту оценок и публичное их озвучивание в любой аудитории? Кому понравится?

Как-то исключенный в который раз и в связи с этим публично униженный бухгалтерской челядью лишением оговоренной путевки в писательский дом отдыха в Коктебеле, Фатьянов решил поехать туда «дикарем». Деваться некуда, всю зиму обещал жене и детям отдых на море! Каким-то образом удалось устроиться, но предупредили, что руководитель Союза писателей России, многоуважаемый Сергей Владимирович Михалков, не только издал распоряжение – в писательскую столовую в шортах не пускать, но и лично это дело контролирует.

– А это он видел? – дерзко ответил Фатьянов, показав то,



что обычно в таких случаях показывают, и принципиально, на глазах у всех, стал ходить в трусах и майке всюду, загорелый, уверенный, демонстративно радостный, благо столовая находилась прямо на раскаленном солнцем берегу.

Конечно же, Соловьева-Седого и Фатьянова свел только талант, безмерный, всесокрушающий дар, включая даже несокрушимую российскую зависть. Подлинный талант, самой высокой пробы, свободный от алчной выгоды, расчета на чье-то благорасположение, просторный, широкий, как море, которое оба любили без памяти, вне зависимости от названия – Черное, Белое, Балтийское...

По-честному говоря, ни Василия Павловича, ни тем более Алексея никогда не волновала показная рабская покорность, столь свойственная многим, поэтому и по сегодняшний день так крепко держат сердца простые, но пронзительные слова, положенные на замечательную музыку:

*Не знаю слов я боле,  
Судьбу свою храня,  
Три года ты мне снилась,  
А встретилась вчера...*

Фатьянов, как и положено разудалому русскому поэту, умер рано, в сорок лет. Умер от разрыва аорты. Скоро исполнится полвека, как его нет. Думаю, эту дату вспомнят, если не официально, то хотя бы самой последней песней, которая, так же как и многие фатьяновские песни, вызывает слезы у любых поколений. Помните, как задушевно ее пел незабвенный Коля Рыбников в фильме «Весна на Заречной улице»:

*Когда весна придёт, не знаю.  
Пройдут дожди, сойдут снега,  
Но ты мне, улица родная,  
И в непогоду дорога...*

Я не устаю удивляться мистическим проявлениям, связанным с песенным наследием советских композиторов, по растоптаным следам которого, вздымая пыль и источая вонь, мчится нынче поповская «конница», пострашнее, чем кривоногая монгольская

орда, скакавшая когда-то по выжженным русским землям. Только табунное ржание, сопли-вопли да похотливое гиканье с утра до ночи звучат в эфире над согнутой в дугу страной.

Кубанью когда-то управлял первый секретарь крайкома партии Григорий Сергеевич Золотухин. Очень строгий был руководитель, улыбался редко, а когда и улыбался, то становилось не менее жутковато, особенно «крапивному семени», чиновникам и чиновницам, которых Золотухин гонял нещадно. Так вот, покойный Витя Салошенко, красавец, баянист, певун, руководитель краевого комсомола, мне рассказывал, что любил на досуге Григорий Сергеевич напевать вполголоса хорошие песни, особенно уважал «Катюшу». Пел неплохо, с чувством.

– Песня эта, – добавлял растроганно, – как добрая память, обо всем расскажет. А музыка какая! – добавлял восхищенно, лоямая всякое представление о суровости своего характера.

А теперь судите, в чем мистика? Был я недавно на Новодевичьем кладбище, российском национальном погосте. Случайно наткнулся на могилу Золотухина, закончившего земной путь (слава Богу, ещё до «перестройки») в должности министра заготовок, то есть продовольствия. Перевел взгляд, а рядом Матвей Блантер, автор «Катюши». Мороз по коже от таких пересечений! Видимо, тому, кто высоко, так угодно было. В нашем мире, как утверждают пастыри, ничего случайного нет и никогда не было. Крест свой несем заслуженно!

## Начнем с приседаний

Потихоньку обживаемся. Впервые оторвавшись от родителей, начинаем самостоятельно искать путь к житейскому благополучию. Тихоня Фабер на деле оказался неким прототипом кота Матроскина, приволок откуда-то продавленное кресло и самое ценное – керогаз. Нынче это «сооружение» вряд ли встретишь даже в политехническом музее, а тогда всякое утро советских людей начиналось с бодрого голоса Алексея Гордеева, ведущего радиозарядки, на фоне кухонного керосинового чада.

– Доброе утро, товарищи! – если даже на улице сплошная

мгла, солнечным голосом радостно взывал Гордеев. – Подымайтесь! И-и-и! Начнем с приседаний... Раз-два! Поглубже, товарищи, энергичнее... Дышите ровно... Ещё глубже... Не теряйте темпа! Вот так. Молодцы!

А за стенкой уже гудел сизым пламенем безотказный, как автомат Калашникова, керогаз, смешивая надёжные запахи керосина с ароматами жареной картошки. Петька на этот счет оказался искусным кулинаром. К процессу приготовления пищи никого не подпускал, зато его «фирменная» картошечка с луком хрустела на зубах румяной корочкой и при этом была аппетитно свежа и сочна, особенно когда поверху он сдабривал ее свежей сметанкой, за которой рано поутру посылал на станционный базар Рыжего. Кстати, Рыжкин распорядился нашим «общаком», Генка сразу принял такое решение:

– Деньги Рыжему! Мне давать нельзя, Володьке – тем более! А у Рыжего снега зимой не выпросишь, поэтому целей будут, – подвел итог наш «вожак».

– Вам бы только транжирить! – брюзжал из своего угла Борька с интонациями легендарного парижского скопидома, господина Эстержаба. Надо признать, что касаясь денег Рыжий проявлял не ожидаемую от него расчетливость, обдуманность и тихушничество.

На рынок ходил всегда один, вынимая душу из торговки, обнюхивая, ощупывая, пробуя на язык товар, строго следя за весами, а главное, нудно, неуступчиво терпеливо торгуясь за каждую копейку. В таких обстоятельствах никто и подумать не мог, что именно Рыжий (я вспомнил) затеял тогда драку с народным артистом, пообещав ему «оторвать уши и откусить нос».

Впоследствии Борька работал главным бухгалтером Таймырской нефтегазовой экспедиции (это где-то у чёрта на рогах, аж за Полярным кругом), создав авторитет непреклонного, разумного, крайне строгого финансиста, этакого зоркого стража собственности.

Много лет спустя, в гостинице «Москва» (снесенной зачем-то Лужковым) я рассказывал его дочери Маше, танцевавшей в кордебалете Большого театра, о наших юношеских «художествах». Машенька затыкала дочке уши, делала большие глаза и, хватаясь за сердце, картинно охала:

– Никогда не поверю! Папа был такой мягкий...

В таких случаях я всегда вспоминаю Луку, странника из горьковской пьесы «На дне». В конце первого акта несчастная Анна, кутаясь в тряпье, битая мужем, смертельно больная, никому не нужная, потянулась искаженной душой к кроткому старикану с тихим ласковым голосом:

– Гляжу я на тебя... на отца ты похож мово... на батюшку... такой же... мягкий...

– Мяли много, оттого и мягок... – горьким смехом задрезжал Лука голосом великого мхатовского актера Алексея Николаевича Грибова. Как нужны они нам всегда, эти странные русские странники, способные утешить, успокоить, сказать вовремя что-то нужное тихим, уютным голосом. Особенно сейчас, в жуткое безвременье вялотекущей междоусобной войны, когда мнут всех подряд.

Есть ведь факты много страшнее (хотя бы будничной привычностью, а от этого вроде малозначимые), чем жестокое побоище на Манежной площади, всполошившее Москву, да и всю Россию.

Мое израненное, изрезанное хирургами шунтированное сердце могло и не выдержать публичной «порки», устроенной маленькой старушке, крохотному одинокому существу, скончавшемуся на глазах равнодушного, как зимняя пустыня, общества, уронив седую голову на обшарпанный стол торговой подсобки.

Нищую одинокую старушку (а у нас большая часть стариков нищее горьковских «героев»), соблазнившуюся двумя глазированными сырками стоимостью в десятку, доставили в застенок супермаркета два бугая, два бультерьера, профессионально вывернув карманы и пустой кошелек. За десять рублей спокойно забрали человеческую жизнь, и без того уже почти невесомую.

А ведь если полистать ту жизнь, хотя бы по трудовой книжке, наверняка распухшей от благодарностей «за многолетний ударный и добросовестный труд», станет ясно, что мы пинком отправляем на тот свет лучший свой генофонд, тех, кто ещё готов умереть от стыда.

Мы что, не понимаем, что и «бультерьеры» – тоже жалкие заложники системы. В иных обстоятельствах могли стоять у стан-

ков, крутить штурвалы комбайнов, вращать ковши экскаваторов, тянуть ЛЭПы, а вынуждены охранять чужие закрома, всякий раз поджимая хвост, потому как отлично знают: чуть что – и живо сволокут на живодерню.

Вот хроника всего лишь одной теленедели. Скажите мне, в какой столице мира люди, ещё минуту назад не подозревавшие о существовании друг друга, в самом центре мегаполиса, на глазах у сотен спокойных зрителей, целенаправленно убивают друг друга только за то, что кто-то кому-то не уступил дорогу?

В любимом мною Нижнем Новгороде, крупнейшем университетском центре, «на стрелке далекой», где призывно когда-то звал всех к счастью гудок волжского парохода, рассвирепевшие пенсионеры, вооружившись дрекольем, бьют строителей, пытавшихся «втиснуть» в узкое палисадниковое пространство очередное бетонное «чудище». Бьют с одной целью – убить! Сил бы хватило! А ведь, заметьте, с обеих сторон лупят друг друга соотечественники, у которых ничего нет, не было и никогда не будет. А тот мужик беспутный, что в глухом уральском поселке, одурев от пьянства и безысходности, спалил себя и суд, из названия которого мы охотно вымарали понятие «народный», превратив, в сущности, в антинародный, где русская истина про «дышло» нынче самая что ни на есть расхожая. Я уже не говорю о имперском величии, всеподавляющей роскоши правоохраняющих новоделов. Для чего? Шоб боялись до онемения, чтобы картуз сдерживали при одном виде? Помните, как у Некрасова:

*Вот парадный подъезд.*

*По торжественным дням,*

*Одержимый холопским недугом...*

Достаточно взглянуть на грандиозный новодел (хотя старое здание было вполне приличным) Краснодарского краевого суда, чтобы понять, что это именно так. После такого зрелища сам собой напрашивается вопрос – зачем? Зачем в городе средней величины, с немалым количеством острых проблем, здание суда вполне «спорит» с Пентагоном, как известно, самым гигантским сооружением в мире. Со скрипом втиснутое в исторический квартал, все-

ми гранитными выступами помпезно устрашающий монстр угнетает все окрест, а главную библиотеку Кубани, вместе с небрежно сдвинутым в сторону памятником Александру Сергеевичу Пушкину – в первую очередь.

Мой друг старинный, седой подводник, в дни Карибского кризиса месяц пролежавший на дне океана под боком у Америки, посмотрел на все это и зло выматерился:

– Ведут себя, словно вся страна у них под следствием! Прокурорам, рассказывают, можно по встрече гнать, к пьяному не подходи, с бандитами в бане парятся... Вон в Подмоскovie чё делается... «Крышевал» областной «наперсточников», а наказание – пальцем погрозили. Черте что! – и в продолжение обсуждения очередной теленедели, выкатив на ладонь таблетку нитроглицерина, кивнул в сторону судейского исполина с притулившейся сбоку публичной библиотекой и горько сказал: – При таком контрасте никому ничего и объяснять не надо – все видно, как на ладони! А чё церемониться! Все равно никто ниче не читает! А озверение людское проще, конечно, «лечить» судом, тюрьмой, гауптвахтой, лагерем, психушкой, ссылкой в места, где мужик тот беспутный себя жизни лишил, а заодно и других, ничем не причастных...

А Борька наш, Борис Сергеевич Рыжкин, погиб на охоте. Поехал как-то с производственным коллективом в тундру пострелять северных гусей. Накануне до хрипоты спорили, как получше разодрать на куски нефтегазовое управление. Борис был единственный, кто выступал против, грозил жаловаться «куда надо». Видать, проснулся в нем тот Рыжий, что с кастетом в кармане за друга и правду готов был «уши оторвать и нос откусить».

Гусей добывали дробью, а в Борьке пулю нашли, этакий полновесный жакан, рассчитанный на медведя. Видать, заранее грели за пазухой. Но сильно расследовать не стали, сошлись во мнении о несчастном случае, без которых ни один охотничий сезон не обходится. Даже у нас на Кубани дела эти почти всегда полутемные. Что-то я не припомню, чтобы после такого ЧП кого-то к Иисусу потянули, так, легкими неприятностями ограничиваются. Словом, спи спокойно, дорогой товарищ! Факты не подтвердились! Все равно не вернешь! Тем более в ту пору все возбужденно спе-

шили. Подступала пьянящая эра чубайсовской приватизации, сулившая каждому по новому автомобилю «Волга». В итоге, как уже часто бывало, дело закончилось анекдотом:

- Отари! А Волгу ты купить можешь?
- Запросто!
- А две?
- Свободно!
- А десять?
- И десять могу.
- А сто Волг?
- Сплюшай, дарагой, зачем мне столько воды?..

Придет время, быть может, и вернемся к радиозарядке, начнем приседать по утрам, только вот второго Гордеева вряд ли найдем. Отечественный эфир прочно «схвачен» бойкой барышней с лицом молодого верблюжонка. Говорят, если что не по ней, «плюнет» так, что мало не покажется. Позволяют, видать... Те, у кого есть такое право!

## Тихие вечера

Обедать Бронников водил нас в столовую паровозного депо, насквозь пронизанную миазмами горелой трески. Мы брезгливо морщили носы, поскольку толк в рыбе понимали (все-таки с Амура), а тут ее в невероятных количествах жарили на огнедышащих противнях до состояния хрустящей подошвы. Обед, как правило, состоял из куска этой самой трески в сопровождении армейской перловки, политой белесой жидкостью, похожей на мучной клейстер, и щей, которые мы почти не ели. От одного слова «щи» у меня по сей день начинается аллергия. Валерка Дербас кривился и спрашивал:

- А знаешь ли ты, друг мой, почему щи называются суточные?
- Понятия не имею!

– Это порождение гражданской войны. На вокзалах их варили круглые сутки в больших котлах. Главная составляющая – кислая капуста. Ее бросали в кипящую воду, немного картошки, если была, чуть крупы, побольше соли, чтобы запах портянки отбить, и варили в сталеварном режиме, то есть день и ночь. Как дно приближается,

бабахнули ведер несколько кипятка – котел снова полон, и так круглые сутки... Голодные, подходи! Главное, чтоб горячо было и много!

Валерка не ел и треску, а за компанию жевал хлеб, запивая его компотом из сухофруктов.

– Как уверяют литературные классики, – разглагольствовал наш всезнающий друг, – вся история человечества – это борьба за две вещи – еду и тепло. А тут, – он обвел взглядом жующее пространство, – присутствует все... И еда, и тепло!

– Да-а-а! – бурчал Генка, который мёл все подряд. – Кулинарные традиции гражданской войны в этом населенном пункте, как я понимаю, сохраняются в полном объеме. Как вы считаете, Сергей Брониславович?

Бронников оторвался от тарелки:

– Не ресторан, конечно, но жить можно! – утершись большим платком, добавил с укоризной: – Разбалованы вы! Жизни настоящей не видели. Я однажды, когда Раскову в тайге искали, сырого ежа съел и ничего, живу... Прижмет, так что ни попадая жевать будешь. А это, – он опять обратил внимание на чавкающее окружение, – нормальная рабочая столовая. Цены приемлемые, порции большие, готовят неплохо, по-моему... Шумновато, конечно, а так ничего...

На кухне, где сутились толстые тетki в заношенных халатах, как в листопрокатном цехе, все творилось на предделе звуковых модуляций, стоял сущий гвалт. Бабы общались противно визгливыми голосами, громко стучали черпаками, крышками, постоянно что-то роняли, огрызались на подавальщиц (так называли в подобных заведениях официанток), тоже наглых, оглядывающих посетителей с нескрываемой неприязнью. Это ещё ничего, хуже, когда начинали хохотать, обнажая рты со слизанной помадой и большими железными зубами, сотрясая толстые животы, подвязанные захватанными полотенцами. И вдруг!

– Боже ты мой, глядите, луч света в темном царстве! – воскликнул Дербас. К нашему столу подходила тоненькая застенчивая девушка. Заливаясь краской от смущения, она чуть слышно попросила талоны и тут же унесла их к раздаточному окну.

– Какая прелесть! – сказал Бронников. – Место, правда, для такой девушки не сильно подходящее.

– А вы, Сергей Брониславович, оказывается, не только охотник до ежей, – съехидничал Генка. – По правде говоря, мне тихони вообще не нравятся! Это у нее такая форма защиты, чтобы не приставали. Хотя...

– Что ты понимаешь! – вдруг взвился Дербас. – Просто девчонке, видать, приходится на жизнь зарабатывать...

Через несколько минут она появилась с тяжелым подносом и, сгорая от румянца, стала расставлять алюминиевые миски со щами, от которых шёл горячий пар, отдававший баннным веником.

– А как вас зовут, девушка? – спросил Бронников отеческим тоном.

Она подняла темные глаза и чуть слышно ответила:

– Лена!

– Какое красивое имя! – захихикал Рыжий. – Главное, очень редкое!

– Почему? – строго спросил она, повернувшись к Борьке, и тот вдруг непривычно смутился. Уж больно глаза у девчонки были серьезные, внимательные, совсем не склонные к пониманию иронии такого рода.

– Вы здесь работаете? – снова поинтересовался Бруня.

– Ну, нет! – девчонка смущенно улыбнулась. – Я бабушку на неделю замещаю... Ещё учусь, в десятый класс перешла... В школе каникулы, так я тут подрабатываю.

Мы захохотали, и девушка удивленно подняла брови.

– И что смешного? – чуть слышно, с легкой обидой произнесла она.

– Да вы не сердитесь на них, Лена! Они такие же, как вы, – Бруня выглядел заботливым папашей большого и дружного семейства. – Трудятся в каникулы, исправляют недостатки характера. Ну, и заодно формируют рабочую биографию...

– А какие у них недостатки? – девушка немного ожила.

– О-о! – горько рассмеялся Бруня. – Трудно даже перечислить, очень много... Зубоскальство, склонность к лени, немотивированное бузотерство... Что ещё? – он посмотрел на Генку.

– Я думаю, к нашим недостаткам можно отнести, прежде всего, отсутствие здоровой критики вышестоящих руководителей...

– Кого же? – насторожился Бруня.

– Например, этой столовой. Надо ж придумать, чтобы барышня таскала неподъемные подносы с пищей для гегемона, я имею в виду рабочий класс местного железнодорожного узла...

Так мы познакомились с Леной Кудренко, которая, оказывается, жила неподалеку от нашей «школы» и была «ушиблена» совсем неподходящим, как нам казалось, для этих мест делом – театром. Как и все стремящиеся в артисты, выглядела она с некоторыми странностями. Могла вдруг на середине разговора замереть, уставясь неподвижным взглядом в какую-нибудь точку, и сидеть так довольно долго.

– По-моему, она малахольная! – вещал Рыжий, и мне казалось, что в этот раз он был прав. Но активно сему возражал Дербас, которому Ленка явно нравилась. Он, кстати, и «протоптал тропу» к ней в дом, точнее, уютный палисадник, густо засаженный сиренью, где мы стали бывать довольно часто. Девчонка жила с бабушкой, той самой, что работала в деповской столовой. Та, на удивление, к нам относилась очень хорошо, называла «мальчиками», выделяя при этом Валерку, который помогал ей колоть лучину для самовара, накрывать на стол и всячески демонстрировал уважительность. Вечерние посиделки назывались «чай». К «чаю» обязательно выходил сосед, интеллигентный старичок, с неременной газетой в руке, в тюбетейке и с очками, сдвинутыми на лоб. Его звали Серафим Константинович Козельский, в узловом клубе он руководил театральным кружком, в котором, как оказалось, прямой была Елена. Он нередко называл ее «Прекрасной». В моей жизни было немало Елен, но прекрасной была только та, что из Борзи, все остальные, как одна, были редкие вруны. Следом по степени вранья идут Марины. Почему-то так выпадало на мою долю! Но это к слову, как говорится, наблюдения между строк...

Прошла бездна лет, но сквозь их толщу я по-прежнему отчетливо слышу отзвуки тех тихих вечеров в обществе «отца Серафима» (как его прозвал Генка), с уютным позвякиванием ложечек в чайных стаканах, дымно кипящим самоваром на просторном садовом столе, хрустом поджаренных баранок, сахарными щипчиками, из-под которых синими искрами разлетался рафинад, конфетами-



подушечками в старинной вазе и неторопливыми разговорами о театре, кино, славном нашем кино, захватившем в ту пору большую страну без остатка, воистину от края и до края.

Ленка, разгораясь, как ночной светлячок, в сиянии восторженных глаз без остатка растворилась в «серафимовских» беседах, который о русском театре мог говорить часами. Нам было интересно, тем более Серафим Константинович умел расцветить сознание необычностью сюжета, чередой событий, свидетелем и участником которых являлся. Он прикасался к ним с ощущением, словно персонажи рассказов находились где-то тут, рядом. Так, вышли на минуту покурить и сейчас вернутся...

Личная судьба старика была, конечно, переломана, как, впрочем, жизнь большинства людей его поколения, особенно имевших «счастье» родиться на рубеже веков, к тому же в сановном городе Петербурге, столице империи и ее врагов.

– Я ведь мальчишка Петроградской стороны, – рассказывал так, словно мы знали, что такое Петроградская сторона. – Это там, где любая смута зарождалась. Помню ещё казачьи разъезды, цоканье копыт по нашим переулкам, один раз даже плетки отведдал... А в театр меня Боря Блинов потянул, мы с ним в одном баграке жили, через стенку... Сначала в театр, а потом кино...

Боря Блинов – это Борис Блинов, знаменитый довоенный актер, исполнитель роли Фурманова в фильме «Чапаев», который до мельчайшего эпизода знал любой мальчишка Страны Советов, главном кинофильме нашего детства. Оказывается, Серафим Константинович в том фильме тоже снимался, правда, в эпизоде, в красноармейской толпе. Помните хлесткий вопрос Чапаева к взбунтовавшемуся эскадрону:

– Кто стрелял?

Тогда из строя вышел сумрачный невзрачный боец с винтовкой в руке:

– Да мы тут, товарищ начдив, сами ещё одного... кокнули!

Это и был Козельский. Что уж его потом занесло в Борзю, трудно сказать. Людей в ту пору часто носил по свету обычный человеческий страх, желание спрятаться подальше от «ежовых рукавиц» и других разновидностей «классовой борьбы», хотя эвакуа-

цию провел в Алма-Ате, вместе со многими известными актерами. Помог суперзнаменитый друг, после «Чапаева» в двадцать пять лет ставший одним из первых заслуженных артистов республики, любимцем зрителей, режиссеров, да и властей, что важно в любую пору.

Осенью 1941 года большая часть советского кино спешно перемещается в Алма-Ату. Здесь, вдали от войны, в крохотной киностудии создавали те самые «фронтовые» шедевры, что, затаив дыхание, смотрела вся страна, не имевшая никакого понятия о реальной кровавой бойне, разыгравшейся там, на передовых позициях, кроме потока «похоронок», осыпавших рыдающий от горя тыл.

– Борис от природы был очень органичным актером, с внешностью «победительного героя», его часто снимали в ролях военных, – вспоминал Козельский. – Последним его фильмом стал знаменитый «Жди меня». Там главную героиню играла ещё более знаменитая Валя Серова, Валюша, как мы ее называли...

В этом фильме герой Блинова выживал в невероятной ситуации и по воле сценариста Константина Симонова возвращался к любящей, до сумасшествия преданной ему жене. Ее как раз и играла Валентина Серова, которая, к сожалению, в жизни никого и никогда не ждала, а повиновалась только своим неожиданным подчас желаниям, чем мучила влюбленного поэта бесконечно, сподвигая на стихи воистину невероятной силы. Симонов хорошо знал эти качества Валентины и взывал:

*Жди меня, и я вернусь,  
Только очень жди,  
Жди, когда наводят грусть  
Жёлтые дожди...*

Знать бы ему, что строки, обращенные к одной конкретной женщине, на фронте от Белого до Черного моря будут повторять миллионы мужчин, молитвенно вторя:

*...Не понять не ждавшим им,  
Как среди огня  
Ожиданием своим  
Ты спасла меня...*

А герой Блинова, боевой летчик, сбитый в тылу врага, успешный партизанский командир, преодолевая огонь, боль и смерть, идет к любимой, несмотря ни на что, и прикрывает его от всех бед всепобеждающая любовь женщины. Какая замечательная сказка, а главное, очень своевременная! Надежда никогда не должна умирать! – таким был основной лейтмотив советской пропаганды.

Но в реальной жизни многое (если не все) было далеко не так, даже в далеком от фронта алма-атинском убежище. Несмотря на отсутствие бомбежек и обстрелов, обстановка там была почти фронтовая, голодная, жесткая, почти жестокая, с лишениями, болезнями, неизбывным ожиданием горестных известий. Особенно донимали болезни и самая главная из них, недуг всех войн – тиф, косивший эвакуированных беболаг без всякого снисхождения к таланту и известности. Он подползал незаметно, но набрасывался яростно и сразу.

Так, в сентябре 1943 года, не дожив до тридцати пяти лет, умер «победительный» Борис Блинов, даже не успев посмотреть свой последний фильм с таким счастливым концом. Через месяц другая жертва – в тифозном бараке скончалась жена кинорежиссера Григория Козинцева, мечтательная красавица Софья Магарилл, несравненная баронесса Шталь из пермонтовского «Маскарада».

Через несколько дней прямо со съемочной площадки в инфекционную больницу увозят умирающую красавицу Лидию Смирнову, всполошившую всю страну редкой искусительностью ещё в фильме «Моя любовь». Тиф подбрасывает температуру до верхнего предела, истончая внутренности до толщины папиросной бумаги. Казалось, ещё мгновение – и всё...

На анапском кинофестивале много лет спустя постаревшая и изрядно поблекшая народная артистка СССР Лидия Николаевна Смирнова рассказывала мне, что от смерти ее, в сущности, спасли два великих человека, оба в равной степени претендовавшие на ее сердце: композитор Исаак Дунаевский и кинооператор Владимир Рапопорт. Первый слал из Москвы полные отчаянной любви поддерживающие телеграммы, а второй – на костре из сухих листьев разогревал в больничном дворе яблочное пюре, поскольку ничего другого пораженный болезнью организм не принимал.

– Дела были совсем плохи! Старенький врач, лечивший меня, заразился и умер, – медленно рассказывала старая актриса, невидяще глядя куда-то далеко-далеко в море. – А Володя Рапопорт, который ни на шаг не отходил, не заразился и меня поставил на ноги. Я до сих пор поражаюсь, как ему это удалось!..

В итоге Рапопорт и стал мужем Смирновой, а обиженный Дунаевский, называвший Смирнову не иначе как «солнышко», игнорировал до конца жизни...

## Большое счастье

Однажды в наше «бунгало» на минуту забежала Лена и возбужденно сообщила, что в Борзю с гастролями приехал Центральный театр Советской Армии, а там играет ее любимая актриса Людмила Касаткина! В то время она была жутко популярна. На экраны только-только вышел фильм «Укротительница тигров». Касаткина исполняла там главную роль в образе очаровательной пухленькой блондинки, с голосом редкой мелодичности, но решимостью дрессировщицы с железным характером. Тут же возбудился Дербас, давно подозреваемый нами в тайной эротомании, о чем ему никогда не забывал напомнить Рыжий.

– А ну вас! – Валерка махнул рукой и побежал вослед Елене, как нам показалось, снова в сиреневый палисадник.

– Конченный бабник! – подвел итог Генка.

– И будущий подкаблучник, – добавил я.

Но утром Дербас сообщил, что вчера он отстоял в Доме офицеров длинную очередь и купил два билета на спектакль «Летчики».

– А зачем два? – спросил Фабер.

– Я пригласил Лену!

– Вот те раз! – воскликнул Ходоркин. – Значит, ты в театр с барышней, а мы тут у Петькиного керогаза... Я бы про летчиков тоже посмотрел... Мне интересно!

– Хотеть и мочь, господин Ходоркин, как говорят в Одессе, две большие разницы, – Валерка развел руками и сделал книксен. – Спектакль послезавтра, а билетов тью-тью. Я взял последние, и то на галерку...

– Ну, нет! – Генка решительно спустил с кровати босые ноги. – Пошли до Бруни, пусть устраивает культпоход для трудового коллектива...

Как ни странно, но Бронникову эта идея понравилась, и он решил проблему проще, чем мы думали. Из штаба генерала Корабельникова (мы все-таки выполняли оборонный заказ) в приказном порядке позвонили начальнику Дома офицеров, и Бронников за счет «Дальгипротранса» приобрел по нашей наводке аж семь билетов, в расчете на «отца Серафима» и Ленкину бабушку. Действуя исключительно из принципов великодушия, мы предложили Дербасу сдать купленные билеты и идти с нами в общей компании, к тому же за счет «датского короля». Но Валерка не без надменности решительно отверг наши предложения:

– Я, между прочим, иду с девушкой, и выглядеть в ее глазах крохобором не имею желания...

– А мы? – спросил Фабер.

– А вы... – он смерил Петьку подчеркнуто высокомерным взором. – А вы идете с ее бабушкой Прасковьей Никитичной, насколько я понимаю... Желаю успехов! Женщина исключительной душевности!..

За свою долгую жизнь я посмотрел множество спектаклей в разных театрах, начиная от Копенгагенской королевской оперы и кончая Хадыженским народным театром, который создал и долгое время возглавлял замечательный энтузиаст, мой друг Коля Полянский (сейчас нет ни Коли, ни театра). Так вот, у большей части спектаклей я даже названий не помню, а вот тот, борзинский, помню до мельчайших подробностей, прежде всего, восхитительную Людмилу Касаткину, тогда молодую, быструю, как птица, заполнившую своим бесконечным обаянием битком набитый зал гарнизонного Дома офицеров, где-то на самом краю советской земли, в степном Забайкалье. Помню даже ее сценического оппонента, такого самоуверенного и наглого летчика, которого играл Станислав Чекан, впоследствии очень известный артист (вспомните в «Бриллиантовой руке» могучего милиционера, наставлявшего Семёна Семеновича Горбункова и жарившего для него яичницу)...

Домой возвращались возбужденной гурьбой во главе с рас-

красневшимся Бронниковым, который не забыл в антракте пропустить свои «фронтовые» сто грамм и в знак благодарности угостил начальника Дома офицеров, сияющего от пуговиц до сапог толстого подполковника, почему-то танковых войск. Единственное, Дербас был огорчен. Его билеты оказались на последний ряд балкона, а наши в партере, шестом, литерном ряду, но бабушка, зная увлеченность внучки, в последний момент поменялась с ней местами. Воспитанный Валерка виду не подал, правда, исподтишка показал кулак в ответ на ехидную Петькину рожу, украшенную высунутым языком.

После спектакля растроганная Прасковья Никитична пригласила всех к вечернему чаю, на этот раз с домашними пирогами. Боже, что это были за пироги! И что это был за вечер!

Бронников в дуэте с Серафимом Константиновичем деланным басом пели протяжные украинские песни:

*Взяв би я бандуру та и заиграв, що знав,  
Через ту бандуру бандуристом став...*

Потом вышла Лена и, запрокинув гладко зачесанную голову, kloчоча напряженным горлом, читала стихи:

*Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,  
Как шли бесконечные, злые дожди.  
Как кринки несли нам усталые женщины,  
Прижав, как детей, от дождя их к груди...*

После войны прошло всего лишь десять лет, но она продолжала проступать, как кровавая рана сквозь бинты, в первых послевоенных поколениях, слава Богу, уже только пронзительными стихами фронтовых поэтов. Симонов оставался лучшим из них и по-прежнему самым востребованным. Тоненькая, как ивовая веточка, девчонка, закрыв глаза, под дальние паровозные гудки читала, вонзая в сердце вещие слова:

*...Как будто за каждую русской околицей,  
Крестом своих рук ограждая живых,  
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся  
За в Бога не верящих внуков своих...*

Опустив голову, слушает Серафим, окаменел лицом Бронников, прячет плачущие глаза Прасковья, притихла и наша компания, внимая девичьему голосу, напряжённому, как струна.

*...«Мы вас подождём!» – говорили нам пажити,  
«Мы вас подождём!» – говорили леса.  
Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется,  
Что следом за мной их идут голоса...*

Через год Ленка поступила в Вахтанговское училище. Правда, в Москву с ней ездил Серафим Константинович, скорее для поддержки, чем для протекции. Уже много позже я узнал, что крохотная Борзя подарила отечественному киноискусству и театру как минимум двух замечательных актеров: Наталью Гвоздикову и Виктора Сергачева, а не сильно показавшаяся нам Чита – так и вовсе Юрия Соломина и брата его Виталия, актеров самого первого ряда.

Все они поднялись до уровня народных артистов страны, будучи при этом людьми из самых что ни на есть народных глубин, из далекой провинциальной России, давшей нашему национальному искусству Шукшина, Распутина, Вампилова, Лихоносова, Мордюкову, Бондарчука, Захарченко и великое множество других замечательных людей, искусство которых ведет сегодня смертный бой за сохранение той духовности и душевности, что на всю жизнь застряла в моей памяти и сердце тихими вечерами в незатейливом палисаднике маленького забайкальского поселка, жившего, как оказалось, на самом высоком уровне духовного взлета и человеческой доброты.

Нет, не ездят ныне столичные театры гастрольными маршрутами по городам, а уж тем более – весям, больше в антрепризе суетятся. С одним стулом наперевес и чайником под мышкой (весь реквизит) «бременскими музыкантами» перемещаются по стране известные столичные артисты в поисках «хлеба насущного», желательно с маслом, а ещё лучше – с икрой, бахвалясь потом по телевизору перед полунищей страной (не у всех, конечно) загородными имениями, которых сроду не было даже у Мамонта Дальского.

Для завершения всеобщей грусти по этому поводу не хватает только купринского «белого пуделя», хотя скрипачей с консер-

ваторским образованием в московских пешеходных переходах я уже встречал...

Однако вернемся в Борзю, где лучше всех, в конечном итоге, устроился старший техник Бенецион Опарышев. Он, как тогда говорили, «сошёлся» с весовщицей главного станционного пакгауза, на котором от военного времени ещё сохранилось полустертое грозное предупреждение: «За курение – трибунал!». Весовщицу, зычную грудастую деваху гвардейского роста, звали Елизавета Кураж. Она командовала на складе, как на собственном подворье, но когда там появлялся Опарыш, становилась непривычно тихой и ласковой, как дрессированная медведица из цирка «Шапито», который раскинул свои брезентовые крылья там же, возле вокзала.

Вскоре Бенецион забрал свой скарб и окончательно перешёл к Лизавете. По утрам прямо на крыльце он пил свежее козье молоко и потягивался, как помойный кот, которому, наконец, выпала удача сытно есть, тепло спать и с любой стороны доступно то, о чем раньше только мечталось под тайное рукоблудие.

– Ну, вот и к Бенециону Израилевичу пришло большое человеческое счастье! – зубоскалили мы. – Интересно, что же получится от сожительства волка с волкодавом?

После пакгауза Лизавета заходила за Бенькой, интересовалась, скушал ли он яички, что она положила ему в портфель, а потом, взяв под руку, бережно вела в сторону улицы имени паровоза Ползунова, возвышаясь над суженым ровно на голову. Там, в просторном рубленом доме, они и вили свое «гнездышко».

– Вот это каланча! – восторгались мы. – Такая уж точно коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...

– Вы бросьте ерничать! – осуждающе ворчал Бронников. – Хотя, конечно, если женщина таких кондиций начнет куражиться, то я Бенециону Исаковичу не завидую...

– Он Израилевич! – поправлял Дербас.

– Да какая тогда будет разница! – махал рукой Бруня. Видимо, в этой любовной схеме ему тоже что-то не сильно нравилось.

Но для нас «Бенькино счастье» закончилось тем, что в Отпор вместо него поехал сам Бронников, выбрав подсобниками меня и Генку.

Отпор – это конечный пункт на советско-китайской границе (сегодня, по-моему, называется Забайкальск), тогда небольшая станция с помпезным вокзалом «сталинского» типа, мимо которого, обтекая с двух сторон, день и ночь грохотали составы.

Я хорошо помню, как к гранитному portalу со стороны Китая подходили поезда, под завязку набитые одноликовыми китайскими парнями. Они с восторженной радостью оглядывали нас, первых советских людей, о которых им с утра до вечера твердили, что «русский с китайцем – братья навек». Молодых китайцев тысячами везли в Советский Союз, одетых только в майки и одинаковые холщовые штаны. В Отпоре их переобували в нормальную обувь и впервые кормили досыта. Их ожидала «страна всеобщего счастья», и это было действительно так! Китайцев встречали восторженно. Советские люди искренне делили с ними радость недавней победы над «японскими империалистами», считая, что ее величие озарит нам путь в будущее, в которое мы пойдем, крепко обнявшись, русский и китаец. Впрочем, так долго и шли...

Через пару лет, поступив в Уральский университет, я учился с китайцами, очень дружелюбными ребятами, с одной только разницей: мы учились между делом, а они – день и ночь. Была даже такая поговорка – «сидеть в читальном зале до последнего китайца». Это считалось поступком, близким к подвигу, потому как китайцев пересидеть в библиотеке никто не мог, да и не стремился. Однажды к декану, профессору Сурову, пришёл плачущий китаец и попросил его отчислить из университета, поскольку он сильно огорчил председателя Мао, получив на экзамене по латинскому языку тройку.

Дело кончилось тем, что молодого преподавателя-латиниста на закрытом партсобрании за политическое недомыслие «мыли» так, что он плакал громче китайца...

В Отпоре нам было одиноко и скучно. Мы жили в расположении воинской части и всякий вечер валялись на койках, слушая рассказы Бруни о прошлой жизни. И вот тогда я впервые узнал, что друг мой сердечный Генка Ходоркин – вовсе не Ходоркин и даже не Генка, а родился Иоганном Максовичем Раппопортом. Его отец был радистом Дальневосточной воздушной армии, погибшим «при

исполнении служебного задания». Хотя никакого задания, в общем, и не было. Эту грустную историю нам поведал Бронников, который молодым парнем принимал участие в поисках знаменитой летчицы Марины Расковой, выпрыгнувшей в тайге из гибнущего самолёта...

## Совершенно секретно

Это были времена немыслимых воздушных рекордов, героических смертей во имя Родины и... помпезных похорон, сценарии которых разрабатывали самые талантливые режиссеры.

Из Колонного зала урну с прахом, присыпанную цветами, везли на орудийном лафете, где на Красной площади, главном кладбище страны, ее встречал всеповергающий гром траурного оркестра и правительство на Мавзолее во главе со Сталиным. Вся страна обливалась слезами под скорбные слова, проистекающие из всех радиостанций Советского Союза.

Сегодня у нас публично, под телевизор, хоронят только артистов, а тогда в основном летчиков, которые бились с исступленной последовательностью, словно только и стремились к траурной помпезности ритуального погребения. Так, например, в конце 1938 года хоронили Валерия Чкалова, разбившегося в Москве во время испытаний нового самолёта «И-180». По поводу причин его гибели ходила масса слухов, начиная от специально подстроенных козней до расправы за публичную защиту «врагов народа» Рыкова и Бухарина. В течение многих лет «масло в огонь» подливал сын героя, Игорь Валерьевич Чкалов.

«Уже после гибели отца, – рассказывал он через полвека корреспонденту “Известий”, – произошло несколько загадочных случаев, точного объяснения которым нет и доньше. К примеру, на следующий после катастрофы день сброшен с электрички и умер ведущий инженер по испытаниям “И-180” Лазарев. Вскоре арестовали начальника Главка наркомата авиапромышленности Белякина. Через пять лет его выпустили, но через день убили в собственной квартире...»

Ходили слухи, что в квартире Чкалова после случившейся беды нашли коробку охотничьих патронов, которые вначале дава-



ли осечку. Но стоило для перезарядки переломить ружье, как они «стреляли» прямо в лицо охотнику, и прочее в том же духе.

Да вот незадача! Сам Сталин на заседании Главного военного совета РККА все объяснил. В Кремле собрали всех командиров ВВС, вплоть до полков, с единственной повесткой: «О мерах по борьбе с летными происшествиями и катастрофами в военно-воздушных силах». Присутствовала армейская элита СССР, вел совещание нарком Ворошилов. На трибуну вызывают генерала Мерецкова, командующего Ленинградским военным округом. У него в округе больше всего происшествий. Мерецков бледен: ещё бы, за спиной, позади трибуны, кошачьим шагом ходит вождь. Генерал, побаиваясь и желая потрафить Мехлису, главному политработнику и основному армейскому костолому, жалуется:

– Партийно-политическая работа в авиачастях исключительно на низком уровне... Не хватает комиссаров!

Мехлис подает реплику:

– Надо на каждого сто человек иметь одного освобожденного политработника.

Сталин тут же реагирует:

– Зачем?

– Он поможет в партийной работе, – объясняет Мехлис.

Сталин взрывается:

– При чем здесь партийная работа? Вы возьмите случай с Чкаловым. Тут недисциплинированность – одна из причин. Он взялся испытывать серьезный скоростной самолёт. В ЦК поступают сведения, что самолёт не готов, через комиссариат обороны мною сделано предупреждение – не давать согласие на вылет. Не разрешили вылетать! Но несмотря на такое предупреждение, самолёт не испытан, мотор тоже, Чкалов вылетает, сначала кружит над аэродромом, а затем, видимо, решает, как это он, Чкалов, будет летать только над аэродромом, уходит дальше, там мотор и самолёт начинают финтить, он снижается на случайный двор, задевает за дрова и гибнет. Спрашивается, при чем тут партийно-политическая работа?..

Эти слова доподлинные, я их взял из стенограммы заседания, датированного 15 мая 1939 года, а две недели спустя последовал

приказ Народного комиссара обороны СССР, Маршала Советского Союза К. Ворошилова, где, в частности, констатировалось, что «число летных происшествий за пять месяцев 1939 года достигло чрезвычайных размеров: 34 катастрофы, где погибло 70 человек. За этот период произошло 125 аварий, в которых разбит 91 самолёт. Только за конец 1938 и первые месяцы 1939 года мы потеряли 5 выдающихся летчиков, Героев Советского Союза – т.т. Бряндинского, Чкалова, Губенко, Серова и Полину Осипенко...»

– У нас на реке Амгунь таежная заимка была, прадед ещё срубил, – вечерами рассказывал Бронников, лежа покуривая и время от времени прикладываясь к бутылочке. Он пил понемногу, по чуть-чуть, почти не пьянея, словно уважая сам процесс, закусывая лепестками тонко нарезанной брынзы. – Отец у меня и дед были промысловиками, старшего брата к этому делу потянули, а я после семилетки в Николаевск-на-Амуре подался, там как раз техникум землеустроительный открылся. Так вот, Саша Бряндинский у нас, возле села Дуки, иногда охотился на косулю, медведя. Приезжали вместе с ним летчики, боевые, горластые ребята, после охоты парились до треска в волосах, в Амгунь с гиканьем прыгали, там вода всегда ледяная. Сашка Героя получил за три месяца до гибели, за беспосадочный полет вместе с Коккинаки из Москвы до Владивостока. Лучшим штурманом страны считался... Погиб нелепо...

Да уж, нелепее не придумаешь! Александр Матвеевич Бряндинский был, что называется, красавец мужчина, любимец публики, да к тому же прекрасно подготовленный штурман, ведущий специалист научно-исследовательского института ВВС. Владимир Коккинаки, шепилот испытаний тяжелого бомбардировщика «ТБ-3», за него двумя руками держался, знал: с Сашкой Бряндинским не заблудишься. Когда, усиливая пропагандистскую мощь советской авиации, был организован женский сверхдальний перелет из Москвы на Дальний Восток, он консультировал Марину Раскову, штурмана самолёта «Родина».

В эту пору в СССР не столько испытывали авиатехнику, сколько демонстрировали миру нового советского человека. Смотрите и завидуйте, все угнетенные земного шара! Не сидите сиднем, а берите молот, да по цепям, по цепям! Тогда и у вас будет такая яр-

кая и счастливая жизнь, такие же прекрасные одухотворенные лица, всякое утро украшавшие сияющими улыбками газетные полосы...

Их в экипаже было трое: Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова, три летчицы, три богини. Когда с Ходынского поля ранним утром стартовала «Родина», серебристый двухмоторный самолёт, вся страна прильнула к радиоприемникам. Ну ладно, все знают, какие у нас парни, а сейчас посмотрите, какие у нас девчата! Девушки, конечно, были на загляденье, особенно белозубая красавица Марина Раскова. Командир корабля, Валентина Гризодубова, рослая, двадцативосьмилетняя летчица, дочь известного пилота Степана Гризодубова, была яркой и убедительной не только за штурвалом, но и на любой трибуне. Это и сподвигло назначить ее командиром, хотя второй пилот, майор Полина Осипенко, в летном мастерстве была, конечно, повыше.

Она и постарше, и летала на всех типах самолётов, слыла отчаянной, бесстрашной, прошедшей хорошую командирскую школу в строевом истребительном полку. Но было одно «но». С точки зрения женского обаяния Полина, конечно, уступала обеим, а уж Расковой тем более, смотрелась уж больно мужиковато, слыла замкнутой, немногословной. Но специалисты знали, что как пилот Полина была на голову выше обеих и в критической ситуации возьмет все на себя. Так оно и случилось!

Критическая ситуация произошла сразу за Уралом: самолёт стал обледеневать, потом пропала связь. Каждые полчаса Всесоюзное радио сообщало, что попытки достучаться до «Родины» пока безрезультатны, но то, что полет продолжается, — очевидно. Есть свидетельства, что высоко в небе люди слышат гул моторов, и движутся они на восток.

Накал страстей вокруг «Родины» советская пропагандистская машина использовала с невероятным драматургическим мастерством. Когда сообщили, что самолёт, наконец, найден, и найден в глубокой дальневосточной тайге, где на болото, вопреки всем трагическим предположениям, его сумела посадить Гризодубова, вопль восторга прокатился по всей стране. Но тут же началась другая серия напряженного «радиофильма» — пропала Раскова. По приказу командира она выпрыгнула, чтобы не погибнуть при посадке.

Если самолёт скапотирует, штурманская кабина, отделенная от пилотской наглухо, будет смята в лепешку.

Ее искали больше недели, были подняты пятьдесят военных и гражданских самолётов, с воздуха обследованы огромные пространства между Читой и Хабаровском. И, наконец, по законам жанра, нашли! Что произошло потом, было покрыто тайной секретности много-много лет. А секреты тогда хранить умели. Не дай Бог, сразу язык отрежут вместе с головой!

Для понимания, что всё-таки произошло, я снова обращаюсь к стенограмме сталинского «разноса» на том самом заседании Главного военного совета РККА, что состоялось 16 мая 1939 года. Как раз накануне, 11 мая, разбилась Полина Осипенко, та самая, что фактически сажала самолёт в дальневосточной тайге (потом местечко Кэрби, вблизи которого это произошло, переименовали в посёлок Полины Осипенко).

Так вот, читаем дальше стенограмму: «...При чем здесь партийная работа? — гневается Сталин. — Летчик не хочет признавать законы физики и метеорологии. Случай с Бряндинским характерен — вылетает на большом самолёте на поиски «Родины», смотрит на землю, а по бокам не оглядывается, и в результате — столкновение в воздухе двух машин и гибель их. Причина — не усвоили законы физики. Или нередки случаи, когда летчик не справляется с трудными метеорологическими условиями. Так наведите сначала справки о погоде, а потом уж вылетайте, не по-дурацки вылетайте. При чем тут партийная работа?» Это опять повторение вопроса для Мехлиса.

А уже в том знаменитом приказе наркома обороны за № 070 от 4 июня 1939 года под грифом «Совершенно секретно» более подробно излагается мрачно-трагическая история, сопровождавшая счастливое спасение экипажа «Родины»:

*«В конце прошлого года в полете над местом посадки экипажа самолёта “Родина” произошло столкновение двух самолётов: “Дуглас” и “ТБ-3”, в результате чего погибло 15 человек. В числе погибших был командующий воздушными силами 2-й Отдельной Краснознаменной армии комдив Сорокин и Герой Советского Союза комбриг Бряндинский. Командующий воздушными силами 20 КА Сорокин, без какой бы то ни было надобности и разрешения центра*

вылетел на «ТБ-3» к месту посадки самолёта «Родина», очевидно, с единственной целью, чтобы потом можно было сказать, что он, Сорокин, также принимал участие в спасении экипажа «Родины», хотя ему этого никто не поручал, и экипаж «Родины» уже был обнаружен.

Вслед за Сорокиным на «Дугласе» вылетел Брядинский, который также не имел на это ни указаний, ни права, целью которого были, очевидно, те же мотивы, что и у Сорокина.

Оба этих больших авиационных начальника, совершив проступок недопустимый и самовольство, в дополнение к этому в самом полете проявили недисциплинированность и преступную халатность в летной службе, результатом чего и явилось столкновение в воздухе, гибель 15 человек и двух дорогостоящих самолётов».

В том же приказе в самых жестких формулировках оценивается гибель других известных в стране летчиков, в частности:

«...Два Героя Советского Союза – начальник летной инспекции ВВС комбриг Серов (муж актрисы Валентины Серовой – В.Р.) и инспектор по технике пилотирования Московского военного округа майор Полина Осипенко погибли потому, что организация тренировки по слепым полетам на сборах для инспекторов по технике пилотирования, начальником которых являлся сам комбриг Серов, не была как следует продумана и подготовлена, а главное, полет комбрига Серова и майора Полины Осипенко, выполнявших одну из первых задач по полету под колпаком, производился на высоте всего лишь 500–600 метров вместо установленной для этого упражнения высоты не ниже 1000 метров. Это безобразие, больше того, преступное нарушение элементарных правил полетов, обязательных для каждого летчика и начальников – в первую голову, и явилось роковым для Серова и Полины Осипенко...»

Вот такие оценки под грифом «Совершенно секретно»! Для общества – героическая смерть во имя социалистической Родины и торжественное погребение в Кремлевской стене, а в приказе уже «...безобразие и преступное нарушение правил полетов». Такова политика двойных стандартов, пронизывающая всю систему управления страной, характерная для нас всегда.

– Мой дед и нашёл Раскову на десятый день в тайге, голод-

ную, оборванную, в одном унте, чуть не утонувшую в болоте, практически погибающую, – рассказывал Бронников. – Мы тогда всей семьей рыскали по марям и буреломам. Дед услышал выстрел револьверного патрона. Он оказался предпоследним, последний Марина оставляла для себя...

Приближалась зима, и с места катастрофы сумели унести только два тела: Сорокина и Брядинского, остальных оставили, точнее – бросили. Среди остальных был Генкин отец – шеф-радист «ТБ-3» Макс Раппопорт. Через тридцать лет на обломки самолётов случайно наткнулись охотники, собрали в кучку рассыпанные человеческие кости. Зверье и время многое уничтожили, главное – документы, а в них фамилии, полетные карты, журналы.

Через год, летом 1969 года, в район катастрофы вылетела на вертолете группа энтузиастов во главе с полковником ВВС Индуцким. Они и похоронили останки близ поселка Дуки под безымянной звездой, там, где когда-то на таежной заимке парились летчики, молодые, шумные ребята.

## Габка

Второй из того героического экипажа погибла любимица народа Марина Раскова. Она была так хороша собой, что даже Константин Симонов не удержался от восторженных оценок. Дело, судя по всему, было ранней зимой сорок второго года:

«...В Камышине на аэродроме, когда мы сажались в «Дуглас», я увидел Марину Раскову, – вспоминает Симонов. – А с нею несколько девушек из ее полка, летавшего на пикирующих бомбардировщиках.

Они провожали летчика-истребителя Героя Советского Союза Клещова; он был из того полка, который сопровождал на бомбежке полк Марины Расковой. Раненого в воздушном бою, его отправляли в госпиталь прямо в Москву, и Марина Раскова и ее девушки трогательно заботились о нем. Смотрели, хорошо ли закреплена в самолёте его койка, клали ему под руку кулечки с яблоками на дорогу. Марина Раскова поразила меня своей спокойной и нежной русской красотой. Я не видел ее раньше вблизи и не

*думал, что она такая молодая и что у нее такое прекрасное лицо. Быть может, это врезалось мне в память ещё и потому, что очень скоро после этого я узнал о ее гибели. Погиб в бою, почти одновременно с нею, и тот истребитель, Иван Клецов, которого она провожала в госпиталь...»*

С первых дней войны Марина формирует три женских авиаполка, много летает сама, осваивает пикирующий бомбардировщик «Пе-2», машину строгую, если не сказать капризную. На ней и разбивается... Ее первой за время войны похоронили на Красной площади. Случилось это морозным январским днем 1943 года. Урну с прахом несли члены политбюро во главе со Сталиным.

Дальше уже продолжал воевать образ прекрасной Марины, женские полки, сформированные ею, в том числе и самый прославленный, тот, что сражался на Кубани, Таманский легкобомбардировочный. Вот так московская девчушка, мечтавшая стать учительницей музыки, вошла в историю авиации пламенной воздушной Пасионарией...

А Гризодубова дожила до глубокой старости и стала свидетелем того, как развалилась страна, в лучезарный образ которой она так много вложила. Она единственная из того экипажа после смерти не попала в Кремлевскую стену. В ту пору за ней (за стеной) отсиживался Ельцин и скандалил с «подельниками» по поводу того, «как нам обустроить Россию». В итоге «дискуссии», случившейся в год смерти Гризодубовой, танки Бориса Николаевича как раз и учили уму-разуму «упрямцев», засевших в доме правительства, а те, в свою очередь, звали авиацию нанести по Кремлю бомбовый удар, и делал это не кто иной как Герой Советского Союза Александр Руцкой, ещё вчера вице-президент России, правая рука Ельцина. Вот уж, воистину, прости нас, Господи...

Много лет спустя, уже в Москве, я спросил у друга, почему же он все-таки Ходоркин, и не Иоганн.

— Ты знаешь, это была идея Иохима, как я думаю, в те времена вполне обоснованная. Отца так и не нашли, поэтому и пенсию я никогда не получал. Он был в отпуске и почти случайно оказался на аэродроме. Видимо, в такую минуту посчитал нужным быть в центре событий, он ведь радист самого высокого клас-

са. Когда сообщили, что самолёт нашли, все возбудились, забежали, закричали от радости и решили тут же лететь. Без всякого списка попрыгали, кто в «Дуглас», кто в бомбардировщик, тот самый «ТБ»... Ну, а дальше ты знаешь! — и, помолчав минуту, добавил: — О погибших в той катастрофе вообще ни звука никто не произносил никогда, я узнал об этом практически перед поездкой в Борзю от бабушки. Она меня Господом Богом заклинала молчать, но боялась умереть, а я не узнаю. Иохим так всю жизнь и промолчал, хотя тогда, уже при Никите, языки немного развязались. А в предвоенную пору все эти Раппопорты, Роценцвейги, Розенблюмы, сионисты, немчура проклятая, сразу попадали под метлу. Да и после войны их не больно жаловали... Близнеца же тогда замели, а он кто? Портной в дамском ателье... Дед как-то умудрился всех нас «перелицевать» на бабкину фамилию, а чтобы «гусей не дразнить», в первый класс я уже шёл не Иоганном Максовичем Раппопортом, а Геннадием Максимовичем Ходоркиным... Вот так! — закончил, глубоко затянувшись американским «Кэмелом», самым крепким их всех существующих «Кэмэлов».

Генка не стал доучиваться в техникуме и, уйдя из него, почти сразу поступил в Тамбовское военно-воздушное училище имени Марины Расковой. Он летал вторым пилотом на здоровенном бомбардировщике «ТУ-4», который, говорят, мы лихо содрали с американского аналога «Б-29», называвшегося «летающей крепостью». Не знаю, какая это уж была крепость, но однажды где-то под Таллином, в самый разгар сенокоса, рано утром Генкина «крепость» взорвалась на глазах у всех, прямо на взлете (экспертиза показала, что перетерлись друг о друга трубки, одна масляная, а другая подававшая в двигатели кислород). Чуда не произошло, почти все погибли. «Почти» был старший лейтенант Ходоркин. Он единственный, кто не пристегнулся, и его выкинуло сквозь разорванную кабину. Как уж он там в одиночку летал, одному Богу известно, но пробив головой стог сена и потеряв скорость, закатился в высокую траву, по которой мчалась к горящим обломкам пожарная машина. Она и проехала по Генке, тоже, слава Богу, только по ноге...

— Ты знаешь, Володя! — рассказывал он впоследствии. — Очнулся, а надо мной какая-то рожа в огромных окулярах. Так мне

казалось, все двоятся, троится, ощущение такое, что тебя, как по-ловик, выбивали об столб. Потом рожа говорит, как сквозь вату: «Летчик, если вы меня слышите, закройте глаза и откройте сразу». Я заморгал... «Он слышит! – говорят. – А теперь, дружок, посмотрите мне в глаза... Я думаю, коллеги, все страшное позади!» Я ж не знал ещё, что они мне ногу оттяпали. Вот это и было самое страшное... Не для них, а для меня. Все только начиналось: фантомные боли в культе, костыли, протезы, комиссии по инвалидности, пенсия в двадцать четыре года, поиски новой жизни...

Так завершилась Генкина летная карьера, зато началась другая жизнь, вначале по госпиталям, потом по московским редакциям. Мой друг стал журналистом, не Бог весть какой известности, но, я думаю, никакая другая профессия не смогла бы вместить со всей полнотой его кипучую натуру с невероятным чувством оптимизма. Потому и называл он всю оставшуюся жизнь свой замечательный протез с ироничной горечью – «грабкой». Его нередко приглашали на протезные предприятия, чтобы поддержать воинов, потерявших руки-ноги.

– Ты чё, братан, нос повесил! – он выхватывал из кармана перочинный нож и с размаху всаживал его в протез. – У меня одна сейчас проблема – ногу не перепутать! – Генка сиял рекламным оптимизмом, на радость докторам внушая любому калеке, что настоящая жизнь не просто продолжается, она только начинается. Правда, немногие знали, в том числе и я, как, подчас сдерживая слезы, он погружал багровую культю в таз с горячей, подкрашенной марганцовкой водой, чтобы унять нестерпимую боль...

## Глава 3

### ВЕЧНАЯ ИГРА

*Не жди меня, мама, хорошего сына  
Твой сын не такой, как был вчера.  
Меня засосала опасная трясина,  
И жизнь моя – вечная игра...*

*Из народной песни*

Нашему роду всякая авиация противопоказана! – говорил мой друг, освоивший, наконец, относительно спокойный образ жизни, вначале в Красногорске, где в Центральном военном госпитале ему в течение полугода залечивали ногу, точнее то, что от неё осталось. Там же, как когда-то герою-летчику Маресьеву, тщательно подбирали протез, говоря при этом теплые, обнадеживающие слова.

– Ничего, товарищ старший лейтенант, ещё козленком будете прыгать! – старый мастер, насмотревшийся на безногих-безруких воинов, давно превратился в махрового резонера, потому как он-то лучше знал, что отныне вся их жизнь будет тянуться с мучительным стремлением «породниться» с этим странным сооружением, состоящим из болтов, трубок, гаек, грубой свиной кожи и виниловой «плоти», осознанием, что отныне его ногой до самой смерти будет предмет, название которого переводится с греческого как «приложение», приложение, увы, к обрубку родной ноги...

Потом Геннадий перебрался в Москву, к очередной жене, на этот раз, в отличие от двух предшествующих, спокойной и очень



доброжелательной Юленьке, работавшей в Третьяковской галерее и доводящейся какой-то дальней родственницей маршалу артиллерии Воронову.

Когда я бывал у них в просторной квартире старинного доходного дома где-то в районе Курского вокзала, то без остатка погружался в московский хлебосольный быт, хранителем которого была Генкина тёща, Зинаида Васильевна Самолукова, удивительная женщина, с такими неожиданностями и превратностями в судьбе, которые могут случаться только у коренных москвичей.

О ней ещё расскажу, а пока приглашаю вас, дорогой читатель, в Переделкино, куда меня и привёз на своём инвалидном «Москвиче» мой дорогой друг, отставной военный летчик, а ныне «свободный художник» Геннадий Максимович Ходоркин...

## Дом Пастернака

— Ну вот, как не хотела, а умерла! — Геннадий запер машину и, вздохнув, широким жестом провел по глухим заборам, над которыми возвышались разновысокие крыши, с неодинаковой степенью ухоженности, многие так уж совсем не очень, даже прихваченные замшелостью и с ломаным шифером.

— Вот, Володя, это и есть Переделкино, змеинное гнездо мировой литературы, поскольку второго такого нет и быть не может по определению. Типично сталинская придумка держать всех в общей клетке, чтобы при желании в одной узде отвести куда надо, — Геннадий крутил головой и активно жестикулировал.

— А куда надо?

— Это как Иосиф Виссарионович решит. Кого на Новодевичье, кого на скотомогильник...

— Не суров ли ты, «братец Иванушка», в своих оценках? — осторожно возразил я.

— Отнюдь! Поверь мне, совсем не суров! Я знаю, что говорю...

Это я упросил его поехать сюда. Одолеп в поезде «Доктора Живаго», вызвавшего шум и гам в обществе, решил узнать, за что дают Нобелевскую премию.

— А я так и не осилил! — Генка без всякой жалости махнул

рукой. — Стихи — да! Поэт он, конечно... — Ходоркин сделал паузу, подбирая слово, и потом решил, что то, которое подобрал, будет самым точным. — Заметный!..

— Что значит «заметный»? — почти возмущенно воскликнул я. — Вон, видишь, крыша, как серебряный пуп, торчит? Вот это заметно! Наверняка, какому-нибудь Лебедеву-Кумачу принадлежит или Сергею Владимировичу Михалкову, а музей, между прочим, открыли только Пастернаку. Поэт должен быть мучеником, лучше великомучеником, как Пушкин, Лермонтов, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Есенин, наконец. Вот тогда...

— Есенин-то при чем? — возразил Генка.

— А ты думаешь, он петлю надел оттого, что его Айседора кинула?!

— Меньше бы бухал и с бабами своими разобрался... — неуступчиво возражал друг.

— Ты рассуждаешь, как секретарь парторганизации Союза писателей, — тут уже разошёлся я. — Считаешь, от пьянства и баб повесился? Отнюдь! Обласкать поэта властью — это как скакового жеребца кастрировать! Вон, гляди, сколько тут обласканных... Что ни оцинкованная крыша с резным петушком — обязательно обласканный.

— Да-а-а! — смирившись, протянул Генка. — Наверное, так! Ты знаешь, я думаю, мой знакомый сталинский лауреат Леонид Соколомонович Первомайский наверняка не повесился бы. Правда, он такой же Первомайский, как я Ходоркин. Да и Анатолий Сафронов не повесится, хотя в его кастрации я сильно сомневаюсь. Недавно видел с третьей, а может, четвертой женой. Дама впечатляющая! Такую надо серьезно обслуживать, тут щипачевскими «прогулками при луне» и «вздохами на скамейке» не обойдешься... Слушай! — он неожиданно переменял тему. — А чего Никита на Пастернака так взъелся... Тебе как этот «Живаго»?

— Если честно, не очень!

— Может быть, не дотягиваешь? Вещь сложная...

— Может быть! Хотя... — я пожал плечами, честно говоря, не зная, что ответить. Мне «Доктор Живаго» не понравился, но Пастернака я любил. Как объяснить, почему не понравилось, — не знал.

– Так чего Никита на него «рассобачился»? – повторился Генка.

– Никита – дурак конченный! – снова завелся я. – Ни он, ни его окружение ничего, кроме постановлений про самих себя, никогда не читали, тем более Пастернака. Хрущёва накрутили, всякие скабрёзности умело вставили, а дальше, как и положено, сплошной ор: «Педерасты, подонки, враги советской власти, вон из страны!»

– А Сталин читал?

– Читал! – уверенно ответил я. – Сталин читал и очень много, поскольку понимал, что литературный процесс – лучшая среда для познания того, что творится в стране, кто чем дышит. Это не значит, что он добрее становился. Он просто был информированней, и не только через свой аппарат. Хотел с другой стороны знать, кто чего стоит, откуда опасность исходит, чего ждать... Вон Симонов вспоминает, как однажды согласовывал у него кандидатуры будущих лауреатов. На краю стола – стопка толстых журналов, все с закладками, все читаемые, вопросы по делу. Обладал, кстати, неплохим вкусом... Спрашивает у Симонова: «Вы читали роман Смирнова “Сыновья”?» Симонов: «Нет, не успел ещё, товарищ Сталин! Он ведь только-только вышел...» «А я успел! – говорит. – Советую почитать, ваше мнение хочу знать...» Вот и чеши репу – каким должно быть это мнение? А Никита кроме «Бовы-королевича» ничё не читал, хотя влияние литературы понимал, но на упрощённом, если не примитивном уровне. Он, кстати, и придумал из писателей Героев Соцтруда делать. Тут уж понятно, целая очередь на «кастрацию» выстроилась...

Любопытны на этот счет воспоминания кинорежиссера Михаила Ромма, постановщика культовых советских фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в восемнадцатом году». Что бы ни говорили, но прогрессивный во все времена Михаил Ильич при Сталине был одним из самых успешных кинодеятелей – пять Сталинских премий, из них четыре первой степени, и три – за фильмы о Ленине. Куда уж выше! Но в послесталинский период Михаил Ильич делал все, чтобы дистанцироваться от тех успехов, очень хотелось выглядеть таким разочарованным «прынцем». А фильмы-то классные! Не беда, что сплошная брехня! Настоящие мастера, народ-

ные артисты Охлопков, Ванин, Щукин, любого «волка» переокрасят в овечку. Советский народ и любил Ленина таким, каким его сотворили большие мастера искусств.

Так вот, в послесталинские времена Михаил Ильич, народный артист СССР, пятикратный лауреат, но уже убежденный «антисталинец», на встрече крупнейших творческих деятелей страны с Хрущёвым ведет себя так, что вызывает у коллег полуобморочное состояние. Ромм активно защищает фильм молодого Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», на который с чьей-то подачи «наехал» Никита Сергеевич.

«Стали спорить, – пишет Ромм. – Я слово, он – два, я слово, он – два. Наконец, я ему говорю:

– Никита Сергеевич, ну пожалуйста, не перебивайте меня. Мне и так трудно говорить. Дайте я закончу, мне же нужно высказаться!

– Что я, не человек?! – говорит Хрущёв обиженным, почти детским голосом. – Что я, не человек, свое мнение высказать не могу?

Я ему говорю:

– Вы – человек, и притом первый секретарь ЦК, но у вас будет заключительное слово. Вы сколько угодно после меня можете говорить, но сейчас-то мне хочется сказать...

Он говорит:

– Ну вот, и перебить не дают, – стал сопеть обиженно...»

Вы себе представляете подобную ситуацию при Сталине и далее, вплоть до сегодняшнего дня, до интеллигентного Владимира Владимировича Путина, скажем? Да «челядь» вас на части порвет, я уже не говорю о «братьях по перу». Тот же Ромм вспоминает, как на «товарищеских» общениях с Хрущёвым, с выпивкой, закуской, катанием на лодках, до земли «прогибались» самые именитые. Потому что именитые, считал Ромм, что прогибаться умели. Да он и сам, когда надо, неплохо это исполнял, просто делал более тонко, талантливее, как и все прочее. А вот Ахматова не умела, да и Пастернак тоже. Честно говоря, и не хотели...

Мы шли пустой и мокрой дорогой, обходя лужи и хлюпая промокшей обувью по раскисшей земле. День выдался ненастный,

осень порывами влажного ветра срывала последние листья, время от времени сея нудным дождиком, наводя грусть на оголенный березовый лес.

Дом Пастернака стоял в глубине малоухоженной усадьбы, на краю картофельного поля, уходящего краями к реке Сетунь и залитой черной водой дороге. Все окрест наводило тоску, а дом — прежде всего. С башенкой, с претензией на нелепую архитектурную особенность, облезлой дощатой верандой, он производил впечатление того, что художник Максимов (по-моему, он) изобразил в известной картине «Все в прошлом».

Когда мы поднялись на крыльцо и открыли дверь, то предположение подтвердилось. На тесной душевной кухне с запахами чего-то съестного сидели две женщины неопределенного возраста и такой же внешности. Они с удивлением, я бы даже сказал, недоумением посмотрели на нас.

— Мы бы хотели посетить музей, — осторожно сказал я.

Женщины переглянулись, одна из них ответила, пожав плечами:

— Ну, пожалуйста! — а потом, почему-то усмехнувшись, добавила: — Нюша, продай товарищам билеты...

Нюша встала, положила на стол полотенце и нехотя пошла с нами. Безгласной тенью она бродила следом, всем видом показывая, что присутствует тут с одной обязанностью: чтобы мы ничего не стащили или не испортили. Дом был пуст, и эта пустотная гулкость отдавала какой-то неживой заброшенностью, забытостью, печальным забвением. Вещи: шкафы, столы, стулья, картины на стенах, книги — лишённые человеческого прикосновения, казались давно окаменевшими предметами, покинутыми хозяевами по какому-то крайне необычайному поводу. Комнаты несли печать не богатости, если не бедности, во всяком случае, определенной материальной скудности — это точно. Несмотря на двухэтажность, жизнь в этих стенах явно шла внагиб, рубли, а может быть, даже копейки, считали.

— Да-а! — прошептал Геннадий. — Зря он от Нобелевской премии отказался...

По тем временам дом, конечно, просторный, совсем не рядовой, даже для известного писателя, но поселившаяся здесь скорбь

ная, тревожная одинокость, подчеркнутая бескрайним мокрым полем за окном, ощущалась израненной душой поэта, отлетевшей из этих стен уже много лет назад...

Я хорошо помню масштаб травли, которую устроили Пастернаку «братья по перу» и «соседи по дому». Правда, тогда, по молодости лет, не понимал всей причинности, да и не сильно вникал. Подумаешь: милые дерутся — только тешатся! Ан нет, со временем сообразил, что любая «драка» в советском литературном пространстве редко продолжалась «до первой крови», чаще били «до смерти», особенно самых ярких: Зощенко, Цветаеву, Ахматову, Мандельштама, Булгакова, Высоцкого, Пастернака тоже... Жертв, как правило, поставляли сами писатели. Люди хитрые, в иезуитстве поднаторевшие, при Хрущёве сразу уловили чувственную невеняемость «хозяина» и при первой возможности прямо в ушную мембрану гудели: «Пособник скрытый, гад конченный, возможно, педераст».

Этого вполне хватало, чтобы Никита сатанел до бурачной багровости и, топоча ботинками, оглушительно орал с любой трибуны:

— Педерасы, вон из страны!

Честно говоря, я тоже недолюбиваю гомосексуалистов, но талант, увы, нередко переступает через эту условность. Совсем плохо, когда педераст при должности, особенно большой (прагматичные американцы их долго даже в армию не брали), но если гениальный актер или поэт, даже художник — пусть с такими же бородатыми тешится, лишь бы детей не трогал. Но они, к сожалению, туда тоже тянутся. Вот это плохо...

Но что касается Бориса Пастернака, то его талант и в любви был торжествующе традиционен и поэтически безграничен:

*Снег на ресницах влажен,  
В твоих глазах тоска,  
И весь твой облик сложен  
Из одного куска.*

*Как будто бы железом,  
Обмокнутым в сурьму,  
Тебя вели нарезом  
По сердцу моему...*

Ну какая после таких слов устоит! Высокий, загадочно задумчивый, с профилем, отлитым из меди, это он «резал» на части женские сердца, с легкостью уводя жен от друзей, обращая в любовницы очаровательных, штучных женщин, всегда при этом оставаясь опечаленным странником, одиноким дервишем, бредущим своей дорогой, каменистой, путаной, часто по тропе, заводившей его в зловещие житейские дебри, делая личную судьбу сложной до опасного предела. Самое трагичное, безусловно, связано с «Доктором Живаго». Писал его долго, именно тут, в этом доме. Часто, отложив перо, бродил лесами, мучительно размышляя, искал продолжение. Написав, отдал на прочтение, чем сразу всполошил даже серьезных, но классово заряженных писателей, Симонова, например. Разглядели они в рукописи подрыв устоев, покушение на святое – революцию.

Уверен, напечатайте сразу, без пересудов-перезвонов, ничего бы не было. Ровным счетом ни-че-го! Ни Хрущёвского ора, ни писательских собраний под девизом «Даже свинья не гадит, где ест!», ни организованных райкомами «народных протестов», с требованием «Выдворить!», ни уж тем более Нобелевской премии. Книга-то ведь не очень! Довольно скучная, длинная, тоскливая, прошла бы незаметно, упав в кучу таких же. Роман мелькнул бы, как множество других, как у нас, так и «у них» (там, где Нобелевскую дают), и на этом всё завершилось.

Но советская литература не могла жить без образа врага, особенно внутреннего. Писатели, как правило, искали «врагов» в своих рядах и находили, особенно среди непохожих, чаще одаренных, и вот тогда «серьезные» и «одиозные» смыкались в единую силу и размашисто топтали подошвами «отступника», время от времени подбегая к «персеку», взывая преданным взглядом: «Ну, как я его?..» Беда и в том, что кроме преданности во взоре, чаще за душой ничего и не было...

Когда в «колыбели революции» взялись за молодого Иосифа Бродского, который, по их мнению (помните, как в фильме «Берегись автомобиля»), «днем должен стоять у шлифовального станка», а вечерами, после трудовой смены, в литературном кружке, скажем, клуба Кировского завода (бывший Путиловский) писать балла-

ды о могучем тракторе «Кировец», то истеричными гонениями создали ему такую привлекательность, что «трижды битая» и сверхмудрая Анна Ахматова воскликнула, воздев руки:

– Ты смотри, какую биографию рыжий себе делает!..

Пастернака давно мечтали сломать, растереть в «лагерную пыль», на пароходе «Большевик Заполярья» отправить, где «золото моют в горах». Золото никогда не моют в горах, его моют в низинах, стоя по колено в студеной воде. Но и это для «отступника» подходяще, особенно если речка называется Колыма. Да вот все как-то не получалось. А тут такая удача! Там же, на вражеском Западе, тоже не дураки сидят, быстро сообразили, что из этой «муки» можно удачно «замесить» очередной антисоветский скандал. И замесили, вовлекая в него почти все советское общество.

С небывалой скоростью перевели на 18 (восемнадцать!) языков и заполнили «Доктором Живаго» весь цивилизованный мир. Тот, кто это сделал, совсем не интересовался личной судьбой Бориса Пастернака. А зачем? Он стал дубиной в борьбе с «империей зла», булыжником, который надо запустить в «окно» социализма. И запустили, особенно когда добавили в скандал «нобелевский разносол». Мы-то знаем, что это такое, особенно после того, как им «облили» международного бесстыдника Мишку Горбачева.

Борис Леонидович Пастернак жестоко рассчитался за свой «успех». Вначале в страхе метался по этому дому, боялся, что сейчас выкинут на улицу, старого, больного. Дача-то литфондовская – чего стоит? Отсюда пишет униженное письмо правительству, лично Хрущёву, просит не выгонять из России, с которой связана вся его человеческая и творческая судьба. Отсюда, как спасительную уловку, посылает кем-то надиктованную телеграмму с отказом от Нобелевской премии. Здесь же, через два года после начала истории с «Доктором», умирает...

Нюша подвела нас к небольшой, пеналообразной комнате на первом этаже, с топчаном в углу и единственным окном, выходящем в сад.

– Борис Леонидович скончались тут... – сказала она и показала рукой на топчан. Мы молча стояли в проеме двери и пытались представить одиночество обреченного человека, у которо-

го рак день за днем забирает последние силы... В висках стучало:

*Мне снилась осень в полусвете стекла,  
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,  
И, как с небес добывший крови сокол,  
Спускалось сердце на руку к тебе...*

– Если хотите, – сказала Нюша, – можете сходить на кладбище. Вон там, за речкой... Как найти? Очень просто, он над обрывом...

На переделкинском кладбище хоронили тех писателей, кто должен был, но не сумел попасть на Новодевичье. Например, такой крайне знаменитый советский фельетонист (сейчас этот жанр, слава Богу, умер) Семён Нариньяни. Каждое его выступление, как правило, в «Правде», становилось событием. Его фельетонов ждали, как показательных процессов в Колонном зале под прокурорским «прищуром» самого Вышинского. Промежду прочего, лихие публикации Нариньяни нередко и предопределяли громовые речи Андрея Януарьевича. По этой причине его боялись не меньше (я имею ввиду Нариньяни). А сколько голов, по его милости, полетело на разных закрытых и открытых партсобраниях!

Вальяжно-неприступный Сёма Нариньяни был главным партийным «чистильщиком», таким одобренным на самом верху официальным «стервятником», публичные появления которого на страницах главной советской газеты всегда означало чей-то, как поется в той песне, «полный ужаса конец».

Остросюжетные фельетоны Нариньяни обсуждались на высоком уровне, нередко даже Политбюро, поэтому решения по проштрафившимся персоналиям всегда были максимально жестки. Вот когда была настоящая действенность прессы! Утром в газете, а вечером «герой» уже рыдает «на улице», изгнанный из кабинета, ещё вчера такого неприступного. В те времена существовала «высшая мера» чиновничьего наказания – снять с работы! А снять с «той работы» – это означало оттащить «за шкуру» от обильной «кормушки»: закрытых распределителей, персональных лимузинов, денежных «пакетов» без всяких вычетов, спецсанаториев забесплатно и спецбольниц в любое время и, наконец, персональных пен-

сий с солидным выходным пособием. При этом сразу выкидывали из госдачи, а могли и из квартиры. Словом, «разбитое корыто» в самом лучшем виде! А в сталинские времена можно было и под «молотки» Януарьевича угодить. Вот как тогда боролись с тем, о чем сегодня неустанно, как дятел на сухой сосне, твердим малопонятным словом «коррупция». Потому и боялись писателя Нариньяни до смертной икоты...

Но однажды и Сёма, прицельный, как снайперская винтовка, дал «промах»... Опубликовал хлесткий фельетон, после которого стреляться надо. А «герой» публикации взял и застрелился! Написано все правильно, да вот человек оказался не тот. Перепутал безгрешный фельетонист фамилии и сразу «полетел» отовсюду под вздох облегчения – уж больно злоязычен был, стрикulist!

После такого прокола «главного чистильщика партии» заточили под домашний арест тут, в Переделкине, где жил неслышно, а вскоре помер безвестно. Погребли без всяких торжеств на берегу Сетуни, на сельском кладбище... Вот вам и Новодевичье! Судьба – индейка, как говорится!..

Все это поведал мне осведомленный Ходоркин, когда, пробираясь к могиле Пастернака, мы случайно наткнулись на железную ограду, где под ржавым замком «затаился» навсегда «неистовый рыцарь пера», как его однажды называл сам Хрущёв.

Бориса Леонидовича Пастернака схоронили много выше, на горке, под гранитной плитой. Почти сразу после похорон тут стали кучковаться вольнодумствующие люди, вести непотребные разговоры о соотношении меры справедливости и противодействий этому власти, считая, что уж на погосте никто лишний их не услышит. Прямо смешно, какие бывают недалекие и наивные люди! Чтобы Комитет государственной безопасности да упустил такую возможность! Сразу куда надо вмонтировали тайное устройство и спокойно нехонько слушали себе непотребные речи, «наматывая на ус» то, что надо намотать. Время было болтливое, но, слава Богу, уже без ощутимых репрессий. Хрущёв хоть и орал во все стороны иступленно, но на это не шёл, больше грозил, чем делал. Вот тогда и появились первые диссиденты, которые, однако, «фигу из кармана» стали доставать все чаще.



Сегодня таких полстраны, на них никто и внимания не обращает. Зря, наверное! Я больше всего боюсь, что однажды количество может перейти в качество, а этого допускать нельзя. Никак нельзя, потому что на улицы выплеснется не цивилизованное народное недовольство, как, например, в Греции или даже Испании, оформленное в неспешное продвижение улыбающихся людей по городским улицам под укоризненными лозунгами, а звериная суть нашей генетической ненависти бедных к богатым. Прислушайтесь ко мне – второй гражданской бойни Россия не выдержит! Не забываете, прошло много времени, народились новые злодеи, что спят и видят очередную кровавую баню, а они, как бойцовские псы, без драки жить не могут. Вот это страшно!

От того посещения переделкинского кладбища главное впечатление (если хотите, потрясение) осталось, однако, не от жилища и даже могилы Пастернака, а от погребений старых большевиков. Где-то неподалеку, в лесном благолепии, им был устроен стариковский интернат, что-то вроде государственного приюта с казарменной коллективностью, общим столом и едиными воспоминаниями о «славном революционном прошлом», главным образом, об Ильиче, ну и, конечно, пути к «последнему берегу», под заунывное «Вы жертвою пали...» и холостой дежурный залп.

Над каждой могилой абсолютно одинаковая плиточка из простенькой мраморной крошки с фамилией, именем и отчеством усопшего или усопшей, годами жизни и непременно временем вступления в ВКП(б) (Всероссийскую коммунистическую партию большевиков). Основная доблесть – когда вступил: лучше до революции, хорошо во время, неплохо в гражданскую... К той поре их, «буревестников», осталось совсем мало, большая часть выбита войнами, сгинула в лагерях, сгорела на стройках, себя не жалели и других гробили тысячами, и всё под пение «Интернационала». Мечтали о счастливой жизни в «Стране солнца», о человеческом братстве для всех, положив ради новой утопии миллионы жизней. Вот здесь это «братство», наконец, и состоялось – шеренги вытянутых «под линейку» (завхоз приюта, видать, старательный) одинаковых могильных камней, на которых нет ни единого признака человеческой скорби. Вот так и вся жизнь – без

семьи, детей, внуков – все на алтарь «родной партии»...

– Знаешь, Володька! – Геннадий сел за руль и достал из кармана вишневую трубку, подарок со смыслом от знаменитого хирурга Вишневого при выписке. После катастрофы курил только ее. – Мы должны сегодня хорошо напиться. Что-то эти старые большевики меня сильно вогнали в грусть... А теща моя, между прочим, тоже бывшая комсомольская «орлица», из синемблужниц. Ты с ней поговори... Кладезь историй, да каких! Я ведь с Юлькой через неё познакомился. Ко Дню Победы для журнала «Советский воин» писал очерк о ветеранах, мне и посоветовали обратиться к врачу кремлевской больницы Самолуковой, участнице обороны Москвы... Она как узнала, что меня консультировал Вишневский, Сан Саныч, сразу пригласила к себе домой, мы душевно посидели тогда за чайным столом. Оказывается, в сорок первом ее тоже оперировал Вишневский, только отец, Александр Васильевич. Проговорили тогда все воскресенье... Ты слышал, что такое ОМСБОН?

– Откуда! – хмыкнул я.

– Вот то-то! – торжествующе воскликнул мой друг, ему по-прежнему нравилось удивлять. – ОМСБОН – это отдельная мотострелковая бригада особого назначения, элита диверсионного промысла. Две тысячи отборных головорезов, а среди них – моя будущая теща, очаровательная барышня, студентка первого московского медицинского института и чемпионка Москвы по лыжным гонкам. Представляешь! На вид и не скажешь! Правда?..

## Тёмные времена

Все было правдой, хотя Зинаида Васильевна, невысокая пожилая женщина, работавшая терапевтом в четвертом Главном управлении и проще говоря, кремлевской больнице, меньше всего походила на чемпионку, а тем более, заслуженного диверсанта. Она была коренной москвичкой, отец ее – потомственный кулинар, большую часть жизни провел на кухне «Славянского базара». От него Зиночка унаследовала умение готовить, особенно русские блюда. Ту крошку, что я едал в том доме, надо вообще выставлять на Государственную премию.

– Окрошка, Володенька, хороша тем, что она предвестник лета. В чем секрет? Я думаю, в квасе, он должен быть всегда с кислинкой, отдавать слегка в нос и непременно быть ледяным... Все остальное – ваша фантазия!

К старости она превратилась в уютную старушку, и когда в День Победы надевала боевые ордена, то у прохожих округлялись глаза – вот тебе и «божий одуванчик», а потом искренне теплели лица. С Красной площади, куда ее приглашали на все торжества, обязательно привозили машиной, с неподъемным букетом цветов, обцелованную и еле стоящую от усталости, но все равно к праздничному столу никого не подпускала, готовила сама...

– Честно говоря, я была девица совсем не воинственная, да и на лыжи встала, потому как приглянулся один мальчик, звали его Владик Семенов, – рассказывала Зинаида. – Мне страшно нравилось, как свободно и размашисто, словно балетный солист, он мчался по снегу, а потом я гонялась с ним на равных. Вначале он давал мне щедрую фору, полкилометра, потом все меньше и меньше, пока я, наконец, не стала приходить к финишу почти рядом. Я, кстати, одна из первых в стране получила звание мастера спорта. Это было так здорово! В ОМСБОН попала как раз по протекции Владика. В составе бригады формировался лыжный отряд с задачей разрушения гитлеровских коммуникаций за линией фронта, а я медичка, спортсменка. Словом, уговорил Владька легко, уж больно он мне нравился, а потом все равно идти на фронт... Он погиб в первом же рейде, было это в конце октября сорок первого, – Зинаида Васильевна перебирала старые фотографии, пытаясь вспомнить ещё какие-то другие имена. – Мы тогда еле вырвались из окружения, благо, что все – опытные лыжники, и хорошо, что наступление началось, а то немцы вцепились в нас мертвой хваткой... В ОМСБОН пошло много знаменитых спортсменов. Хорошо помню Колю Королева, сильнейшего боксера страны. Он был такой большой, надёжный, я ему как-то бинтовала руку по поводу пустячной ссадины. Ручища такая внушительная, кулак настоящего бойца... Но после того трагического рейда, где пропала почти треть нашей группы, я интересовала командование больше как военно-полевой фельдшер, чем лыжница... К сорок первому году

я закончила два курса института, этого хватало, чтобы оказывать первую помощь, тем более в бою...

Следующую группу разведчиков, в состав которой включили Зину Самолукову, мартовской ночью должны были выбросить самолётом в районе Орши и сбросили, но с недолетом в сотню километров. Ее спасло то, что, будучи малоопытной парашютисткой, она при приземлении потеряла ориентировку и с размаху ударилась головой о пень. Ударилась так, что лобная кость проломилась и разрушилась с полной потерей сознания. Товарищи, обнаружив обездвиженное тело, в спешке и темноте посчитали, что Зина мертва. Завернув в парашют и завалив ее хворостом, торопливо ушли с места десантирования, судя по всему, абсолютно не представляя куда идти. Больше об этой группе ничего не известно, канула как в омут. Таких «омутов» было несколько. Командование охватила тревога. Летные экипажи докладывали, что все в порядке, разведчики сброшены в заданном районе... Тем не менее, группы исчезали без следа. И тогда машина расследования закрутилась на высоких оборотах, но никаких внятных версий, кроме туманных подозрений, что разведчиков выбрасывают все-таки не там. Нужны факты, а их не было. Вдруг один из партизанских отрядов сообщает, что случайно обнаружено место десантирования и там нашли тяжело раненную девушку, без документов, но с медальоном, вшитым в комбинезон.

– Меня унюхала собака, она притащила в отряд набитую галетами противогазную сумку, – вспоминала Зинаида Васильевна. – Ну, а дальше последовало указание немедленно доставить раненую в Москву. Следующей ночью десантировали двух хирургов. Дело в том, что по номеру медальона определили, что я из той самой, пропавшей разведгруппы. Документы мы сдавали, а медальоны зашивали, в случае гибели разведчика немцам они все равно ничего сказать не могли, тем более у нас, в отличие от всех военнослужащих, там содержались не имена, а номера. Как уж меня доставляли в Центральный военный госпиталь, мне неизвестно, ибо я находилась в стойкой коме, или, как тогда для успокоения утверждали, – лекарственном сне. Месяц со мной возились, сделали две операции, осколки черепа удалили, а там дыра, три на пять сан-

тиметров. Закрывать можно только платиновой пластиной. Так вот, было специальное постановление Комитета обороны выделить на эти цели пятьдесят граммов металла высшей пробы. У меня сейчас десятая часть головы из чистой платины, — смеялась Зинаида Васильевна, хотя это было действительно так. Ее оперировали лучшие нейрохирурги страны под кураторством Вишневого-отца.

— Он меня лично выводил из травматического шока, — говорила ЗВ, как ее называли коллеги, да и дома иногда. — Я уже начала понимать, что в большей степени нужна Родине как свидетель чего-то. Допрашивал сам Абакумов. Он пришёл в палату с огромной коробкой шоколадных конфет и указом о награждении меня орденом Красного Знамени, я еле шевелила языком, заново училась говорить... Да, были, к сожалению, экипажи, которые спасали свою шкуру! — горько добавила Зинаида Васильевна. — Как выяснилось, они бросали нас задолго до зенитных заграждений, и немцы об этом знали...

— И что же им за это? — с наивной простотой спросил я.

Зинаида Васильевна внимательно посмотрела на меня и тихо ответила:

— На фронте, особенно в начале войны, Володенька, для человека в военной форме существовало только два наказания — расстрел перед строем или штрафбат. Для тех, кто нас кинул, в сущности, на смерть, я уверена, определено первое...

После госпиталя Зинаида Самолукова армию не оставила, хотя ей была установлена инвалидность и пенсия.

— Я закончила институт по ускоренной программе и стала работать ассистентом у профессора Юдина, знаменитейшего тогда хирурга, но мне трудно было выстаивать часами за операционным столом, и я написала рапорт о переводе терапевтом в Центральный военный госпиталь, что находился тогда в Серебряном переулке. Однажды меня вызывает начальник госпиталя генерал Скрепля и назначает лечащим врачом к Воронову, начальнику артиллерии Красной Армии...

Мне казалось, что Зинаида Васильевна сама увлеклась рассказом. Она вспоминала давно ушедшие времена с деталями и оттенками, будто это происходило вчера, иногда усмехаясь каким-

то своим мыслям, словно пропуская то, о чем говорить не хотела или не могла.

— В ту пору у меня случились неприятности иного рода и, представьте, с участием того же Абакумова. Дело в том, что у Николая Николаевича Воронова оказалась странная болезнь, скорее недуг, который очень трудно диагностировать. Когда-то он попал в тяжелую автомобильную аварию, ещё во время похода Красной Армии в Западную Украину. Медики его спасли, но вскоре появились побочные явления — острые боли в районе брюшины. Они возникали внезапно и так же исчезали, создавая врачам массу загадок. Медикаментозное влияние на эти явления оказались ничтожны, хотя Воронов нашёл какой-то свой, достаточно странный способ глушить боль — он ложился животом на голую землю, лежал так какое-то время, и боль уходила. Рассказывал, что случайно обнаружил на фронте эту странность. Однажды во время бомбежки упал на землю — и боль прошла.

— Удивительно! — воскликнул я.

— Такие странности встречаются! — Зинаида Васильевна махнула рукой. — Чаше это совпадение случайностей, а потом наступает период самовнушения. Беда в том, что «спасительная» земля иногда далеко. Один раз приступ случился в приемной Сталина. Куда бежать? В Александровский сад?

— А что у него было? — переспросил присоединившийся к беседе Геннадий, хотя историю эту слышал ранее.

— К сожалению, об этом узнали только тогда, когда Воронов скончался. Это произошло много позже. Причиной была действительно та давняя травма с разрывом поджелудочной железы и дальнейшим развитием панкреатита. Его оперировал сам Бакулев и знаменитая в хирургической среде Прасковья Николаевна Мошенцова. Операция была крайне тяжелая, и в ходе ее выяснилось нечто сверхъестественное — Воронов практически жил без поджелудочной железы. Спасти его было невозможно, он умер на столе. Но лично мои неприятности начались много раньше, года через четыре после войны, и связаны были с бывшим моим шефом, профессором Юдиным, который давно консультировал Воронова и даже пытался с ним дружить. Поскольку я работала с Юдиным, то, по мне-

нию НКВД, была осведомлена об их отношениях... Смешно сказать, но меня снова допрашивал Абакумов, на этот раз в своем кабинете, понятно, без всяких конфет. Он узнал меня, поинтересовался здоровьем, сделал вид, что рад, но вопросы задавал более жестко, хотя и в пределах приличия, но время от времени с угрожающим прищуром. Его интересовало, что за человек Юдин. Привычки, склонности, слабости, особенно к женскому полу, спросил, бывала ли я с ним в так называемых внеслужебных отношениях. Я засмеялась: ну какие могут быть у меня внеслужебные отношения, если я уже беременна Юлькой и муж мой в той же клинике работает...

– Он что, я имею в виду Юдина, склонен был?.. – спросил я.

– А кто не склонен! – засмеялась Зинаида Васильевна. – Сергей Сергеевич был не просто склонен, он любил женщин и делал это умело, увлеченно считая, что только тайные интимные отношения способны раскрыть в мужчине лучшие творческие качества. Хотя это считалось большим секретом, но мы все знали его основную привязанность, совершенно очаровательную Машу Голикову, операционную сестру, хотя во время следствия всплыли и другие персонажи. Абакумов спросил про Машу, я ответила, что «свечу не держала», Юдин был внимателен ко всем хорошеньким женщинам. Абакумов засмеялся и после двух-трех допросов, уже в других кабинетах, меня оставили в покое, тем более что я была в явно выраженном «интересном» положении, а вот Сергею Сергеевичу пришлось туго... Темные были времена, не знаешь, из какого угла беда выскочит! – добавила она загадочно и вдруг, спохватившись, воскликнула: – Мальчики, а ужинать! – и тут, как мираж, как видение, враз исчезла та отчаянная девчонка, что с двадцати метров швыряла в цель штурмовой нож, могла километры идти пургой с полной боевой выкладкой, а снова появилась уютная московская старушка, заботливая хлопотунья.

В тот вечер мы ужинали с домашней настойкой, довольно долго рассказывали уже больше о себе, вспоминая борзинскую экспедицию, в частности. Много смеялись, но уже у порога, прощаясь, Зинаида Васильевна вдруг сказала мне:

– А вы, Володя, непростой человек, можете душу вывернуть наизнанку!

– Мамочка! – пьяненький Генка обнял меня за плечи. – Не надо его обижать, он мой самый лучший друг, друг до гроба... А выворачивать душу – его сучья профессия...

## Лесоповал

24 июня 1945 года в Москве, на Красной площади, состоялся грандиозный парад, посвященный разгрому фашистской Германии. Это была не только всемирная демонстрация мощи советской государственности, но и триумф поколений, воспитанных под сталинскими знаменами, усыпанных Золотыми Звездами и орденами с именем вождя мирового пролетариата – Ленина. Это являлось огромным и видимым всем достижением. Ярким выразителем победительных настроений, безусловно, стал маршал Жуков, и это обстоятельство, вольно или невольно, трижды героический и неукротимо амбициозный Георгий Константинович всячески подчеркивал.

Ему в ту пору исполнялось 49 лет. Всего сорок девять! Но при этом не надо забывать о сталинских шестидесяти шести. Дело неуклонно катилось к «осени патриарха», а там не за горами и «зима». Улавливаете, к чему я клоню?

Я внимательно (и не раз) рассматривал кадры кинохроники, коротко снятые до начала незабываемого майского парада, ещё внутри Кремля, на этой стороне Спасской башни. За стеной, на площади, уже выстроены войска, замер гигантский оркестр, в нетерпеливом ожидании переполнены гостевые трибуны, на Мавзолее поднялось правительство во главе с вождем. Вся страна от Балтики до Тихого океана замерла у репродукторов, а по дорожкам кремлевского сада, под сенью распускающихся лип, неторопливо прохаживается тот, кого через несколько мгновений встретят протяжно перекликающимся командирским криком:

– Для вс-т-р-р-е-чи сле-е-е-ва-а...

Это будет спустя несколько минут, а пока, скрипя ошпоренными сапогами, он упруго ходит в гулком вакууме кремлевского сада, переполненного ароматами буйной весны. Я не Бог весть какой психолог, но отлично вижу, как во всем: в налитой силой коренастой фигуре, богатырской груди, окованной золотом высших на-

град, в складках волевого лица, в уверенной поступи, победительно вздернутом подбородке, подобострастном изгибе адъютантской спины – по всему видно – вот он, тот главный, кто выиграл войну, и сейчас наступает час его триумфа!

Повелительным движением плеча он сбрасывает шинель в услужливо подставленные руки и через мгновение ока уже в седле, скульптурно-величественный, настоящий Георгий Победоносец, способный повести народ что в бой, что на труд. Словом, куда угодно!

Заключительный удар курантов – и на всю страну, усиленное репродукторами, звучит громоизвергающее:

– Па-а-ра-д! Для встречи слева. Р-р-р-авнясь! Смир-р-но!..

Я думаю, Сталин все верно оценил, особенно когда армия восторженным ревом встретила полководца, с именем которого связывала свои главные фронтовые победы. Не исключено, что именно в ту минуту вождь вспомнил, сколько генералов-победителей стремились впоследствии (и не без успеха) подняться на высший государственный трон. Для подтверждения достаточно назвать одного Наполеона! А здесь имперские замашки налицо!

Маршал Жуков и в страшном сне не представлял, что тот га-лоп для него станет последним, что с каждым метром парадного объезда войск подходит к завершению его блистательная, всесо-крушающая карьера. Да что он, никто вокруг и подумать не смел! Может быть, лишь один, хитрый лис Вячеслав Молотов, по прозвищу Каменная Жопа, через всю жизнь протащившийся на брюхе в шкуре овцы, что-то такое-этакое уловил в тигрином прищуре неулыбчивых глаз стареющего Верховного повелителя...

Последний раз Сталин принял Жукова в апреле 1946 года, и даже не одного, а в группе государственных и военных деятелей, поговорил что-то около часа и больше наедине не встречался с ним никогда. Возможно, ещё раньше, а скорее, как раз на той праздничной трибуне, решил для себя, как будет «валить новый лес» из маршалов и генералов, возмнивших, что они что-то значат для него и придуманной им партии.

Да разве он только о военных так размышлял! Обо всех! О тех, кого злая судьба пересекала с его неумолимо нисходящей и неуклонно стареющей линией жизни. Хотите пример – пожалуй-

ста! На той праздничной трибуне стояли два лично вознесенных им уже после войны соратника: Николай Вознесенский (фамилия прямо в строку), председатель Госплана СССР, и Алексей Кузнецов, организатор обороны Ленинграда, секретарь ЦК, отвечающий за самый ответственный блок – силовой. Первому 42 года, а второй ещё моложе – 40. Через пять лет он расстреляет обоих без раздумья, прицепившись к пустячному делу и тут же обвинив в попытках выйти из-под контроля партии.

Кстати, там же, на трибуне, празднично сияет маршалским облачением ещё один кандидат на «плаху» – Лаврентий Берия. Правда, расстреляет его уже не Сталин, а Хрущёв. Но Берия, слава Богу, будет последним «мавзолейцем», которого насильственно лишат жизни в той стране, остальных будут просто гнать в шею, без выходного пособия, публичными проклятиями в спину и полным забвением. Среди стоящих на праздничной трибуне таких почти половина: Молотов, Каганович, Маленков, Булганин, тот же Жуков. Но сейчас они все в «товарищеских» отношениях, верные соратники, а с хлебосольным Берией – так почти друзья. Скажи кому, что пройдет восемь лет – и Георгий будет вязать руки Лаврентию, а ещё через некоторое время Никита, вызывающий сейчас дружеские подначки и смешки, вообще погонит всех «партийной» метлой... Скажите такое тогда – в лучшем случае, сумасшедшим объявят. Вот вам и «марксистско-ленинское» предвидение! Наше отечественное предвидение во все времена – как «гулкость», исполненная в лужу!

Однако вернемся в восхитительную весну сорок пятого года, когда страна, очнувшись от победных восторгов, тут же без остатка погрузилась в суровую реальность, страшную и голодную послевоенную разруху. И тогда тень новых репрессий стала медленно, но закономерно наползать на сверкающих ратными заслугами самоуверенных героев. Надо было объяснить народу послевоенные трудности главным – происками врагов и отдельных «перевертышей». Это было привычно, удобно и, как ни странно, понятно. Страна привыкла жить с образом классового врага в голове и сердце, в том числе и внутреннего, самого зловредного. Так завещал нам Ленин! – и этим все сказано.



Первым «под топор» уже в апреле 1946 года попал командующий ВВС, главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Александр Новиков, близкий Жукову человек. Операция затевалась масштабная, но начиналась исподволь.

Однажды в коридоре на Пироговке, в главном штабе ВВС, вроде как случайно встретились мелкий смершевец (хотя мелких там не бывало), всего лишь подполковник по фамилии Елисеев, и генерал-лейтенант Селезнев, начальник Главного управления технических заказов для ВВС. И генерал-лейтенант в кулуарном разговоре стал тихо «жужжать» подполковнику, что его заставляют принимать от промышленности бракованные самолёты.

– Понимаешь! – шептал в ухо. – Яковлев совсем обнаглел, прямо жмёт – берите и всё, а там в частях доработаем. А как брать? Петлю на себя надеть?

– Командование ваше почему молчит? – озабоченно спрашивает смершевец.

– Новиков этому только способствует, – генерал напряженно выдохнул снова в ухо. – Вот и думай, что делать?

Александр Яковлев – любимец Сталина, главный конструктор авиапромышленности, самый молодой генерал-полковник. Как известно, на самолёте «Як» воевала большая часть советских летчиков-истребителей. Однако через пару дней на стол Верховного ложится спецсообщение, подписанное Абакумовым, начальником «СМЕРШа»:

*«...Как доверительно нашему сотруднику рассказал Селезнев, он не принимал недоработанные машины и ставил об этом в известность командующего ВВС Новикова, но Министерство авиационной промышленности договаривалось непосредственно с Новиковым, после чего Главное управление заказов получает указание принимать самолёты...*

*На сегодня заводы изготовили около 900 самолётов “Як-9У”, оказавшихся настолько плохими, что их нельзя использовать. В связи с этим Министерство авиапромышленности списало 800 самолётов этой марки и сейчас разбирает их на запасные части. Селезнев сообщает, что вынужден был принять от авиапромышленности 90 таких самолётов и не знает, что с ними делать... Наш источ-*

*ник утверждает, что Яковлев любую свою машину, независимо от ВВС, протаскивал и ставил в серийное производство, но самолёт “Як-9У” оказался негодным, а самолёты с деревянным крылом – ненадёжными, и летчики их боятся... В Министерстве Яковлев все прибрал к своим рукам... И получается, что он один вершит судьбой истребительной авиации...»*

Осенью 1995 года я брал для кубанского телевидения интервью у тогдашнего командующего Военно-Воздушными Силами России генерала армии Дейнекина. Было это на той же Пироговке, в кабинете, где сидели все командующие ВВС, включая и Новикова. Петр Степанович Дейнекин – человек крайне располагающий, и разговор сразу принял доверительную тональность, особенно когда мы коснулись Кубани, где «вставляли на крыло» многие прославленные летчики, выпускники легендарных училищ: Армавирского, Ейского и Краснодарского, поднявших в небо тысячи воздушных бойцов. В этой части разговор пошёл с определенной горечью, и командующий ее не скрывал (отечественная авиация переживала худшие времена). Большинство Военно-воздушных училищ доживало последние дни, такова была воля первого президента, величайшего разрушителя, туманившего сознание водкой и тесным общением с махровыми негодьями, Березовским, например.

Как-то незаметно беседа перешла на грустные темы, в том числе из атмосферы прошлого, и Дейнекин упомянул Новикова.

– Его арестовали за этим столом... – он слегка прихлопнул ладонью сукно своего просторного рабочего стола, уставленного рядами телефонов. – Через комнату отдыха вошли в дверь, что позади меня... Бить начали прямо там, – он показал за спину. – Били, говорят, страшно, сорвав мундир и обмотав голову мокрым полотенцем...

Впоследствии я читал признание маршала, переданное через Абакумова лично Сталину, на десяти страницах, убористо исписанных уже после той, якобы «случайной» встречи Елисеева и Селезнева. Это как же надо пытать человека, и не просто запуганного обывателя, а дважды Героя, воевавшего на трех войнах, прошедшего Сталинград, Курскую битву, Кубанское воздушное сражение, штурм Кенигсберга и Берлина, награжденного одиннадцатью боевы-

ми орденами, из них тремя полководческими – Суворова I степени – когда высшей значимостью считалось и однократное награждение? Какие же методы надо применять, чтобы опустить вчерашнего героя до крайнего самоунижения?..

Разжалованный и согнутый в дугу маршал пишет:

*«...Вместо того, чтобы с благодарностью отнестись к Верховному Главнокомандующему, который за время войны для меня сделал все, чтобы я хорошо и достойно работал, который буквально тянул меня за уши – я вместо этого поступил как подлец, всячески ворчал, проявлял недовольство, а своим близким высказывал даже вражеские выпады против Министра вооруженных сил (Сталина – В.Р.)...*

Помимо того, что я являюсь непосредственным виновником приема на вооружение авиационных частей недоброкачественных самолётов и моторов, выпускавшихся авиационной промышленностью, я, как командующий Военно-Воздушных Сил, должен был обо всем этом доложить Вам, но этого я не делал, скрывал от Вас антигосударственную практику в работе ВВС и Министерства авиационной промышленности...

*Настоящим заявлением я хочу Вам честно и до конца рассказать, что кроме нанесенного мною большого вреда в бытность мою командующим ВВС, я также виновен в ещё более важных преступлениях. Я счел теперь необходимым в своем заявлении на Ваше имя рассказать о своей связи с Жуковым, взаимоотношениях и политически вредных разговорах с ним, которые мы вели в период войны и до последнего времени...»*

А дальше на десяти страницах убористо все о Жукове: о чем и как говорили на «тайных вечерах», как хулили Верховного, как возвеличивали себя и свои деяния, как недовольны отношением Сталина ко всему, ну и прочее в том же духе.

Поначалу Сталин относился к Новикову более чем, в сорок втором году принимал у себя в кабинете на уровне члена политбюро аж семьдесят восемь раз – больше, чем Жукова. Но повышенное внимание вождя – вещь сильно опасная. Новикова, в конечном итоге, не расстреляли, хотя искалечили изрядно, что физи-

чески, что морально. Его выпустили почти сразу после смерти вождя, восстановили в звании, вернули награды, дали даже высокую должность – командующего дальней авиацией.

– Но он уже был не дюже гожий, – горько, как-то совсем по-казацки (генерал с Дона) посетовал Дейнекин, – его там, в застенке, видать, подломили основательно... Вскоре уволился в запас, но прожил ещё долго, лет двадцать...

А вот другому маршалу авиации, Худякову, повезло меньше. В их жизнях многое совпадало – почти одногодки, оба из деревни: Новиков родился в ноябре 1900 года в костромской глуши, а Худяков годом позже в Нагорном Карабахе, тоже в полунищем ауле. Оба в 18 лет добровольно ушли в Красную Армию, Новиков – в пехоту, Худяков – в кавалерию, последовательно – рядовой красноармеец, взводный, потом один командует ротой, другой – эскадрон.

В авиацию направлены в тридцатые годы по партнабору, молодыми, но уже опытными командирами. Подучившись (Худяков вообще закончил Воздушную академию имени Жуковского), практически не летали, осуществляя исключительно организационно-командные функции, зато по карьерной лестнице летели как «ясны соколы». Естественно, во всех служебных характеристиках значилось главное – «делу Ленина-Сталина предан».

Существует несколько версий причин гибели Худякова, но лично я думаю, его сгубила некая совершенно противоестественная, на грани языческого обожания, поклонение Сталину, по неожиданности поступков редкое даже для идолопоклонства того времени. Почему я так думаю, вы сейчас поймете!

Отечественную войну оба встретили крупными начальниками – Новиков командует ВВС Ленинградского военного округа, Худяков – штабом воздушных сил Белорусского округа. В 1944 году одним указом удостоены звания маршалов авиации, правда, Новиков чуть выше – главного маршала. Накануне карьерного взлета Сергей Александрович Худяков от имени Ставки успешно координирует действия авиации на Курской дуге, а затем при форсировании Днепра, так что с точки зрения боевых заслуг был человек весьма успешный.

Правда, блуждала за ним одна странная тайна, кстати, не раз-

гаданная до сих пор, – этикие неясные слухи, что Худяков выдает себя за другого человека и не Сергей Александрович он вовсе, и тем более не Худяков. Когда шло следствие, даже для его жены стало откровением, что ее муж на самом деле Арменак Артемович Ханферянц. Надо ли повторять, что Сталин вообще не любил людей с какими-то неясностями в биографии, особенно у военных, поэтому судьба Сергея Худякова была predetermined в принципе, но толчком к этому послужила все-таки, как я считаю, случайность.

Не знаю уж по чьему предложению (говорят, что Жукова), его включили в состав военных советников на Крымской конференции Глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании). Иными словами, председателя Совета народных комиссаров Сталина, президента США Рузвельта и премьер-министра Великобритании Черчилля, при участии министров иностранных дел, начальников генеральных штабов и небольшой группы советников.

С нашей стороны их, советников, трое: нарком военно-морского флота Кузнецов, первый заместитель начальника Генштаба Антонов и он, маршал авиации Худяков, впервые оказавшийся в эпицентре мировой политики и свидетелем торжества сталинской точки зрения на послевоенное мироустройство.

Конференция продолжалась неделю, с 4 по 11 февраля 1945 года. Представьте себе «февральские окна» на южном берегу Крыма, цветущую буйными красками райскую Ливадию, царский дворец в разносолах советско-грузинского гостеприимства и на этом фоне крайне напряженный характер переговоров, где Сталин четко и неуступчиво обозначил, что нынешние успехи Красной Армии – это лишь начало утверждения Советского Союза как равноправного участника всех мировых процессов.

Там, кстати, и договорились о создании международного учреждения, имеющего целью сохранение мира, – Организации Объединенных Наций (ООН), и постоянного органа при нем – Совета Безопасности, что сегодня хоть как-то сдерживает мировую агрессию. Кроме, конечно, американской, но и фигуры масштаба Сталина, способной чему-то или кому-то серьезно противостоять, давно нет.

Понятно, что многие решения Ялтинской конференции были обусловлены лавинообразным вступлением советских войск на территорию Германии и победоносным продвижением к логову фашизма – Берлину. Общие победительные настроения союзников в значительной степени и определяли тогда конструктивные и даже дружеские отношения друг к другу лидеров трех держав.

Дядюшка Джо, как между собой звали Сталина Рузвельт и Черчилль, охотно общался, фотографировался, тем более в Ялту наехало полно американских и английских журналистов.

Через какое-то время сын Рузвельта прислал в Кремль подарочный альбом фотографий, которые он сделал на конференции собственноручно. В другом случае Сталин, возможно, не стал бы рассматривать обширную «фотосессию», но с этим альбомом познакомился охотно и внимательно. Во-первых, важно – подарок с теплыми пожеланиями самого президента, во-вторых, фотографии цветные (для нас в ту пору большая редкость), а в-третьих, вождь хотел оценить выражения лиц партнеров. Выражения понравились, но Сталин обратил внимание, что на многих снимках за его спиной стоит какой-то генерал, иногда даже положив руки на спинку кресла, чуть ли не на плечо вождя.

– Кто это? – спросил Сталин у своего главного охранника, генерала Власика, хотя прекрасно знал – кто это.

– Это Худяков, – сказал Власик. – Он был приглашен как советник по вопросам авиации.

– А у нас что, протокол уже не соблюдается? – недовольно проворчал Сталин и, захлопнув кожаный фолиант, демонстративно небрежно кинул его Власику. Через полчаса альбом лежал у Бери на столе...

Арестовали Худякова в конце 1945 года, вызвав из китайского Мукдена, где командующий 12-й воздушной армией пожинал лавры победы над японцами. С аэродрома отвезли прямо в Сухановскую тюрьму, абсолютно секретную, находящуюся в Подмоскowie, возле станции Расторгуево на территории Свято-Екатерининской пустыни, в монастыре с трехсотлетней историей.

«Сухановка, – вспоминает Солженицын, – самая страшная тюрьма, которая только есть у МГБ. Ею пугают нашего брата, ее

имя выговаривают следователи со зловещим шипением. Кто там был – потом не допросишься: или бессвязный бред несут, или нет их в живых...»

В средневековых, покрытых плесенью подвалах и пытали растерзанного прямо от дверей маршала авиации. Для начала задали вопрос:

– Когда и по какой причине карабахский армянин Арменак Ханферянц превратился в русского Сергея Худякова?

Существует легенда, якобы поведенная самим маршалом, что будучи молодым красноармейцем, он взял имя погибшего командира. Смертельно раненный в сабельной атаке, тот, умирая, молвил склонившемуся над ним юному бойцу:

– Иди вперед, иди на врага! Теперь ты – Сергей Худяков!

– Ну, хорошо! Тогда почему во всех анкетах пишешь, что ты родился в Вольске Саратовской области, отец твой – железнодорожный машинист, когда место твоего рождения – Нагорный Карабах, село Большой Талгар, а отец – не то крестьянин, не то чувячник? Почему, я тебя спрашиваю, ублюдок? – орал из темноты голос, посылая искры от самого страшного на земле пенсне...

Действительно, почему? Легенда насколько красивая, настолько и малоправдоподобная, почти как в ленинском фильме того же Ромма. Там переодетый враг, служивший в ЧК, коварно убивает разоблачившего его большевика и на вопрос, что тот ему сказал перед смертью, отвечает:

– Да здравствует мировая революция!

Худяков был одним из первых, которого стали «раскручивать» по поводу Жукова, но он, в отличие от Новикова, все отрицал и упорно твердил:

– Сожалею, но ничего дурного о Георгии Константиновиче сообщить не могу! – и стоял на этом до конца.

Сегодня можно только гадать, что «сухановские костоломы» вытворяли в монастырских подвалах с этим человеком. Я видел тюремные фотографии Худякова – фас и профиль. В стриженном наголо, заросшем и застывшем в великой муке лице трудно было узнать ещё недавно преуспевающего маршала, стоящего за спиной вождя со счастливой полуулыбкой.

Его расстреляли в Сухановке 18 апреля 1950 года. Накануне Худякова избил Богдан Кабулов, стодвадцатикилограммовый зверюга, заместитель Берии, избил просто так, от скуки. Он часто приезжал в монастырь, выбирал жертву (среди них были только заслуженные люди) и бил до смерти пудовыми кулачищами. Развлекался, словом!

Потом, расстегнув потный генеральский френч, стаканами глушил ледяной нарзан и, дыша как загнанная лошадь (от переедания был хроническим гипертоником), сипло спрашивал «подручных»:

– Когда этих сук, наконец, передушим?

Спустя три года его так же дубасили в той же Сухановке, но уже по «делу Берии». В один день потом и казнили...

18 апреля 1950 года Сталин провел в Кунцево, на «Ближней даче». С утра гулял по аллеям, рассматривал ярко-голубое небо, трогал набухавшие почки, слушал воробьиный гам, потом в одиночестве завтракал на веранде, просматривая газеты, лежа на диване читал короткие рассказы Чехова, после сна обедал, а поздно вечером поехал в Кремль, где провел двухчасовое совещание по вопросам транспортного строительства. Когда в полночь ушли железнодорожники во главе с министром Бещевым, вождь ещё на полчаса задержал обычный квартет: Молотова, Булганина, Маленкова и Берию. Уходя, последний в нескольких словах доложил точную расстрельную сводку, в том числе и по Сухановке. Вождь слушал вполуха, а потом махнул рукой:

– Иди с Богом! Надоел...

Главный вопрос был почти решен – Жуков загнан в уральские леса командовать второсортным округом, лишен членства в ЦК и сейчас лишь со стороны созерцает, как МГБ выхватывает людей его окружения, сортируя – кого в Лефортово, а кого в Сухановку. Наверняка многие со страхом ожидают, когда очередь дойдет до них.

– Пусть ждут!

Ожидание худшего ещё страшнее, чем само худшее. Сталин это отлично знал, хотя арестовать самого Жукова так и не решил. Но многое из того, что в отношении маршала Победы собирался сделать он, доделывал его «могильщик» – Хрущёв, отлично со знавший масштаб опасности, гипотетически исходящей от Жукова, и

по этой причине без всяких душевных терзаний преступивший все нормы порядочности, божеские и человеческие. Брежнев же, уже без всякого смысла, так, по хамской инерции и идиотскому желанию видеть себя главным Героем всех времен и народов, поступил не лучшим образом, демонстративным равнодушием подчеркнув обидное и несправедливое забвение великого русского человека.

Даже не прислал соболезнования, когда скончалась жена единственного в ту пору четырежды Героя Советского Союза (в отличие от Леонида Ильича, удостоенного этого звания по праву), горячо любимая Галина Александровна, опора Георгия Константиновича в конце жизни. После ее смерти маршал недолго протянул. Как нередко случалось в российской реальности с выдающимися людьми, он уходил из жизни в полном одиночестве. У нас ведь волосы рвут и лицо царапают, только когда «персона грата» помирает при великой должности. «Должность» торжественно хороним, а так: «Спи спокойно, дорогой товарищ! Вот веночек, я побежал!.. Да какие поминки? Секунды свободной нет!..» – и козликом поскакал к тому, кто при должности и пока живой...

Знаменитый «кремлевский эскулап» Евгений Чазов, «закрывший очи» трем Генеральным секретарям, вспоминает, что тяжело больного Жукова, практически обездвиженного обширным инсультом, навещали только теща и однажды как будто маршал Баграмян. И всё!

Чему удивляться! Такое отношение – обычная практика в системе «развитого социализма», где человек только шумно декларировался как «товарищ и брат», но исключительно как некая абстрактная субстанция, и никогда не конкретный (особенно тот, что выпал из системы властного благорасположения), тот, что с плотью, кровью, болью, душой, часто искалеченной ещё сильнее, чем тело в Сухановке, страшном «лесоповальном» комплексе для высокопоставленных военных в том числе...

Георгий Константинович Жуков скончался на рассвете 18 июня 1974 года. Я хорошо помню тот день – он накрыл своим великолепием всю страну: солнечный, теплый, безветренный, без всяких лесных пожаров (они появятся, но позже). На Красной площади готовилась какая-то манифестация, и Исторический музей разукра-

сили флагами и яркими плакатами. Но вечером программа «Время» все сообщила – умер Жуков. Родственники просят отвезти тело на родину, в Калугу, политбюро – нет, ритуал ломать не дадим!

Тогда спешно и небрежно повесили плакаты, стараясь придать «округе» хоть какую-то тень печали. Все прошло поспешно, дежурно... Ещё цветы не успели привянуть под кремлевской нишей, как по брусчатке с топотом и гиканьем двинули колонны голосистой молодежи. Тогда было принято демонстрировать счастливость, с отрепетированной радостью и высоко поднятыми лозунгами «Мир – мир!» Но пройдет всего ничего, и «золотое» брежневское десятилетие завершится афганским кошмаром, а в общем-то – началом конца великого государства...

Да, чуть не забыл! За те бракованные самолёты, про которые генерал Селезнёв нашептал «в ухо» «СМЕРШу», в конечном итоге сел Шахурин, министр авиапромышленности. Пару раз свозили в Сухановку, этого оказалось достаточно, чтобы рассказал то, чего и не было... Кстати, посадили и Селезнёва, причём на десять лет, но в лагерь почему-то отправлять не стали, а оставили на Лубянке, в тамошней тюрьме. Вопреки расхожему мнению, она находилась не в подвале, а на самом верху, под крышей, но с полным ощущением, что сидишь в преисподней. Я там бывал (слава Богу, не в качестве арестанта) и только тогда понял, что бытовавшие в ту пору условия существования зеков предполагали формирование у них сознания, полного путаницей во времени и пространстве. Их перемещали по коридорам и этажам так, что постоянное ощущение ночи и подвала никогда не исчезало. Селезнёв отсидел так семь лет, а когда вышел, ещё долго оббегал центр Москвы седьмой дорогой...

## Воспоминания о Джанхоте

В семидесятые годы всякое лето я проводил в Джанхоте. Нет, не отдыхал, работал спасателем в пионерском лагере под названием «Строитель». Вспомнил спортивное прошлое и по протекции приятеля, физкультурного чиновника Вадика Козьменко, уезжал на время отпуска в Краснодарской студии телевидения, где числился младшим редактором на все случаи жизни. Надо было зарабаты-



вать на кооперативную квартиру. Деньги, конечно, небольшие, но, как говорится, «курочка по зернышку...». Так и складывалось: Алла (жена), студентка мединститута, едет на каникулы медсестрой в Кабардинку на дошкольную дачу завода электроизмерительных приборов, я в Джанхот. Так и «сундучили» на кооператив несколько лет, который, в конце концов, и приобрели с небольшой помощью родителей, Аллы и моих, где прошли самые счастливые годы, на улице Радио, дом 2.

Тогда ведь понятия не имели, что есть на белом свете инфляция, а уж тем более дефолт. Сбербанк был стоек, как Брестская крепость, поэтому личные сбережения граждан сохранял, как Тутанхамона в египетской пирамиде. Копеек, конечно, набегало немало, но за свои «кровные» рубли можно было быть спокойным – они всегда оставались вашими: летом, зимой, в Новый год, в неурожайную пору (что, увы, случалось нередко), в личных горестях и общих радостях. Словом, «Брось кубышку, заведи сберкнижку!» был самый действенный лозунг.

И когда на трибуну сессий Верховного Совета СССР для отчета поднимался министр финансов по фамилии Зверев, солидный, облаченный в мундир, как и положено, возрастной, внушающий народу доверие немногословный банкир, страна знала, что в государственной «кубышке» – полный ажур.

Гайдар, я имею в виду Егора, ещё в возрасте Тимура (того, что из романтизированной команды) гостил в Свердловске (ныне Екатеринбург) на подворье уральского дедушки, знаменитого сказочника Павла Петровича Бажова (увы, к той поре уже покойного), бегал по летнему огороду в заграничных шортах (папа-адмирал служил не то корреспондентом, не то разведчиком на Кубе), умилял уральскую бабушку хорошим аппетитом и начитанностью. В голову не могло прийти, что пройдет время, и именно этот губошлепистый воспитанный мальчик поставит страну «на уши», вывернет у ее граждан карманы и грабеж «среди бела дня», назовут «мерами по оздоровлению экономического состояния общества».

Я думаю, это первый в мировой практике случай, когда правопоспособных граждан обобрали скопом и до нитки, почти без усилий, всех без исключения, и эти «все», как бараны, приготовлен-

ные «на заклатие», смиренно внимали досужим размышлениям первого президента (тоже, кстати, с Урала) о просвещенной демократии во главе с молодыми «реформатами».

Вот, оказывается, как выглядит подлинная, а не придуманная другим, не менее знаменитым дедушкой, история про Гайдара и его команду. Честно говоря, меня в современной России удивляет другое – почему, «надрывая пупы», мы (то есть государство) спешим вприпрыжку расплачиваться за иностранные кредиты (взятые, кстати, неизвестно кем и неизвестно на что), не сделав ни единого «телодвижения», чтобы восстановить вклады тех самых правопоспособных и массово обманутых граждан, хотя бы из «заначек», что получили (и получаем) от продажи нефти и нефтепродуктов?

Попробуй любому нынешнему банку не вернуть копеечный кредит, тут же явятся дядя с тетей в расшитых мундирах, где на каждой пуговице выбит российский герб, и заберут все, вплоть до того, что сведут со двора собаку и даже кота. А в каких мундирах надо являться к тем, кто забрал последнее, «по полушке» накопленное за долгие годы, и по поводу возвращения долга (а это долг!) «ухом не ведут»?

А чего вести – молодой Гайдар молодым и помер, говорят, от пьянства и пресыщения телесными удовольствиями. Ельцин тоже в райских куцах! С кого спрос? Хотя, по правде говоря, наша семья получила однажды извещение, что тесть, активный участник трех войн (озеро Хасан, финская и Отечественная) может явиться в нынешний «Сбербанк» и получить какие-то деньги. Ну, поскольку тесть, заслуженный ветеран, Яков Кузьмич Вялых, этак уже лет как десять покоится на городском кладбище, пошла дочь. Там спросили:

– А где Яков Кузьмич?

– На кладбище! – честно призналась Алла.

– Ну, вот и все! – облегченно развел руками «Сбербанк».

Все, в смысле – «дулю с маком», раз вкладчик не дождался.

Пожилые люди из времен «хрущёвских реформ» должны помнить лихую операцию, которую «неутомимый ленинец» проделал с облигацией государственных займов, никого не спрашивая, ни с кем не советуясь, заморозив их реализацию на двадцать лет. Тогда в ходу был такой анекдот: «Бродит по кладбищу старый дед,

стучит тростью в могильные плиты и сипит прокуренной плеврой: «Ваша облигация выиграла, ваша облигация тоже выиграла, а ваша наверняка выиграет...»

Однако времена остроумных анекдотов – это все-таки пора хоть каких-то надежд. Сегодня остроумцы как-то завяли, Задорнов, правда, ещё коптит, на глазах превращаясь в того кладбищенского деда. Больше похабенью промышляем, рекламируя жизненную активность импазой да виагрой и непотребными песенками, типа «Люблю тебя бедрами!» в исполнении девиц ранне-комсомольского возраста, хотя не надо все-таки путать шлагер со шлюхой...

Ну что мы все о грустном? Давайте, лучше я позову вас в Джанхот, ещё тот Джанхот, что «отгорожен» от остального мира плохой дорогой, куда проще добраться морем. Надо за «три копейки» сесть в Геленджике на пассажирский катер и под песню «про зайцев» плыть лазурным простором мимо Фальшивого Геленджика (сейчас его название почерпнуто из дурацких фильмов про шпионов – Дивноморск) к Джанхоту, далее Парусная скала, заброшенные пляжи Прасковеевки, с прибоем хрустальной чистоты, ещё дальше Молоканова щель, полная загадочных миражей...

Утром я просыпаюсь от звука пионерского горна, и тут же с оглушающим оптимизмом дивную тишину взрывает музыка нового дня:

*Встань пораньше, встань пораньше,  
Встань пораньше,  
Только утро замаячит у ворот,  
Ты увидишь, ты увидишь,  
Как весёлый барабанщик  
В руки палочки кленовые берет... –*

поёт радио звонкими и чистыми голосами советской пионерии...

Джанхот тех лет – как малообитаемый остров, по которому бродит образ бородатого человека в просторной «крылатке» и широкополой шляпе, русского бунтаря, писателя Владимира Галактионовича Короленко.

Рано утром к холодному пирсу причаливают первые, ещё полусонные прогулочные катера, и стайки первых туристов уходят темными аллеями к основной достопримечательности «острова» –

«даче Короленко». Дом, когда-то сложенный черкесами из местного слоистого камня, хозяйственной частью врезан в крутой гористый склон, заросший густым лесом. Другая же, «парадная» сторона, обращена к речке, спрятанной глубоко под крутой обрыв, раздвигающий вершины в широкую долину дивной красоты.

Для созерцательных удовольствий Короленко соорудил над крышей небольшую площадку, откуда открывалась «живопись», захватывающая дух. «Корзиной зелени» назвал ее писатель. Ему ставили плетеное кресло, стакан ледяного козьего молока и он подолгу любовался панорамой склонов, внимая буйству красок и аромату черноморской хвои. Джанхот был местом, где росла реликтовая сосна, и это привлекло писателя, когда он впервые сошел с греческой фелюги на пустынный галечный берег, упругой подковой вогнутый между двумя величественными скальными обрывами.

Короленко искал спокойную уединенность, чтобы поселить Иллариона, старшего брата, заболевшего туберкулезом. Объезжал Крым, Кавказ и, наконец, то, что искал, нашёл тут, словно Богом придуманное местечко, дабы сбежать от житейской суеты, чтобы каждое утро прикасаться к первозданной тишине и вдыхать морской воздух, настоянный на смолистых запахах целебной пицундской смолы.

Дом построили быстро, щедро оплаченные черкесы работали не покладая рук, скрипучими арбами, запряженными волами, доставляя грузы откуда-то из глубин горного материка, ивовыми корзинами рассыпая по низменностям срезанную часть склона. Вскоре Илларион переехал в новый дом, пахнущий влажной известью и деревом, названный для благозвучия дачей. Скорее всего потому, что напротив, с другой стороны долины, жил на даче, правда, много меньше и похуже, другой бунтарь и романтик, Федор Щербина, по специальности статистик, а по увлечению – историк и публицист. Он потом напишет «Историю кубанского казачьего войска», «Историю Армавира и черкесо-гаев», где упомянет моих предков по фамилии Айдиновы. Они были среди двенадцати семей, бежавших из южной Армении от турецкой резни и основавших славный Армавир, родной город моей незабвенной матери...

Я отношусь к числу тех людей, которые всегда стремятся раз-

делить радость вновь увиденного с близкими людьми. По вечерам писал восторженные письма друзьям, одно из первых – Ходоркиным. Генка тут же прислал ответ:

*«Завидую, старик! Юлька затянула в Сходню, в некий дачный поселок образца сорокового года. Чисто партизанская стоянка в духе воспоминаний Зинаиды Васильевны. Комары с палец, с утра мелкий дождь, вода во дворе, коллективный сортир на сваях возле березового болота, правда, у каждого свой ключ от персонального "очка". Я как-то ночью поперся туда на костылях (протез одевать лень). Кое-как доковылял, выхожу обратно, а у дверей псы... штук десять. Сели кружком, скалятся... Так и просидел на "очке" не знаю сколько, пока какой-то мужик со своим ключом не пришёл. Оказывается, собаки днюют под бараками, а ночью выходят территорию охранять. Своих знают, а меня вместе с костылями точно бы разорвали в клочья... Ещё неделя такой жизни – запылю обязательно!..»*

Мог ли я позволить! Утром следующего дня, преодолевая шум и треск эфирной «выюги», кричал с местной почты в провонявшую табак и чьим-то перегаром телефонную трубку, чтобы все бросали к чёртовой матери и приезжали немедленно к солнцу, морю, свежей клубнике, сухому вину, шашлыкам из «маладой барашка», звону цикад и полному отсутствию другого «сухановского злодейства» – безжалостных подмосковных комаров.

Генка, судя по голосу, уже начал осуществлять «угрозу» и слабо сопротивлялся:

– Старик! – бормотал вихляющимся языком. – Я не против, но как Юлька?

К телефону вдруг подошла жена и голосом приятной мелодичности стала меня расспрашивать, как лучше добраться.

– Купе в скором, через сутки в Новороссийске. Дальше такси до Геленджика, чуть-чуть морем – и мы в «имении» Владимира Галактионовича, – кричал я.

– Ой! – засмеялась Юлия. – Я про «чуть-чуть» где-то уже слышала! Подожди секунду! Ага, вспомнила, в фильме «Волга-Волга»: «и чуть-чуть по хорошей дороге...» Всё, едем, встречай! – твёрдо

заключила она с интонациями своей героической мамы, правда, обращенными скорее к мужу, чем мне...

Встречать отправились вдвоем, я и Слава Костенко. Со Славой можно было делать что угодно – встречать адмирала флота, бежать кросс, петь в хоре, строить курятник, запускать воздушного змея, варить шурпу, плыть в ластах до Парусной скалы, перебирать старые кирпичи, делать прочее нужное и ненужное, но непременно созидательное.

Помните Савву Игнатьича в «Покровских воротах» – это Слава! С утра в руках дрель, «в заднице пропеллер», бездна обаяния и угрожающей для общества энергии. Добавьте сюда богатырский рост, гусарские усы, огромные ручищи молотобойца (Слава – мастер спорта по метанию молота) – и вы получите портрет директора спортивного лагеря, что разнес палатки по траве-мураве в глубине джанхотской долины, на огромной поляне, где со всеми признаками знаменитого фильма «Три плюс два» жила сотня лихих мальчишек и девчонок из детских спортивных школ Москвы и Краснодара.

Слава был «их всё» – кормилец-поилец, главный тренер, основной наставник, организационный и творческий руководитель, обожавший делать приятные неожиданности, что не так-то уж часто встретишь в любые наши времена (больше как-то тянет на нехорошее, особенно сейчас).

– Давай преподнесём сюрприз! – Вячеслав возбужденно потрясал предо мной кулачищами. – Давай сделаем сюрприз... Поставим палатку у ручья на ежевичной поляне, подальше от пацанов. У меня в заначке есть польская, с шелковым пологом. Класс! Оборудуем – раскладушки новые, матрасы нормальные, не надувные, одеяла верблюжьи, под ноги палас чешский.

– Сюрприз-то в чём? – недоумевал я.

– А вот в чём! – Слава загадочно расплылся в улыбке. – Там рядом пенек дубовый, на него я ставлю патефон!..

– Патефон? У них, по-моему, есть приёмник «Спидола»... Прекрасная вещь!

– «Спи-до-ла!» – протянул Костенко. – Скучный ты человек, Володя! Одурел совсем среди пионеров... Ты знаешь, что такое фронтовые песни через патефон? «На позицию девушка провожала

бойца...» – запел он хриплым голосом. – Слушаешь – плакать хочется! Колорит, запах эпохи... Это тебе, брат, не радиолоа под фikusом!.. Патефон у меня от деда остался, полученный им за ударную работу на строительстве Тщикского водохранилища... За одно лето, понимаешь, отгрохали от колышка... Дед мой считался лучшим грабарщиком...

– Что это такое? – спросил я.

Слава усмехнулся:

– Успокойся, грабарщик – совсем не гробовщик. Это работа, который возит землю в грабарке, этакой конной, плетеной из прутьев повозке. Мой дед, Николай Егорыч, между прочим, был делегатом Всесоюзного слета стахановцев, жал руку самому Калинин и получил премию – суконный костюм и велосипед... А патефон ему подарила Клавдия Ивановна Шульженко. Они с Утесовым агитбригадой ездили тогда по кубанской стройке, пели для строителей. Дед всю жизнь об этом вспоминал, особенно когда выпьет, но обязательно под патефон. Пластинки специально собирал...

Ходоркин быстро внедрился в джанхотскую обстановку, нашёл сердечную компанию, днем, пугая спасателей, с воплями прыгал с пирса, валялся на пляже, а вечерами уходил к очагу, сложенному под столетним платаном из гранитных валунов и заменявшему нам мангал. В нем с дымным треском горел плавник, притащенный ребятей с берега, и часто жарился жирный черноморский лобан, отстрелянный упругими подводными ружьями.

Юля после ужина уходила к палатке и, одиноко погрузившись в парусиновое кресло, курила редкий тогда «Мальборо». Укутавшись пледом и с наслаждением вытянув ноги, она слушала патефон, но не фронтовые песни, а романсы в исполнении Шаляпина, которые притачил тот же неутомимый Костенко.

*Гори, гори, моя звезда,  
Звезда любви приветная.  
Ты у меня одна заветная,  
Другой не будет никогда... –*

бархатом искрящегося ковра волшебный голос накрывал сумеречное пространство. Умолкали цикады, не слышно было птиц, только

сквозь легкое шипение потертой граммофонной пластинки доносилось дыхание давно ушедшего. Юля нередко покидала наши шумные, по-южному обильные застолья, и мне вначале казалось, что ей это в тягость, я спросил даже как-то.

– Ну что ты! – воскликнула она. – Теперь понимаю, почему творцы стремились к морю. С чем можно сравнить все это? – она провела рукой по синеющим склонам. – Каждый тут ищет свое – Гена возвращает шумное прошлое, я погружаюсь в тишину отдохновения. Я все-таки музейщик, в любой тишине ищу образы и чувства. Здесь часто нахожу... – она сбросила пепел прямо в траву и продолжила: – Ты знаешь, Володя, мало кто в залах Третьяковки бывал один на один с полотнами, а я бывала, и всякий раз меня не покидало ощущение, что в такие минуты они оживают, медленно, как жемчужные раковины раскрывают створки. Однажды, стоя полночь перед «Утром стрелецкой казни», я явственно слышала бабий вой. Жуткий, протяжный! Не дай Бог, в такие мгновения встретиться взглядом с боярыней Морозовой...

– Мистика какая-то, – пробормотал я. – Чертовщина!

– Великая живопись всегда мистична, от человека ли идет, или от природы, – Юля вскинула голову. – Взгляни на джанхотскую долину... Тут всякая следующая минута, особенно на закате – иная, главное, никогда не повторяющаяся. Захочешь – будущее увидишь, захочешь – прошлое вспомнишь, а если душу сильно прижмет – и к пониманию вечности приблизишься: драгоценности покоя, например, девичьего смеха у речки, вон того огня в мангале, запахов летней ночи... Я люблю тишину вообще, а такую особенно... Вон там на суку вчера сова сидела, долго, как мраморное изваяние... Потом чуть шевельнула крыльями и растворилась в темноте, словно и не было...

– Слушай, а не скучно? Хотя и Третьяковка, но всякий раз одно и то же... – спросил я.

– О, я тебя понимаю! – воскликнула Юля. – Обычный посетитель идет по залам, скользя взглядом по большинству произведений: ах, Врубель, ах, Репин, ах, Левитан, ах, Шишкин! Вот «Утро в сосновом лесу», знаменитая медвежья семья, перекочевавшая даже на миллионы конфетных оберток... Но я скажу, раз-

ница между репродукцией, даже самой совершенной, и подлинником – как между живым волком и его чучелом. Тот же хрестоматийный Шишкин! Ты побудь подольше в состоянии публичного одиночества перед его картинами, обязательно услышишь, как гудят верхушки корабельных стволов, как шелестит рожь, как пахнут мхи на влажных камнях, как струятся летние ручьи в вятских буреломах. Я уже не говорю про Левитана, Куинджи, Поленова, Саврасова. А если надолго с любым из них один на один остаться, вообще головой тронуться можно. Саврасовские грачи которую весну галдят, а все накричаться не могут...

– Что, неужели бывает? – я покрутил пальцем у виска.

– К сожалению! Великие живописные произведения обладают гигантской энергетикой и вполне могут человека, особенно излишне эмоционального, привести в крайнее состояние. Такое и в Третьяковке случалось...

Ночью, иноходью возвращаясь в лагерь, я размышлял: «Хихи! Веселые дела! Это в пионерском лагере можно свободно тронуться умом, правда, по другой причине...»

Спасатель на причале, ещё при весельной лодке, да белозубый и загорелый – фигура всегда заметная. К появлению на море пионеров я должен был все тщательно проверить: ограничительные буйки, состояние дна и пляжа, отогнать наглых отдыхающих из зоны детского купания, что не так просто. Нередко приходилось напрягать горло, играть мышцами и даже брать в руки весло. Потом следить, чтобы никто из «спиногрызов» (так спасатели именуют деток) в вопящей и кипящей массе не топил друг друга, не ездил верхом, не пытался нырять, а если уж исчезал под водой, то обязательно появлялся вновь. С берега за купанием детей вполглаза досматривали вожатые, расслабленные университетские барышни, проходящие педпрактику и больше думающие о личном «счастье».

С моря «зорким соколом» следил я, в воде с ребятнёй находились физруки, чтобы в случае чего сразу прийти на помощь. В те времена все, что касалось безопасности и здоровья детей, было архистрого и архиважно. Родители должны были всегда и везде получить свое «чудище» весёлым, здоровым и непременно поправившимся.

Увеличение веса детей являлось важнейшим критерием

успешности работы лагеря. Я помню, как на краевой профсоюзной конференции (где я присутствовал уже в качестве корреспондента телевидения) начальник нашего лагеря Виктор Спиридонович Спиноза, увешанный медалями отставной замполит авиационного полка, кричал с трибуны:

– Разрешите доложить партии и правительству, лично Леониду Ильичу Брежневу, что коллектив пионерского лагеря «Строитель» на двадцать семь процентов перевыполнил запланированные показатели по увеличению веса детей в среднем за каждую смену, в общем и целом достигнув привеса личного состава за летний сезон на тысячу семьсот сорок два килограмма шестьсот двадцать пять граммов. Пусть это будет наш вклад в очередной успешный полет советских космонавтов, посвященный пятидесятой годовщине Великого Октября...

Утро на джанхотском пляже всегда начиналось с появления «Анны Ванны», старшей медсестры, величественной дамы, облаченной в белоснежный, безукоризненно отглаженный халат. С властным видом заботливой «орлицы» она осматривала окрестности, затем большущим градусником мерила температуру воды, заглядывала в кабинки для переодевания, проверяла противосолнечные навесы, делала бессмысленный разнос уборщику пляжного участка, черному от загара и худому до состояния анатомического экспоната Мустафе, и почти всегда обращала мне, спасателю, одну и ту же фразу:

– Володенька! Сегодня высокая солнечная активность, прошу вас, следите, чтобы дети не ныряли и не пугали друг друга...

Когда наступала пора, по взмаху ее руки трубил горнист, и вопящая «орда» в ту же секунду, распахнув рты и вытаращив глаза, летела в воду. Вот тогда становилось жутковато: море вскипало, воздух звенел счастливыми воплями. Шло пионерское лето, и как вдохновенно вещал с трибуны наш Спиноза:

– В крае нет не охваченных лагерным отдыхом детей!

Это было действительно так! Слава Богу, нашими стараниями в Джанхоте ни разу не случилось никаких, как подчеркивал бывший авиатор Виктор Спиридонович, даже предпосылок к «лётным происшествиям»... Хотя одно таки было, но к пионерии, к счастью, никакого отношения не имело...



После обеда, когда жара достигала апогея и пляж пустел, я брал лодку, иногда один, но чаще с очередной пляжной барышней, совершал весельное катание куда-нибудь в лазурную даль, нередко к Голубой бездне, где вода отдавала загадочно-бирюзовой и опасно манящей глубиной. Девушка осторожно опускала за борт руку и ойкала от восхищения. Этого было вполне достаточно для установления перспективных отношений. Барышни в ту пору к спасателям относились благосклонно. Думаю, сейчас тоже...

Однажды какой-то загорелый до металлической синевы мужик, лежащий пластом на странном сооружении (он связал штук тридцать туго накачанных футбольных камер, а сверху плавающий «самострой» покрыл толстой махровой простыней), дредноутом приблизился к моей лодке, на которой значилось гордое слово «Спасательная», и мрачно пробасил, показывая на обрыв, гигантской стеной нависающий над узкой береговой полоской, где среди облизанных морем валунов нередко скрывались любители телесных удовольствий:

– Слушай, друг! Вон там, наверху, сидят два идиота. Я им говорил, чтоб не лезли, но они послали меня куда подальше... Сейчас, по-моему, положение у них швах. Надо чё-то делать! – и добавил ещё более сумрачно: – Вполне могут убится, в натуре! Под обрывом, кстати, гуляет их компания, по-моему, студенты... Наглые, как майские жуки!

Студенты, особенно московские, наезжали в Джанхот шумными компаниями с разных баз отдыха: Ольгинки, Криницы, Бетты, но чаще из самого ближнего – Дивноморска, и являлись для всех большим «головняком». Вели себя шумно, дерзко, развязно, лезли куда не надо, заплывали далеко (как-то трех «пловцов» вылавливали даже пограничники), в открытую пили на пляже, причём всякую дрянь, вроде портвейна «Три семерки». Корнеич, смотритель лодочной станции и местный морской начальник, постоянно с ними конфликтовал и не терпел до такой степени, что не давал им прокат, как бы ни просили.

Убеждать его в этих случаях было бессмысленно, поскольку Корнеич был местным депутатом и житейским авторитетом, его мнение уважали. Считалось, что он всегда прав, особенно когда отгонял от моря пьяных, делая это решительно, жестко и грубо,

особенно если стихия волнировала и опасно гудела. На его памяти десяток «сорвиголов» пропали как раз тогда, когда лезть в море мог только конченный олух. Но согласитесь, таких у нас всегда переизбыток – выпил, прыгнул, утонул!

Иного отношения, увы, они не понимают, да и не заслуживают. Это я вам говорю, как бывший и, смею заверить, успешный спасатель. За три сезона моих «бдений» на джанхотском пляже никто даже не пытался тонуть...

Я вытащил из чехла бинокль и высоко на склоне, там, где он уходит в небо под вертикальным углом, на крохотном пятчке увидел двух парней, уцепившихся за чахлый кустик и тесно прижавшихся друг к другу. Судя по всему, они уже поняли безвыходность своего положения. В сильные морские окуляры отчетливо были видны покрытые пылью и расчерченные не то потом, не то слезами взволнованные лица. Вниз спускаться страшно – можно сорваться, а лететь метров сто по острым, как турецкие ятаганы, камням, вверх ползти невозможно – скала практически недосягаема. Дело складывалось крайне скверно, и вряд ли они просидят долго, во всяком случае, прибытия из Геленджика спасателей не дождутся точно.

Налегая на весла, я погнал лодку к берегу, туда, где продолжала веселиться компания.

– Ребята! Там друзья ваши, – я показал рукой наверх, – судя по всему, попали в сложное положение... – и как мог, попытался объяснить опасность, чем вызвал презрительный хохот.

– Слушай, парень! Плыл бы ты куда подальше... – здоровенная и хорошо поддтая деваха с ироничным превосходством стала внушать мне, что те «героические» ребята весь Кавказ прошли вдоль и поперёк. Понимая, что доказать им ничего невозможно, я предложил двоим сесть в лодку и самим оценить ситуацию.

Первой, чуть не опрокинув мою посудину, с игривым хихиканьем вскарабкалась деваха – думаю, ей, скорее, хотелось показаться. Вслед влез немного, но все-таки встревоженный и относительно трезвый парень. Картина, которую они увидели сквозь тот же бинокль, стала ещё более удручающей – оба хлопца беззвучно ревели в голос.

Деваха вмиг протрезвела, а парень суетливо запричитал. Оказывается, один из сидящих на скале – его родной брат. Я их отлично понимал! За год до этого сам ощутил подобный ужас, когда в Домбае на спуске встала канатная дорога и около двух часов в утлом креслице я болтался над ущельем. Подо мной парили орлы, глубоко внизу заостренными вершинами торчали огромные кавказские ели. С тех пор загнать меня на «канатку» возможно только силой.

Вообще, «забавы» с нашими причерноморскими «примечательностями» нередко заканчиваются плачевно. Уж каким победительным суперменом был знаменитый актер Андрей Ростоцкий: и каскадер, и лихой наездник, и вообще грандиозный человек, а погиб в пять секунд! Поехал под Сочи выбирать натуру для нового фильма, тоже о лихих, всепобеждающих людях, увидел по дороге живописный склон, усыпанный сине-бело-розовыми подснежниками, а на то, что он обрывист и, как губка, пропитан весенней влагой, – внимания не обратил. Полез, как всегда, решительно и смело – хотел взглянуть, как будет выглядеть панорама с той высоты? Полез... и сорвался!

Пожилый горец, предлагавший туристам фотографироваться на фоне гор в бурке, папахе и с его понурой лошадью, рассказывал:

– Я говорил тем людям – не надо, очень опасно... Но разве они послушают! Мужчина погиб почти сразу... Так жалко!

Знаменитый кубанский спасатель Сережа Кисель когда-то мне рассказывал, как тащили они из мрачно известной пещеры Снежной, что под Сочи, трех ленинградских парней и одну девчонку, которые по весне (когда пещера закрыта даже для опытных и подготовленных спелеологов) без всякого разрешения, уведомления, снаряжения, и даже без еды полезли в преисподнюю, переполненную потоками тающего снега.

Мне, страдающему клаустрофобией, и слушать было обморочно, как Сергей с товарищами выводили «лисьими норами» незадачливых «туристов». А «лисьи норы» – это, между прочим, узкие подземные лазы, по сути, созданные природой «трубы» с внутренними шипами и неровностями, неожиданными поворотами, иногда под прямым углом, сужающиеся до прохождения тела только при

вытянутых руках. Причудливо извиваясь многометровыми (до 50 метров) «змеями», они соединяют пещерные галереи, уходящие все глубже и глубже. Когда хемингуэевски бородатый, краснолицый и седой как лунь Сережа, покуривая трубку в уютном холле краевой спасслужбы, без всяких видимых эмоций излагал в интервью, как они тащили с глубины погибшего парня, отец которого, питерский профессор, метался у входного кратера, умоляя поднять тело сына, я попросил принести мне нашатырь.

– Впечатительный ты, однако, Вова! – усмехнулся Сергей. – Поэтом, наверное, станешь... Мы хотели оставить парня внизу, но отец встал на колени, и пришлось тащить. Скажу только тебе – смертельный был номер...

Сережа – родной брат моего друга по репортерским странствиям, кинооператора Эдика Киселева (разность фамилий – продолки пьяного секретаря сельсовета), откуда непривычная для спасателя откровенность. Он долго возился с трубкой, очевидно, размышляя – говорить или молчать – уж больно история мрачная.

– Да-а-а! – протянул, наконец. – Номер был воистину опасный, особенно для того, кто находился сзади... Застрянь тело – и тогда, скорее всего, «толкачу» кранты... Мы завернули погибшего в целлофан, обмотали скотчем, облили автолом и поволокли. Тащили часов шесть, иногда продвигаясь по сантиметрам. Я впереди, Жорка Марченко сзади, потом на расширениях менялись – Жорка впереди, я позади, и так шесть часов... – повторил он, окутываясь медовым дымом «капитанского табака», лучшего трубочного...

Однако вернемся в Джанхот. В той ситуации мне и тем двоим, что были в лодке, стало ясно, что даже малое промедление может завершиться большой бедой. Снова навалившись на весла, я помчался к берегу, где разыскал Корнеича. Тот сразу все понял: тут же перехватил пробежавшего поваренка из соседнего кафе и послал его до Костенко:

– Беги быстрее! Скажи, чтоб крепких мужиков прихватил!

Нагруженные веревками и пожарными поясами, мы полезли на скалу с тыльной стороны, где проложена хотя и сложная, но вполне хоженная тропа. Следом с причитаниями карабкались студенты во главе с откуда-то появившимся изрядно пьяным руково-

дителем. Время от времени он останавливался, поворачивался и, дыша, как лошадь после скачки, материл подопечных последними словами, хотя, как потом рассказывали, был из приличной профессорской семьи.

Бывалый и пожилой Корнеич все оценил быстро и правильно. Когда, задыхаясь от спешки, мы выползли на самую верхнюю площадку, усыпанную сосновыми шишками и хвоей, открылся вид невероятной красоты, но чтобы увидеть бедняг, надо было на пузе подползти к краю обрыва и, высунувшись как можно дальше, заглянуть в бездну. Внизу угрожающе рокотало море, разбивая прибой о большие камни, с грохотом падавшие под ударами свирепых зимних ураганов.

Сегодня же стоял восхитительный день, который ещё немного – и завершится, как говорят нынче, резонансным происшествием. Пацаны сидели ниже метров на тридцать. Корнеич застегнул на мне тяжелый пояс, капроновой веревкой привязал его за ствол ближайшей сосны и при такой страховке попросил, чтобы я внимательно рассмотрел подходы сверху. Затем, видимо, не очень уверенный в моих выводах, проделал то же сам.

– Нет, они веревку не ухватят... – сказал раздумчиво. – Угол слишком большой, – и добавил: – В лучшем случае, пояс будет болтаться перед ними метрах в двух-трех. Потянутся и сорвутся к чёртовой матери...

– Что же делать? – спросил я.

– Надо лезть! – твёрдо ответил Корнеич и пристально посмотрел на меня.

– Кому? – слабо отреагировал я, понимая, что кроме меня в такой компании лезть некому. Что и говорить, я находился в хорошей форме, но одно дело – играть загорелыми мышцами перед девицами на пляже, а совсем другое – лезть в преисподнюю с неизвестным итогом.

Набрав воздуха в легкие, я хотел отказаться, но неожиданно для себя сказал:

– Хорошо!

– Славку не дожидаться! Поваренок только сейчас добежал... – словно в оправдание чего-то, торопливо говорил Корнеич, забот-

ливо обматывая меня страховочными веревками и тут же напутствуя: – Вниз не смотри... Знай, вытащим тебя в любом случае. Подходи к ним осторожно, постарайся успокоить, что все будет ладненько. Я видел, они сейчас закаменели, потому любое движение с их стороны опасно. Более всего, если кто-то из них в тебя вцепится... Тебя вытащим, а тот упадет обязательно. Такое бывает! Возьмешь с собой концы... Пояс свободный у нас, к сожалению, один, ты его на ближнего надень, застегни и тщательно проверь, потому что когда потянем, он сразу повиснет в воздухе. Будет вопить – не обращай внимания, крепи второго, обматывай его, как младенца, плотно и хорошо... Ну, давай, Володя, с Богом!..

Федор Корнеич относился к поколению, прошедшему войну, и к людям, которые умели, а главное – знали, как принимать результативные решения. Таких у нас давно нет! Боюсь, уж никогда и не будет, в болтовне ни о чем дело потопим, если уже не утопили...

– Ну, иноки! – грозно взглянул Корнеич, обращаясь к притихшей компании. – Молитесь Богу, чтобы все получилось!

Как ни странно, но высоты я не боялся (только замкнутости) и, туго опутанный страховочными концами, почти без страха пошёл вниз, сначала в виде груза, а потом, опираясь ногами о стенку, добрался и до ребят. По счастью, они действительно оказались не чужды верхолазания, сумели собраться, и моих увещаний почти не потребовалось. Тем не менее, я сам надел на ближнего пояс, трижды ощупал стальные карабины и только после этого дернул сигнальный трос:

– Пошёл!

И он пошёл, точнее, полетел! У парня уже не было никаких сил, и его потащили просто как куль с чем-то тяжелым и мокрым. Со вторым было попроще, ожидая возвращения веревки, я даже с ним поговорил. В это время сверху меня окликнули. Из-за уреза торчала Славкина голова.

– Все в порядке! – крикнул он. – Объект на месте...

– Как он? – спросил я.

– Нормально! Уписанный...

«Уписаешься тут», – подумал я, пытаюсь поймать раскачивающийся пояс. Поймал, надел, проверил, снова дернул трос, и надо

мной тут же повисли разодранные вдрызг популярные в то время китайские кеды. Через пару минут и они исчезли за кромкой обрыва...

– Ты готов, Володя?

– Готов! – ответил я. – Только вы так не тащите! Медленнее...

– Будь спок! Поедешь, как в лифте...

Через несколько минут меня подняли к верхней площадке, и сильные руки буквально катапультно выбросили мое бренное тело на поляну, усыпанную сосновой хвоей, хотя (по правде говоря) ноги держали слабо...

Руководитель продолжал матерно поносить бедолаг. Обездвиженно и молча они сидели под деревом, ещё не веря в счастливое спасение. Остальные вели себя как побитые собаки, только одна «лодочная» деваха слабо сопротивлялась разносу своего «команданте» (на нем была майка с изображением легендарного кубинца в берете):

– Ну что уж вы так, Борис Константинович. Они же не хотели...

– Чего не хотели?! – заорал вновь разбушевавшийся «Че Гевара».

– Чтоб так получилось...

– А-а! – с новой силой взвыл «интеллигентный» аспирант, обрушив на подопечных поток впечатляющих угроз.

За всем этим скандалом на нас: Корнеича, меня, Славку с ребятами, они как-то не сильно обращали внимания. Вдруг кто-то из них рявкнул:

– Катер!

К пирсу подходил последний морской «трамвайчик», и в ту же минуту, подхватив спасенных, они градом сыпанули вниз, словно нас и не было...

– Ну вот, так всегда, ни здравствуй тебе, ни прощай! – усмехнулся Корнеич, умело скручивая и связывая веревки в бухты.

– Да не журишь, Федор! – Слава широкой, как лопата, рукой хлопнул Корнеича по плечу. – Нам зачтется! Господь все видит... А ты, Вовка, молодец! – это уже мне. – Не укакался?..

– Был на грани, – честно признался я, поскольку только сейчас осознал, что лезть на обрыв, да первый раз в жизни, было чистым безумием. Слава Богу, и последний...

А наши спасенные (нам хорошо было видно сверху) гурьбой выскочили на пляж, но побежали почему-то не к пирсу, а в «Бомбей»; был на берегу такой популярный шинок, который, как тогда говорили, «держали» архипо-осиповские армяне. Официально тут торговали прохладительными напитками, пивом «в розлив», всякими закусками, но если хорошо попросить, то и водочки нальют, шашлычок пожарят, пикник обслужат, причём в любое время суток. Хотя «шинок» находился в пляжной зоне, более того – пограничной, его никто не трогал, кроме загулявших и сильно обсчитанных отдыхающих из ближней базы отдыха, принадлежащей Краснодарскому масложиркомбинату. Но тех довольно быстро успокаивали разными способами...

Вот так в пору «развитого социализма» рядом с песней «...И Ленин такой молодой...» (наш пионерский лагерь был через ручей) формировался стартовый капитал, на который потом скупят весь Джанхот, побегут дальше, до пустынной Прасковеевки, затем аж до Молокановой щели, где в ту пору ежики спаривались прямо на берегу, а они, в отличие от людей (особенно нынешних), делают это в гарантированном одиночестве. Сейчас же там, в первозданной глуши (куда каменистым берегом забредали только бородатые отшельники и, как я уже сказал, занимались «любовью» ежики), вырос таинственный дворец, охраняемый лучшим изобретением Михал Тимофеича, вошедшего в мировую цивилизацию под фамилией знаменитого «рыночника» купца Калашникова...

– А ну-ка, взглянем, чем интеллектуальные люди в минуты радости оттягиваются? – Слава взял у меня бинокль. – Сразу видно, москвичи! – воскликнул он. – Портвейном! Молодцы! – он оторвался от бинокля. – А почему бы нам, Федор Корнеич, не завершить сегодняшний удачный день стаканчиком доброго просковеевского вина?

Корнеич засмеялся (что делал крайне редко) и ответил фразой, ставшей потом популярной после легендарного фильма «Покровские ворота» и произнесенной обаятельным конферансье Аркадием Варламовичем:

– Заметьте, не я это предложил!

В «Бомбее» нас хорошо знали и принимали всегда на уров-

не местных авторитетов, но на высоту «магараджи» навсегда был вознесен только Костенко, который, несмотря на уговоры, исправно за всё платил, а во-вторых и в главных – однажды могучими кулаками враз успокоил каких-то разбушевавшихся нефтяников Тюмени, по бесплатным профсоюзным путевкам колотивших посуду в геленджикских кафешках. Более того, с подошедшими на помощь тренерами по боксу спас как-то «шинок» от случайно залетевшей в Джанхот хулиганистой компании, которую вначале жестоко и показательно отколотили, а потом сдали местному участковому, толстому и высокомерному капитану по кличке Ванька-встанька...

С заднего двора, окутанного шашлычным угаром, вылетел в грязно-белой куртке сияющий хозяин по имени Рубен и деланно завозмущался:

– Славочка! Почему всегда мимо! Такой дарагой гость... Минуточку – и шашлычок готов, барашек ещё недавно бляял... Хотите прасковевский, пажалуста... Ева! – закричал он оглушительно в распахнутую дверь, – Поставь... – он сделал секундную паузу, обводя наше сообщество оценивающим взглядом. – Э-э-э, пять бутылок, нет, семь, красного сухого в морозилку...

В итоге выпили двенадцать... Когда катер, включив прощальный ревун, отчаливал от пирса, через громкоговоритель вдруг раздался голос той самой девахи (ее звали Виолетта), что вдохновенно «чистила» меня перед началом всей этой истории.

– Мальчики! – понеслось по окрестностям. – Мы, конечно, свиньи, что не поблагодарили вас достойно, но поверьте, мы оценили мужество, силу и решимость. Вы настоящие русские мужики! Спасибо вам! Искреннее спасибо от безголовых студентов Московского инженерно-строительного института! Вы преподнесли нам урок, и мы обязательно исправимся. У нас нечего вам подарить, но из того, что есть на борту этого парохода, выбрали лучшее – песню, которую, как заверил капитан, больше всего любит Федор Корнеевич Гарькуша, бывший главстаршина подводной лодки Северного флота, которой командовал Герой Советского Союза капитан Колышкин...

В репродукторе что-то щелкнуло, зашуршало, и на все роскошное море вдруг полился безбрежный голос Владимира Бунчи-

кова, самого популярного певца прекрасного послевоенного времени, ещё не тронутого будущим расчетливым цинизмом:

*Прощайте, скалистые горы,  
На подвиг Отчизна зовёт!  
Мы вышли в открытое море,  
В суровый и дальний поход...*

Корнеич, опустив голову, примолк, а потом, когда поднял, я заметил, как в глазах старика мелькнули слезы. Нет, не слезливая поволока выпившего человека (он почти и не пил), а то, что никогда не оценить нам, не пережившим той страшной войны.

*...Хоть волны и стонут, и плачут,  
И бьются о борт корабля,  
Но радостно встретит героев Рыбачий,  
Родимая наша земля...*

И вдруг ироничный Славка, зубоскалистый силач и неукротимый экстремал, тихо сказал:

– Мужики, а вы знаете, какой завтра день? – и, выдержав паузу, добавил: – 22 июня... Давайте, в память о всех павших и за здоровье живых, прежде всего – твоё, Корнеич...

Право же, в таких случаях граненые стаканы – лучшее стекло для чоканья, сильного и искреннего...

## «Общий суп»

Рассвет к джанхотской долине всегда подступал осторожно, почти вкрадчиво. Вначале акварельно проявляются склоны, осветляя одноцветность темной зелени изумрудными полутонами, потом с росной травы медленно начинает сползать «одеяло» белесого тумана, сворачиваясь в низине в рваную, слоистую мглу. Вокруг зябко, словно и не юг. Там, возле ручья, так совсем холодно. Вода, ещё не взбаламученная кухонными ведрами, прозрачно шепчется с придонными камнями, возле которых таятся большие зелёные лягушки. Но вот с мокрым хлюпаньем они рассаживаются по влажным кочкам и какое-то время молча лупают на белый свет



стеклянными глазами, и вдруг, словно по взмаху невидимой палочки, начинают исступленно орать. Палочка эта – небесный луч. Острым лезвием пробив на самой высокой вершине сосновые кроны, он с лазерной точностью зажигает на противоположном отроге первого солнечного зайца. Это означало, что в долине рождается новый день, день нашего беззаботного черноморского лета.

Лагерь проснулся, но ещё «ёжится» под одеялами – выходить из палаток никому не хочется. Но вот, преодолевая лягушачий ор и присоединившееся к нему птичье разноголосье, раздаётся посторонний щелчок. Это означает, что включена лагерная радиотрансляция, и мятый репродуктор, прикрученный проволокой к старой груше, голосом Костенко произносит с деланной бодростью:

– Друзья! Местное время – шесть часов. В лагере объявляется подъём!..

Но иногда в расслабленную тишину палаточного городка без всяких предварительных вступлений будоражуще врывается песня:

*Сегодня праздник у ребят,  
Сегодня воскресенье...*

Это означает, что именно сегодня в спортивном лагере будут готовить шурпу. И тогда из палаток уже выползают не полусонные фигуры, а упруго выскакивают загорелые атлеты, потому как все знают, что будет праздник, сегодня свободное от трудов воскресенье. Не нужно бежать утренний кросс, не надо тягать штангу, плыть скоростные отрезки, вести учебные бои и схватки.

Сегодня, как «жаргонит» ребятня, – «расслабуха» и в радостную «нагрузку» знаменитая «костенковская» шурпа! Шурпа – это не столько еда, сколько ритуал, как говорят немцы – «гемайнзам суппе», то есть «общий суп».

У Славы, основного застрельщика и, понятно, главного фигуранта этого действия, есть свое, даже исторически обоснованное видение такого рода застолья.

– В Екатеринодаре, в стародавние времена, – увлеченно рассказывает он девчонкам, подтаскивающим сушняк к месту будущего костра, – в городском парке всякое воскресенье устраивали так называемые благотворительные обеды. В огромных казанах

варили походный кулеш. Что такое? Это казачий, очень наваристый мясной суп, обязательно горячий, почти раскаленный. Запах на километр, подходит всякий – голодный, сытый... Городской голова – один из первых! Съел не спеша порцию, и в благодарность кладет на большое блюдо «катеньку». Так сказать, делает зачин...

– «Катенька» – это что? – робко спрашивает юная гимнастка, будущая чемпионка страны, несмотря на раннее утро, с огромными белыми бантами на гладко причесанной головке.

– Солнышко! – отвечает Слава. – «Катенька» – это сто рублей, а в те времена корова стоила восемь... Следом с мисками выстраиваются богатеи. Считалось хорошим тоном выкушать тарелочку и от щедрот своих возложить на блюдо крупную денежку. Никто не чурался! А тут, глядишь, появляется и сам господин Багарсуков, в цилиндре, роскошном кашне, с серебряной тростью. Обязательно садится за общий дощатый стол, съедает пару ложек, и, раскрыв крокодиловый бумажник, кладет поверху уже солидной кучки ассигнаций пять «катеринок», то есть пятьсот рублей! По тем временам – целое состояние! На эти деньги и устраивали обеды, хоть раз в неделю, но кормили городскую бедноту «от пуза»... Кулеш, каша обязательно с маслом, взвар... Что такое, спрашиваешь? Это что-то вроде компота из сухофруктов, чаще из лесной груши. Ну, само собой, хлеб свежайший, прямо из городской пекарни ещё горячий подводами подвозили...

Где тут правда, где придумки – понять невозможно! Слава – большущий фантазер, говорит – и сам верит в сказанное. Его заботливая душа стремится к всеобщей гармонии, желает, чтобы всем было хорошо: и тем, кто жил когда-то, и тем, кто живет сейчас...

Ещё с вечера, трудной лесной дорогой из дальнего горного аула, мотоциклом доставлен приобретенный заранее баран. Сейчас в подворье Корнеича, в ожидании участи, он щиплет осоку. Днем придет с пляжа уборщик Мустафа, больше известный как забойщик мелкого рогатого скота, и совершит святотатство. В округе никто лучше его не разделяет баранину, то ли на плов, то ли на шурпу, то ли на шашлык.

Но в шурпе, как подчеркивает Костенко, есть одна тонкость – тут важно совместить закипание котла с одномоментным погруже-

нием в него ещё горячего, свежееубойного мяса. Ну а пока идет подготовительная работа, мальчишки чистят песком две огромные дюралевые емкости, заимствованные на кухне соседнего пансионата, заготавливают для костра топливо, девчонки перебирают рис. Очаг, сложенный из больших речных камней, поначалу разогревают хворостом. Его сбор – удел тоже девчонок, ну а дальше в огонь идут дубовые поленья. С этой целью старшие ребята с тренерами вкуче ещё накануне распилили и покололи на массивные поленья упавшее в лесу старое дерево. Как правило, этим занимаются боксеры и штангисты, демонстрируя девчонкам богатырскую силу и молодецкую удачу. Огромным краснофлотским колуном могучие не по возрасту ребята под восхищенный визг с единого замаха разносят в мелкие брызги тяжеленные чурбаки.

Девочки постарше моют и чистят овощи, которые накануне привезли с дивноморского рынка женщины-тренеры. Каждый чем-то занят, потому как все знают, что приготовление настоящей, или, как говорит ребятня, «фирменной» шурпы – это дело тонкое. Помните – «Восток – дело тонкое»! Слава привёз «секрет» приготовления шурпы как раз с Востока, из Узбекистана, где в период своей спортивной молодости часто бывал на весенних спортивных сборах. Что-то не так – и получится уже не шурпа, а суп-пюре с добавлением баранины, которым, кстати, под видом шурпы часто потчуют своих посетителей армяне из «Бомбея».

Правда, когда ожидаются именитые гости, особенно ночные, то Рубен приглашает Костенко, за что нам всем открыли «пивную кредитную линию». Но с появлением Ходоркина предприимчивый Рубен положил глаз и на Геннадия. Дело в том, что после училища он в качестве второго пилота облетывал на Ташкентском авиазаводе новые самолёты и там научился готовить классический узбекский плов. Не рисовую кашу с мясом, а именно плов, который уважающие себя люди едят только руками, что Гена всегда подчеркивал.

Однажды в промежутке между шурпой и шашлыком, который Рубен, надо отдать должное, готовил просто неподражаемо (особенно, когда старался), по-прежнему самолюбивый Ходоркин решил показать свое умение, в том числе приглашенным на ужин Рубену и его жене, улыбчивой хлопотунье Еве. Скажу честно, Генка поста-

рался, и впечатление, особенно для самовлюбленного Рубена, было на уровне потрясения. Плов, приготовленный на прибрежном костре, со всеми национальными «прибамбасами» (чугунный казан, курдючный жир, старый и обязательно злой чеснок, барбарис, зара или ажгон, непременно лаган, то есть огромное глиняное блюдо, куда вываливали готовый плов) – всё это вызывало жгучий и неутолимый аппетит у любого. Не хватало только звуков зурны или карная, но их вполне заменял голос самого Ходоркина, который неутомимо повествовал о секретах узбекской кухни, почерпнутых из рассуждений своего московского приятеля Вильяма Похлебкина, более чем странного человека, профессионального инженера, однако вошедшего в историю уникальными знаниями мировой кулинарии – что кушать, зачем, с кем и когда. А самое главное – как готовить!

– Любая приправа национальной кухни, – вдохновенно рассуждал Геннадий, – для непосвященного человека, особенно среднерусской полосы, привыкшего к репе, картошке, квасу и большому количеству хлеба, кажется неприемлемой. Но стоит вам, преодолев предубеждения, попробовать такие приправы три-четыре, максимум пять раз, вы становитесь горячим их приверженцем и уже с радостным чувством ждете случая испробовать ещё и ещё, поскольку кулинарные сюрпризы, а приправа – это, конечно, сюрприз, имеют свойство манить, как запах красивой женщины. Хочу добавить, – Генка вдохновлялся ещё больше, когда видел, что слушатели разрывают внимание между ним и ароматным пловом, – и обратить вашу пищевую сосредоточенность на то, что приправы делают отличную вкусовую «встряску», особенно важную, когда обычная повседневная пища уже, как говорится, «приелась», и живой здоровый аппетит начинает угасать. Лучшего стимула поднять его человечество ещё не придумало...

Предприимчивый Рубен быстро, как говорится, вошёл в тему, и подружившийся с ним Ходоркин, уступая настоятельным просьбам, несколько раз повторил свой успех в Молокановой щели, где устраивались ночные пикники для особо важных персон, особенно засекреченных ученых из санатория атомщиков. На мотоцикле с коляской, застеленной ковром, Ходоркина доставляли на берег, где его уже ждал небольшой быстроходный катер на подводных кры-

лях, точная копия того, на котором Семен Семенович Горбунков завершает культовый фильм «Бриллиантовая рука», катая по Черному морю свое счастливое семейство. Гена же после того кино получил прозвище Бриллиантовая Нога, поскольку все знали, что он хранит наличные деньги в потаенном укрытии своего протеза.

Возвращался Ходоркин утром следующего дня, отчаянно обгоревший на солнце, пропахший кайенской перцовой смесью, водорослями и костром, с двумя ящиками чешского пива, по тем временам – богатством несметным.

– Это гонорар! – оповещал всех, со звоном и грохотом водружая ящики на общий обеденный стол. После ужина, охладив бутылки в ручье, прохладное пиво пил весь педагогический коллектив, вознося Ходоркину, а заодно и щедрому Рубену заслуженную хвалу. Один Марик Лейфер, тренер боксеров из Новороссийска, слегка морщился и говорил, чуть заикаясь (когда-то Марик пропустил жестокий удар и вынужден был «списаться» в тренеры), где достиг более впечатляющих успехов:

– Наше новороссийское, пожалуй, получше будет, мягче, ароматнее...

– Да уж! – кривился кто-то.

– Нет, в натуре! – заводился Марик. – У нас вода уникальная, а для пива это главное... И пивовар, между прочим, лучший в стране... Это все знают!

И начинается яростный спор – чье пиво лучше...

После таких «достижений», стоило Ходоркину появиться возле «Бомбея», как ушлый поваренок Сема, маленький толстенький плут, хитро поблескивая глазками и улыбаясь во всю свою масляную рожу с ранней щетиной, без всяких разговоров ставил на стол пару покрытых холодными каплями бутылок рислинга. Из-за того джанхотского лета рислинг стал любимым напитком моего друга.

Правда, уже здоровье, точнее, его отсутствие, да и Юлькины увещевания не позволяли лихому когда-то Гене «общаться» с тяжелым алкоголем. Зато прозрачный, как слеза младенца, черноморский рислинг не хлестал размашисто «кувалдой» по голове, а приятно туманил ее, не угнетал душу, а веселил, не стреноживал, а мягко ударял по коленкам.

– Мне как раз половина достается от положенного! – радостно смеялся Геннадий, особенно когда почувствовал свою нужность, пусть даже в таком виде, но искреннюю и очень дружескую. С моря в лагерь его всякий раз доставляли на мотоцикле с коляской, могучем армейском «К-750», тогдашней мечте всех колхозных бригадиров, на котором тот же Сёма творил чудеса...

Шурпа клекотала в котле, разгоняя по долине немыслимые запахи, – мясо было уже там! Славка, раскрасневшийся, военноморской чумичкой снимал пену с раскаленной поверхности, время от времени покрикивая на ребят-борцов, отвечавших за костер:

– Эй-эй! Братья-разбойники, огонь поменьше...

Как все восточные кушанья, шурпа готовилась на медленном огне, кипение должно быть продолжительным, но сдержанным. Неподалеку на толстой фанере, заменявшей кухонный стол, стучали ножи – женщины резали овощи. Помидоры, лук, кислые яблоки, от которых при одном взгляде во рту вяжет, молодую картошку. Рядом в огромной сковороде кипит курдючное сало. Одним глазом Слава косит туда.

– Давайте, сыпьте картошку, лук, помидоры! – командует он, и сковорода тут же откликается на эти действия бурным «негодованием». С видом средневекового алхимика Костенко морщит лоб, что-то пробует, что-то щепотью добавляет в котлы, а их два (народу-то сколько, и все в ожидании). Вот в ход пошли пряности – красный и черный перец, кинза, лавровый лист, сухой укроп, еще какие-то таинственные порошковые смеси, издающие такие ароматы, что к лагерю стали подтягиваться собаки. Робкой стаей они уселись на опушке, внимая – может, что-то перепадет?

Наконец, огромным черпаком с длинной деревянной ручкой содержимое котлов перемешивается: нижнее – вверх, верхнее – вниз, нижнее – вверх, верхнее – вниз, и так далее... От одного вида янтарного варева, издающего искусительный аромат, становится возбуждающе шумно, раздаются голоса нетерпения. Но лишь когда кромка солнца коснулась вершин, только тогда Слава дал команду распахнуть крышки. Долгожданный пир начался!

У меня, право же, не хватает слов передать, что это такое – горячая шурпа на лесной поляне прохладным летним вечером, да

в сердечном сообществе, где все друг к другу показательно тепло расположены! Вот что такое, дорогие друзья, «гемайнзам суппе», иными словами – «общий суп»!

Пожалуй, только одна, заслуженный тренер по художественной гимнастике, грациозная красавица, но холодная, как римская статуя, резкая и циничная Лилия Орловская не радовалась и сквозь зубы выговаривала рослым девчонкам из сборной команды:

– Не налегайте! Учите, гимнастка с большущей задницей нужна не на помосте, а в постели...

Девахи хихикали, но искушения шурпой, тем не менее, не избегали. Не пробовала ее только избыточно гордая Лиля. Во-первых, накануне она повздорила из-за пустяка с женой Костенко, а во-вторых, как всегда сидела на жесткой диете, трепетно продолжая следить за своей великолепной фигурой. Когда-то сам председатель Всесоюзного спорткомитета, положивший на неё глаз, которого дерзкая и недоступная Лилия называла не иначе как «румяный пончик, набитый сладким говном», вручил ей огромную хрустальную вазу, вместе с титулом «Лучшая грация страны», что равно нынешней «Первой мисс». Ваза была переходящая, но Лилия ее так и не вернула, сказав, что это лишь малая компенсация за все ее страдания в жизни.

Сейчас же слегка увядающая красавица, увы, несколько раз разведенная, ненавидела всех мужиков по определению, однако даже в мыслях не допуская, что близок день, когда ее «девичья» неприступность налетит на безжалостное:

– Мадам! Вы зря сопротивляетесь, к вам уже никто не пристаёт...

В разгар пиршества я подошёл к Юле Ходоркиной. Она скромно примостилась на складном стульчике где-то в сторонке, держа на коленях остывшую миску. Возбуждающий шум и гам, в лучах которого «купался» ее муж, был все-таки не по ней.

– Ну как? – спросил я.

– Замечательно! – улыбнулась она, – Ты знаешь, мне постоянно кажется, что я смотрю какое-то фантастическое многосерийное кино про всеобщую человеческую гармонию, но так до сих пор и не верю, что я тоже его участница. Володя! – она осторожно дотро-

нулась до моей руки. – Смертельно хочу курить, а уйти неудобно...

В лагере курить запрещалось, да и я за день притомился от разных форм «пионерского» энтузиазма. Незаметно углубившись в тень, мы пошли к самой дальней палатке, стоящей на уютной полянке в окружении ежевичных зарослей, все у того же пенька с патефоном.

– Слава вчера принёс пластинку с песнями Бернеса, я слушала и грустила, – Юля нашла, наконец, зажигалку и, прикурив, задумчиво сказала: – Мама его очень любила... Марк Наумович был ее пациентом... Он и дома у нас бывал... Иногда даже пел...

Зашуршала игла, и зазвучал чуть хриплый, обволакивающий вечернее пространство знакомый голос:

*Тёмная ночь, только пули свистят по степи,  
Только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают...*

«Расслабуха», начавшаяся с радостного, завершалась приятным, тем, что нынче именуется дискотеккой, а тогда называли проще и более понятнее – танцы, но зато до упаду.

В связи с этим Костенко, как говорили в ту пору, «идя на встречу пожеланиям трудящихся», сделал «царский» жест в эту сторону и своим «повелением» продлил отбой до полуночи. После гимна (а всякие сутки советских людей завершались его торжественным исполнением «по всем радиостанциям Советского Союза») лагерь ещё немного «побарахтался» во впечатлениях и, наконец, вырубился, «мертво» отойдя ко сну.

В палатке, заглушая звон цикад, богатырски храпел Ходоркин, а мы с Юлей под сигаретный дым и остывший кофе продолжали сумерничать возле пенька. Закутавшись в плед, изредка пригубляя кофейную чашку с капелькой коньяка, она вспоминала маму. Зинаида Васильевна умерла четыре года назад, но для неё по-прежнему оставалась живой, особенно в минуты одиночества.

– Отца практически не помню. Он тоже был врач, только военный. Погиб в Будапеште во время венгерского восстания в октябре пятьдесят шестого года... Рассказывали, вытаскивал из горящего танка водителя-мальчишку, и что-то там взорвалось... Мама была для меня всем, да и я, думаю, для неё тоже...

– Говорили, что маршал Воронов – ваш дальний родственник? – спросил я. Уже тогда мне были интересны подробности жизни известных людей, особенно полководцев войны, что прочно скрывалось за лакированными обложками тщательно отредактированных официальных биографий.

– Да нет! – рассмеялась Юля. – Николай Николаевич был маминым пациентом и, если можно так сказать, другом нашей семьи, особенно после гибели отца. Изумительный человек, огромный, добродушный, этакий настоящий медведь из русской народной сказки, очень, кстати, начитанный, любитель литературы, искусства, но особенно спорта. Ни один матч своего родного ЦДКА старался не пропускать и при проигрыше всегда очень смешно огорчался. Однажды в детстве, одетый в штатское, водил меня по Третьяковке, с упоением говорил о Левитане. Казалось, где Левитан, а где артиллерия, что являлась делом и смыслом всей его жизни? Но нет! Он мне, ещё дошкольнице, так рассказывал, что я до сих пор вижу и тот колесный пароход, на котором плыли Исаак Ильич с Софией Кувшинниковой, к тому моменту сильно огорченные, что долгий поиск волжской натуры, кажется, заканчивается ничем. И вдруг рано-рано утром неведомая сила заставила их подняться на мокрую и холодную палубу – и о чудо! Река делала медленный поворот, и во всем величии открывался Плёс... А ведь могли проспать, и человечество лишилось бы нескольких левитановских шедевров. В позапрошлом году мы с Геной проплывали там теплоходным круизом – ему в Союзе журналистов путевку дали... На берегу кто-то додумался разместить сиротский приют для малышей. Детишки, столпившись возле ограды, глазели на туристов, сходящих по пароходным трапам. Я подошла и угостила их конфетами, а одну, совершенно очаровательную девочку с огромными глазками, не удержалась и поцеловала. И вдруг стоящий рядом мальчик чуть слышно сказал: «И меня поцелуйте!» «И меня, и меня, и меня!» – запищали они, выстроившись в очередь... Как сердце не выскочило?... Ладно! – встала, скинув решительно плед. – Пора спать!.. На душу иногда так много всякого наваливается. Воспоминания эти совсем некстати...

## Глава 4

### РАДОСТНЫЕ СНЫ

*...Ласково мерцали  
Звёзды с вышины,  
Детям обещали  
Радостные сны.*

*Алексей Плещеев,  
русский поэт XVIII века*

*(22 декабря 1840 года в группе «петрашевцев» его вывели на Семеновскую площадь Санкт-Петербурга, чтобы принародно повесить. В последний момент примчался конный нарочный с высочайшим повелением – «Помиловать!» Казнь заменили на десять лет солдатчины в Оренбургском линейном полку)*

Главный сюрприз для моего друга устроили при отъезде. Надо было возвращаться в Москву, у Юли заканчивался отпуск. С вечера хорошо погуляли, сказали много добрых слов, да таких, что Геннадий Максимович без малого не прослезился, тем более, что Рубен на прощание выставил бочонок домашней «Изабеллы» из подвалов своего деда, старого Карена, лучшего в Бетте виноградаря и винодела. Ева принесла корзину персиков величиной с головку младенца.

– Кушайте сразу, до Москвы не довезете. Солнечный нектар! От моей мамы из Пшады...

Скажу тоже сразу, тот, кто хоть однажды попробовал пшадский персик, навсегда забудет обо всех остальных. Но это к слову!

Утром приехал Сёма на могучем «К-750», загрузил Ходоркиных: Геннадия – в люльку, Юлю – в седло позади, и при эскорте



в три «Явы» (был такой чешский мотоцикл-убийца, скоростной, как Сатана, красивый, как Зигфрид, и опасный, как оголенный электропровод; сколько пацанов разбилось на нем – не счесть!) парадным маршем мы и отправились к причалу, где уже дымил катер на Геленджик. Слава вызвался проводить до поезда, я не смог – дневалил по пионерлагерю.

Вдруг перед отвальным гудком на причале появляются мятые, нечесанные «лабухи» – духовой оркестр из соседнего пансионата. Посопев под удивленные взгляды пляжной публики, они подняли медные трубы и, облизав пересохшие после «вчерашнего» губы, грянули изо всех сил «Прощание славянки».

Это и был очередной Славкин «сюрприз». Под музыку, вызывающую ком в горле, написанную давно забытым полковым капельмейстером Агапкиным, белый, как лебедь, катер отошёл от джанхотского причала. Генка стоял на корме, махал вьетнамской конусообразной шляпой и большим платком вытирал слезы. Юля, запрокинув голову, хохотала. Все так и запомнилось... Знать бы, что видимся в последний раз! Пройдет полгода, всего полгода – и гипертония «автоматно расстреляет» моего друга: два «ранения» в сердце (инфаркт), а последний «выстрел» в голову (инсульт). Бывает и сейчас – закрою глаза и вижу его, загорелого, высокого, счастливого, с дурацкой шляпой в руках, продававшейся тогда в Геленджике на каждом углу...

## Дело врача

В грандиозной практике большевистского «правосудия» я не обнаружил ни единого случая (хотя перерыл горы бумаг), когда б к эшафоту доставляли «всемилоостивые» указы о помиловании. Приговор всегда был равнодушно-окончательный, и казнь свершалась без всяких сомнений в её целесообразности. В лучшем случае, некоторые дела подлежали пересмотру спустя десятилетия, и то лишь когда менялась очередная правящая фигура, а «сменщику» хотелось продемонстрировать новую трактовку пролетарского гуманизма, тем самым подчеркнув нравственное превосходство над предшественником (Хрущёву, например, над Сталиным).

Генералу Абакумову, арестованному при Сталине, но расстрелянному при Хрущёве, указание о замене высшей меры на 25 лет заключения доставили в аккурат через двадцать пять лет после расстрела (уже при позднем Брежнев), то есть «на волю» надо было выпускать «святой дух».

Спустя годы после того «джанхотского лета», я наткнулся на секретные протоколы допросов Сергея Сергеевича Юдина, того, что упоминала Зинаида Васильевна Самолукова, и только тогда предметно осознал, как «система» при желании могла любого, невзирая на масштаб личности и заслуги перед той же системой, подвести «под топор», тем более, когда личность давала повод. А Сергей Сергеевич давал!

Чем больше я узнавал разного о нем, тем явственнее перед мною вставал образ Филиппа Филипповича. Да-да! Именно профессора медицины Филиппа Филипповича Преображенского, которого с такой убедительностью нарисовал Михаил Булгаков в «Собачьем сердце» и с высочайшим мастерством воплотил в кинороль незабвенный Евгений Евстигнеев.

Те же барские замашки, уверенность в вальяжной сибаритности, почтительная известность в столичных кругах: «Аида» к любому акту, именное кресло в литерном ряду МХАТа, обед в домашней столовой с участием вышколенной прислуги, на крахмальной скатерти и саксонском фарфоре, под неторопливо-капризное:

– Что у нас там на первое, Марфуша? – приподнимал крышку супника и, вдыхая парующий запах, в предвкушении тянул: – М-м-м! Харчо?.. Замечательно! Вы знаете, недавно в Тбилиси меня повели в ресторан «Башня Тамары»... – неторопливо продолжал рассказ о кавказских изысках, заправляя за галстук льняную салфетку. Далее под звон серебра о фарфор лились впечатления о приятной командировке в правительственную клинику грузинской столицы, где, конечно же, встречали по высшему разряду, а что это такое в избыточно гостеприимной Грузии, я думаю, многим понятно.

Заметьте, обед-то не в «нэповские времена», в коих пребывал «герой» булгаковского романа, а в самую что ни на есть «карточную эпоху», когда нормировалось все, вплоть до хлебных крошек. Само собой, квартира «о шести комнатах» (в отличие от

Преображенского, уже без всякой операционной, но с отдельной столовой и библиотекой обязательно), прекрасная дача в лесном массиве Внукова, рядом с народным артистом Игорем Ильинским и легендарной супружеской парой – Любовью Орловой и Александровым, дружескими теннисными и хлебосольными визитами друг к другу, и прочее в том же духе.

Одно несомненно: как и Преображенский, Юдин был «поцелован Богом»! Но в отличие от первого «маэстро», Сергей Сергеевич не вшивал яичники обезьяны богатым и стареющим блудницам, а выполнял жизненно важные дела – он оперировал животы номенклатуры, изношенные от неумеренных удовольствий до прободных язв. И никаких Шариковых и Швондеров рядом! К тому времени они уже под другими именами перелицевались до его пациентов, при хороших должностях, с обильными пайками и иными номенклатурными льготами.

А представляете масштабы драмы, когда на столе и «в чулане» уже всего полно, а в желудочном тракте – непроходимость! Во-первых, сам живот размером с камеру хранения на Казанском вокзале, а во-вторых, даже от ложечки гоголь-моголя болит мучительно.

Попасть на хирургический стол к Юдину считалось удачей. Его скальпель творил чудеса, его врачебная изобретательность давала не просто шанс, она возвращала надежду на бесконечность «сладкой» жизни. Эта надежда оплачивалась лауреатствами, орденами, общественным признанием, другими разносторонними благостями, в том числе и щедрыми гонорарами из карманов пациентов, тех же бывших «швондеров» и «шариковых», во все времена живущих исключительно в удовольствие себе.

Да вот гениальный доктор, открывший секреты щадящего обезболивания и успешного переливания «трупной крови», и сам не заметил, как перешёл границу опасности, за которой его «дружеская приближенность» к крупным государственным секретносителям стала беспокоить органы государственной безопасности.

Как всегда, в дело активно включились завистники, информация с этой стороны шла потоком, причём от самых приближённых. Ну, сообщения о сексуальных движениях в сторону хорошень-

ких медсестер чекисты с усмешкой откладывали (если, конечно, «сестренка» не являлась штатным осведомителем).

Уверяю вас, мы никогда (и это, наверное, правильно) не достигнем уровня той «добропорядочной» психопатии, в ходе которой простенькие «шлюшки» успешно шантажируют президентов (США, Израиль), премьеров (Франция, Япония) и даже главного «толстосума» планеты, председателя Международного валютного фонда, господина Стросс-Кана. Ну, обнажился «по пьяни» перед горничной, ну, ущипнул ее за толстую попку, так что его, за это сразу в «козлятник»? Ужас какой-то! Слава Богу, у нас, тем более при «торжестве» демократии, такое даже представить невозможно!..

Надо сказать, что в отношении профессора Юдина сия линия в оперативных документах просматривалась достаточно убедительно. Однако она не являлась предметом обсуждения, только, пожалуй, пересудами личного формата по типу «бес в ребро!» и не более. А вот все остальное для академика медицины складывалось чрезвычайно тревожно...

Его взяли после встречи нового, 1949 года прямо на даче во Внуково, пронизанной приятными запахами цитрусовых и свежей лесной хвои. Переворошили все вверх дном и вдруг нашли боевые карты военного времени с нанесенной на них оперативной обстановкой.

– Откуда это у вас? – прицельно прищурил глаза следователь.

– Храню как сувенир... – пробормотал Юдин, явно подавленный скрипом армейских сапог по анфиладе уютных комнат, покрытых настоящими персидскими коврами, добытыми в Тегеране, к тому же вывезенными в Москву беспопытно и «по блату» правительственными бортами. Подозреваемый (уже подозреваемый!) был там в составе группы медобеспечения во время совещания «большой тройки» (Сталина, Черчилля и Рузвельта. Или Рузвельта, Черчилля и Сталина – в зависимости от того, в каких газетах печаталось. В наших – первый вариант, в западных – второй).

– Странный, однако, сувенир... – из-под козырька голубой фуражки недобро блеснул взглядом полковник, руководитель процедуры обыска...

Действительно, странный! Совершенно секретная карта Ген-

штаба в масштабе в один километр, с нанесенной боевой обстановкой в районе наступления 5-й гвардейской армии в январе 1944 года, с детальным расположением частей и подразделений. Или вот другая – тоже сверхсекретная, датированная годом позже и подробно рисующая обстановку на Сандомирском плацдарме, где развернулись в то время жестокие бои за Краков.

– Как к вам попали эти документы? Кто передал? Цель? – голос контрразведчика звучал жестко, почти как приговор...

Казалось бы, какая разница – война давно закончилась, и карты того времени если кого-то интересовали, то в лучшем случае историков или литераторов. Ну, не сдали их в свое время куда надо, чё сейчас говорить? В худшем случае, факт тянет на выговор, ну, может быть, строгий. Ан нет! Дело с картами доложили Сталину, поскольку выяснилось, что «коллекционер» Юдин не у антиквара их приобрел, а получил из рук начальника штаба 5-й гвардейской армии, генерал-лейтенанта Лямина, причём в период разгара боев.

Юдина по очереди допрашивали два высокопоставленных чекиста: замначальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР полковник Комаров и старший следователь по особо важным делам Министерства госбезопасности подполковник Галкин.

– Как вы оказались в зоне боевых действий? – вопрос даже по тональности звучал пугающе.

– Я был в служебной командировке, но у меня с командующим, генерал-полковником Жадовым, и начальником штаба армии Ляминам, как у известного врача, установились дружеские отношения. Мне позволили беспрепятственно посещать штаб армии. В результате я оказался полностью осведомлен о положении дел...

– А чем объяснить, что вас, врача-хирурга, человека в общем-то постороннего, столь детально знакомят с действиями войск?

Юдин затравленно поправил на носу очки и через небольшую паузу ответил:

– Жадов и Лямин, зная о моей профессиональной и человеческой репутации, относились ко мне с большим доверием, охотно делились подробностями событий. Так, Жадов рассказывал, что кроме его армии, на Кировоград наступает 5-я гвардейская тан-

ковая армия Ротмистрова и 7-я гвардейская Шумилова. Лямин, в свою очередь, разъяснил, что в начале наступления от Ротмистрова поступали очень тревожные известия. Танки не могли сломить сопротивление немцев, но потом прорыв, с большими потерями, все же был осуществлен... После взятия Кировограда, в деревне Грузкое, это километрах в 12-ти от города, собрались Жадов, Шумилов, Ротмистров и командующий 53-й армией, фамилии, к сожалению, не помню. Совещание вел Маршал Советского Союза Конев. Я не замедлил выехать туда...

– Минуту! – перебил его Комаров. – Разве на том совещании требовалось ваше присутствие?

– Нет, конечно! Но мне предоставилась такая возможность, и я ею воспользовался...

– Зачем?

– Видите ли, медработники армии Ротмистрова без разрешения забрали мною изобретенный ортопедический стол и не возвращали... Я попросил вмешательства...

– Ну и что?

– Конев в моем присутствии распорядился стол вернуть...

Юдин, уже совсем не похожий на того вельможного, всегда уверенного хозяина положения, потерянный и непривычно суетливый, услужливо отвечал на вопросы, связанные с поездками на фронт, вызывая все новый и все более опасный интерес следствия, особенно со стороны Галкина, с его железными, ничего хорошего не предвещающими интонациями.

– Арестованная нами некая Майя Водовозова, служившая курьером у московского корреспондента агентства «Рейтер» Кинга, показала, что в начале 1944 года вы пытались через неё добиться встречи с послом Британии Керром. Вы что, хотели передать ему шпионскую информацию, полученную в штабе 5-й армии?

Услышав «гвоздевой» термин – «шпионскую», Юдин окончательно сник, понимая, куда клонится дело. Слухи, которые поползли по Москве, ничего хорошего не обещали, тем более на Лубянку стали вызывать людей «первого ряда»: генералов, академиков, бывших и настоящих пациентов Юдина, так или иначе оказывавших ему благодарственные знаки внимания...

По заведенной ещё в довоенные годы традиции допрашивали ночью. Считалось, что, потеряв ориентацию во времени, подсудимый будет сломлен быстрее. Но для Юдина это было несущественно, подчас опережая желание следствия, он признавался в том, чего и не было. Но многое таки было! Встреча с тем же Керром состоялась, и не одна...

– На совещании у Конева из отрывочных реплик я узнал о намечавшейся Корсунь-Шевченковской операции... – профессор нервно тер лицо, покрытое непривычной щетиной, и подслеповато щурился, поскольку очки отобрали.

– Ну, и дальше! Что было дальше? – снова звучит этот страшный, металлический голос из-под яркой лампы.

– Дальше... – забормотал торопливо, словно настигая упущенное. – По возвращении в Москву я имел встречу с Керром... По той самой карте, что перед вами, пояснил ему обстановку под Кировоградом, а также охарактеризовал предстоящую Корсунь-Шевченковскую операцию...

– Зачем вы ездили в 5-ю армию вторично? Керр поручил?

– Да! – опустил голову Юдин. – Я тогда передал ему сведения об операции Красной Армии на Сандомирском направлении, о предполагаемых действиях в Польше...

– У нас есть информация, что вы вели себя в штабе как хозяйчик, Лямину даже сделали выговор, – усмехнулся руководитель следствия, полковник Комаров (после двух ночи он всегда включался в допрос). – Смелее, Юдин, смелее... Вы же такой самоуверенный человек! Надо отвечать за свои вражеские деяния...

– Начало операции застало меня в пути... – забормотал врач, – По прибытии в штаб армии я действительно выразил недовольствие Лямину в том, что он не пригласил меня к началу боев. Лямин извинился, сославшись на занятость, вследствие чего не сумел своевременно поставить меня в известность. Под Ченстоховом я имел также разговор с Жадовым, который поделился со мной планами организации переправы через Одер и рассказал, что по приказу Ставки всем бойцам и командирам, первым переправившимся на ту сторону, обещано звание Героев Советского Союза. После той поездки мне удалось собрать обстоятельную

информацию о реальном положении дел на этом участке фронта и увезти с собой новую карту... По приезду я встретился с Керром, все ему доложил... Карту он не взял, но обстановку поручил скопировать...

– Генерал Лямин был осведомлен о вашей шпионской связи с англичанами?

– Ну что вы! Мне просто удалось провести его... Вот только не помню, чтоб Водовозова помогала мне встретиться с Керром...

– Вот как! – деланно изумился Комаров. – А давайте спросим саму Водовозову, – подошёл к столу и нажал на кнопку. Конвоир с винтовкой ввел бледную, насмерть напуганную девушку...

Очная ставка закончилась тем, что Юдин признал, – да, именно она, Майя Водовозова, явилась первым связующим звеном на пути к Керру. Она передавала пакеты, в которых было даже личное письмо Юдина Черчиллю, а дальше... Дальше всплыли связи с маршалом Вороновым, отношения с которым «обаятельный» Юдин выстраивал терпеливо и последовательно. Сначала активная медицинская помощь, потом контакты на уровне взаимных увлечений, охоты, например, товарищеских споров об охотничьем оружии, в котором оба понимали толк, дружеские визиты на дачу маршала и даже пару раз в святая святых – штаб начальника артиллерии Красной Армии, что на Солянке, в знаменитом здании архитектора Казакова.

– Когда я заболел, Воронов приехал ко мне в санаторий «Архангельское», где я находился на излечении после острого сердечного приступа... При встрече с ним я получал наиболее ценную информацию о событиях на фронтах, в том числе о предстоящих операциях, и затем... – опустив голову, прошептал: – Передавал её англичанам... Разговоры на другие темы? Да, между мною и Вороновым случались разговоры и на политические темы, где я жаловался на зажим меня как личности и ученого со стороны высшего руководства страны. Все мои просьбы Воронов выполнял незамедлительно, в том числе предоставление самолётов для поездок на фронт, в частности, к Жадову...

Бывший начальник «СМЕРШа» (Смерть шпионам!), а тогда – министр госбезопасности Абакумов спецсообщением доложил Ста-

лину результаты следствия, подчеркнув, что маршал Воронов у себя на даче, находясь один на один с Юдиным и поддерживая его вражеские рассуждения, заявил, что имеются военные, недовольные существующими порядками в стране. Воронов сказал буквально следующее: «По окончании войны наши люди войдут в правительство и добьются изменения политического курса в стране»...

Да-а-а! От такого вывода уже осязаемо несло могильным холодом! Однако, вопреки ожиданию, «дело Юдина» в отношении Воронова и других военных закончилась только большим испугом – партийными выговорами и понижениями в должностях. Николая Николаевича Воронова, например, Сталин прекратил принимать и лишил депутатства в Верховном Совете СССР. С поста командующего артиллерией Вооруженных Сил СССР его отправили на им же придуманную должность президента Академии артиллерийских наук, которую вскоре и упразднили. С самим Юдиным поступили тоже достаточно милосердно. После двух лет отсидки в Лефортово его приговорили к десяти годам ссылки и отправили в Новосибирскую область (именно в область, а не областной центр, известный высоким уровнем хирургии).

За год до смерти Сталина английское посольство в Москве обратилось в МИД СССР с просьбой сообщить о судьбе Юдина – жив ли он? Поскольку профессор Юдин ещё в 1943 году был избран почетным членом Королевского колледжа хирургов Англии, а сведений о нем никаких нет, то естественно предположение, – сообщалось в ноте, – что он скончался, и тогда открывается вакансия для избрания в члены колледжа другого выдающегося хирурга, возможно, даже из России.

Вышинский (а он в ту пору был министром иностранных дел) счел за благо посоветоваться со Сталиным – как быть и что ответить? Со своей стороны предложил сообщить англичанам, что Юдин тяжело болен, что в общем-то не противоречиво истине. К записке Сталину был приложен проект ответной ноты со всеми положенными реверансами:

*«Министерство иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик свидетельствует свое уважение Посольству Великобритании и, ссылаясь на ноту посольства от 8 января 1952*

*года, имеет честь сообщить, что, согласно наведенным справкам, профессор С.С. Юдин тяжело болен, находится на излечении и ввиду этого лишен возможности заниматься научной деятельностью».*

Сталин прочитал и презрительно сплюнул. В результате политбюро приняло постановление: «Ноту Великобритании по запросу о судьбе Юдина С.С. оставить без ответа». Иными словами – «Пошли вы!..» Англичане это «проглотили», но ничего не забыли и когда после смерти вождя на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР (по сути, президента страны) был назначен почитаемый в то время маршал Климент Ворошилов, нанесли ответный укол.

По традициям международной дипломатии тот торжественный акт всегда сопровождается потоком публикуемых в прессе официальных поздравлений от глав государств и правительств, с последующей процедурой официальных благодарностей от имени назначенного (или избранного) главы государства.

Особо пространную благодарность за подписью Ворошилова послали королеве Великобритании Елизавете (той самой, что и сегодня на троне), однако английское посольство в Москве незамедлительно ответило, что «...Их Величество, королева Елизавета, не имела чести поздравлять господина Ворошилова». Вот те на! Конфуз и скандал! Скоро выяснилось, что королева была, и даже Елизавета, но не Великобритании, а Нидерландов. «Плевков» пришлось утирать тоже молча, хотя с приходом неумолимого «реформатора» Никиты Сергеевича Хрущёва могли любого послать ещё дальше. Тут же, пользуясь случаем, родился неплохой, хотя и несколько грубоватый анекдот:

*«Добирается, наконец, Хрущёв в реформаторском запале до советской дипломатической вотчины, что "засела" в "крепостном" высотном сооружении на Смоленской площади. Именно там, по его мнению, окопались наиболее махровые угодники и многоярусные семейные кланы. В результате, приходит к выводу, что обстановку в МИДе надо немедленно оздоравливать. Как? Только за счет размашистых, как буденновская шашка, пролетариев, выдвиженцев с заводов, фабрик, низовых парткомитетов, ударных строек, как*



в те, героические тридцатые. Он ведь и сам "не лыком шит", как-никак, воспитанник университета "красной профессуры".

И пошли на службу в МИД "кремлевским" парадным шагом "выдвиженцы", активные, проверенные, бескомпромиссные, настырные, всезнающие. Словом, настоящие "проводники политики партии", ее, как говорится, неподкупные "бойцы". Вот одного из таких "бойцов" приглашает завсектором африканских стран и говорит:

– Голубчик! У нас напряглись отношения с Зимбамбией. Понимаете, обижают наших специалистов, срывают раннее достигнутые договоренности и вообще ведут себя крайне неуважительно. Надо бы подготовить ноту, где выразить по этому поводу недоумение и сожаление. Вот вам папочка с материалами. Думаю, недельку поработаете с документами и максимум дней через десяток представите проект на подпись...

– А сколько писать-то?

– Чего сколько?

– Ну, страниц-то...

– Да что вы, Господь с вами! Нота – максимум три четверти странички. Но предупреждаю, надо занять позицию потверже и я бы даже сказал, пожестче!

– Так я через полчаса принесу! – говорит "свежий глаз и новый ум".

– Ну, тогда... Буду ждать! – развел руками руководитель, тоже из разряда "махровых" и знающий об этом, поскольку по чьей-то протекции закончил когда-то МГИМО, вместо того, чтобы служить в действующей армии.

Через двадцать минут приносит. Зав. сектором читает и удовлетворенно хмыкает:

– Вы знаете, неплохо! Жестко, современно, лаконично и, главное, по делу... Но есть, к сожалению, две ошибки – слово "насрать" пишется вместе, а "на х...й" – раздельно...

Но поверьте, это было время не только весёлых анекдотов, хотя Никита Сергеевич, безусловно, неумной энергией и говорливостью давал повод. Хрущёв совершил в ту пору, с моей точки зрения, самое главное – он снял с народа страшное сталинское напряжение. Анекдоты – это как раз и был вздох облегчения...

Юдина вернули из ссылки одним из первых. Однако Барабинские степи он покинул крайне изношенным и больным человеком. Это был уже не тот вальяжный, избалованный вниманием, самоуверенный «Филипп Филиппович», стальным голосом требовавший «такую бумажку, чтобы никакой Швондер и близко к моей двери не мог подойти».

– Не бумажку, а броню! – помните, как гремел он в телефонную трубку из прихожей своей просторной квартиры...

Иногда писал в Москву друзьям: «...Если бы не медицина, давно бы повесился. Но, слава Богу, удаётся оперировать. Пять-шесть резекций в день...»

Смею утверждать (хотя и не медик), что шесть резекций желудка, как, впрочем, и пять, в день не делает никто, по крайней мере сейчас. Тогда придётся самому ноги протянуть максимум через неделю.

А Юдин делал, и делал в сибирской глуши, в бревенчатой поселковой больнице, вытаскивая с того света простых людей, у которых от хронического недоедания, курения натошак и залпового пьянства от того, что должно быть желудком, к концу жизни оставался дырявый дуршлаг. Он и сам стал худой и прозрачный, как тень прошлого, о котором со слезами вспоминал, когда к ночи без сил падал на продавленную постель, чтобы забыться в мучительном сне.

Коллеги, те, что остались в столице, делали карьеру, а некоторые – так и совсем успешную. Одному из них, а конкретно Борису Васильевичу Петровскому (будущему министру здравоохранения СССР), через несколько дней после смерти Сталина с оказией (по почте по-прежнему боялся) передал письмо. Да и не письмо, а крик души!

«Очень прошу вас, может быть, вы знаете кого-нибудь из высокопоставленных людей... Попросите за меня, я вас не подведу! Уже какой год я здесь сижу. Умоляю, дорогой Борис Васильевич, помогите! Христа ради...»

Петровский как-то ещё в сталинское время оперировал маршала Булганина и удачно удалил ему желчный пузырь, а теперь мар-

шал взлетел (выше только Хрущёв), возглавил правительство страны.

Николай Александрович Булганин, безусловно, имел недостатки, за что в конце концов Никита и снял его, но, как настоящий русский, к тому же крепко пьющий, добро не забывал. Он сразу принял Петровского, выслушал и молча нажал кнопку. Тотчас появился помощник. Булганин говорит:

– Вот пришёл профессор, который меня оперировал. Просит за Юдина, утверждает, что тот сидит безвинно. Распорядитесь, чтобы его отпустили под ответственность товарища Петровского. Да-да, под вашу личную ответственность, Борис Васильевич... У нас ведь никто за зря не сидит. Но отказать вам не могу... Хотя предупреждаю, поскольку о вине Юдина осведомлен...

Петровский работал тогда у знаменитого хирурга Александра Николаевича Бакулева, основоположника грудной хирургии в СССР, президента Академии медицинских наук. Тот своих сотрудников гонял как сидоровых коз, не щадил и поощрял, когда с утра до вечера они в операционных. Однажды после такого многотрудного дня одевается в гардеробе усталый до тошноты Петровский, пожилая санитарочка подает ему тяжелое драповое пальто, кашне и говорит:

– Вот тут, Борис Васильевич, какой-то дед вас ждал, затаканный такой, бородатый, в шинели, с котомкой... Сидел вон там, в углу... Я его гнала, уж больно на бродягу похож...

– А фамилию назвал свою? – резко повернулся Петровский, догадка пронзила его.

– Юдин, по-моему... – ответила нянечка.

– Боже, куда же он делся? – ахнул будущий министр.

– Не знаю, – растерялась старушка.

Коллеги нашли его в ту же ночь. Доехал на метро в институт Склифосовского (больше некуда), где директорствовал до ареста. Там беднягу, голодного, замерзшего, пристроили в палате на свободную койку. Квартиру-то его роскошную давно отняли, имущество конфисковали и растащили...

Вскоре Сергей Сергеевич Юдин, обреченный болезнями, скончался, не дожив до 65 лет, так и не подойдя к операционному столу. После смерти враз заголосили все:

– Боже, какое светило угасло!

Верно, угасло! И не первое, и не последнее. Нам свойственно в любые времена варить для завтрака на огне безумия «золотые» яйца и резать на «товарищеский» ужин кур, их несущих. Это запросто, это как весёлое развлечение! Да ещё и приговаривают:

– Бегут за границу, так туда им и дорога, отщепенцам проклятым!

Вот и упражняемся самым изобретательным способом, особенно в отношении жидов. Один известный мне человек (и совсем неплохой) до такой степени невзлюбил евреев, что получив однажды немалый пост, превратил эту нелюбовь в главное объяснение всех наших бед. Если что не по нему, тут же глаза сужались до непривычной злобости:

– А не с прожидью ли ты?

Однажды во время прямого эфира телезритель прислал записку:

«Батяка! Я вас уважаю больше всех, но прошу – не надо ругать евреев. В нашем районе негде уже вылечить дурную болезнь. Последний венеролог вчера уехал в Израиль...»

Мой покойный друг Николай Федорович Качалов рассказывал:

– В моей станице Терновской евреев в глаза никогда не видели, о большевиках долго ничего не слыхивали, а в первый же год гражданской смуты церковь взяли и спалили...

Поэтому во все времена и бегут, часто самые достойные, насыщая талантом, интеллектом и профессиональным мастерством заморские страны, куда потом едем лечиться за большущие деньги. Удивительные мы все-таки, русские! В целом люди замечательные, но уж точно ни на кого не похожие...

Так и в случае с Юдиным – очнулись и вдруг поняли, что вся современная полостная хирургия, от методики резекции прободных язв до создания искусственных пищеводов, выстроена на его открытиях и достижениях. Как русская литература вышла из «гоголевской шинели», так и российская полостная хирургия сошла с чисто вымытых рук Сергея Сергеевича Юдина.

В 1962 году, в аккурат через восемь лет после его кончины, всполошились ещё раз и под шумное ликование (открытие мемо-

риальных досок, восторженные воспоминания) дали вдогонку Ленинскую премию – высшую по тем временам научную награду. Награду страны, в сущности, угробившей выдающегося врача и сейчас как бы извиняющей его «пригрешения» перед партией и народом. Что ж, давайте хоть так порадуемся за «профессора Преображенского», да и себя, неразумных, по-прежнему страдающих от переедания и непроходимости – как в кишечнике, так и в голове...

## Стюардесса по имени Жанна

Как и многие мальчишки послевоенного поколения, я грезил самолётами, а полетел впервые взрослым человеком, где-то в двадцать два года, но зато сразу на «ТУ-104». Это был аэроплан, открывший миру реактивную пассажирскую эру. Как писали в ту пору восторженные советские газеты:

– Первый в мире реактивный пассажирский самолёт успешно покоряет воздушное пространство над советской страной!

Вначале он «покорял» его на линии Москва – Свердловск (ныне Екатеринбург). В те годы я учился в Уральском государственном университете и на зимние каникулы ездил к родителям в Иваново, естественно, поездом. Это было неудобно и довольно противно. Общий вагон, к тому же непрямого сообщения, мог огорчить кого угодно и всегда являлся показателем массового бытового неблагополучия простых людей, рыскающих по огромной стране в поисках «сиротского счастья». Поэтому сутки, а то и более, на третьей, багажной полке, среди горшков, чайников, вопящих младенцев, древних старух, толстых горластых теток, пьяных мужиков и злобных, как церберы, проводников (да ещё с долгой пересадкой в Ярославле, где почему-то всегда стоял свирепый мороз) были испытанием довольно серьёзным, даже для меня, равнодушного тогда к «окружающей среде» во всем ее многообразии.

Но авиасообщения в те времена «простые люди» оббегали «седьмой дорогой». Во-первых, дорого (поездом на любое расстояние можно было ехать, как сейчас говорят, за «смешные деньги»), во-вторых, боязно (а вдруг...), в-третьих, скарб куда? Узлы, чайники, горшки, семейные подушки и прочее?..

– Не-е-е! «Железка» – она родная, близкая, надёжная от крыши до тамбура... А потом, на станции побежал – картошечка горячая, огурчики соленые, само собой, пузырек с собой, кипяточек рядом!

Поэтому самолётом летали только «номерные люди»: директора заводов, генералы, профессора, успешные писатели, известные артисты, крупные снабженцы и равные им, всегда спешащие персоны, главным образом, по важным государственным делам. От вокзальной публики они отличались, как архиерей в парадном облачении от робкой и одноликой паствы, пришедшей в храм за чудесным исцелением.

Пару раз со своим студенческим другом Володькой Бороховым (о нем я довольно много писал в романе «Стрельба на поражение») мы провожали на самолёт его «семиюродного» дядю, профессора политэкономии Валентина Михайловича Готлобера. В Свердловске Валентин Михайлович слыл заметной фигурой, к тому же весьма приближенной к первому секретарю обкома Кириленко (будущему многолетнему члену политбюро), поэтому без всяких условий он входил в номенклатуру особ, которые передвигались в пространстве исключительно с помощью авиации, особенно в Москву, где Готлобер имел связи и членствовал во всяких больших и малых ученых советах.

В мраморных покоях свердловского аэропорта «Кольцово», в югославском ратине и широкополых фетровых шляпах (в таких по большим праздникам выходило на трибуну Мавзолея правительство), солидные люди неторопливо общались в ожидании рейса. В отличие от вокзалов, где воняло дезинфекцией и хлорной тряпкой, в холлах аэропорта царил аромат чего-то такого, к чему допускались только избранные люди. Мы таскали за Готлобером его роскошный, из настоящего хрома, немецкий портплед с парадным костюмом, в дальнем углу дожидаясь, когда необычно оживленный в кругу таких же особ Валентин Михайлович направит стопы к трапу самолёта, от которого исходит волнующий до сердцебиения дух недоступной для нас «стратосферы». Естественно, что Валентин Михайлович попал в число первых, кто «опробовал» «ТУ-104».

Помахав профессору рукой, мы ещё долго стояли, прижавшись к чугунной ограде, чтобы увидеть взлет. И вот где-то из са-

мого дальнего края безбрежного летного поля раздается нарастающий гром, и через мгновения огромная, сверкающая огнями «птица», хищно откинув крылья и изогнув «нос», с испепеляющим грохотом взметнулась в небеса, оставляя позади себя полосы черного дыма. Ещё несколько секунд – и огромный самолёт растворяется в сером уральском небе, оставляя нас с распахнутыми от восторга ртами. Вот тогда мы с Володькой, как Герцен с Огаревым, поклялись, что сдохнем, но на каникулы обязательно полетим самолётом и непременно на «ТУ-104». И полетели, выпросив у родителей деньги на билет. Было это в феврале 1959 года...

Потом Гена Ходоркин, внимая моим восторженным впечатлениям, рассказывал, что «ТУ-104» лихо «переперли» из бомбардировщика «ТУ-16», предназначенного для широкого военного применения. Но поскольку войны, слава Богу, уже не было, да и мало предвиделось (а бомбардировщиков за короткое время «наштамповали» несколько сотен), то «ТУ-16» стали втихаря использовать как транспортные борта, тем более при собственном весе в 40 тонн он развивал сумасшедшую скорость – тысячу километров в час!

Надо, скажем, столичным генералам на Камчатку? Какие проблемы? Пожалуйста – топлива навалом! Сочиняют задание на учебно-тренировочный полет – и понеслись, как лебеди, на высоте двенадцать километров навстречу солнцу. Десяток часов – и вот она, знаменитая Авачинская губа, рядом Ключевская сопка с непременной снежной «манишкой» на груди, недалеко аэропорт «Елизево», как подчеркивал бывавший там Геннадий, «двойного базирования», то есть для военных и гражданских самолётов. Обратное, естественно, тоже учебные «дела», но уже с балыками, бочатами икры, медвежьими шкурами. Так и летали грозные «бомбе-ры», совмещая полезное с приятным.

Но однажды генеральный авиаконструктор Туполев, стоящий ещё у истоков отечественной авиации, убедил Хрущёва совершить прорыв в мировом пассажирском авиастроении, а заодно «утереть нос» американцам (а Никиту по этому поводу хлебом не корми!), то есть быстро переделать боевой «ТУ-16» в мирный «ТУ-104», реактивного гиганта аж на сто человек! Это предназначалось взамен широко распространенного «ИЛ-14», вмещавшего в тесноте,

ну, естественно, в обиде, три десятка пассажиров и летавшего со скоростью черепахи, то есть 350 километров в час. Из Хабаровска до Москвы, например, добирались двое суток, с тремя посадками и двумя ночевками. Этих самолётов на все случаи жизни (военные, грузовые, санитарные, пассажирские) наштамповали несметное количество – аж 3500 штук. Они, конечно, безнадёжно отставали от «наступающей на пятки» реактивной эры, но зато были надёжны, как паяльная лампа (кстати, и воняли так же).

Одобрение Хрущёва завершилось тем, что за три года советские авиазаводы выпустили (вы не поверите!) более двухсот «ТУ-104», которые, в конечном итоге, перевернули в народном сознании отношение к авиаперевозкам вообще, и через короткое время в аэропортах страны стало так же противно, тесно и вонюче (особенно в летние сезоны), как и на желдор вокзалах. Ну, «номерные люди» выход для себя нашли, организовав в аэропортах так называемые «депутатские залы», ещё раз подчеркнув, что «избрание» и «избранность» – это слова одного корня и одного понятия.

Но зато с появлением в небе «ТУ-104» появились и два новых, сильно взволновавших общество слова – «лайнер» и «стюардесса». О-о-о! Особенно «стюардесса», сразу ставшее синонимом чего-то необычного и непривычного. Все девчонки Страны Советов мечтали с помощью «Аэрофлота» взлететь к высотам элегантности и небесной красоты. Тотчас на «призыв» этих массовых желаний откликнулось киноискусство. Стюардессы в исполнении самых красивых актрис советского кино (Светланы Светличной, Татьяны Дорониной, Елены Прокловой, Аллы Покровской) стали украшением художественных фильмов, где девушки с искусительными фигурами и полные загадок в удлинённых глазах «строят» любовь с героическим мужчинами на фоне стремительных, как стрелы Гименя, лайнеров.

А как про них пели! Особенно золотоволосый мальчик, похожий на цесаревича Дмитрия (того, что таинственно зарезали в Угличе), самозабвенно тянул голосом юного кастрата:

*Стюардесса по имени Жанна,  
Обожаема ты и желанна,  
Ангел мой неземной,*

Ты повсюду со мной,  
Стюардесса по имени Жанна...

Но в итоге вся романтика в этом отношении закончилась, как и предрекал жестоко-ироничный Михаил Светлов: «Девочки влюбляются в киноартистов, а рожают от киномехаников...» Золотоволодый мальчик незаметно превратился в мужика с монашествующей бороденкой на опухшем лице, сильно смахивая тоже на цесаревича, но уже Алексея (того, что Иван Грозный убивает), но с голосом уже кастрата бывалого. Так время мстит за иллюзии молодости, особенно нашим, как сейчас говорят, постсоветским поколениям...

Я отлично помню, как в том первом полете к нам, затаившимся в глубине полупустого салона, оглушенным от впечатления стремительного поглощения ночного пространства на пути к Москве, подошла красавица, очень похожая на Натали Гончарову (как раз перед пушкинским замужеством), в голубой курточке с блестящими пуговицами, пилотке, кокетливо сидящей на аккуратно причесанной головке, и голосом Юлии Борисовой (была такая изумительная актриса в театре Вахтангова, с горловым тембром, который будоражил радиослушателей всей страны, особенно в «Иркутской истории»), и спросила:

– Что будете кушать? Можно заказать форель под лимонным соусом с шампиньонами или горячее каре ягненка с помидорами и сладким перцем?

Нам, вышедшим из «атмосферы» пирожков с ливером, про такое страшно было и думать, тем более сидевший неподалеку здоровенный мужик с лицом рубщика мяса от ужина небрежно отказался и попросил принести бокал белого вина.

– Только, пожалуйста, охлажденного... – высокомерно добавил он, закуривая сигарету, тоже, между прочим, «Стюардессу». Тут же появилась другая «богиня» с запотевшей бутылкой на подносе и о чем-то стала ворковать, склонившись к «рубщику», по добревшему от общения с красавицей. Володька, почти без жевания глотая нежное каре,дохнул мне сладким перцем в самое ухо:

– Это директор танкового завода из Нижнего Тагила... Приятель Готлобера по преферансу, я с ними играл однажды. Жмот редкий, за рупь в церкви пёрнет...

## Спасите наши души!

Однако когда в родном Отечестве все разваливалось, в нашей авиации появилось ещё одно «ключевое» слово – «чартер». Уверен, подавляющее большинство граждан понятия не имели (да вряд ли имеют), что означает сей термин с англоязычными корнями. Я не поленился, полез в словарь и прочел: «Договор морских и воздушных перевозок грузов, заключенный между владельцем транспортного средства (фрахтовщиком) и нанимателем (фрахтователем) на аренду транспортного средства и его части на определенный рейс или срок».

Пишу это, а сам по телевизору смотрю, как вторую неделю тянут из пучины старую посудину под названием «Булгария», утонувшую в три минуты посреди Куйбышевского водохранилища, что на великой русской реке. Вот это как раз тот самый, наш современный «чартер», «груженный» двумя сотнями туристов (раза в полтора выше нормы), из которых более сотни погибло, то есть утонуло, поскольку все, что можно, в этом «чартере» держалось на «радужных» соплях. Самое жутковатое, что об этом все знали, а если не знали, то предполагали, поскольку за пятьдесят лет сей пароход износился до полного безобразия, пару раз тонул и ни разу серьезно не ремонтировался.

Сегодня вся рухлядь в деле! Заткнут паклей дырки, напишут липовые разрешения, набьют людьми наспех подкрашенные каюты – и вперед, современная «Севрюга»! Вот вам и ретро-кино «Волга-Волга», только уже не весёлая комедия, а трагедия, страшнее не придумаешь.

Душа пронзительно вопит – снова дети погибли! Навсегда убиты близкие. От одного опознания в морге люди отходят годами, а то и никогда. Жить под этим гнетом невыносимо. В очередной раз согнулась от боли страна, задавая одни и те же вопросы.

Меры, конечно, приняты. Вот волокут в наручниках к «Иисусу» виновных – ответите за все! В данном случае – моложавую даму, «фрахтователя», мать малолетних детей. Следом тащат пожилого пароходного инспектора с редким именем Яков, подмахнувшего (понятно, не даром) необходимые для плавания документы. Обещают добавить к ним ещё каких-то мерзавцев, в данном случае –



капитанов судов, проплывших мимо барахтавшихся в воде людей. Ну и что? Посадим этих, тут же и там же появятся другие, скорее всего, ещё хуже, то есть ещё более равнодушные (хотя куда уж!). «Рыночная» алчность не имеет полутонов. Ещё «притоптанный» первым кубанским губернатором Маркс предупреждал, что ради прибыли любой дорвавшийся до неё готов мать родную задушить.

Под бременем этих очевидностей мы должны согласиться, что из всех человеческих свойств, культивируемых ныне в обществе, на первое место уверенно вышла алчность, на втором месте – она же, окаянная, и на третьем – тоже она. За последние годы вольно или невольно сформировалась система, где «продуктивно» работает только этот механизм, вовлекая в «сладкий» водоворот обогащения даже таких людей, о которых раньше и подумывать нельзя было. А что делать?

Я уже, кажется, говорил, что ещё Наполеон утверждал, что человеком правят две страсти – страх и личная выгода. Страх перед тюрьмой нынче, видать, не такой, как раньше (не сталинский ГУЛАГ), а вот про «личную выгоду» многое можно понять, посмотрев программу по НТВ «Русские сенсации», особенно в той части, где шоу-звезды делают деньги...

«Булгария», ржавым колуном уйдя под воду, разрубила жизнь тысяч людей на «до» и «после». То, что произошло после, лично для меня содержит несколько вопросов, хотя я понимаю, что когда на экране появляется энергичный и победительный Сергей Кузугетович, имеющий в стране самую широкую наградную планку, все будет очень оперативно и очень продуктивно.

По генеральскому повелению в мгновение ока двинулись стратегические и чрезвычайные силы. Дело ведь публичное, зримое, поэтому со всех концов к месту катастрофы ринулись летательные аппараты и быстроходные суда с исправными двигателями. Тащить «из болота бегемота» издалека прибыли даже два испанских плавкрана, каждое движение которых стоит огромных денег. Правда, то, что телевизор долго называл спасательной операцией, завершилось в первые двадцать минут, когда случайный пароход подобрал способных ещё барахтаться, а дальше...

А дальше началась длительная возня по подъему «Булгарии»

в столпотворении эскадры из десятков разнообразных судов. Цель возни – понять, почему утонула?

Я думаю, всякий разумный налогоплательщик в этом случае вправе спросить: а надо ли «топить» фантастические средства, чтобы заглянуть в чрево умершей «Булгарии», с которой все было ясно и до того, как? Не лучше ли их потратить, чтобы пароходы не кренились, чтобы у них всегда работали двигатели, чтобы в пиковых ситуациях не отказывало электроснабжение и оставалась хотя бы возможность вопить на весь белый свет: «Спасите наши души!», чтобы крик: «Человек за бортом!» – останавливал любые действия, кроме спасения тех, кто оказался за бортом в прямом смысле этого слова.

В Нью-Йорке есть потрясающий по силе воздействия памятник, установленный на причале, откуда отходят на остров Бедло (там, где статуя Свободы) переполненные экскурсионные паромы. Этот монумент каждый день видят десятки тысяч людей и, может быть, только тогда начинают со всей полнотой понимать, какую цену американский народ заплатил за караваны, что тащили через Атлантику грузы для воюющего Советского Союза. Из всех действий смертельно опасного продвижения через бушующий океан, сквозь волчий оскал немецких подлодок, в памятнике выделен только один мотив – спасение человека, оказавшегося за бортом. Голова уже под водой, но на поверхность в последней надежде судорожно тянется обреченная рука, которую в бронзовом захвате крепко держит другая, протянутая с борта корабля, быть может, тоже схваченного в перекрестье прицела германской субмарины.

Любой ценой спасти погибающего – с этого начинаются все правила мореплавания, как и в авиации, писанные кровью. Когда на траверсе Кабардинки в ночь на 1 сентября 1986 года затонул теплоход «Адмирал Нахимов», это вызвало в стране оглушающий общественный резонанс. Позже по краевому телевидению в авторской программе «Встреча» я брал интервью у преподавателя Новороссийского мореходного училища, крупного специалиста в области мореходных законов, правил и традиций. Разговор шёл о причинах трагедии, ну и, конечно, о спасении пассажиров, в чем приняли участие курсанты училища. Катастрофа произошла поздним

вечером, пароход тонул на траверсе Кабардинки, милях в пяти от Мысхако, где находится училище, и тем не менее, все наличные весельные ялы тут же были сброшены на воду и отошли от берега. Я усомнился было в целесообразности этой операции (далеко и медленно), но собеседник мои сомнения развеял так:

– Безусловно, к месту беды уже подходили десятки плавсредств, но мы не могли удержать порыв будущих мореходов, их желание идти на помощь погибающим. Более того, считали, что это долг всякого человека, выбравшего судьбу моряка. Да, совсем мальчишки, но надо было видеть, как стремительно мчались те шлюпки, с каким треском гнулись весла, подгоняемые только одной мыслью – успеть! И представьте себе, пусть несколько жизней, но они ведь спасли!

В конце шестидесятых годов мир был взбудоражен одной весьма любопытной историей. Далеко в океане американский авианосец заметил странное плавающее сооружение. При рассмотрении оно оказалось грузовой баржей с советскими опознавательными знаками. Немедленно приведены в действие спасательные команды, и с баржи были сняты четыре человека, заросшие, оборванные, отощавшие и еле живые. Ими оказались четверо солдат, я до сих пор помню их фамилии: Зиганшин, Поплавский, Крючковский и Федотов.

В какой-то глухой камчатской бухте они несли вахту на старой барже, которую штормом сорвало с креплений и утащило в океан. Носил он ту баржу, как старое ведро по предпринятому озеру, что-то около месяца. Почему ребята остались живы – одному Богу известно. Но то, что к Божьей помощи они добавили редкое мужество, самообладание и желание выжить любой ценой, – это очевидно. С подачи американцев история немедленно получила мировую огласку со всеми подробностями и деталями.

Из запасов продовольствия на барже наличествовали лишь два ведра картошки, немного сухарей, двухсуточный рацион консервов и канистра пресной воды. Ребята съели все, что можно было жевать: армейские ремни, сапоги, гармошку. Об этой истории сразу заговорили все, кроме Советского Союза. Мы долго примерялись – что да как.

Что за люди, как они там очутились? Может, дезертиры, мо-

жет, чё ещё хуже? Что-то уж больно восторгаются ими американцы... Дело дошло до политбюро, и только после этого решили: да, люди наши, будем их поддерживать, враз превратив безвестных хлопцев в народных героев.

Они и были герои! Видите, сколько лет прошло, а я (как, впрочем, многие люди моего поколения) помню их имена, тогда стремительно выведенные в заголовки всех советских средств массовой информации и ставшие примером для подражания.

По возвращении на Родину солдат принял министр обороны, маршал Малиновский, вручил боевые награды, если не ошибаюсь, ордена Красной Звезды.

Много лет спустя в США, на мировом конгрессе русскоязычной прессы, мы с Петром Ефимовичем Придиусом, первым главным редактором газеты «Кубанские новости», почти случайно встретились с человеком, который командовал группой, снимавшей четверку солдат с той злополучной баржи. По окончании конгресса мы поехали из Нью-Йорка в Вашингтон и в экскурсионном автобусе оказались рядом с солидным, довольно пожилым американцем, который был приставлен к нам, журналистам, в качестве, ну, скажем так, заботливого «дяди Тома». Он был улыбчив, предупредителен, а главное – немного говорил по-русски, чем воспользовался Петр Ефимович, всегда умело обращавший природное обаяние в профессиональные интересы. Он и выведал, что наш «заботник», оказывается, – бывший американский сенатор, отставной адмирал и член какой-то общественной организации, симпатизирующей России. Симпатии эти у него возникли в тот момент, когда лейтенантом флота он первым ступил на гулкую и мятую палубу той баржи, где, шатаясь, стояли (заметьте, стояли – не ползли и не лежали) четыре живых скелета.

– Нас эти люди потрясли до такой степени, что на палубу высыпал весь экипаж авианосца, а это ого-го! Каждый пытался до них дотронуться... Трудно было поверить, что такое вообще возможно! Сержант, старший команды, даже пытался отдать мне честь, приложив черную от копоты руку к изодранной шапке...

– Но мы с вами в те времена, как бы это помягче выразиться, состояли не в очень хороших отношениях? – осторожный Петр

Ефимович пытался за деликатным построением фразы скрыть то, что называлось противостоянием двух мировых систем, а оно тогда было жестким с обеих сторон.

– Вы знаете, Питер, – ответил адмирал, – когда-то американская писательница Элизабет Кублер-Росс, исповедовавшая довольно странное учение о жизни после смерти, произнесла поразившую меня фразу: «В каждом из нас живут мать Тереза и Гитлер. Нам нужно хорошо подумать, кем из них мы хотим стать». Человек, выбравший море как свою судьбу, должен всегда быть сердоболем, пусть даже он стоит у штурвалов грозного оружия. Иначе легко можно превратиться в тех «волков», которые терроризировали океан в годы Второй мировой войны, попиравших основной закон моря – человек, сброшенный в воду, уже не противник. Он тот, кого нужно обязательно спасать, хотя бы чтоб самому не превратиться в зверя. Я, проплававший четверть века, по счастью и воле Всевышнего, ни разу не был «за бортом», но мой отец, участник атлантических караванов, в полной мере испытал весь этот ужас. Их транспорт на пути к Мурманску торпедировала немецкая подлодка. Она всплыла, убедилась, что пароход ушёл на дно, и, не обращая внимания на барахтающихся людей, нырнула за следующей добычей. Когда плот, где находился мой отец, подобрал пробившийся сквозь снежный заряд русский эсминец, шестеро из семи уже замерзли. В районе Шпицбергена для этого хватало полчаса...

## Горячая линия

Готовимся лететь charterом из Москвы в Благовещенск на очередной кинофестиваль «Амурская осень». Самолет «ТУ-154» – старее не придумаешь, и это видно по его внутренностям – поцарапанным креслам, ободранному покрытию, облупленным поверхностям, туалету, очень похожему на привокзальный, и прочему, что попадает на глаза. Судя по всему, «ветеран» за долгую жизнь помотался изрядно. Думаю, увидев его, истасканного, измочаленного и малоухоженного, великий прародитель всех «ТУ», Андрей Николаевич Туполев, упал бы в обморок, а нам, весёлым и безбашенным, ничего, как говорят нынче, по барабану.

Кинематографическая тусовка, привыкшая ко всякому, с оживленностью цыганского табора занимала в Домодедово салоны и места, абсолютно не отвлекаясь на качество внутреннего содержания и внешние впечатления.

Лететь предстояло часов семь-восемь, поэтому основное внимание уделялось качеству общения. По этой причине сразу после взлета сформировались весёлые компании (актеры это умеют, как никто другой) с анекдотами, песнями, хохотом, естественно, закуской, а главное – выпивкой. Вот в этом артистический чартер преуспеть невозможно. Через час в самолёте уже дым коромыслом, причём в прямом смысле – курят все. Ну какая стюардесса (в ту пору, правда, уже бортпроводница) сможет отказать «народному», по которому она страдала ещё в поселковом клубе, неотразимому гардемариному или того краше – мушкетеру!

Через проход со мной сидит неприметная старушка, этакий чеховский одуванчик, правда, с не до конца обдутыми крылышками, бодренькая и деловитая. Она тоже из фестивальной компании, только не пойму, в какой роли – может, костюмерша, может, гримерша, но явно из тех, кто в любой обстановке умеет создать себе комфортное уединение. Вот и сейчас, в узком пространстве самолётного кресла, переобутая в теплые домашние тапочки, отгородившись от соседа полиэтиленовым пакетом, готовит ужин. Раскладывает на откидном столике бутерброды с паштетом и кусочками вареного яйца сверху, какую-то хорошо помытую травку, тонко порезанную колбаску, баночку с домашним салатом, соленый огурчик, ещё что-то, аппетитно пахнущее.

Закончив сервировку, бабулька на секунду задумывается, а затем, опустив на уровень тапочек гранёный стаканчик, подтягивает к нему откуда-то из-под кресла другой пакет, в котором угадывается большущая бутылка. Не вынимая её из укрытия, склоняет горлышко к стакану, и мой нос сразу угадывает аромат хорошего самогона, прозрачного как слеза, согнанного со знанием и любовью. Бабулька, подняв глаза до Бога и мелко осенив себя знамением, опрокинув чарочку залпом, принимается за ужин, начиная с огурчика, который громко хрустит и дивно пахнет. Кушая со вкусом, она время от времени опускает стаканчик к подошвам и,

держа пакет «за шиворот», аккуратно склоняет к чарочке булькающую ёмкость, не обращая никакого внимания ни на меня, сидящего в полуметре, и вообще ни на кого. Подсматривая искоса за соседкой, размышляю: «Вот так, наверное, выглядит публичное одиночество, о котором говорил Станиславский...»

Потом, к стыду моему, оказалось, что старушенция – народная артистка, блистательная исполнительница русской драматургии с тем непередаваемым и, увы, давно забытым темпераментом старой вахтанговской школы, уровня, скажем, несравненного Николая Олимпиевича Гриценко. Остальные, особенно молодое артистическое сообщество, всю дорогу энергично оттягивались: шумели, пели, бродили и гоготали под звон гитар и стаканов, пока на излёте пути не забылись в горячем сне где ни попадя, очнувшись только под грохот шасси по просёлочным ухабам благовещенского аэродрома. Но что значит опыт! Тут же расправили лица, приклеили улыбки, готовясь к объятиям встречающих – киноартистов на Дальнем Востоке по-прежнему любят...

Наверное, так и надо преодолевать воздушное пространство на сегодняшних летательных аппаратах, чтобы не тронуться умом в ожидании худшего, о котором потом с подробностями известит страну наше зловещее телевидение: «К счастью, все трупы опознаны!» – и отошлет предметно интересующихся на «горячую линию», с удовлетворением утешая, что за каждое тело родственники могут получить по миллиону рублей, а может быть, даже больше, ежели хорошо поторгуются.

На обратном пути нашу «звездную» компанию, возбуждённую от посещения блистательного Харбина, загнали в «накопитель», этакую продуваемую из всех щелей клетку, напоминающую вошебойный санпропускник эпохи военной эвакуации. В ожидании взлёта пассажирам предложили услуги церковной лавки. Под молитвенное бормотание мы, дружно столпившись, зажгли восковые свечи во спасение от небесной стихии и на этом успокоились.

– Молебен бы отслужить? – осторожно спросила в пространство «моя старушка», но Господь и так услышал, долетели до Москвы, слава Ему, благополучно.

Правда, через короткое время телевизор снова прокаркал,

что на окраине Перми при заходе на посадку рухнул очередной лайнер, но в этот раз не по причине изношенности, а по небывалой человеческой распушенности – первый пилот оказался пьян. Сотни полторы людей разбились в прах и в их числе – легендарный герой генерал Трошев, знакомый мне по второй чеченской кампании. Сколько возможностей у него было погибнуть в бою, а смерть принял вот так, по глупости... чужой!

Расскажи-ка Туполеву, что начнет твориться в российской авиации в аккурат в год его столетнего юбилея (он умер в 1972 году в возрасте 84 лет), то есть в разгар общесоюзного бедлама, названного «перестройкой» и «ускорением», никогда бы не поверил, что такое может произойти в великой инженерной державе, во все времена перенасыщенной смышленными мозгами. Да вот же случилось! Я никого не хочу «хватать за язык», но удерживаться от искушения кое о чем напомнить не могу (да и не хочу!).

Два дня в ноябре 1987 года с величайшей помпой в Кремлевском дворце съездов проходило торжественное заседание, посвященное семидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. Два дня дружно славил прошлое, воспевали будущее, твёрдо предрекая небывалый расцвет стране и такое же благополучие каждому ее гражданину.

На трибуне – генеральный «запевала» Горбачев, за его спиной, ещё в президиуме, но, если обратить внимание, сильно надушенный Ельцин. Видать, что-то нехорошее уже задумал...

– Цель перестройки, – звенит на всю державу голосом, не потерявшим комсомольского задора, Михаил Сергеевич, – теоретически и практически полностью восстановить ленинскую концепцию социализма, в которой непререкаемый приоритет – за человеком труда с его идеалами, интересами, за гуманистическими ценностями в экономике, социальных и политических отношениях, культуре. В результате перестройки социализм может и должен в любой мере реализовать свои возможности как строй реального гуманизма, служащий человеку и возвышающий его.

Ну и прочая, ничего не значащая для реальной жизни галиматья под пение «Интернационала».

Люди, профессионально изучающие демагогию как способ вли-

яния на общественное сознание, должны тот горбачевский доклад отлить в чугуне, чтобы увековечить его как образец эталонного вранья на высшем государственном уровне. Если ещё учесть, что бывший генсек КПСС, в конце концов, признался, что весь смысл его жизни состоял в разрушении коммунистической системы, то можете себе представить, сколь издевательски звучал его финальный призыв на том торжестве: «В октябре 1917 года мы ушли от старого мира, бесповоротно отринув его. Мы идем к новому миру – миру коммунизма. С этого пути мы не свернем никогда!» (Бурные продолжительные аплодисменты).

Советской власти оставалось жить четыре года. Вот вам и «никогда»!..

Слово «демагог», кстати, переводится с греческого как «вождь народа». Вот такого мы имели в ту пору «вождя», который через короткое время после помпезных торжеств привел общество к тому, что «соратник», с шумом вышедший из-за «спиной», с легкостью разогнал двадцатимиллионную «руководящую и направляющую» партию за ненадобностью, заодно похерив и великую державу, которую предки собирали по кусочкам в «боях и походах», с небывалой жертвенностью.

В том зале наверняка сидел и Алексей Туполев, сын гениального конструктора, сам крупнейший инженер и организатор производства. Аплодировал (так было принято, какую бы глупость не нес генсек), так до конца не понимая, почему при движении к светлой цели надо ломать то, что успешно уже само по себе, авиостроение, например. Но он, как, впрочем, и большинство, не уловил тогда главного – что цель была совсем не светлая, а как раз наоборот, темная, как ночь для кулацкого обреза. С него прицельно и свалил великую державу ставропольский хуторянин, но знали о том, что он «собирается» на это дело, только сам «запевала» да два его «подпевалы» – Шеварнадзе да Яковлев.

### Пламенный мотор

Сегодня мало кто помнит, что именно неугомонный и лучший ученик Жуковского Андрей Туполев – это наш первый крыла-

тый металл, дюралюминий (сплав алюминия с медью, кремнием и марганцем), перевернувший все предшествующие постулаты в бурно развивающейся авиации начала двадцатого века. Именно отсюда берет начало прекрасно рассчитанная туполевская дерзость перехода авиации с дерева на дюраль, а потом на сталь и титан. Туполев первый стал строить аэропланы полностью металлические, которые с первыми оборотами пропеллера заставили мировых авторитетов «снять шляпу» перед советскими самолётами, вначале с маркировкой «АНТ» (Андрей Николаевич Туполев), а затем с коротким, но таким выразительным «ТУ».

Хотя Андрей Николаевич всегда полушутливо утверждал, что лучшее его произведение – это сын Леша, но все-таки наиболее убедительными достижениями его жизни стали самолёты, на которых многие годы летали и, увы, продолжают летать миллионы людей.

Достаточно вспомнить потрясший мир полет Чкалова, Байдукова и Белякова в Америку через Северный полюс, случившийся летом 1937 года. Я видел тот краснокрылый «АНТ-25», он до сих пор стоит в музее маленького городка (родины Чкалова) под Нижним Новгородом. Прикасаешься кончиками пальцев к обшивке – и озноб берет от одного ощущения, что в ней, узкой дюралевой трубе, увенчанной единственным пропеллером, надо было лететь шестьдесят три с половиной часа, преодолевая 12 тысяч километров, и половину из них – над безжизненными океанскими льдами. Американцы были потрясены до такой степени, что в Ванкувере, где приземлились герои, установили в честь чкаловского перелета величественный монумент. В том самом Ванкувере, где на зимней Олимпиаде 2010 года российская команда потерпела самую горькую неудачу за всю историю отечественного олимпийского движения, испытала, прямо скажем, плохо скрытый позор. Может быть, по этой причине, а может, по какой другой, но ни в едином репортаже с Олимпиады не прозвучало даже упоминание о чкаловско-туполевском триумфе на американском континенте. О чем угодно молили в эфире наши бойкие «губерневы»: о плохой смазке лыж, много о дурной погоде, о растертых промежуточных конькобежцев, о потерявшемся багаже, естественно, о не объективном судействе, но ни слова о том, что именно в этом го-



родке состоялась самая известная победа наших соотечественников на американском континенте.

Больше всего в том самолёте, изображение которого высечено на ванкуверском памятнике, меня поразили, будем так говорить, бытовые условия, если это, конечно, можно назвать условиями. Всякое передвижение в той «трубе» возможно было только на карачках, а то и ползком, причём закутанным в многослойные меховые одежды, без которых человек в «трубе» замерзал в минуты. Дюраль хоть и прочен, но от шестидесятиградусного мороза, царившего за бортом, предохранить не в состоянии, так как прочность эта сочеталась с легкостью, а значит, и с тонкостью (что-то в несколько миллиметров), стужу в кабину пропускала в полном объеме. И так в полусогнутом состоянии почти трое суток!

Шестьдесят четыре часа под ровный гул единственного, но фантастически надёжного мотора Александра Микулина (Чкалов называл его звук микулинской симфонией), но при реальном осознании, что в случае ЧП помочь никто не сможет. Поэтому – только сцепив зубы перед смертельным риском абсолютной неизвестности, вперед и к цели!

Я думаю, нравственный уровень этих людей точно и образно характеризует строка из песни, ставшей гимном советской авиации:

*А вместо сердца – пламенный мотор!..*

И поднималась она, советская авиация, «все выше, и выше, и выше», сочетая высочайший уровень технических достижений и человеческих качеств. Мы сегодня шарахаемся от слова «патриотизм», а тогда это было ключевое понятие, которое формировало людей уровня Чкалова, Расковой, Коккинаки, Покрышкина, Гризодубовой, ну и самого Туполева, конечно.

Я видел его один раз, было это в Болгарии, в разгар массового советского туризма в ту страну. Помню, в каком-то ресторане Солнечного берега, такой просторной летней веранде, заполненной загорелой публикой, вдруг пронесся слух, что сейчас сюда придет обедать советский авиаконструктор Туполев. Это было малоправдоподобно, поскольку для особ такого уровня у болгар имелись более престижные места, но... Но дело было в «докондицио-

нерное» время, а на той прибрежной веранде веял приятный бриз с видами и запахами моря.

И действительно, Туполев в небольшой компании вскоре появился, облаченный в просторный парусиновый костюм, в старомодной соломенной кепке, улыбающийся и очень доброжелательный. Ни дать ни взять – этакий старосветский интеллигент из ближнего Подмосковья. В ответ на наши аплодисменты он приветливо помахал рукой и, раскланиваясь направо-налево, прошёл в небольшой зал, отделенный от общего бамбуковой завесой.

Болгары, конечно, очень старались. Ещё бы, такой гость! Два жгучих красавца в белоснежном пронесли за бамбук огромную, прикрытую серебряным колпаком отчаянно шкворчащую сковороду, под которой пылал сине-оранжевый костер. Кухня у них вообще отменная, а когда стараются, то из свежих овощей, парного мяса, только им известных специй, знаменитого перца и открытого огня могут соорудить нечто такое, о чём ещё Ильф и Петров говорили, что подобное «без пожарной каски на голове есть невозможно».

Я бывал в Болгарии множество раз, и нынче, если говорить честно, их кухню уважаю больше, чем самих болгар. Меня в советское время всегда коробило от возведенного до неприличия плакатного «братства», причём до тех пор, пока у «братушек» не возникла очередная, более выгодная для них «любовная» интрига. Вот и в НАТО побежали одними из первых, хотя во времена оные на каждом углу твердили: «У нас с русскими одна проблема: кто кого больше любит – они нас или мы их?»

Как видно, особенно сегодня, «проблемы» такого рода решаются легко и просто. Сегодня любят тех, у кого больше денег! Но это мое личное мнение, которое читатель может и не разделять...

Однако многолетний период «братания» с Болгарией дал возможность огромному количеству советских людей ездить на отдых в эту уютную и, в общем-то, очень милую страну. Что и говорить, делали мы это с большим удовольствием, тем более щедрые советские профсоюзы старались. Вот и Туполев, судя по его доброжелательной улыбке и весело сверкающим очкам, остался тогда доволен. После обеда он не сел в машину, а, спустившись по лестнице, длинной и ухоженной платановой аллеей прогулочной пошёл к мо-

рю, к тем самым знаменитым пляжным пескам цвета полуденного солнца, так манившим непривередливых советских отдыхающих...

### Надежда, как мираж...

Свой самый большой пассажирский самолёт «ТУ-144», вмещавший чуть ли не 250 пассажиров, Туполев тоже переделал из бомбардировщика, легендарного стратегического ракетноносца «ТУ-95», с появлением которого мы реально стали грозить недоступной до того Америке. Впервые он поднялся в воздух (страшно даже представить) ещё при Сталине, в 1952 году, и по сей день, в разной степени модернизации, находится на вооружении российской армии в качестве заслуженного старья, поражая, прежде всего, прочностью и надёжностью. Как автомат Калашникова, «шестьдесят лет в строю». Хотя не много ли для оружия, за пятьдесят лет прошедшего путь от пулемета «Максим» к атомной бомбе...

«ТУ-114» выпустили 32 экземпляра. Разбился один по дикой самоуверенной глупости (культивируемой у нас всегда) в лютую пургу прямо в Домодедове, стартовав, по-моему, на Кубу. За штурвалом сидел главный летный инспектор Министерства гражданской авиации, он и принял волевое решение взлетать, хотя видимость была ноль. При разгоне одна из тележек сошла с полосы и угодила в глубокий сугроб. Ну а дальше, как говорится, «кувырок через голову» при массе в 90 тонн. Горел ослепительно, долго освещая ночные окрестности, все-таки очень большой был...

Но все остальные машины отлично отлетали положенное, множество раз бывая на всех континентах, поражая иностранцев мощью, стремительностью линий, элегантностью и удобствами внутренних интерьеров, мастерством экипажей, ну и конечно, красотой стюардесс, отбор которых шёл по самому высокому стандарту (чтобы обязательно были умницы, спортсменки и красавицы). Наконец, изысканностью кухни и, безусловно, напитков. Пролетел один раз на том сверхдальнем «ТУ» – и запомнил на всю оставшуюся жизнь! Как я, например...

Ещё бы! «ТУ-114» официально был признан флагманом «Аэрофлота» и носил это звание лет двадцать. Последний лайнер, выве-

денный из эксплуатации, в конце семидесятых годов торжественно водружен на пьедестал в аэропорту Домодедово, где и стоит по сию пору как памятник самолёту и его создателю.

Надо сказать, что самый яркий эпизод биографии этого уникального и воистину этапного самолёта в мировой авиации был связан с официальным визитом Хрущёва в Соединенные Штаты Америки. Эта громовая сенсация прозвучала тогда на всю планету. Ещё бы, лидер такой непонятной и загадочной страны впервые в истории отправляется в США, как говорится, в логово «желтого дьявола», чтобы своими глазами увидеть, что это такое. Мало того, визит, состоявшийся осенью 1959 года, был уникален своей продолжительностью – аж две недели (это при сегодняшних официальных поездках максимум на пару суток).

Поражало тогда все: и что советский руководитель сделал широкий шаг навстречу США, и что поехал не в сопровождении двух-трех угрюмых соратников, а с женой, уютной, приветливой старушкой, в сопровождении большой группы журналистов во главе с зятем, главным редактором «Известий» Алексеем Аджубеем. Более того, пригласил других знаковых людей – Шолохова, например, и тоже с супругой. В делегацию вошли ученые, крупные специалисты, руководители предприятий. Я думаю, мало кто знает, что находился в той делегации и Николай Александрович Тихонов, тогда глава Днепропетровского совнархоза, креатура и друг Брежнева. Это тот самый Тихонов, что впоследствии в возрасте 75 лет был назначен стремительно стареющим Леонидом Ильичом на один из хрущёвских постов – председателем Совета Министров СССР, сменив тем самым легендарного, но нелюбимого Брежневым, чересчур самостоятельного премьера Косыгина. Тихонов бесцветно «догорел» в этой должности вместе, кстати, с Советом Министров, как раз олицетворяя то, что назвали потом «застоем». А куда, собственно, человеку спешить в 80 лет?..

В той журналистской тусовке, что сопровождала Хрущёва по США, крутился «под крышей» стажера Колумбийского университета и будущий «хриstopродавец» Олег Калугин, тогда ещё Олежка, молодой лейтенант КГБ. С блокнотом в руке (вроде как корреспондент) шнырял неподалеку от Хрущёва, лучезарно радуясь, словно в

числе отличников учебы попал в Артек за примерное поведение.

Ещё бы! Отец, происхождением из провонявших угольной гарью путиловских бараков, с вечным ревнаганом на заднице, всю службу проохранял двери Смольного, а сын – вон, гляди, на расстоянии руки к вождю, в кругу самых приближенных. И где! На тучных плантациях Росуэлла Гарста, известного американского фермера, выращивающего полуметровые початки, и тоже внимает Хрущёвским рассуждениям о великой пользе кукурузы для человечества. А тот Гарст, здоровенный решительный старикан, рассвирепев от назойливости журналистской толпы, мешавшей ему общаться с Хрущёвым, схватил вдруг кукурузный стебель с увесистым комком земли и с проклятиями запустил им в самую гущу «братии», да не удержал равновесия и рухнул в яму прямо под ноги Никите Сергеевичу.

Весело хохотали все, включая и добродушного старину Гарста, сразу угадавшего в советском лидере «брата» по крестьянскому духу. В громе того хохота присутствовало и калугинское хихиканье, ещё робкое, угодливое, совсем как у Мишеньки Бальзамина. Но пройдут годы – и оперится лейтенант с элитным рабочекрестьянским происхождением, станет генералом (да не во сне, как Бальзаминов, а наяву), причём самым молодым в КГБ, важным, насупленным, грозным ко всем, кто пониже сидит в должности. А вот хихикать «в кулак» никогда не перестанет, поскольку перевертышем был от рождения. Сейчас, заочно приговоренный отечественным судом к абстрактному наказанию, водит экскурсии по шпионским местам Вашингтона, не забывая рассказывать о своей «близости» к Хрущёву. Редкий, однако, сучонок...

Славно складывалась тогда обстановка на том гарстовском поле в знаменитом штате Айова. Да что в поле! Вся Америка восхищенно аплодировала нашему колоритному лидеру. Даже звезды Голливуда, тесня друг друга, старались встать поближе к Никите Сергеевичу, чтобы запечатлеться на фотографии. Боже, и какие звезды! Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Ким Новак, Фрэнк Синатра, Гленн Форд, Морис Шевалье, Луи Журден, Кирк Дуглас... На всех уровнях лидера советского государства встречали тогда с восторженными эмоциями, а уж в среде простых американцев – тем более...

На мой взгляд, хорошо складывающиеся мировые перспективы испортило традиционное американское двурушничество и дьявольское коварство миллиардеров, управляющих президентами, как овца хвостом (президент, естественно, в качестве хвоста).

Эйзенхауэр, несмотря на то, что всякий раз подчеркивал незыблемость чести старого солдата, и говоря о личных симпатиях к Хрущёву, и после визита продолжал санкционировать шпионские полеты над территорией СССР. В итоге дело закончилось планетарным скандалом. Первого мая 1960 года над Свердловском боевой ракетой был сбит американский самолёт-разведчик, пилот захвачен, судим и под всеобщее одобрение советских людей посажен в тюрьму. В результате ответный визит Эйзенхауэра Хрущёв с гневом отверг, и «холодная война» вступила в ещё более ледяную фазу, закончившуюся размещением советских ядерных ракет на Кубе, Карибским кризисом и чуть было не третьей мировой войной. Вот такие, брат, были дела!..

Но давайте вернемся к «ТУ-114», тем более с его первым появлением в американском небе стало ясно, что гражданский аэропорт Вашингтона будет для него мал, и хрущёвский «борт» срочно переадресовали в Эндрюс, на военный аэродром недалеко от столицы, куда и устремились спешно правительственные лимузины во главе с президентским.

На следующее утро близкая к «белодомовским» кругам газета «Крисчен сайенс монитор» писала: «Огромный серебряно-белый турбовинтовой самолёт Хрущёва прибыл на американскую посадочную площадку 15 сентября. Появилось облачко белого дыма, когда колеса обожгли взлетную дорожку, и визит, который никто не мог представить себе полгода назад, начался.

Даже сам самолёт был свидетельством мощи. Это самый крупный воздушный лайнер в мире, настолько широкий, что не может поместиться на обычной рулежной дорожке, настолько высокий, что требует специального трапа, настолько большой, что его нельзя развернуть на главной взлетной дорожке аэродрома Эндрюс, вследствие чего фотографам пришлось ждать, пока господин Хрущёв совершал свое памятное вступление на землю Соединенных Штатов вне их поля зрения, по другую сторону от корреспондентской площадки».

Ещё более убедительным был отлет советской делегации. Вслед за Хрущёвским бортом с ревом взлетел такой же, а затем несколько «ТУ-104» и «ИЛ-18». Всем стало понятно, что советская техника поднялась до самого высокого уровня.

А через несколько месяцев над Свердловском на так хорошо начавшейся мировой «разрядке» была поставлена жирная клякса, но все, в том числе и США, поняли, что Советский Союз уже не позволит безнаказанно «шарить у него за пазухой». Для этого у него есть мощная ПВО, современное оружие, а главное – люди, способные изобретать, строить, управлять сложной техникой и делать это с решительностью и убежденностью в собственной правоте...

Падающие летательные аппараты и тонущие суда – это завершение ресурсов времени, когда самолёты выпускались тысячами, а суда – сотнями. Когда их создателей по именам и фамилиям знала вся страна: Туполев, Ильюшин, Антонов, Яковлев, Лавочкин, Петляков, Поликарпов. Сегодня этих славных соотечественников нам заменяет один зримый образ – Михаил Погосян, черноусый красавец, полный тезка известного краснодарского обувщика, тоже красивого, тоже черноусого, тоже страшно энергичного, мечтавшего возродить славу екатеринодарских чувячников и превратить столицу края в центр мирового обувостроения, да такого, чтобы зелёный от зависти Берлускони мечтал о парадных штиблетах только погосяновского пошива.

Я хорошо знал нашего краснодарского Мишу Погосяна, много раз бывал у него в офисе на улице Коммунаров, где на руинах старой обувной фабрики он пытался выстроить свою мечту. Часто заходил туда с общим другом Леонардом Гатовым, тоже активным мечтателем, имевшим к тому же хорошие связи с Италией, где, как известно, шили, шьют и наверняка будут шить лучшую в мире обувь. Мне казалось, вдвоем они горы свернут! Но нет, не срослось! Даже при таком могучем тандеме, Мишины глаза постепенно темнели, усы, наоборот, светлели, а лицо все более напоминало позднего Сережу Параджанова, вселенский символ армянской грусти. Так и ушёл в неизвестность кубанский мечтатель, оставив нам для обихода лишь одну славу – лучше всех петь про «кубан-

ские синие ночи». Босыми, конечно, ходить не будем, по крайней мере, пока китайцы стараются...

К сожалению, я часто видел, как под гнетом алчного всевластия тает, словно мираж в пустыне, оптимизм и надежда, даже у самых энергичных...

## Летите, голуби, летите!

В один из своих приездов на Кубань Николай Константинович Байбаков рассказывал о том, как осваивались сибирские нефть и газ, те, что «кормят» сегодня всю страну:

– Мы тогда встали перед жесткой проблемой – как подогнать. Тянуть постоянно действующие дороги сквозь лесотундру, где огромные площади – это топи и болота, – чрезвычайно дорого и практически нам не по силам, – говорил он мне в одном из интервью. – Тогда Госплан предложил пойти путем развития тяжелого авиа- и судостроения, производством специальной вездеходной и плавающей техники...

Помню, я тогда возразил, приведя в пример Амазонку, Аляску, где прокладываются вполне современные дороги. Николай Константинович с чем-то согласился, но подчеркнул:

– Да, вдоль Амазонки действительно строят магистральное шоссе. Безусловно, это очень сложно, но там нет пятидесятиградусных морозов, огромных перепадов температур, вечной мерзлоты. К тому же рядом проходит просторная водная магистраль, откуда по временным рокадам можно в любое время года доставлять объемные грузы, от инертных материалов до сложных металлоконструкций. На Аляске тоже проще, хотя там и холода, но природа более защищена от стихии, чем наши северные просторы, а главное – более освоена. К тому же, американцы имеют огромный опыт и, по сравнению с нами, иные материальные возможности возведения объектов в сверхсложных условиях. У нас таких возможностей не было и нет. Пытаясь их достичь, мы погрузились бы в неопределенность, потеряв главное – время. Однако промышленность в сжатые сроки успешно справилась с поставленной задачей, особенно постаралось авиастроение. Сверхтяжелыми

магистральными самолётами «Руслан», «Антей», «Мрия» мы доставили такие грузы и оборудование, перевозка которых даже по железной дороге была бы трудноразрешимой проблемой. Практически в течение одной пятилетки страна получила мощные нефтегазовые потоки.

Профессия меня несколько раз сводила с Николаем Константиновичем, правда, уже тогда, когда он был глубоким стариком, но в интервью я ни разу не ощутил даже тени привычного для нового времени пенсионного брюзжания, этакого потока претензий нашему настоящему: «Вот мы, бывалоча!..» Хотя упреки подчас сами напрашивались. Байбаков оставался одним из последних живущих «сталинцев», кто по лично его указаниям «ковал металл советской индустрии» (последним, кто встречался со Сталиным в деловых обсуждениях, оказался автор гимна Сергей Владимирович Михалков). Сегодня из здравствующих, пожалуй, только дочь Светлана помнит Иосифа Виссарионовича живым (только написал это, а Светлана Иосифовна Аллилуева скончалась, и не где-нибудь, а в американском доме престарелых. Обидно...).

А вот дела помнят многие! Безусловно, Сталин, преображая страну, ломал ее «через колено», страх являлся главным побудительным средством движения к «равенству и братству». Но почему многие, так или иначе сталкивающиеся с «кровавым вождем» лично, вспоминают о нем с уважением в голосе, а главное, в душе? Байбаков – тоже, хотя во время нашего разговора, состоявшегося на рубеже двухтысячного года, чего ему было бояться? Но в характере, а главное – в делах, у Николая Константиновича явно проступало одно важное и чрезвычайно редкое для любого времени качество – объективность оценок.

Ещё Виктор Данилович Артюшков, мой долговременный шеф по работе в Краснодарском крайисполкоме, отмечал это свойство. Сам Артюшков был человеком весьма осторожным в поступках, но особенно в оценке персоналий. Правда, будучи уже в отставке, иногда позволял в разговорах со мной, бывшим своим помощником, какие-то оценочные воспоминания. Вот как-то рассказывает:

– В начале шестидесятых годов меня, молодого строительно-го руководителя среднего звена, вдруг стремительно переводят из

Молдавии в Армавир и назначают управляющим трестом, которому поручено построить комбинат искусственной подошвы. Поясню, несмотря на некую несуразность названия, очень нужное предприятие, поскольку подошва – важная деталь солдатских сапог. И хотя Хрущёв в то время армию сильно сокращал, сапог все равно не хватало. Когда я прибыл в славный город Армавир, комбинат еле строился, но уже что-то выпускал, пытаюсь совместить несовместимое. Это была, к сожалению, тогдашняя практика – не закончив одно, начинать другое, в итоге столкнув «лбами» обе задачи, а точнее – людей, которые должны были их выполнять. Моим главным оппонентом оказался поднаторевший на «штурмовщине» директор комбината, назначенный на должность из кадров местного разлива, со сложившимися родственными связями, тесными знакомствами на почве банных междусобойчиков и загородных рыбалок, всепрощающим приятельством в партийных органах, что особенно характерно было для кубанской периферии. Поэтому все «шишки», что разбрасывал он, предназначались мне, «засланному кацапу», тем более где-то в центральной России, тоже в авральном порядке, уже шили голенища, кои подошвами должны обеспечивать армавирцы. Ну а мы, в связи с хроническим недостроем, снабжали их так, что голенищ скопились горы. Жалобы во все стороны шли потоками, вплоть до ЦК, где основным «героем» безобразий значился я, молодой, неумелый и к тому же, по словам многих, патологически упрямый. Словом, когда количество сигналов перешло в качество, в Армавир нагрянул недавно назначенный Хрущёвым председатель Краснодарского совнархоза Байбаков. Приехал он, как ни странно, без свиты и после довольно продолжительного разговора с моим оппонентом с глазу на глаз, как балакают на Кубани, «пишов до мэнэ». Мы располагались в одном здании – он выше, я ниже.

– Должен подчеркнуть, – продолжал Артюшков, – что до Байбакова должность председателя совнархоза занимал бывший помощник Микояна, я уже не помню его фамилию, но хорошо помню довольно странный стиль руководства. Он приезжал обязательно с огромной свитой, но на стройку или производство – ни ногой. Занимал просторный кабинет у местной власти и начинал прини-



мать руководителей. Внимательно и молча выслушивал пожелания, просьбы, жалобы, тонким карандашиком все это записывал на листочке бумаги, поворачивая его по спирали разными углами. Когда уезжал, листочки оставались на столе... Байбаков, побывав у директора комбината и выслушав там длинный монолог, не снимая пальто, развернув стул спинкой вперед, сел напротив меня и, накаченный информацией самого крайнего свойства, стал хмуро расспрашивать, кто я такой, откуда, какое имею образование, где работал и так далее. Хвалиться было нечем – возраст не очень подходящий для управляющего трестом, всего тридцать лет. Опыт тоже так себе – в Молдавии я строил сахарный завод, сначала мастером, потом прорабом, затем немного замещал начальника СМУ, образование получил в строительном техникуме маленького городка Рыльска Курской области, где родился и вырос, в партии недавно, к тому же в детстве оказался в оккупации. Словом, хвастать действительно было нечем. Одно значимо – толщина досье в райкоме, куда докладные, одна истеричнее другой, поставлял, главным образом, мой оппонент. Байбаков слушал не прерывая, а потом сказал: «Вы знаете, что директор комбината настаивает на вашем исключении из партии, считая основным виновником срыва важного государственного задания...» «Знаю! – отвечаю, а потом добавляю: – Чё ж не знать-то, если он на каждом углу твердит об этом...» «Странно все это! – говорит Байбаков, – Вас критикуют, а вы спокойны, как памятник самому себе...» «Почему спокоен? – вдруг взорвался я, сознавая, что терять нечего. – Почему и вы, Николай Константинович, так считаете?.. Позвольте, не в оправдание, а в объяснение... Я работаю тут год, принял объект в ужасающем состоянии. Траншеи осенью нарыты, в зиму брошены, к весне осыпались, материалы по территории свалены в хаосе. Чтобы добыть бухту кабеля, надо разгрести гору кирпича, пиломатериалы разбросаны где ни попадя, половина вымокла и сгнила. Стройка не огорожена, волокни все, что плохо лежало, а плохо лежало все... Пойдемте, я покажу, как площадка выглядит сейчас...» И мы пошли! Байбаков – человек опытный, с одного взгляда сразу понял, что к чему, но молчит. А мы к тому времени достигли главного – навели на стройке строгий технологический порядок, все на месте,

рассортировано, все под рукой, в работе, конструкции прямо с автомобильного борта идут в дело... «Заливаем фундаменты, – поясняя на ходу о причинах задержек, – они должны отстояться, созреть, набрать прочность... Я не имею права нарушать технологию, тем более, что уже вошли в график, скрытые работы техконтроль принимает только с оценкой "отлично"». По дороге показываю рабочую столовую, где сытно, чисто, недорого, удобные бытовые помещения, работающие душевые. Ограждение по всему периметру, подъезды к объектам укреплены бетонными плитами, краны в действии, суеты никакой, рабочие при деле, территория освещена, общестроительные работы идут в три смены, третья подготовительная... В общем, когда вернулись ко мне, Байбаков говорит: «Ты посиди, я сейчас...» Минут через десять возвращается и говорит: «Значит так! Директора комбината я от работы отстранил, секретарю райкома порекомендовал разобраться с ним за безделье и создание склочной обстановки... Давай заканчивай тут, у нас впереди большие дела. Заводы по производству сахара будем строить. Кубань в этой отрасли должна опередить и Молдавию, и Украину. Мыслимое ли дело, свеклу возим в Тамбов! За пятилетку должны построить минимум десяток заводов...» В итоге построили четырнадцать!

Виктор Данилович говорил о Байбакове с огромным уважением, да и Байбаков платил ему тем же. Когда бывал в Краснодаре, всегда с Артюшковым встречался, запросто заходил в его крайисполкомовский кабинет. Приезжал, как правило, один, без всякой свиты, хотя ведь заместитель председателя правительства, легендарный руководитель Госплана страны!

Медунов тоже ценил Артюшкова, прежде всего за молчаливую работоспособность, редкую для строителя обязательность, организованность и системность. Я уже не говорю о степени уважения, с которым относились к Виктору Даниловичу кубанские строители, зная его человеческую порядочность и, конечно, высочайший профессионализм. Казалось, за такого руководителя двумя руками надо держаться. Однако когда убрали Медунова, сразу с шумом и трескотней взялись за искоренение «медуновщины». Особенно старался Иван Кузьмич Полозков, посланец ЦК КПСС, профессиональный партработник, фигура, «свинченная» из постанов-

лений, параграфов и правил хорошего партийного тона, сильно гордившийся тем, что прочел и законспектировал полное собрание сочинений Ленина.

Странно, но с Артюшковым они были земляки, оба из Рыльска, оба из деревенской среды. Я смотрел жизнеописание Ивана Кузьмича, над ним бы Владимир Ильич радовался, счастливо потирая руки – вот когда сбываются предсказания о «кухарках» во власти.

У нас ведь человеческая биография часто подается как лошадиная родословная. Помните, как славно звучало в знаменитом фильме сталинских времен «Смелые люди»: «Шутка ли, Буян, от Бунчука и Ясной!» – это о происхождении знаменитого жеребца. Так вот, мерзопакостный Калугин тоже, по сути, «от Бунчука и Ясной». А конченый негодяй и образцовый мерзавец, полковник Потеев, что сбежал и сдал американцам наших разведчиков, – и того краше, отец – Герой Советского Союза, заслуженный человек. Так, к сожалению, бывает: отец – герой, а сын – конченная сволочь!

Но к Ивану Кузьмичу это никак не относится. Он – правдоверный коммунист с «младых ногтей», путь в партии прошёл гладко, без выговоров, застенков, гонений за дела или убеждения, словом, без единого сбоя. После армейской службы в Рыльск вернулся уже членом КПСС, стал работать в родном колхозе инструктором физкультуры, потом (поскольку энергичный, а главное – непьющий) следует комсомол, затем райком партии там же, где по причине преданности идеям и нетипичной для сельской глубинки трезвости быстро поднялся до уровня первого секретаря. Образование добирал заочно на разных курсах. По-моему, завершил даже Академию общественных наук, естественно, тоже заочно. Старательность и скромность заметили, особенно земляк, тоже из Рыльска, член Политбюро Федор Кулаков. Благодаря ему попал в ЦК, где долго инструкторствовал, то есть от имени и по поручениюставлял других.

В год смуты взлетел, да так, что соперничал с Ельциным за правообладание Верховным Советом РСФСР. Но в итоге проиграл два голоса, после чего, страшно огорченный, исчез почти без следа, во всяком случае, без всяких политических претензий, в глубоких столичных пенсионных омутах.

Говорят, там сильно преобразился, отпустил окладистую бороду «лопатой», пишет стихи. Думаю, что графоманские, поскольку после шести десятков томов ленинского «литературного» наследия с любым нормальным человеком происходит полное духовно-творческое «оскопление».

Однако на должности первого секретаря Краснодарского крайкома партии выразительную серость успешно компенсировал показной крутостью, «ленинской» принципиальностью и осознанной неулыбчивостью, особенно в отношении медуновских кадров, то есть тех, кто был назначен на должность при насквозь опальном в ту пору Медунове. Артюшков был как раз из «назначенцев».

Со мной он, конечно, своими переживаниями не делился, но я видел, что с приближением пенсионного возраста они нарастают. Иногда бурчал: «Вот уйду на пенсию...» – что вызывало у меня кривую ухмылку: «Знаю я вас, пока ногами вперед не вынесут...» Так часто бывало при «бережном» отношении Брежнева к кадрам, от которых (особенно в завершающей стадии жизни генсека) требовалось одно – собачья преданность.

Когда Артюшкову исполнилось шестьдесят, он решил неопределенность в отношении себя разрешить единым махом и написал заявление Полозкову с просьбой освободить его в связи с достижением пенсионного возраста. Я думаю, ход был рассчитан на то, что отставку все-таки не примут. По общему мнению, Виктор Данилович был из тех, кто всегда и у всех вызывал уважение результативной работоспособностью, компетентностью и доброжелательностью, которая подчеркивала разумную деловую требовательность – умел жестко потребовать и при этом не обидеть.

Практически при мне в несколько строк он написал то злополучное заявление, помахал им перед моим и свои носом и сказал с привычной хмурой иронией:

– Ну вот, а ты, брат, ухмылялся! – надел пальто и ушел. Вернулся через час абсолютно потерянный – «землячок» ничего не спрашивал, сухо и всуе поблагодарил, словно ничего и не было, подписал отставку сходу, больше пришлось ждать в приёмной.

А у таких людей, как Артюшков, между прочим (я по отцу знаю), трудовой стаж в пересчёте на рабочие часы часто бывал

больше прожитых лет. Я не помню, чтобы Виктор Данилович приходил на службу после восьми часов, но уходил всегда за двадцать (а то и позже), и это постоянно при рабочей субботе. Зато хорошо помню, как пару раз прямо в кабинете падал без чувств и мы со Светой, секретаршей, метались, в панике вызывая «Скорую».

Так после визита к «старшему товарищу» и полетел «соколом» наш Виктор Данилович, ушёл в пенсионное забвение без торжественных проводов, без публичного «спасибо», хотя отдал строительству только в крае лет этак тридцать, получив на грудь четыре (четыре!) ордена Трудового Красного Знамени, в голову – густую седину и жесточайшую гипертонию, а в спину и то, что пониже, – хронический ишас...

После него, проработавшего в роли заместителя председателя крайисполкома по коммунальному и жилищному хозяйству и капитальному строительству (скажу вам твёрдо – весьма треклятая должность) ровно десять лет и десять дней, на том месте началась бурная кадровая чехарда. Что год – то новый (я имею в виду персону). У Полозкова в любимцах были люди, умело поливавшие Медунова помоями и тем самым привлекавшие благосклонное внимание. Увы, таких было немало. Потом, с тем же рвением и столь же умело, они «поливали» самого Полозкова. В этих делах всегда есть большие «мастера» голубино-го курлыканья прямо в мохнатое ухо.

Волшебники, право же, любому начальствующему лицу навеют весёлые, а главное, сладкие сны. Вот только жизнь, однако, бывает горькой, хуже, чем столовая ложка хины в малярном бараке...

## Глава 5

### ДЫХАНИЕ КАРМАДОНА

*Лишь Терек в теснине Дарьяла,  
Гремя, нарушал тишину...*

*М.Ю. Лермонтов*

Уверен, редко кто видел тигра на воле. В массовом сознании прочно укрепилось впечатление, что тигр – исключительно зоопарковое или того хуже, цирковое животное. Сидит себе на тумбе, чешет «репу», зевает от скуки, внимая звонкому «Алле!» какой-нибудь белокурой бестии, сильно похожей на ту, что сыграла очаровательная Людмила Касаткина в фильме «Укротительница тигров», а потом за послушание получает привяленный кусочек коровьего вымени: «Молодец, Пурш! Старайся!»

Тигр в клетке и тигр на воле – два совершенно разных зверя. Первый – ленивый раб, из которого кнутом и пряником выбито все первородное, а главное – стремление к свободе. Второй – непримиримый воин (всегда много крупнее того, что родился в клетке), умный, жестокий, хитрый, сочетающий взрывную силу с невероятной выносливостью и ловкостью. Ему ничего не стоит при собственном весе в триста килограммов прыгнуть на семь метров или преодолеть два в высоту...

### Билет за 100 юаней

Знаменитый некогда кинооператор Сергей Медынский, соратник и помощник ещё более знаменитого Романа Кармена, нынеш-

ний профессор ВГИКа, рассказывал, как в бытность своей работы на Дальневосточной студии кинохроники снимал фильм «Тигроловы».

– Тогда на таежной заимке под Хабаровском проживала семья потомственных охотников Богачевых, – вспоминал Сергей Евгеньевич. – По заданию «Зоокомбината» они отлавливали хозяев тайги...

– Тигров?

– Боже упаси! Тигрят! Основная задача заключалась в том, чтобы тигрицу отогнать подальше. Взять взрослого тигра живьем – дело немыслимое. Да и «котенок», эдак кило под сто, мог устроить такое, что мало не покажется... Видел я однажды амурского тигра, угробленного браконьерами... Гигант, исполин! Сейчас остались только романтические воспоминания про неожиданные встречи на таежных тропах, которые заканчивались мокрыми штанами на всю оставшуюся жизнь от мелькнувшего в зарослях лимонника черно-оранжевого силуэта. Я ощутил это как-то в компании с известным уссурийским тигроловом Анатолием Сюевым. Он мгновенно припечатал меня к стволу огромного кедра, стиснув в крепких руках винтовочный карабин. Слава Богу, пронесло! Потом показал глубокие шрамы на запястьях: «Это тигренки! Месяцев шесть, не больше...» «А тот, что мелькнул?» «Старый самец. Очень опасный... Где-то тут рядом бродит...» Но уже тогда было ясно, что человек окончательно победил тигра. Почти весь выбит, да и выловлен тоже... Восстановить поголовье очень сложно, – закончил свой невеселый рассказ Мединский с печальной стариковской улыбкой...

Но нет! Я знаю место, где на территории в пять сотен гектаров на свободе живет, вы не поверите, около тысячи тигров! Более того, своими глазами видел, как звери вольно слоняются по такому тигриному концлагерю, правда, без всякого человеческого принуждения, скорее, наоборот. Находится то чудо километрах в десяти от Харбина, где стальными заборами отрезан большой кусок нетронутой природы с диковатым заповедным пейзажем – перелесками, оврагами, кустарниковыми возвышенностями, сырыми падами, лесными ухабистыми тропами, с тенистыми пространствами, чуть-чуть подправленными искусственными водоемами, где в жару забавляются огромные полосатые кошки.

Я попал туда в будний день, когда китайцы на экскурсии не ходят, а массово и усердно трудятся (не у нас ведь, где в любой рабочий полдень празднотсвующих полным-полно).

Тут, в Китае, в популярный тигровый заповедник только в выходной день не протолкнешься, а в будни вполне доступно. Берешь билет за 100 юаней, влезашь в сооружение, считающееся экскурсионным автобусом, но в виде клетки, сваренной из арматурных прутьев, с деревянной обшарпанной скамьей посередине, напоминающей повозку, в которой возили Емельяна Пугачева перед тем, как отрубить «буйну голову». Прочная решетка защищает колеса, другие важные места, и когда въезжаешь на территорию заповедника, начинаешь сознавать, насколько меры такой предосторожности оправданы. Въезд напоминает шлюзование – одни ворота закрываются, и только после этого открываются другие...

Как только наша автоклетка, скрипя и раскачиваясь на ухабах, вползла за ограду, тут же со всех сторон ее стали окружать огромные мордчатые звери. Я даже и не представлял, что бывают такие гиганты. Водитель притормозил, тигры, тут же встав на задние лапы и положив передние на решетку, сквозь ячейки стали пристально всматриваться вовнутрь. Я тотчас почувствовал себя уписавшимся мышом, но звери вели себя спокойно, лишь слегка поколачивая гигантскими лапами по решетке, словно в чем-то потирали меня и трех китайцев, затаившихся в вольере. Через минуту стало ясно, чего ждут. Оказывается, рядом с водителем, в здоровенном пластмассовом контейнере припасены притихшие от страха куры. Заплати 70 юаней и угощай зверей курятиной. Китайцы сделали почин, в обмен на юани получили визжащую от страха курицу, вложили ее в кормушку, этакий выдвижной ящик, опустили рычаг... и тут началось!

Бедную птицу самый проворный мгновенно раскусил, чвакнув, словно клювкой в сахарной пудре, только перья белым облаком брызнули в разные стороны. И тут же менее проворные, а от этого сильно обиженные, вместе со «счастливецом» покатались по траве, награждая его увесистыми тумками и сотрясая воздух громовыми угрозами. Я и китайцы вошли в возбуждающий раж и, расстегнув кошельки, стали подтаскивать визжащих кур к злодей-

скому ящику. Те, что обделённые, со всего маху лупили по клетке, оглушающе ревели, обещая нам кончину лютую. Колесница ходила ходуном! Наконец, потные и возбужденные, мы вырвались, едем дальше...

Скажу вам, тысяча тигров в одном месте – это много, так много, что трудно даже представить. Толпами валяются в густой траве, висят на деревьях, слоняются без дела по песчаным осыпям, обнявшись, спят в тени. По дороге редко, но попадаются и львы. Один насупленный, притих у забора и рядом с гигантскими кошками напоминает обиженного пуделя, отлученного от дома. «Царь зверей» на фоне полосатиков выглядит как-то сомнительно и уж совсем не по-царски.

Время от времени останавливаемся, и тут же, приученные к перекусу при появлении таратайки, звери окружают нас, нетерпеливо помахивая хвостами и постукивая лапами по решетке: «Давай, не жидись!»

Кур уже съели, но шофёр ухмыльнулся и вытащил мешок с утками. Одна вырвалась и, на свою беду, села в ближайший водоём. Тут же четыре огромных кошки вплавь устремились к жертве и устроили светопреставление, напоминающее гибель Ноева ковчега. Шофёр, повернувшись, что-то сказал китайцам, один из них мне перевёл, что у водилы в загашнике (где-то на дороге), сидит телёнок. За две тысячи юаней можно его выпустить, вот тогда будет развесёлое зрелище... Мы дружно отказались, во-первых, куры и так вытрясли наши кошельки, а во-вторых, телёнка жалко. Шофёр огорчился:

– Вот уже неделю приходится зря кормить, народ какой-то идет малоподходящий. Жалостливый да прижимистый...

От бедной утки даже перьев не осталось. Один из тигров, огромный и мокрый, отряхнулся и пошёл прямо на наш автовольтер. Он сложил лапы на арматуру и, прижавшись вплотную к железу, вперил в меня жёлтые зрачки. Когти, пострашнее ятаганов, висели на моей стороне. Осмелев или обнаглел, щекочу себе нервы и приближаю физиономию к решётке, только с другой стороны. Нас разделяют сантиметры. Может, и того меньше. Зверь терпеливо сопит и ждет подачи, просунув страшную пасть с высунутым

языком в ячейку решётки. И вдруг, сам того не ожидая, я дотронулся до ярко розового языка, ощутив раскаленный упругий рашпиль с мириадами стальных насечек. Вот таким проведет по твоей глупой башке – и скальп в желудке...

Давать мне уже было нечего и тигр это понял. Грохнул напоследок лапой по вольеру, рыкнув, дохнул в мою сторону, да так, что я и сейчас помню тошнотворный запах смерти. Поверьте, страшнее тигриного дыхания прямо в человеческое лицо могут быть только его клыки, способные перекусить хребет буйвола. Я это видел ещё в трофейном кинофильме «Индийская гробница», который мы, мальчишки с многоквартирных домов улицы Челюскинцев, затаив дыхание, смотрели в железнодорожном клубе имени Андрея Андреевича Андреева (был такой народный комиссар путей сообщения). Клуб тот в стиле раннего советского ренессанса по сей день стоит неподалеку от екатеринбургского вокзала. Время его почти не тронуло, похерив, однако, все другое – и комиссаров, и название города, где прошло мое детство, убив навсегда и тот восторг, с которым мы, пацаны пятидесятых годов, бежали смотреть кино, по которому потом ностальгировали всю жизнь. Кино про кровавых тигров, разгуливающих по развалинам тропических городов, погруженных в джунгли, про благородных королевских пиратов, насаживающих на шпагу отвратительных злодеев, про могучего маугли по имени Тарзан и умненькую обезьяну по кличке Чита...

## Мы – кузнецы!

Я полагал, что нет ничего страшнее того харбинского саблезубого, но ошибся. Страх тот был скорее декоративный, не сильно настоящий, огражденный от реальности надёжным, хотя и сильно покусанным железом. Бог милостив, и полнокровный безальтернативный ужас меня по жизни обошёл стороной, хотя я и бывал там, где стреляют и даже убивают. В Чечне, например. Однако реконструированную воображением картину громоизвергающей и сметающей все на своем пути жути я таки видел. Было это в Северной Осетии, в Кармадонском ущелье.

Природа и Господь в этих местах не скупилась на фантазию



и краски, создав воистину редкий шедевр, и что удивительно, сотворив его по правилам капкана, снабдив «мышеловку» соблазнительной доступностью, словно предупреждая: пользуйтесь, но будьте осторожны!

Тысячи поколений аланов прошли через эти места, вырабатывая осанку, привычку всегда оставаться с гордо поднятой головой, сознавая, что самое значимое, но и самое опасное, приходит оттуда, где парят хищные птицы и сверкают вечные льды.

Дорога до Кармадона от главного города республики, прекрасного Владикавказа, занимала недолгое время, и радушные осетины любили возить туда приезжих, ошеломляя гостя грандиозными пейзажами, хрустальным воздухом и редкой тишиной, но с каким-то присущим этим местам тревожным оттенком. Однако считалось, что три пирога тут совершенно особого вкуса, а шашлык, пожаренный на альпийских склонах Кармадонского нагорья, будет лучшим из всех шашлыков, отведенных вами где-нибудь и когда-нибудь, даже если выпадала удача в московском «Арагви» кушать молочно-го барашка по-карски из мангала непревзойденного Сандро, личного повара самого Лаврентия Павловича.

Но было ещё одно замечательное свойство, обогащавшее влечение к таинствам ущелья, — это термальные воды, стекавшие из-под ледников Верхнего и Нижнего Кармадона.

Минеральных источников тут много, причём с огромным дебетом, но самое интересное — каждый со своим целебным оттенком. Ещё в древние времена джигиты знали, что раны лучше всего залечивать, погружаясь в каменные вырубы, наполненные пузырящимся потоком, согретым подземным теплом. Убогих и больных сюда тащили скрипучими арбами, но обратная дорога была обязательно верхом. Тут укреплялась сила духа и изгонялись физические недуги, особенно терзавшие желудок и все, что вокруг него. Достаточно было две недели провести на бурках, вольно брошенных поверх бараньих шкур, как возвращалась неумемная жажда жизни.

Но мудрые аланы всегда с особым вниманием вслушивались в зыбкость кармадонского покоя, стараясь не нарушать его. Особенно пальбой. Может быть, когда-нибудь в горного барана, поскольку выиграть у него схватку мог только сильный и самый вы-

носливый, способный подняться и пройти по гребню ледника, а там с одного выстрела поразить зверя, рога которого, укрепленные в жилище, будут славить не одно поколение удачливого охотника...

Когда в послевоенные времена целебная известность ущелья широко пошла гулять по стране, сюда провели удобную асфальтированную дорогу, и четыре десятка километров от столичного города превратились в стремительные дорожные впечатления. Был особый шик — махнуть вечером в Кармадон, выпить водички, а потом долго ужинать тремя пирогами в каком-нибудь уютном дворике Владикавказа, коих там не счесть.

Сегодня осетинские пироги пекут где угодно, даже в Краснодаре, но уверяю вас, они такие же «осетинские», как я — наследный принц Непала. Настоящие три пирога вы можете отведать лишь на берегах Терека, поскольку (как утверждает молва) только вода, пропущенная сквозь ледниковые отроги Центрального Кавказа, способна передать гамму вкусовых ощущений, освящённых Святым Георгием.

С приходом в ущелье скоростной магистрали Кармадон стал превращаться в модный курорт, с непрерывно расширяющимся коммерческим интересом, сопровождаемым бесцеремонным вторжением энергичных людей в таинства природы. Люди эти появляются всюду, где можно поднять «лишний» рубль, особенно сейчас. В отличие от горцев, всегда державших голову высоко и видевших далеко, новые «рыли землю носом», старясь поглубже влезть в заповедные места, дерзко нарушая тишину экскаваторами, самосвалами, всеопрокидывающим самоуверенным «Давай!», силой и наглостью заталкивая серый железобетон в первозданную чистоту альпийских лугов.

Там, где надо было ходить на цыпочках, обутом в мягкие кавказские сапоги, громыхали коваными гусеницами, ухая по обнажённым склонам сваебоями, строя санаторий со службами и посёлком, выполненными по унылым проектам, прозванным в народе «хрущебами». Хуже того, стали ватагами селиться вдоль заповедной речки, собирающей светлые потоки с дальних ледников, с шумным удовлетворением встречая рассвет, отражённый восходящим светилom на опасно сверкающих ледниковых клыках. Се-

дые старцы, тыкая посохами в ту сторону, предупреждали, да кто их слушал, если радио с утра надрывалось в самозабвенном хоре:

*Мы – кузнецы, и дух наш молод,  
Куем мы счастья ключи,  
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,  
В стальную грудь сильней стучи...*

После таких песнопений уж точно хотелось схватить Бога за бороду! А что вы думали – хватали и стучали, ещё как!..

Я помню, во времена моей работы у Артюшкова к нам за опытом приехала группа архитекторов из Прибалтики. То было время «нерушимой дружбы советских народов», прибалтов встречали с кубанским размахом, возили, поили, с гордостью демонстрируя от Анапы до Адлера достижения по созданию на Черноморском побережье советского курортного рая. Тем более было что показывать!

Санатории, пансионаты, пионерские здравницы, туристические базы нанизывались на береговую линию «самого синего в мире», как коллекционные жемчужины на цветастую нить. Это было время, когда в поселке Новомихайловском развернулось небывалое строительство нового «Артека» – всероссийского пионерлагеря «Орлёнок» (половина его потом в виде железобетонных скелетов отравляла окружающую среду этак пятилеток пять). Сдержанные прибалты не могли скрыть возбуждения, глядя, как под натиском бульдозеров рушатся заповедные берега. Размах стройки впечатлял, но на прощальном ужине, где звенели тосты и звучали всякие приятности, один из гостей, пожилой архитектор (по-моему, из Юрмалы) любезно попросил слово и с приятным акцентом сказал:

– Дорогие коллеги! Мы очень благодарны за вашу открытость и радушие, но хотелось бы, как это принято в архитектуре, немного подискутировать, тем более масштабы ваших созиданий дают такую возможность. Я хотел напомнить важную истину – что самый искусный архитектор – это мать-природа. Особенно это видно на примере Черноморского побережья Кавказа, то есть у вас, как вы утверждаете, жемчужины России. Наши возможности в этом отношении более скромные, и по этой причине мы создаем курортные зоны не там, где природа была максимально щедрa и изобрета-

тельна, а там, где она пребывала не в настроении или, как говорят, не сильно выкладывалась. Вот тогда начинаем выкладываться мы, архитекторы и строители, чтобы своим искусством, творческой выдумкой и трудом поднять эти зоны до уровня природного комфорта... Прошу извинить, но эта поездка лично меня ещё раз убедила, что мы на правильном пути, – гость, приподняв бокал, обаятельно улыбнулся в пушистые бакенбарды и добавил: – Но как утверждают на Востоке – пусть расцветают сто цветов! А вам, друзья, больших успехов!..

Мой приятель Валерка Гафт, тогда главный специалист института «Гражданпроект», толкнув под столом коленом, табачно присипел в ухо:

– Я им, козлам, всегда говорил об этом!

– Козлы кто?

– Ну те, что в руководящей... Бонзы кабинетные... – у него это прозвучало так же, как Евгений Леонов в роли актера Бубенцова кричал из узилища в рязановском фильме «О бедном гусаре замолвите слово»: «Гниды казематные!»

Валерка был неисправимый романтик, хотя прекрасно понимал, что «застывшей музыкой» (как, впрочем, и любой другой) в обществе «развитого социализма» «дирижируют» люди, попавшие в руководящие кресла по тому самому принципу, по которому Хрущёв пытался оздоровить обстановку в Министерстве иностранных дел. У нас, в «житнице России», это были, как правило, выходцы из сельхозугодий: зоотехники, свиноводы, агрономы, виноградари, в лучшем случае, механизаторы, непременно с хуторским происхождением и таким же мироощущением – у них все, что блестело, считалось красивым.

В итоге Валерка с должности заместителя главного архитектора Геленджика плюнул на все и, распродав на новороссийской барахолке нажитое «непосильным трудом», подался в Израиль, где неожиданно нашёл себя в довольно странном качестве. Он стал натурщиком у известного американского художника итальянского происхождения. Тот по заказу миллиардера Хаммера писал огромную картину про старого и нищего еврея (якобы дедушку миллиардера), который был счастлив лишь тем, что никогда и ничего не

делал, кроме того, что изредка собирал для пропитания пустые бутылки, а так часами валялся на голой кровати, созерцая свой богатый внутренний мир.

Больше года за тыщу долларов в месяц Валерка пролежал пластом на железной койке, от скуки научив живописца ругаться матом. Тот, мало понимая первородную значимость наших слов, с лету, однако, хватал их мелодию, уверяя, что она на уровне самой высокой звуковой гармонии.

Потом, чтобы подчеркнуть удовольствие от творческого процесса, особенно в секунды восторга (у итальянцев такие приступы довольно часты), мастер отбегал в сторону и, вскинув взъерошенную бороду, победительно оглядывал свежий холст, пронзительно выражая чувства теми определениями, коим обучил его бывший советский инженер Валерий Михайлович Гафт, сын Михаила Эммануиловича Гафта, одного из первых в СССР обладателей золотого знака «50 лет в КПСС», с которым ходил даже в баню...

Восторг звучал вроде пушкинского «Ай да Пушкин, ай да молодец!», только в итальянской аранжировке: «О Базилио, ай да х... моржовый!»

Иногда употреблялись другие словосочетания, но непременно в стилистике замоскворецких ломовых, по определению Гиляровского, непревзойденных мастеров этого жанра, что скрашивало Валерке невыносимо нудную лежачую работу. На другую его просто не брали по той же причине, по которой и был взят в натурщики, — за колоритную еврейскую старость...

Бедра обрушилась на Кармадон, как положено, неожиданно, ошеломив страну не столько внезапностью, сколько последствиями. Отколовшийся от ледника массив в полтора миллиона тонн, как по бобслейной трассе, пропахал каньон с курьерской скоростью, подмяв под себя живое и мёртвое. Вселенски громяхая, он летел, сметая всё на пути, с ударной волной, равной ядерному взрыву, пока, обессилев, не уперся в скальный проход, ровно туда, где в ущелье влетела дорога, открывавшая путникам сказочное зрелище, запечатав его намертво.

То, что живые увидели с рассветом, описать трудно, а пережить невозможно. Ещё вчера сказочной красоты изумрудная до-

лина, чуть тронутая сединой ранней осени, дымилась серой мглой, доверху забитая глыбами метеоритных торосов. Словно обрушившиеся из таинств чёрного космоса, они похоронили под многометровой могильной плитой и речку, и поселок, и дорогу, что так весело бежала в самые глубины кармадонского «капкана», и самое страшное — десятки людей, так и не понявших, что произошло...

Горестную известность несчастья усугубила гибель киносъёмочной группы молодого популярного актёра Сергея Бодрова, сына известного режиссёра Бодрова, тоже Сергея. В тот день, уже в сумерках, они заканчивали кавказскую экспедицию и, сняв у подножия ледника завершающие кадры, собирали вещи... В каком месте их застала катастрофа, как всё начиналось и чем закончилось, можно только гадать.

Слухи ходят разные, в том числе и те, что якобы на радостях от успешного окончания работы молодые, раскованные, всемогущие киноребята устроили беспорядочную пальбу, нечто вроде прощального салюта. Может, по той причине те кадры и стали последними? Совсем последними в такой удачливой, талантливой и, чего греха таить, бесшабашной жизни (вспомните трагедию Андрея Ростоцкого, упавшего со скалы).

Может быть, так, а может быть, и нет! Кто сейчас знает? Все исчезло без следа, испарилось, словно никогда и не было... Только самые просвещённые помнили, что географическое название ледника, столь эффектно нависшего над речушкой с гулким именем Ганалдон, значит, как Майлийский.

Но в просторечии его всегда звали Колка, поэтому понятны сейчас стариковские тревоги, исходившие из преданий о жутковатых странностях этого природного чуда, раз в полсотни лет откалывающего такие номера, то есть горные айсберги величиной в миллионы кубометров льда, с ужасающим грохотом падающие в тихую долину. Так было в 1902 году, в 1969 повторилось, причём с жертвами. Говорят, Колка тогда накрыл отару овец вместе с пастухами. Ушёл от удара только лошадиный табун, галопом рванувший вослед за вожакон круто по склону вверх. Коней, насмерть перепуганных, нашли за много километров от места схода лавины. Пытались поймать — куда там! Лошади поднялись далеко за кромку альпийских

снегов, куда не поднимались никогда ни до, ни после. Но 20 сентября 2002 года ухнуло так, что и через десяток лет в ушах стоит вселенский крик, а в сердцах – непроходящая боль. Хотя лёд уже растаял без следа. Без всякого следа чего-либо живого...

## Обходная дорога

Мы едем в Кармадон июньским днем, едем окружной дорогой, долгой, сложной, с опасно хрустящими поворотами под колёсами большущего джипа, твердой рукой водителя легко преодолевающего крутые подъёмы. За рулем Алан. В нашей компании он безоговорочно главный, поскольку опытный, умелый охотник, вдоль и поперёк прошедший все вершины северо-западных склонов Казбека. Несмотря на относительную молодость (ему чуть больше тридцати), он человек бывалый, из тех, чьё лидерство всегда подчёркнуто молчаливой сдержанностью, некой хмуростью, которой, по моему опыту, обладают люди, умеющие принимать решения и при этом брать на себя всю полноту ответственности.

Алан недавно вернулся с осетино-грузинской войны, где возглавлял один из отрядов владикавказских добровольцев, защищавших Цхинвал. Рассказывает об этом скупно, твердо подчеркивая, однако, что бойню спровоцировали «политические твари», имея в виду, прежде всего, «Мишико», о котором говорит зло, сквозь зубы, сузив глаза до винтовочного прицела.

– На любых войнах друг друга убивают мужики, ниже происхождение не придумаешь, – говорит он, не отрывая пристального взгляда от дороги, – Я прошёл много «горячих точек», но ни разу не видел банкира с «калашом» в руках. Обычно простолюдины дубасят друг друга... Тяжело идут только первые ножи, а потом, как разгорится, косят все живое направо-налево... Возвращаюсь как-то с передовой, вижу – молодые ребята гонят просёлком толпу... Старики, старухи, женщины, дети, вой стоит до небес. Оказывается, зачищали соседнее село и всех его обитателей объявили пленными. Спрашиваю: «Зачем?» Отвечают: «Они же грузины!» «Запомни, – говорю молодому парню, – наши враги – не эти несчастные крестьяне, а те, кто жирует за их счет и на американские деньги.

Мы сотни лет держимся за одну и ту же соху, а те, кто столкнул нас лбами, имеют совсем другое представление о ценности человеческой жизни. Для них такие люди – мусор! И кто их и как убивает, им абсолютно безразлично... Отпусти быстро!» – приказываю.

Поездку в горы организовал Олег, родственник Алана, как все «вечные студенты», милейший парень. Он заочно учится в Краснодаре на телевизионного режиссёра, работая при этом в национальном ансамбле народного танца, где виртуозно играет на фандыре, осетинской гармошке. В ансамбль пришёл не сразу, а окончив два факультета в местном сельхозинституте: зооинженерии и экономический. Но однажды, потрясённый фантастическим мастерством великого осетинского музыканта Батыра Газоева, наплевал на гроссбухи и пошёл учиться в местный колледж искусств, который много лет возглавляет замечательная в своем творческом неистовстве Лариса Касплатовна, единственная из всех оценившая порыв человека, которому впору уже ходить с руководящим портфелем и подписывать распоряжения о мероприятиях по борьбе с ящуром.

Приземленные люди удивляются тому, что он снова учится, на этот раз осваивает мастерство телевизионной режиссуры. Оказывается, хочет снять достойный фильм о своем кумире. А что делать, если есть нестерпимое стремление к поворотам судьбы? Так получается, что настоящие творцы часто идут к желанной цели извилистым путем, особенно почему-то кинорежиссёры. Ромм, например, учился скульптуре у самого Конёнкова, ваял бюсты из мрамора, Данелия вначале стал архитектором, ездил по Среднему Уралу, согласовывал серьезные проекты. Панфилов, если не ошибаюсь, инженер, чуть ли не начальником цеха был, Говорухин – геолог, Сокуров – и вовсе учитель истории.

Правда, по моему мнению (а Олег учится у меня), крупные свершения в режиссуре ему не грозят. Хотя кто знает? Ведь юного Элика Рязанова, самого молодого и самого смешливого студента ВГИКа, великий Козинцев на полном серьёзе собрался было отчислять.

– Знаете, дорогой, – говорил мастер, глядя куда-то вверх и в сторону. – Придётся, наверное, с вами расстаться... Слишком уж вы молоды для серьезных дел.

Аварийность ситуации заставила беззаботного Элика собраться и найти верный для такого разговора аргумент.

– Григорий Михайлович! – прошептал он со слезой в голосе. – Когда вы меня принимали, я был ещё моложе, и это можно было заметить...

Козинцев почесал затылок, пожевал губами и махнул рукой:

– Чёрт с вами, учитеесь! Может, действительно что-то получится, – добавил, поморщившись, явно не уверенный, что получится что-то путное.

Скажи тогда ему, безоговорочному корифею, что пройдет время, и переминающийся перед ним, шмыгающий носом мальчишка со взъерошенной головой по значимости достижений в кинематографе встанет с ним вровень, войдет в десятку лучших кинорежиссёров страны и полсотню – мира, я думаю, Григорий Михайлович Козинцев (а он ведь был не только великий кинорежиссёр, но и крупный теоретик искусства) этому обстоятельству удивился бы несказанно. Хотя если такие люди ошибаются, то все равно делают это на своем уровне. Рассмотреть в шестнадцатилетнем мальчишке, весёлом хохотуне по любому поводу, будущего киночародея, было немыслимо даже для корифея.

Однако Козинцев, в конце концов, убедил-таки Элика из двух зол выбрать меньшее и уйти в документалистику. Вместо «журавля в небе» иметь «синицу в кулаке», то есть снимать кино про микробов, станочные парки, вспашку зяби, обильные уловы, успешные премьеры и прочие достижения ударных пятилеток. Словом, средствами кинематографа отражать счастливую жизнь советских людей. Кстати, свой самый первый фильм Эльдар Рязанов снимал в Краснодарском крае, в поселке Ахтырском, тогдашнем центре кубанской нефтедобычи.

Как сам рассказывает, под покровом ночи тщательно готовил съемочную площадку, обставляя чужой мебелью скромную квартиру знатного буровика, героя своего дебютного киноповествования. Иными словами, увлеченно лакировал действительность, то есть делал ее наряднее и много красочнее, чем она была на самом деле. Чтобы обязательно на столе пыхтел самовар в окружении ватрушек, в красном углу стоял редкий в ту пору телевизор, а хозяин

шикарной квартиры сидел в кругу семьи при галстукке и в орденах.

Таковы были приемы тогдашних идеологических нравов. Сегодня нравы другие, да и желания что-либо «наряжать» давно нет, поскольку нефтедобыча на Кубани практически свернута, буровые мастера, тем более знатные, канули в Лету, а сами буровые установки в виде железного хлама давно переплавлены в итальянских мартенах и проданы нам же в виде мебельных навесов и задвижек. То, к чему стремился великий Эльдар Рязанов (он же умеренный бунтарь), свершилось – суровая правда жизни взяла верх над правдой «поэзии» жизни.

Я неслучайно затронул кинотему, поскольку значительную часть пути мы обсуждали горькую судьбу Сережи Бодрова, который, по общему мнению, всходил на отечественном кинонебосводе как редкое, если не редчайшее явление, особенно для периода всеобщего развала, когда на элитарные пространства советского кино (и по этой причине малодоступные для невежд и дилетантов), точь-в-точь как октябрьским вечером семнадцатого года под своды Зимнего дворца, ринулась серошинельная масса, с восторженным гоголем запинаясь о драгоценные амфоры, расставленные по нижним этажам Эрмитажа.

Сергей Бодров-младший пришёл в кино тоже нестандартным путем, собираясь стать искусствоведом, и даже защитил кандидатскую диссертацию, если не ошибаюсь, по фламандской живописи. Он как-то сразу пришёлся всем по душе – с обаятельной искренностью ребячьей улыбки и решительной жестокостью экранных поступков. Такое вот началось тогда «киномочилово» – валить всех подряд!

В фильме «Брат» Серёжа это делал лучше всех (помните, как у Ершова в «Коньке-Горбунке»: «И говорит ему отец: "Ты, Данила, молодец!"»), привлекательно объединяя в образе некоего брата Данилы две противоположности – благородного меломана и холодного убийцу, но с тракторкой этакого «пацана правильного». В силу вступила власть воров, и народу надо было внушить, что меры справедливости в той среде больше. Серёжа Бодров выглядел в этой роли убедительнее всех, но после невероятной популярности «брата Данилы», видать, и сам понял, что благородный бандит – всё равно бандит.



Его будущее в киноискусстве не вызывало сомнений – он был впечатляюще талантлив, благороден, молод и – важно заметить – удачлив! Любой фильм с его участием был обречён на успех и, что особенно удивительно, поддержан не только восторженным отношением зрителей, но и благожелательностью киносреды, обычно сориентированной на поиск наличия экскрементов всегда и во всем. Поэтому когда Бодров-младший, продолжая дело отца-режиссёра, задумал поставить кино, его ленте заранее предрекали успех (так было с его дебютным фильмом «Сёстры»).

Скорее всего, так произошло бы и на этот раз, не выбери он местом съёмок Северную Осетию, ту, что очаровала его ещё в юности. Наверняка эта история стала бы полной противоположностью лихих походов «Данилы». На этот раз на фоне величественных пейзажей должны были торжествовать подлинные ценности – честь, достоинство, любовь, благородство. Настоящее мужское благородство, прочно забытое нынче на отечественном телеэкране, как, впрочем, в жизни тоже. Уверен, лучше Сергея Бодрова, поэта в душе и рыцаря в поступках, никто не смог бы это сделать. Но не случилось...

## Призраки

Кто мог предполагать, а тем более знать, что восхитительный Кармадон – очень опасный капкан, и хлопнуть он может в любую минуту (благо и сроки уже подошли). Особенно когда беду подготавливают стрельбой навскидку из противотанкового гранатомета. История трагических случайностей нередко говорит о том, что их загадочная мистика чем-то иногда и подстегивается... Или кем-то...

Компания подобралась под стать июньскому дню – чудесная. Кроме Алана и Олега, поехал профессор струнной музыки из Москвы Николай Иванович, сухонький, доброжелательный человек, словно только-только вышедший из старого московского быта. Рядом с Аланом – его молодая жена Радмира, высокая, гибкая женщина с сияющими голубыми глазами.

Радмира родилась и выросла в селении, лежащем на нашем пути. Когда мы въехали в него, она оживилась, на ходу показала

сад, дом, где жила, школу, где училась, клуб, куда с подружками бегала в кино. Село, присыпанное отцветающим яблоневым цветом, живописно тянулось по единственной улице, по самой кромке речной долины. Потом дорога, сделав крутой поворот, резко пошла вверх, и на фоне синего с белым, ярко-синего неба со снежными облаками раннего лета, рельефно пропечатались маленькие острокрышные строения, сложенные из дикого камня. Они громоздятся уступами один выше другого, образуя картину загадочной и торжественной скорби.

– Это город мёртвых, – тихо промолвила Радмира. – В детстве мы иногда поднимались... Страшно было!

– Каких мёртвых? – опустив на нос очки, охнул Николай Иванович. – В смысле – кладбище? – спросил он, очевидно, привыкший к заросшим репеем подмосковным погостам с полуистлевшими крестами.

– Нам в школе рассказывали, – пояснила Радмира, – если в долину приходила какая-то беда, чума, например, заболевшие, чтоб не заразить других, уходили наверх. А усыпальницы строили заранее, на всякий такой случай...

– Так в те времена было принято! – подтвердил Алан. – Они и сейчас там...

– Кто?

– Покойные...

– Святы Господи! – воскликнул Николай Иванович, истово осеняя себя крестом. – Спаси и помилуй!..

Любопытство взяло верх, и, остановив машину, мы с Олегом полезли вверх. На полпути нас нагнал не по возрасту ловкий Николай Иванович.

– Хочу посмотреть! – сказал, слегка задыхаясь. – Я ведь человек равнинный, лесной... Мне все это великолепие – в диковинку, а уж такие видения – тем более...

Мы с Николаем Ивановичем оказались во Владикавказе в одной роли – в местном колледже искусств возглавляли выпускные экзаменационные комиссии – он у музыкантов-народников, я у театралов. В гостинице жили по соседству, вечерами общались, пили чай, сумерничали. Мне было интересно, как достигается вир-

туозное владение достаточно примитивным инструментом, балалайкой, например. Мой случайный коллега как раз из виртуозов, из тех, кто поднимает залы в оглушающем восторге.

– Ну, это вы зря! – укоризненно заговаривал Николай Иванович. – Простой – да, но примитивный – решительно нет!

– Но три струны всего-то! – воскликнул я, воздев руки.

– Правильно, три, но нот тоже семь, а возможности, вы знаете, безграничны. Смею вас уверить, дорогой мой коллега, балалайка – самый что ни на есть общедоступный инструмент с огромными звуковыми возможностями. У нее и название подражающее простодушным народным говорам – балаболка, балагур... Если балалайка звучит в избе – значит, всё в порядке, всё путём, всё обрывается... А что касается виртуозности, то это, дорогой друг, вопрос мастерства и, если позволите, таланта, и количество струн тут не при чём. Вон Паганини и на одной чё вытворял...

– А вы-то почему балалайку выбрали? – интересуюсь я. – Москвичи, насколько мне известно, больше к Стейнвею тянутся или Страдивари с Гварнери...

Николай Иванович засмеялся:

– Да я москвич окраинный. Родом как раз из той самой, знаменитой впоследствии деревни Черёмушки. Помню, в детстве у нас паровозы под окнами гудели и радио всегда было включено. Отец стрелочником работал, и чтобы на дежурство не опоздать, за часами по радио следил. Вот по тому картонному репродуктору я впервые балалайку и услышал... Передавали радио-спектакль о Василии Васильевиче Андрееве, том самом, что превратил русскую луговую балалайку в концертный инструмент. На меня это произвело такое впечатление, что через два года я уже играл в оркестре нашего поселкового клуба. Ну, а потом мальчишечье увлечение переросло в профессию, затем в судьбу, смысл жизни, как вы говорите...

Вообще-то ещё со времен своего археологического студенчества я хорошо знал, что покой усопших лучше не тревожить. Когда моя жена Алла побывала на египетских пирамидах, она долго с ужасом рассказывала, как фараоны изобретательно мстили археологам, покушавшимся на тайну их погребения.

– Всех, кто проникал к саркофагам, впоследствии ожидала

мучительная смерть! – утверждала Алла. – На них обрушивалось проклятие фараонов!

– И что ж, ты даже не зашла внутрь пирамиды? – спрашивал я, зная, что туда идут разного рода ходы, протоптанные ещё в древности лихими людьми в поисках царских драгоценностей.

– Боже упаси! – восклицала без меры впечатлительная Алла.

Меня, однако, врождённое любопытство редко останавливало даже под угрозой неприятностей, в том числе и мучительных, и я осторожно заглянул в отверстие усыпальницы. Сквозь вековые отложения серой пыли угадывались окостеневшие останки, укутанные в истлевшие шкуры. Выглядело это жутковато, особенно в контрасте с ясным летним днём...

– Тут всё рядом лежит, – усмехнулся Алан, – и радость, и горе...

Наконец, джип, управляемый твёрдой рукой современного джигита, взобрался на перевал, и перед нами во всём величии открылась панорама кармадонской долины, от ледника и до могучего гранитного створа, в который уперлись обломки исполинского айсберга. Дух захватывало от увиденного... Было покойно и величественно, но ощущалась какая-то подчёркнутая одинокость, если хотите, забытость, заброшенность, словно и не легендарный то Кармадон, куда со всех концов стремились тысячи страждущих, чтобы прикоснуться к целительным камням, а так, очередное кавказское ущелье на пути к угрюмому Казбеку. Только высоко-высоко на крутом зелёном склоне резвился небольшой лошадиный косяк. Кони куда-то стремительно бежали, резко меняя направление, наслаждаясь безграничной вольницей, когда только ветер хватает за гриву...

Чуть в стороне и много ниже громоздились одноцветные стены большего, но явно заброшенного сооружения, в очертаниях которого угадывалась железобетонная помпезность директивной архитектуры. Отсюда было видно, как сквозь крышу и пустые глазницы окон здание проросло кустарником и даже небольшими деревьями.

– Это то, что осталось от здравницы, – рассказывает Олег. – Ее строили при советской власти, но прожила она всего один день. В августе девяносто первого года торжественно открыли... Представляете, сегодня открыли, а назавтра ГКЧП! И все! Денег на

содержание нет, отдыхающие разбежались, что можно – вывезли, остальное разграбили... Так и стоит пустой, как барабан, лет этак двадцать... Ужас! – добавил с непривычной для него горечью.

Последний раз ущелье публично звучало несколько лет назад, когда не потерявшие надежды спасатели вместе с близкими и родными пропавших лихорадочно били шурфы у нижнего выхода, где якобы глубоко под землёй были проложены тоннельные штольни...

– Мы предполагали, что люди, услышав нарастающий грохот, попытаются там укрыться... – Алан показывает рукой на маленькую белую точку, памятный знак, обозначивший место, о которое день и ночь колотились люди, пытаясь сквозь каменную толщу пробиться к последней своей надежде...

– Что-то нашли. Помню, искалеченный остов автомобиля, останки каких-то людей... – сказал Алан.

– А живых?..

Алан покачал головой:

– Живых не было! – а потом добавил: – Там и мёртвых, по большому счёту, тоже не оказалось...

Мы спустились к речке. Лёд давно растаял, и почти ничего не свидетельствовало, что именно тут разыгралась одна из крупнейших природных катастроф нового века. Речка, как и сотни лет, умиротворённо журчала по камням...

– Группа Бодрова погибла тут... – Алан повёл рукой напротив себя. – По расчётам, в нескольких машинах они снялись с места съёмки ещё до начала беды. Спустились к реке и по дороге вдоль неё доехали до этого места, видимо, не слишком понимая, что происходит. В сумерках трудно сориентироваться, а счёт шёл на секунды. Лавина несколько километров пролетела за две, максимум три минуты... Но следов гибели киногоруппы, как видите, никаких... Ни пылинки, ни соринки, ни единой молекулы. Словно ничего и никогда не было... Мы на коленках облазили весь путь, в расчёте найти хотя бы один болт... Ничего ровным счётом! Всё перемолото в пудру, а потом смыто водой...

– Тут и наши ребята погибли... – тихо добавил Олег. – Я имею в виду, из колледжа... По просьбе Бодрова Лариса отобрала из хореографии восемь самых красивых парней, высоких, стройных,

элитных, настоящих горцев. Надели папахи да бурки, глаз не оторвешь... И конный ансамбль Осетии туда же!.. – Олег протянул руку в неопределенность. – Такое вот проклятие обрушилось... Почему? За что? Главное – за что? Всё без ответа, а мучает бесконечно...

Действительно, за что? За что прекрасной, доброй, щедрой Осетии танталовы муки – Беспан, взрывы на базарах, дикая эта война? Неделю назад какой-то безумец лучшего поэта республики зарезал... Прямо на улице!..

## Разрешите поцеловать

А ведь отсюда, от этих самых мест, ещё недавно брала начало в глубины Кавказа дорога поэтов, писателей, художников, романтиков. Военной она была только по названию, легендарная горная тропа из России в Грузию, по которой мечтали проехать все, кто хотел погрузиться в величественную поэтику снежных вершин, воспетых великим поэтом:

*Кавказ подо мною. Один в вышине  
Стою над снегами у края стремнины:  
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,  
Парит неподвижно со мной наравне.  
Отселе я вижу потоков рожденье  
И первое грозных обвалов движение...*

Казалось, что даже гений Пушкина не в состоянии был ни предвидеть, ни предсказать, что через сто семьдесят лет с любой высоты невозможно будет рассмотреть «грозных обвалов движение», приведшее к тектоническому развалу, снова вернувшее великую державу в «страну господ, страну рабов»... Но это только казалось! Пройдут годы, дорога романтиков снова превратится в военно-опасную, по которой застучат уже не копыта скакунов злых абреков, а будут грохотать гусеницы уральских танков. Словно никогда и не было великих грузинских политиков и мыслителей, определивших многовековое будущее своего государства без вечных войн и междоусобной резни...

По ходу движения мысли в ту сторону, я вспомнил Ираклия

Луарсабовича Андроникова, одного из самых ярких деятелей культуры шестидесятых годов прошлого столетия, рассказы которого волшебными телевечерами советские люди слушали раскрыв рты.

И разговор-то был всего лишь о Лермонтове, вослед которому через много лет шёл обрусевший грузин, писатель и артист, учёный и путешественник, шёл Военно-Грузинской дорогой, пытаясь разгадать тайну одной из картин поэта, писанных им на пути в Тифлис. «Развалины на берегу Арагвы в Грузии» – так назвал Михаил Юрьевич полотно, набросанное на одном из привалов.

В андрониковские времена было такое замечательное слово «путник», то есть до мозга костей мирный человек, вольно шагавший по любой дороге с добрыми намерениями. Вот Андроников и был тот путник, по ходу подключавший к своему интересу местных жителей, простых людей: крестьян, шофёров, чабанов, виноградарей, продавцов сельпо, добровольных проводников, охотно включавшихся в занимательную игру с целью отыскать место, с которого поэт срисовал загадочное ущелье на пути из Владикавказа в Тифлис, повторяемом сейчас Андрониковым.

«Я вылез из машины, – рассказывал притихшей стране Ираклий Луарсабович, – и стал предъявлять толпившимся возле продмага фотографию лермонтовского рисунка. Послышались голоса, что надо поехать в Анаури, что в этих местах нет похожей церкви и крепости. Но тут молодая колхозница по имени Русудан, выдвинулась вперед и сказала:

– Генацвали, покажите поближе то, что издали видела...

Я передал ей фотографию. Взглянув, она посоветовала:

– Возьмите крепкую лошадь и отправляйтесь к верховьям Арагви. Там в осетинском ущелье Герда найдете, что ищете.

Другие шумно возразили:

– Вай, зачем ему лошадь! Тучный человек – не привык в седле ездить. И куда ты хочешь послать его – там нет ни церкви, ни крепости, давно одни камни лежат. Подумай сама, что там увидит?

– Хорошо помню, ещё в школе учила, – ответила молодая женщина, – что Лермонтов, когда почтил Пушкина стихотворением, к нам прибыл и погостил у нас. Но это было уже сто лет назад, даже с лишним. Может быть, когда Лермонтов ездил к истоку

реки, – церковь и крепость стояли, а за это время упали, и потому одни камни лежат?.. Меня слушайте, – сказал колхозница, обращаясь ко мне. – Я вам хорошо посоветовала...»

Андроников был неповторим в своих воспоминаниях, всякий раз подчеркивая заинтересованную доброжелательность местных жителей, особенно детей:

«Мы шли, оживленно беседуя о том, как они учатся и кем собираются стать, когда вырастут... И вот входим в селение.

– Пожелаем, – сказали дети, – чтобы вам и всем было хорошо. – А мы уже дома...

– Дети! – огорчился я. – А как же я без вас?

– Дорогу укажем, так и пойдете.

– А собаки?

– Вы же ничего не хотите взять, – ответили они, – зачем вам опасаться собак?

– Да, но собаки не могут знать, что я ничего не возьму.

И дети, подумав, сказали:

– Тогда, наверное, они возьмут вас.

И все-таки я выпросил проводника. Это был Арчил. Девятилетний мальчик. Его послали родители в селение Сетури с мешком лука на плече.

– Арчил, – сказал я, – дай я понесу твой мешок. Мне трудно...

– Спасибо, – ответил он, – но это не надо. Поручение имею доставить лук, и если вы понесете, как могу сказать, что выполнил поручение?

– Арчил, – осторожно спросил я, – а как ты относишься к собакам?

– Никак, – отвечал он, – я ещё маленький.

– А как же мне относиться?

– Не беспокойтесь, – отвечал он, – они сами к вам отнесутся...

Я поплёлся за ним, почти потеряв интерес к этой высокогорной прогулке. Вдруг увидел в стороне группу молодых колхозников, которые о чем-то живо беседовали. Я поклонился. Не буду уточнять, как я кланялся; у меня есть основания подозревать,

что я поклонился подобострастно. Один из юношей вышел ко мне на дорогу и поинтересовался, почему без пальто и шляпы, с одной тростью в руках я путешествую по этим местам, не заблудился ли, не нуждаюсь ли в помощи. Я ответил, что по этим местам путешествовали в прошлом Грибоедов, Пушкин и Лермонтов, что, занимаясь историей русской литературы и этой эпохи, я как историк и критик (не стал говорить «литературовед») счёл долгом повторить их маршрут. Но вместо одобрения услышал:

– Да. К сожалению, наша критика ещё отстаёт от литературы и жизни. Давно бы надо было пройти... Хорошо, – продолжал он, – что трость захватили с собой, она вам поможет...

И стал отбиваться дубиной от жёлто-бурых чудовищ. Мохнатые, короткотелые, с обрезанными ушами, с черными, словно сажей намазанными, физиономиями, с мелкими, как у щук, зубами, с кривыми, как ятаганы, клыками, они хрипели, кидались, метались, внутри у них клокотало...

Наконец новый знакомый отбил от собак и сказал:

– Должен расстаться с вами: в правление колхоза иду.

И я снова зашагал за Арчилом...

Это были времена, когда лишь кавказские волкодавы (и то любимым местным жителем решительно укротимые) представляли опасность на том пути. Мы были едины не только в пространстве одной страны, ещё сильнее мы были объединены культурой, заложенной великими пращурами, и заметьте, многих из которых тогда хорошо знали – от школьника и до простого колхозника. Не уверен насчёт Лермонтова, но уж Грибоедова сегодня точно не знают и никогда о нем не слышали. Вот уж настоящее горе от всеобщего безумия...

А о кавказском радушии и легендарном гостеприимстве (кстати, по обе стороны Казбеги и Рокского перевала) с восторгом рассказывалось всеми, кому довелось когда-либо с ним «общаться», доведённом подчас до проявлений комедийной абсурдности, столь блистательно воплощённой в изумительных грузинских короткометражках.

Однажды Михаил Ильич Ромм в группе российских кинематографистов поехал в гости к Георгию Мдивани, знаменитому грузинскому писателю и сценаристу, что, впрочем, не мешало ме-

нее удачливым соперникам колоть его всякого рода скабрёзностями (среди творческих людей так принято) типа: «Искусству нужен Жорж Мдивани, как жопе – ржавый гвоздь в диване», но неукротимый Жорж «убивал» своих завистников презрением, воплощённым в широчайшее застолье, и не где-нибудь, а в бывшем имении князя Чавчавадзе. Что такое фамилия Чавчавадзе, грузинам объяснять не надо! Это, как говорят у нас, ого-го!

К Ромму за стол подсаживают томную даму средних лет, представляя её как заслуженную артистку Грузии. Низким грудным голосом, идущим из самых глубин внушительной фигуры, она говорит:

– Я – внучка Илико Чавчавадзе... Это было когда-то наше имение, но советская власть освободила нас от него. И слава Богу – ни забот, ни хлопот! Пейте, пожалуйста. Это вино «Киндзмараули», это наше вино, «киндзмараули» растёт только в имении Чавчавадзе, то есть в бывшем имении, имении имени Илико Чавчавадзе. В других местах «киндзмараули» не растёт. Красное, хорошее вино. Есть другие Чавчавадзе, те на юге, где «напереули», «цинандали», это где Нина Грибоедова замуж вышла. То не то, не настоящее вино, не настоящее. Это вот – Илико Чавчавадзе, настоящий, который мой дед. Когда-то было наше имение, когда-то тот дом был наш дом. Ну теперь, слава Богу, не наш дом, не наше имение. Передайте, пожалуйста, мне баранину...

«Передаю с поклоном блюдо и говорю, улыбаясь:

– Кушайте на здоровье...

Тут кто-то деликатно трогает меня за плечо:

– Михаил Ильич, не соизволите перейти за главный стол, там сидят руководители...

И, очевидно, то же самое говорит, но по-грузински, княгине Чавчавадзе, после чего та оторвалась от баранины и понимающе улыбнулась. Главный стол – ещё более роскошный (хотя уж куда более): истекающие жиром горы шашлыка, вино, наливаемое обязательно в исполинский рог, груды зелени, сыра, свежий лаваш, фрукты. Я, естественно, увлёкся, – рассказывал Михаил Ильич вечно голодным студентам ВГИКа, среди которых выделялись постоянной голодностью и редким талантом Вася Шукшин и Андрюша Тарков-



ский, – и забыл, что у меня под плащом костюм, а на него приколоты медали сталинских премий, аж пять штук. Взялся двумя руками за шампур, а плащ распахнулся... Вдруг вижу, секретарь обкома перестал жевать и уставился на меня. Гляжу, и все уставились. В это время мимо проходит человек, что нёс горячие шашлыки, шампуров десять, и на мою грудь тоже неотрывно смотрит. Потом наклоняется и говорит:

– Это ваши?

Я подтверждаю:

– Мои!

Он кладет шашлыки на стол и говорит:

– Разрешите поцеловать...

Становится на колени и начинает по очереди целовать вза-сос эти самые сталинские премии. А все – и областное, и районное, и тбилисское начальство – делают вид, что не замечают ничего, дело-то было уже в хрущёвское время. Кто глядит направо, кто налево, кто вверх, кто вниз, кто пальцами по столу постукивает. Ну вот, перецеловал он сталинские премии, потряс мне руку, утёр слезы, встал, а за ним уже другой стоит. Опять на колени и опять целует мои сталинские премии. А когда уже третий повалился в ноги, не выдержал секретарь обкома, постучал по столу, строго сказал что-то по-грузински. Всё пришло в порядок, я получил возможность запахнуть плащ, секретарь встал и произнёс следующий тост:

– Выпьем, товарищи, за одного человека, который сделал много для советской власти и который вечно будет жить в наших сердцах. Нэ надо называть его по имени, потому что вы сами назовёте, каждый сам по себе. Выпьем за него!

Ну, и выпили... Вот так пригодились мне в Тбилиси сталинские премии», – заканчивал Ромм под весёлый смех своих студентов, каждый из которых обещал когда-нибудь воплотить сей эпизод в интерпретациях художественного кинематографа. Но никто обещание не выполнил, даже самые снимающие: Шукшин и Тарковский все оставляли напоследок, рассчитывая на долгую и удачную жизнь. Удачи, несомненно были, а вот жизнь, увы, у обоих оказалась до боли коротка.

Шло как раз время, когда Ромм, закрывшись в монтажной «Мосфильма» и вооружившись большими ножницами, вырезал Сталина из всех своих ленинских фильмов (за которые, кстати, и получал премии) и делал это так удачно, что даже тени бывшего вождя не оставалось. Тогда казалось, что после хрущёвских разоблачений о нем (о Сталине) все и сразу с облегчением забудут.

Знать бы успешному «певцу» режима (пять премий что-то значат), безусловно, талантливому кинохудожнику, что и в двадцать первом веке о «вожде народов» будут помнить, да так, что никогда он не уходит из первой пятерки чаще всего упоминаемых современных политических деятелей, которые и сами не прочь навести в стране железный порядок. Забывая, правда, главное – Сталин был тираном, но бессребреником, а тирания олигархов – это все-таки роман с другим сюжетным наполнением, а значит, и иным развитием событий, где массы если и решают альтернативу между любовью и ненавистью, то непременно в пользу второго...

Пока мы бродили по склонам ущелья, Радмира бросила на траву «скатерть-самобранку». Свойство всех кавказских женщин – делать это неповторимо споро и привлекательно. Первую рюмку подняли не чокаясь, молча глядя в небо, в котором на фоне бездонной синевы безмолвно бушевало зрелище из кучевых облаков. Подсвеченные ослепительным отражением ледяных зеркал, они жили отдельной жизнью, театром теней, в котором то создавались смысловые сюжеты, то появлялись объемные профили, до боли кого-то напоминающие. Может, даже говорящие на непонятном языке из грандиозного мира воображений, догадок, иллюзий и вымыслов тоже.

– Здесь часто так, – чуть слышно промолвила Радмира. – бабушка рассказывала, что в ущельях живут призраки. Это их отражение, – она показала в небо. – Только они знают, что и как будет... Советуют нам, но мы не понимаем их и никогда не поймём...

И вдруг поднялся Николай Иванович, невысокий, худенький, в вельветовой кепочке, что мы купили вчера на печально знаменитом владикавказском рынке, том самом, где год назад прогремел испепеляющий взрыв. Сдёрнув её с головы и обнажив лысину, зазвенел юношеским голосом.

...Оттоль сорвался раз обвал,  
И с тяжким грохотом упал,  
И всю теснину между скал  
Загородил,  
И Терека могучий вал  
Остановил.

Неожиданно, как укушенный, вскинулся Олег:  
– Николай Иванович! Так Пушкин нас предупреждал!.. Подождите, подождите, я сейчас вспомню...

И, откинув голову, чуть прерываясь, зазвенел ещё более возбуждённо:

И долго прорванный обвал  
Неталой грудой лежал,  
И Терек злой под ним бежал.

И тут уж вспомнил я, что день назад точно так бесновались облака над «Городом ангелов». Вокруг меня, одинокого путника с четным букетиком гвоздик, хороводились, смеялись, сияли праздничной радостью детские лица, выбитые на красном, до блеска омытом горячими слезами могильном граните. Их были десятки – детей и памятников. У входа, в ногах ребятишек, лежали двенадцать богатырей, двенадцать офицеров «Альфы», пытавшихся отбить ангелов у лютых злодеев. Это были жертвы Беслана... На нашей планете нет подобного некрополя, как нет нам, живым, прощения, допустившим его... И снова рядом встаёт великий поэт, чеканя горькие слова:

Один, среди толпы холодной,  
Твои страданья я делю  
И за тебя мольбой бесплодной  
Кумир бесчувственный молю.

Его надо слушать, мудреца и провидца, да за алчной суетой всё недосуг...

## Глава 6

### ПОЛНОЧЬ «ПАТРИАРХОВ»

*Легче всего обмануть самого себя...*

*Демосфен,  
древнеафинский оратор*

Для жизни я выбрал неопределенную, крайне амбициозную и, если хотите знать, очень зависимую профессию – журналистику. Особенно когда, демонстрируя полезность, вы начинаете приближаться к пирамиде власти, безусловно, в качестве «верного Руслана». Под таким названием писатель Георгий Владимов написал когда-то небольшой роман о конвойной собаке, за ненадобностью выкинутой за ворота лагеря. В лучшем случае, снисходительно потреплют по загривку, в худшем – дадут (как Руслану) коленом под зад: «Иди гуляй, уже не нужен... Надоел!»

Лично мне так давали раза три...

Но есть несомненные привлекательности – только в этой профессии один день не похож на другой, только тут вы можете наблюдать события изнутри и общаться с самыми значимыми людьми. В таком случае, мне повезло, я имел счастье видеть и говорить с теми, кто определял мировоззрение и мироощущение миллионов, кто, несомненно, был ярким, интересен и, к тому же, в большинстве своем, гражданственен в высшем смысле этого понимания.

К счастью, период формирования моего духовного состояния совпал с великим временем послевоенного возрождения, когда понятия «герой» и «героизм» были наполнены конкретным со-

держанием, заставлявшим уважать и народ, и страну, в которой тебе выпало счастье родиться и жить. У меня, кстати, никогда не возникало желания её покинуть. Нет его и сегодня...

### Толпа хохочет...

Вся жизнь моего поколения была заточена на преклонение перед людьми, формирующими могущество и авторитет страны, когда ценились знания, опыт, честь, достоинство, мужество, а главное – нормальность людей (а таких всё-таки большинство). Многие из тех, кто «танцует» сегодня на общественной авансцене, вызывают, мягко говоря, чувство брезгливости. Все эти плясуны, певуны, говорливые прыгуны, имеющие широчайшее представительство на телевизионных каналах, при минимуме творческих возможностей демонстрируют максимум пошлости во всех её разнообразных проявлениях. Одной из особенностей этого, как сейчас говорят, «формата» является бесстыдная демонстрация зажратости – замков, имений, поместий, мраморных писающих мальчиков возле позолоченных унитазов, совмещённых с японскими массажными устройствами.

И все это на фоне суровой безысходности, где Россия прочно «впереди планеты всей» по большинству показателей, определяющих уровень благополучия (точнее, его отсутствия): смертности, опасности жизни, пьянству, наркомании, количеству убийств, бытовой агрессии, проституции, мошенничеству, организованной преступности, чиновничьей коррупции, взяточничеству, детской беспризорности, уличному хулиганству, педофилии, душевному унынию, и это все при полном отсутствии доступа народа к национальным природным богатствам.

Вокруг них (ещё недавно, смешно сказать, «строек коммунизма»), где ещё недавно «рвали пупы» миллионы, сегодня уселось несколько высокотоксичных сказочных упырей (сказочных в смысле личных богатств), определивших немыслимый разрыв заоблачного уровня жизни одних и выживания тех самых миллионов, разделив общество непреодолимой пропастью между довольными и ограбленными.

А как (ой-ой-ой, как!) демонстративно шумно «оттягивается» легкий жанр (в переводе на жаргон – «попса»), в каком шоколадном «облекло» друг перед другом самозабвенно крутит «кутюром»? С каким вкусом завтракает-обедает-ужинает, утверждая невиданное довольствие, а от этого – наплевать ко всему, что во все времена, кроме сегодняшнего, определяло главные достижения человеческого сообщества – мораль и нравственность.

Я понимаю, что есть вещи, которые иногда протаскиваются мимо этих категорий, но их обычно прячут, не шибко афишируют. А сегодня все напоказ, причём с таким уровнем презрения, что невольно вспоминаешь ситуацию, описанную незабвенным Константином Георгиевичем Паустовским. Поскольку в пересказе я не смогу даже приблизиться к его гениальному перу, то позволю, дорогой читатель, для полного впечатления привести отрывок, где идет речь о ситуации, очень напоминающей некоторые современные сюжеты, хотя тогда на часах истории было лишь начало двадцатых годов прошлого века.

Итак, в разгаре гражданская война, от ужасов которой люди убегают в надежде через море удрать куда подальше от жестоко-стей борьбы за светлое будущее...

*«...В Корсуни в поезд села конопатая рыжая баба. Она ехала в Знаменку справлять свадьбу своей дочери и везла ей в подарок тяжёлый комод, набитый приданым.*

*Баба была крикливая, остервенелая. Из-под юбки у неё висели грязные жёлтые кружева и трепались о смазные подкованные сапоги.*

*Баба командовала серыми от голода железнодорожниками, как атаман. Она покрикивала на них и требовала, чтобы комод втащили в теплушку. Но в теплушку бабу с комодом не пустили. Весь поезд разъярился на неё за её комод, за кровавое лоснящееся лицо и визгливый голос.*

*Впервые, пожалуй, я видел такую классическую кулачку – алчную, злую, наглую от сознания своего довольства и сытости среди всеобщего разорения и нищеты. В то время на Украине было ещё много жестокого и спесивого кулачья. За свой достаток такие бабы могли придушить родного отца, а их "сыночки" шли в банды к*

атаманам, к Махно и Зелёному, и хладнокровно закапывали людей в землю, разбивали прикладами головы детям и вырезали ремни из спин у евреев и красноармейцев.

Баба металась около комода и то развязывала на шее тёплый платок, то снова туго завязывала его и кричала надсаженным голосом:

– Насажали полон поезд голодранцев, а нам, хозяевам, нету места! Да у них за душой одна дыра от штанов, у тех городских с ихними дамочками! Их давить надо, как червяков, а не катать с Киева до Одессы.

Около бунтующей бабы стоял сутулый дежурный по станции и уныло молчал.

– А ты чего стоишь, как баран! За что я тебе сало да хлеб давала? Чтобы всякая голода надо мной здесь насмешки делала? Обещался сажать – так сажай! А то требую с тебя и хлеб, и сало обратно.

Дежурный махнул рукой и пошёл вдоль поезда. Он заглядывал в двери и, заискивая, в полголоса, чтобы не слышала баба, просил пассажиров:

– Пустите ее, эту скаженную, сделайте такую милость. У неё муж староста, бандит. Он меня забьет до смерти. Опять же хлеба нету ни крошки, а она дала мне буханку.

Но теплушки были неумолимы. Тогда дежурный договорился с машинистом, и тот согласился за обещанные сало и хлеб поставить комод на переднюю площадку паровоза между фонарями.

Комод с трудом втащили на паровоз и крепко прикрутили толстой проволокой. Баба села на него, как наседка, прикрыла его своими грязными юбками, закуталась в теплый платок, и поезд тронулся.

Так мы и ехали с комодом на паровозе и разъяренной бабой на нём под свист и улюлюканье мальчишек, встречавшихся нам на пути. На всех остановках баба развязывала кошёлку и ела жадно и много. Может быть, ей и не всегда хотелось есть, но она делала нарочно. Со злорадством, с вызовом, чтобы отомстить голодным пассажирам и покуражиться над ними.

Она резала огромными кусками нежное розовое сало, разди-

рала цепкими пальцами жареную курицу и запихивала в рот мягкий пшеничный хлеб. Щёки ее сверкали от жира. Поев, она намеренно громко рыгала и отдувалась.

Баба редко сходила со своего комода и даже по нужде не отходила от паровоза дальше чем на два-три шага. В этом было не только бесстыдство, но и полное презрение ко всем. Машинист кричал и отворачивался, но молчал. Он ещё не получил ни крошки хлеба и ни одного «шматка» сала. Все это было обещано ему только в Знаменке, когда он довезет бабу до места.

Весь поезд ненавидел бабу на комодке люто и страшно. Ненависть эта заглушала у пассажиров даже страх смерти. Иные дошли до того, что с нетерпением ждали, когда же какая-нибудь «хорошая банда» по-настоящему обстреляет наш поезд. Все были уверены, что бабу убьют в первую очередь, – она со своим комодом представляла идеальную мишень.

Где-то за станцией Бобринской наши мечты о мести сбылись, но только отчасти. Под вечер поезд обстреляли махновцы. Несколько пуль попало в комод. Баба уцелела, но часть приданого пули побили и продырявили. С тех пор баба сидела точно окаменелая, сжав синие губы, и в глазах ее было столько черной ненависти, что мимо паровоза без особой надобности пассажиры предпочитали не проходить.

Мы ждали мщения. Я снова вспомнил о пресловутом мамином законе возмездия. Услышав о нем, ксендзы оживились и дружно подтвердили, что такой закон, безусловно, существует и даже в дни гражданской войны не потерял свою силу, а Люсьена сказала, что никакого закона возмездия нет, а есть тютю мужчины, которые не решаются выкинуть бабу с ее комодом с первого же моста в реку.

Наконец возмездие наступило. День возмездия, как и надо было ожидать, заполняли рваные черные тучи. Они с невероятной быстротой мчались над голыми полями. Полосы тяжелого, как град, дождя били по облезлым стенам вокзала в Знаменке. Казалось, сама богиня мщения выпустила на землю злые эти тучи, дожди и мокрый ветер.

Началось с того, что баба вместо обещанных пяти фунтов сала и двух буханок хлеба дала машинисту только фунт сала и одну



буханку. Машинист не сказал ни слова. Он даже поблагодарил бабу и начал с помощью кочегара сгружать комод с паровоза. Комод весил пудов пятнадцать, не меньше. Его с трудом стащили с паровозной площадки и поставили на рельсы.

– Два здоровых бугая, – сказал баба, – а один комод сдвинуть не имеете силы. Тащите его дальше.

– Попробуй сама его сдвинуть, чёрта, – ответил машинист. – Без лома не обойдешься. Сейчас возьму лом.

Он полез в паровозную будку за ломом, но лома не взял, а пустил в обе стороны от паровоза две струи горячего свистящего пара. Баба вскрикнула и отскочила.

Машинист тронул паровоз, ударил в комод, тот с сухим треском разлетелся на части, и из него вывалилось все богатое приданое – ватное одеяло, рубашки, платья, полотенца, мельхиоровые ножи, вилки, ложки, отрезки материи и даже никелированный самовар.

Паровоз с ликующим гудком, пуская пар, прошёл по этому приданому к водокачке, сплющив в лепешку самовар. Но этого было мало. Машинист дал задний ход, остановил паровоз над приданным, и из паровоза неожиданно полилась на это приданое горячая вода, смешанная с машинным маслом.

Баба сорвала с себя платок, вцепилась в собственные волосы, рванула их, упала ничком на землю и завывала истощенным голосом. Руки ее с вырванным клоком волос судорожно дергались в луже около рельсов, как будто баба собиралась переплыть эту лужу.

Потом она вскочила и бросилась на машиниста.

– Глаза вырву! – закричала она и начала засучивать рукава. Ее схватили.

Через толпу протискался маленький человек. Он состоял из огромной клетчатой кепки, новых калош и острого носа, торчавшего из-под кепки. Это был зять бабы. Он приехал ее встречать и опоздал.

Зять посмотрел на груды рваного приданого, вытащил сплюснутый самовар, швырнул его под ноги бабе и сказал высоким скрипучим голосом:

– Вот, мамочка дорогая, спасибо вам нижайшее за то, что в такой справности доставили наше последнее добро!

Баба повернулась к зятю, схватила его за грудь и плюнула в лицо. Толпа хохотала...»

Это ещё прекрасно, когда толпа по такому поводу только хочет...

## Жизнь прекрасна!

Но далеко не всегда так весело получается, а если получается, то лучше всего, пожалуй, у Михаила Ефимовича Швыдкого, образцового персонажа переходной эпохи, в меру компромиссного, безусловно талантливого царедворца, с той мерой хитрости и лживости, которая позволяет всегда быть наплаву, даже если вокруг одни шторма. К сему ещё прекрасно образованный, поэтому на фоне нынешнего диссертационного половодья выглядит как мудрый филин среди неполовозрелых зайчат. А если добавить сюда природную умность (причём без признаков всякого горя), то портрет Михаила Ефимовича вполне может украсить Доску почета – от президентской администрации до хуторского клуба, если они ещё где-то сохранились.

Он, конечно, не Луначарский, с митрополитами в спор не вступал (да и вообще, насколько я понимаю, избегает этот жанр), а вот богему (как и Луначарский) поднял на недосягаемую высоту, успешно совместив на отечественном телевидении, на мой взгляд, абсолютную несовместимость – революцию (пусть даже культурную) и бытовую комфортность, при этом выступая в двух ролях – ученого резонера и разухабистого певуна-плясуна.

Я знаю, поросшие мхом культпросветчики писали «кипятком» от возмущения (министр все-таки), но новые поколения увидели в этом свежие веяния, да и современный министерский образ сменивший традиционную «каменномордость» на ярмарочный колпак, вызывал симпатию, в том числе и у меня. Хотя если судить по части смены масок, то Михаил Ефимович мог дать сто очков самому Аркадию Исааковичу, тому, который Райкин. Но это выучка любого времени – без маски на физиономии до министерского кресла уж точно не доберешься...

Лично я с Михаилом Ефимовичем встречался несколько раз,



особенно когда он возглавлял Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК), то есть был моим непосредственным начальником. По большей части, это были формальные встречи на всяких совещаниях, где нам, руководителям региональных ГТРК, предлагалось поддержать где-то и кем-то уже решённое. Ну и, конечно, с пожеланием жить дружно, временно бедно, но с надеждой на лучшее.

Для меня это было привычно, ибо я и до того жил небогато, всегда с упованием на лучшее, тем более совещания наши завершались обильным банкетным великолепием, да таким, что по окончании приходилось вызывать «Скорую помощь», причём одной на лучшее.

Одна встреча запомнилась особо. Дело было лютой зимой в дремучем подмосковном лесу, в огромном и полузаброшенном санатории, якобы атомщиков. Во всяком случае, по облику строения, погруженного в великолепную хвойную глухомань, было видно, что советская атомная промышленность всегда являлась большой заботой партии и правительства.

Санаторий выглядел исключительно помпезно, но архитектурно совершенно бездарно, с большим количеством мрамора, один вид которого в стужу вызывал мавзолейный озноб, тем более в ту зиму с отоплением кругом был большой напряг.

Именно тут, в лесной подмосковной глуши, в самый скандальный период ельцинского правления, собрали на общероссийское совещание руководителей региональных ГТРК с целью (как намекнул на банкете Швыдкой) поговорить по душам о подготовке к очередным выборам в Государственную Думу.

Надо подчеркнуть, что тогда выборный процесс хоть отдаленно, но все-таки походил на выборы. К тому же региональные телерадиокомпании ещё «гуляли» на длинном поводке и играли, как говорится, в некую вольнодумствующую жизнь, что выдавалось за демократическую независимость. По этой причине коридоры студий гудели от нашествия страждущих заполучить депутатский мандат. Но с приходом Швыдкова сразу появилась ощутимая управляемость «регионалов», а через неё – и публичной части выборного процесса, с чем мы охотно согласились, поскольку число желаю-

щих порулить государственностью в России не только стремительно увеличивалось, но и качественно деградировало, прежде всего за счет откровенных проходимцев и клинических сумасшедших.

Утром, после обильного вечернего банкета (тоже, кстати, со «Скорой помощью», но, слава Богу, без летального исхода) каждому региональному руководителю ГТРК предстояла беседа с глазу на глаз с представителями центрального руководства. Я попал в группу, с которой должен был общаться сам председатель ВГТРК.

Мы, человек тридцать, собрались в гостиной его «люкса», а «душевный разговор» происходил за дверью, в спальне, довольно тесной, где Михаил Ефимович, поджав по-турецки ноги, восседал на просторной кровати, тёплыми носками на ногах придавая разговору некую доверительность, что-то вроде беседы «без галстуков».

– Ну, как жизнь? – встретил меня улыбкой. Я внутренне хихикнул, вспомнив ответ бывалых журналист:

*Жизнь наша ужасно переменчива,  
Падает из рук моих перо,  
Позади беременная женщина,  
Впереди партийное бюро!*

Но вовремя прикусил язык, поскольку знал, что у Михаила Ефимовича на все случаи жизни минимум дюжина лиц, и какое из них предназначалось мне, даже не догадывался, и поэтому излишняя «безгалстучность» с моей стороны могла закончиться не очень хорошо (для меня). Поэтому скоренько перестроился на бесприкрытый монолог об успехах возглавляемого мною коллектива в деле развития кубанского телерадиовещания. Но, видать, предшественники уже изрядно утомили «большого шефа». Слегка поморщившись, он усталой рукой притушил мой жар и перешёл к главному:

– Понимаешь, – начал озабоченно, – в очень сложное время приходится жить...

Я охотно согласился:

– Да, времена непростые...

– Вот видишь, – слегка оживился Михаил Ефимович, – и ты это понимаешь... Это хорошо! Я думаю, нам надо постараться, чтобы всяких там... Ну, ты сам понимаешь, кого... Отсечь от вы-

борного процесса. И, напротив, создать благоприятные условия достойным людям. Вот, кстати, списочек таких людей по вашему замечательному краю...

После этой фразы Михаил Ефимович выразительно посмотрел мне в очи и многозначительно добавил:

– Понимаешь, очень не хочется терять руководителей... Очень!.. Так что ты постарайся...

Я бросил взгляд на квиток – там было пять фамилий, и внутренне облегчённо вздохнул – все кандидаты в депутаты были проходные и без моей помощи.

– Конечно, – заверил я. – Приложим все силы...

– Ну, вот и ладненько, вот и хорошо! – Швыдкой переместился на другой бок. – Зови следующего...

Поскольку на послевыборное совещание мы прибыли без потерь, надо полагать, просьба «главного шефа» была выполнена в полном объеме.

Видать, и Михаила Ефимовича за усердие отметили, вскоре он занял пост министра культуры, где раскрылся как многообразная и многоуровневая фигура, в сущности, создав лёгкому жанру режим редкого благоприятствования, то, что обрушило всякое представление о целях и ценностях национальной культуры, прежде всего в области литературы как первоосновы высокого искусства во всем его многообразии – кино, театра, музыки, живописи. Словом, того, что ещё недавно было важнейшим инструментом в руках государства по воспитанию граждан в лучших традициях и на бесценных отечественных достижениях, проще говоря, инструментом предотвращения всеобщего и полного озверения этих самых граждан, что, кстати, характерно для переходных периодов из одной общественно-политической формации в другую. В данном случае – из социализма в капитализм.

Прошу простить меня за некоторую назидательность, но лидеры предшествующих формаций, создав лучшую в мире систему выявления талантов и воспитания из них высококлассных специалистов, хорошо понимали разницу между первой скрипкой оркестра Большого театра и чечеточником барабанно-гитарного ансамбля, сколоченного из увлеченных двоечников восьмых классов средней школы.

Не надо хватать меня за язык, я отлично понимаю место и значимость эстрадного искусства в улучшении качества духовного состояния народа, как, впрочем, понимаю и разницу между великим Райкиным и современными подражателями – чревовещателями, балагурами, смехачами и переодетыми в старух хохотунами, заполнившими до отказа нынешнее экранное пространство, нагло вытеснившими все, что является действительно настоящим искусством, в том числе и на эстраде.

Мы ведь сегодня не знаем ни единого тенора, кроме белокурого бонвивана Коли. Ваня и Сережа (я имею в виду Козловского и Лемешева) в гробу перевернулись бы, узнай, что именно этот соловей «затрахал» собой мыслимое и немыслимое пространство. На десяток песенок мы получаем от весёлого «обаяшки» полный «пакет» всяческих коллизий его личной жизни, где основные сюжеты – из любовного цикла, в чём Коля безусловный Шопен.

Однажды из пространства оглушающей, почти истеричной известности он самоуверенно шагнул под своды Большого театра, но не в яму (оркестровую), а на авансцену, да ещё в образ Ленского. Я видел зрелища грустные, это было самое грустное. От Ленского Вани и Серёжи, заставлявших рыдать поколения, остались только просторная шуба и меховая шапка, висевшая на ушах, изпод которой было не слышно и не видно. Слава Богу, ума хватило тихо слинять обратно, к фонограммам, микрофонам, стеклярусам тел, дымов, перьев, исступленного «Встречайте – провожайте!»...

Зато дня не проходит, чтобы не появлялся Коля на экране, да в широчайшем диапазоне, от беззаботного весельчака до исповедального страдальца. И все о себе, о «натуральном блондине», что мало-помалу становится единственным заметным качеством...

А тут глядишь – и потрясаешься, как под суету гигиенистых папарацци сорокопушечным парусником в кадр вплывает канонизированная при жизни примадонна в конвойном сопровождении малокалиберной канонерской лодки, словно предупреждающей о серьезности намерений (хотя на бабушку российской эстрады уже никто не покушается). Легендарные алые паруса давно спущены и прошлыми мужьями порваны на портяночные нужды...

Берёшь в руки популярную газету – диву даёшься: будто тя-

жёлтая форма гепатита охватила редакцию – радикальная желтизна от пупа до макушки. Знаменитый писатель, человеколюб и природолюб, один из двух лауреатов высшей премии в СССР – Ленинской в области журналистики (хрущёвские родственники не в счёт), единственный, кто остался в профессии из «тогдашнего времени», выглядит на легендарных страницах, как девственница, попавшая в публичный дом, отмечающий миллионного посетителя.

А юбилейные торжества по поводу и даже без! Сам Станиславский вместе с Немировичем, я уж не говорю о Вахтангове, Райкине, Товстоногове, Григоровиче и всяких там «стариках» Малых и Больших академических театров, думать не могли о громоизвергающих почестях, что перепадают нынче на долю Левы, Вовы, Миши, Гены, Фимы, Бори и, уж конечно, Фили, когда вся страна неотрывно следит за парадным перемещением «звёзд» по кремлёвской сцене, просторной, как Красная площадь, уставленной цветочными клумбами, словно при бракосочетании наследников английского престола.

Тут уж никакие нормы приличия не действуют, хотя двести лет чего-либо значимого как-то неловко отмечать сто раз подряд. Но удержу нет! Раз хочу, а тем более – позволяют! Сегодня лицедейство в невероятном шоколаде, особенно если с дымами по пупковую линию...

За этой завесой исчезли (словно никогда и не были) Карачупа и Бабанский, Чкалов и Покрышкин, Шолохов и Симонов, Туполев и Ильюшин, Лукьяненко и Вавилов, Пырьев и Эйзенштейн, Уланов и Раневская. Эти имена никогда не слышали большинство молодых людей, сдававших вступительные экзамены на факультет телерадиовещания и мечтающих о режиссёрской известности. Зато все прекрасно осведомлены о житейских «потрясениях» Лев, Вов, Ген, Свет, Катя, Маш, Марин и даже Лолит, хотя про прекрасную Лолиту Торрес тоже ничего не знают. Преподаватель истории пришла ко мне недавно огорченная. На вопрос, как звали Гитлера, большинство абитуриентов ответили: «Капут». Вот уж верно, полный капут, если не употреблять слово посильнее...

Поверьте, не хочется превращаться в старого ворчуна, но у любого творческого действия должна быть своя тайна. Великие ар-

тисты прошлого, как африканские слоны, почувствовав возрастную немощь, не растягивали лицо на металлической арматуре, а уходили в житейскую тень (увы, такова была плата за успех), оставляя нам память о неповторимой волшебности их искусства. И, Боже упаси, никогда не тащили посторонних за кулисы, особенно своей личной жизни.

Когда мой друг, один из лучших подвижников и знатоков отечественного кинематографа Сергей Владимирович Новожилов решил посвятить свой очередной киновечер в Доме кино юбилею Марины Ладыниной, то столкнулся с неодолимой трудностью. Народная артистка СССР, одна из двух актрис страны (вторая Алла Тарасова) лауреат пяти сталинских премий (как Ромм), невероятная по экранному обаянию Галина Пересветова из «Кубанских казаков» категорически воспротивилась этой чести.

– Серёженька! – умоляла она. – Я не выдержу, я не смогу... Я так долго не выхожу на сцену, потому что хочу, чтобы зритель запомнил меня такой, какой я была на экране. Такой, какой меня любили и ассоциировали со своей молодостью...

Сережа, который мог уговорить любого, на этот раз сдался, понимая, каково девяностолетней актрисе, игравшей огненных дивчин и зрелых красавиц, что боготворили самые достойные мужчины того времени, через тридцать лет забвения выйти на люди и предстать в облике, который формирует безжалостное время.

В итоге только на экране снова пела, модулируя неповторимым ладынинским голосом: «Каким ты был, таким остался...» Галина Пересветова, пронзившая душу колхозного атамана Гордея Ворона. А за кулисами, зажав в кулачок трепещущее сердце, тихо плакала маленькая старушка...

– Она таки приехала, – рассказывал мне потом Сергей, – но на сцену так и не вышла... Это было выше сил...

Жизнь прекрасной Марины – это долгий роман с трагическими страницами: изменой, предательством, осознанным забвением, лютой завистью, к тем же пяти лауреатствам. Но она никогда, ни единым действием не разрушила экранные представления о себе. Светлый образ ее героинь помогал миллионам людей выжить в труднейшие времена, в самые тяжёлые годы видеть тёплый

свет в конце тоннеля. Судьба подарила ей девяносто четыре года жизни, она пережила многих, в том числе и всех своих недругов, скорее всего потому, что была настоящая, нет-нет, не звезда, а по-настоящему великая актриса, которая после физического ухода вступила в другую жизнь, жизнь в сердцах новых поколений. По-прежнему, как наступают в стране кислые дни, выручает Марина с «Кубанскими казаками», с нетленной музыкой Дунаевского:

*...Зачем, зачем ты снова повстречался,  
Зачем нарушил мой покой...*

Эти слова снова и снова заставляют приникать к экрану миллионы уже новых зрителей, и так шесть десятилетий подряд. Назовите мне второй такой фильм и вторую такую актрису, загадочную и во веки веков прекрасную Марину...

### Вовремя уйти...

Собственно, не столько уйти, сколько предусмотреть последствия неухода. Лично я никогда вовремя не уходил, но зато меня, по счастью, всегда вовремя выгоняли.

Откровенно говоря, я этому не противился, не плакался в жилетку, не запивал с горя, не рассылал письма по инстанциям, не слонялся по кабинетам в поисках защиты или сочувствия, поскольку ещё в комсомольском возрасте получил по этому поводу показательный урок.

Однажды, будучи энергичным без меры комсоргом комитета по телевидению и радиовещанию, я обратился в крайком партии с жалобой на действия председателя, редкого проходимца, обозлившего самодурством и лихоимством большую часть творческого коллектива. Выслушав мою путаную тираду по телефону, заведующий отделом пропаганды и агитации крайкома партии Николай Петрович Калюжный назначил встречу на завтра, на семнадцать часов, подчеркнув особо:

– Семнадцать, а не в пять вечера...

– Ну-ну... – только и сказал по этому поводу Николай Федорович Качалов, бывший партработник, а с некоторых пор дирек-

тор студии телевидения и наш непосредственный начальник (кстати, и посоветовавший мне обратиться к Калюжному). Потом я понял, что те порядки он знал лучше других, а уж меня – тем более.

В итоге я просидел под дверью Калюжного с семнадцати до двадцати двух, а когда вошёл в кабинет, то в течение полутора минут получил поучительно-небрежный щелчок по носу, с назидающим, что партия никогда в своих кадрах не ошибается.

Как понятно сегодня даже ежу и всем олигофренам вместе взятым, кадровая политика той партии как раз и состояла из одних ошибок. Но уже тогда, в период расцвета застоя, я отлично уразумел непреложную истину, что действие поперёк желания любых властей немедленно рождает поучительное противодействие. Для начала это будет простой «товарищеский» выгон, как правило, на улицу (что, кстати, вскоре и произошло со мной). Но в случае упорства выгон может быть дополнен не менее «товарищеским» судом или чем похуже – персональным делом, например. А там – как парторганизация посмотрит (непременно глазами начальника): или выговор, или тот же выгон, но уже из партии, что в те времена равнялось гражданской казни. Для журналиста это будет обязательно через «колесование», то есть запрет на профессию. Я тогда получил полный срок – пятнадцать лет «без права переписки», иными словами, пятнадцать лет без права входа в любую редакцию. Видимо, действие сие предполагалось поучительно не столько для меня, сколько для других. Такие методы и сейчас в ходу, особенно в провинции, где журналисты беззащитны, как голый в парной...

А если появилось уж совсем исступлённое желание биться за правду-матку, дело вполне могло закончиться суровым физическим воздействием: инфарктом, инсультом, волчьим билетом или запоздалым прозрением с тем же волчьим воем где-нибудь в районе норильской никелевой плиты. Правда, о таких случаях я только слышал, но зато от самого Георгия Степановича Жжёнова, великого артиста и величайшего страдальца, отдавшего лучшие годы жизни сталинским лагерям, тень которых никогда не сходила с этой разнесчастной страны, всегда маячила перед каждым: и тем, кто состоял в «товарищеском суде», и тем, кто стоял перед ним...

Система моих рассуждений на эту тему, как ни странно, свя-

зана с воспоминаниями о приезде Хрущёва в сентябре 1964 года в Краснодар. В ту пору я работал младшим корреспондентом Краснодарской студии телевидения, с ещё малоиспорченной репутацией и многообещающими задатками, к тому же, по отзывам, неплохо пишущий и быстро соображающий. Скупой, но иногда на летучках хвалили за расторопность, обязательность, любопытство, но поругивали за желание бежать впереди паровоза.

Однажды вызывает меня и такого же подающего надежды «юнкора» Игоря Мотыжова главный редактор Борис Яковлевич Верткин и, до предела понизив голос, сообщает, что в край не сегодня-завтра должен приехать Никита Сергеевич Хрущёв. Борис Яковлевич, наш строгий наставник и опытный журналист (в смысле – крепко битый во все времена), в таких случаях напускал на себя неприступную хмарь, на глазах превращаясь в агента «Искры», выполняющего известное только ему одному задание. Со мной и Игорем он говорил так, словно отправлял с грузом оружия восставшему пролетариату Питера.

Должен сказать, что поколение руководителей прессы тех лет вообще было тронутым на секретности. Да и немудрено! Просидев годы под портретом Ленина-Сталина и плакатом, на котором суровая тётка, приложив палец ко рту, строго предупреждала: «Не болтай!», можно было запросто свихнуться от чужих и своих тайн, от всевозможных циркуляров с обязательным грифом «Совершенно секретно», даже если это было указание отправки части коллектива на сбор помидоров, что практиковалось для всех, кроме милиции и КГБ.

Но тем не менее, в ту пору болтали все, мы с Игорем, пожалуй, больше всех. Тем же вечером я не удержался и похвастался родственникам, что меня включили в пресс-группу, которая будет освещать пребывание Хрущёва на Кубани.

Мой дядя, Владимир Иванович Айдинов (я о нём писал в других книгах), завёл меня в чулан (в нашей турлучной хате было слишком много ушей) и, тоже снизив голос до заговорщической тональности, предупредил, чтобы я меньше чего рассказывал, но подчеркнул при этом не без гордости, что мне выпала большая честь – увидеть самого Никиту:

– Послушаешь, что он будет там обещать!

И тут же поведал историю, как перед самой войной к ним в дивизию, что стояла под Житомиром, приехал нарком Ворошилов.

– Я дежурил по части, и мне пришлось показывать ему новинку – офицерский тир. Он походил, потрогал свежие доски, и вдруг расстёгивает кобуру, достаёт небольшой хромированный «вальтер» и говорит мне: «Майор, я вижу, ты "Ворошиловский стрелок", – был такой почётный знак в армии. – Предлагаю сразиться с самим Ворошиловым... Как смотришь?» Все похолодели, и я в том числе, но быстро собрался и отвечаю бодро: «Почту за честь, товарищ нарком!» Он довольно засмеялся: «Вот и хорошо! Выставляйте мишень, но учти – стрелять только из табельного оружия». Комдив вспотел, я тоже, поскольку у меня в кобуре не «ТТ» положенный по штату, а привычный «ревнаган». Делать нечего, достаю и с достоинством кладу рядом с «вальтером». Маршал увидел: «О, это серьёзное оружие!.. Получше будет, чем мой "вальтер". Ну что, начнём в очередь?» – спрашивает. «Так точно!» – отвечаю... Словом, все семь пуль я всадил десять-девять. У него чуть похуже. Из того «вальтера» стрелять прицельно непросто, не армейское оружие, а так – блестящая хрень. Но, надо сказать, стрелок он был отменный, ствол как влитой держал... Мне руку пожал, поздравил с успехом. Отвечаю, как положено: «Служу трудовому народу!» И что ты думаешь, вечером, на строевом смотре, вручает мне маршал золотой знак «Ворошиловский стрелок» и удостоверение, лично им подписанное. А комдиву, полковнику Ковбасюку, именной «ТТ»... Когда в августе под Ржищевым немец нас окружил, он из него и застрелился...

– Здравсьте вам! – говорю уже я. – Вы как-то умеете начать за здравие, а кончить за упокой... Мне что ж, по приезду Никиты Сергеевича, в знак большого удовлетворения, пулю пустить в лоб? Так не из чего...

– Ты что, малохольный? – завёлся Владимир Иванович, – Я тебе поучительную историю из жизни рассказал, а ты... – и, махнув рукой, пошёл в дом.

За ужином (а с учетом постоянных гостей, людей у нас собиралось много) я, может быть, впервые стал ловить на себе не-



сколько удивлённые взгляды, типа: «Кем у нас был Володька? Потаскун и уличный дебошир, а сейчас, глядишь, с самим Никитой, может, поручается...»

Поручаться мне, конечно, с ним не пришлось, но вблизи рассмотрел хорошо. Выглядел Никита Сергеевич даже с позиции того, достаточно упрощённого времени, весьма непрезентабельно. Скажу больше, совсем не как глава огромного государства, а скорее как «голова» преуспевающего колхоза. Костюм мятый, чесуча жёваная сидит чувалом, шляпа соломенная то на носу, то на затылке, фигура тела – промолчу лучше...

Но взгляд острый, как бритва. В тот раз он почти все время молчал, иногда сердито сопел, оттаял немного в ауле Ходзь, где молодой парень, знатный адыгейский бригадир (помню, звали Юрий, а фамилию, к сожалению, забыл), показывал какие-то не-сусветной величины кукурузные початки. Никита взял один из них в обе руки, поднял над головой и просиял:

– Вот смотрите, какой должна быть кукуруза!

Все стали хлопать в ладоши и восторженно удивляться, но я почему-то более всего – штанам Никиты Сергеевича. Воистину надо быть великим портным, чтобы пошить такое просторное изделие, дабы скрыть ту часть тела, что Гоголь обычно называл брюхом.

Кто-кто, а Николай Васильевич понимал происхождение таких смачных животов, способных в часы отдохновения поглотить заразно много: корчажку горячего борща с пампушками – обязательно, сало по-полтавски или «ковбасу» украинскую, непременно шкворчащую на сковороде, истекающие жиром котлеты по-киевски, всякие там крученики, верещаки, деруны, ну и, конечно, под деревенской сметаной вареники с лапоть размером, обремененные всяческой начинкой, от сыра до сладкой «вышни», а поверху уж всегда шулики медовые с маком, да под грушевый взвар прямо через кувшинное горло.

Ну скажите, при таком обильном и качественном питании какими должны быть штаны? Безусловно, более похожими на шаровары «щирого» запорожца, чем на брюки, кои ещё Даль определил, как жалкие чиновничьи панталоны, чуть-чуть подлиннее и пошире, а если взглянуть пристальнее, то сплошная тонкокостная хлестаковщина...

Тут надо заметить, что Никиту Сергеевича проблема штанов

заботила масштабно, и по этой причине в обществе нарастал некий социальный конфликт, когда водораздел отношений отцов и детей вдруг пошёл по линии, что от пупа и ниже.

Это сегодня подобное кажется дикой буффонадой, поскольку можно носить все (даже шубу в театр шерстью наружу или почти совсем ничего), а тогда, извините, все было директивно предопределено – что надевать и как стричься. По улицам энергичным строем ходили обезумевшие от активности комсомольские «пржектористы» (этакие «наши» того времени) и «применяли строгие меры» к любителям узких брюк.

## Тайное и явное

Признаюсь, мы с Игорем были как раз из «узкобрючников», и я уже несколько раз поймал на себе осуждающие взгляды, но поскольку ситуация складывалась со значительно большим раздражителем, а именно – непривычной угрюмостью Хрущёва, то окружению было не до чего, тем более до штанов каких-то журналистов, старавшихся быть тише воды и ниже травы.

Не заметить, что Хрущёв был не в духе, было трудно, а вот над причиной этого, я думаю, больше всех ломали головы два человека из его сопровождения: товарищи Воробьёв и Качанов, первые секретари крайкома партии – сельского и промышленного. Хрущёв в ту пору особо сильно куролесил (делил что-то, соединял), стремясь найти наиболее удобную формулу организации управления страной. По лицам обоих секретарей было видно, что они немало взволнованы и ищут способ, как бы уважить «большущего шефа». Но даже сонм знаменитых кубанских председателей колхозов, выставленных в парадном строю по случаю приезда первого секретаря ЦК КПСС, не возрадовал того. А люди-то какие были, словно Гордеи Вороны сошли с экрана, все, как один, Герои Социалистического Труда: Хомяков, Филатов, Сидоренко, Переверзев, Резников, Майстренко, Марковский.

Помню, Иван Иванович Буренков, обветшавший, как вековой орел, нацепил на грудь один ордена Ленина – штук семь! Горел золотом, что благочинный, но Никита даже не повернулся в

его сторону, беглым взглядом не удостоил сияющее великолепие.

Откуда же встречавшей и сопровождавшей толпе было знать, что осведомлен уже он, Никитушка, о неких движениях против его персоны, наслышан о ядовитых затеях, часть которых как раз и проистекала в кубанском губернском городе, тихом, как беременная овца, но коварном, как степная гадюка?

В самом центре, в небольшом аккуратном особнячке по улице Ленина, приспособленном под уютный приют для важных персон, и собиралась накануне «тайная вечеря». Стол накрыли непривычно скромный, с одной бутылкой коньяка, так и оставшейся полупустой. Пил только гость, Николай Григорьевич Игнатов, и то маленькими рюмками, закусывая ломтиками лимона, обмакивая почему-то в соль.

Николай Григорьевич для Кубани был человеком знаковым. Ещё в сорок девятом присланный сюда первым секретарем крайкома, за один год в «сонном царстве» навел такой шорох, что по сию пору помнится. Был Игнатов «птицей большого полета», чекист с семнадцатого года, характер имел «нордический», руку стальную, а голос командный. После Краснодара по резко восходящей карьерной линии буквально пролетел Ленинград, Воронеж, Горький, где руководил областями так же требовательно и шумно, а перед смертью Сталина стал секретарем ЦК КПСС, но сидел там недолго, ровно до 5 марта 1953 года.

Хрущёв вернул его на эту роль сразу после знаменитого «антипартийного» разгона, оценив наступательную активность в борьбе с группой Молотова (да и с Жуковым тоже), и к шестидесятилетию удостоил даже Героя Соцтруда. Но потом присмотрелся, подумал и решил – уж больно громогласен и непомерно боек (амбиции на лидерство и скрыть не может), взял и сплавил «угодника» Николая на тупиковый пост председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, этакую декоративную должность, придуманную исключительно для номенклатурных церемоний – вручения знамен, грамот, встреч-проводов, в том числе при похоронах, особенно в странах третьего мира, которые, по наущению Суслова, Никита Сергеевич за советские деньги и бесплатную кормёжку действительно приобщал к социализму.

Этого неукротимый Игнатов Никите простить не мог, гневаясь почти в открытую, без оглядки даже на чуткие «антенны» КГБ. Вот и в Краснодаре, специально залетев на ночевку из Сочи, где принимал мацесту, собрал на ту «вечерю» узкий круг (человек пять, но самых влиятельных, прежде всего, Воробьёва и Качанова), громко жужжал, что «песенка» Никиты спета и пора определяться – с кем вы, «друзья народа»?

«Друзья» чесали «репу» и, тяжело вздыхая, бормотали невнятное, а наутро, испугавшись, схватили кошёлку с индюшатами редкой скороспелости (во искупление тайных грехов решили порадовать Никиту новой породой птицы), ринулись в Пицунду, где «первый» отдыхал. Просидев полдня в приёмной, но так и не попав к «хозяину», вернулись в Краснодар и стали ждать – что же будет?

Ожидание, увы, не затянулось... Эта история давно и много описана, поэтому углубляться не стану, напомним только, что как раз самый близкий (надо полагать, и самый верный) к Игнатову человек, его охранник, некто Галюков, и стал той «антенной», через которую информация, прежде всего, о «вечере» в Краснодаре, быстро дошла до ушей Хрущёва. Потому «батяка» и сверкал глазами в нашу сторону, я имею в виду, руководящих «кубанцов», бездарно потом пролетевших «мимо кассы», то есть постов в правительстве Брежнева.

Из Краснодара Никита Сергеевич поехал в свое пицундское поместье, откуда его, не без хитрости с участием «сверхверного» Микояна, выманили на Пленум, где и расставили жирные точки в затянувшейся на полгода истории правления самого противоречивого лидера нашего государства. Слава Богу, на этот раз обошлось без кровопролития!

Не в пример тому, как таким же октябрём, но спустя двадцать девять лет, по приказу Ельцина танковыми залпами выкуривали из Дома правительства самопровозглашённого президента Руцкого. Согласитесь, куда более красноречивый факт из вечной российской драмы об уличных потасовках вокруг трона. И это, кстати, тоже к вопросу о пресловутой сменяемости власти, когда вчерашние соратники в стремлении доказать «своё» право, не раздумывая, машут кулаками уже в прямом смысле...

Так вот, почему полгода и при чём здесь Хрущёв? Я объясню, но прежде хочу закончить об Игнатове, который опять переборщил со своей большевистской активностью. Пришедший на Старую площадь Брежнев, опасаясь того же, чего и Хрущёв, вопреки надеждам Николая Григорьевича оставил его в прежнем качестве. Единственно, что позже сделал без раздумий, – выделил в кремлёвской стене нишу для праха, когда окончательно сломленный неблагодарностью «несгибаемый большевик» (слова из некролога) помер через пару лет, опередив в сем действии всех участников «антихрущёвского» заговора, включая и самого Хрущёва. Вот такая судьба! Ждём одно, а получаем совсем другое...

А представьте, если бы вдруг за полгода до того «исторического» пленума, где «силовым» приемом была решена судьба власти, Никита Сергеевич, ещё при звёздах и в эполетах, за роскошным юбилейным столом (праздновали ему 70 лет) в Георгиевском зале Кремля, в присутствии лучших людей страны, способных наполнять высокими чувствами такие формулировки, что даже конченный дурак возомнит себя Нобелевским лауреатом, окутанный потоками елея, зацелованный соратниками, в самый разгар торжеств вдруг, отодвинув бокал, встаёт и, решительным жестом оборвав восторженный шум, требует включения всех радиостанций Советского Союза:

– Друзи мои! – зазвучало по бескрайней стране. – Соратники! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои!..

Зал, прекратив жевать и чавкать, замер бы до шелестящего дыхания. Многие, возможно, уже догадались, не в силах ещё представить, что такое вообще может произойти в стране Советов.

– Ну вот, пробил и мой час! Мы славно поработали, хорошо потрудились на благо социализма, но годы берут своё. Пора на отдых... Не огорчайтесь, не поминайте лихом, простите, если что-то было не так... Но взгляните, каких орлов воспитал я и наша партия, – широкий жест в сторону плачущего политбюро, а Брежнев – так просто навзрыд. – Лёня, подойди, брат мой меньший! Вот вам готовый Генеральный секретарь! Не плачь, Леонид, ты справишься, особенно в кругу верных богатырей, настоящих ленинцев... – плач переходит в общие рыдания. – Давайте сейчас, не сходя с этого ме-

ста, – безжалостно рубит с плеча Никита Сергеевич, – и решим вопрос, изберём Леонида Ильича на пост руководителя нашей страны...

Все встают... Рыдания переходят в овации и крики «Ура!», естественное братание заканчивается пением «Интернационала»...

На следующий день Никита Сергеевич переселяется с чадами и домочадцами в мраморный дворец, где в благочинстве и покое доживает свой век, гуляя среди павлинов под звуки хрустального клавесина. Мудрым патриархом, таким советским Дэн Сяо Пин, его усаживают на самые видные места, по праздникам развешивают портреты, штаны те замечательные вешают на гвоздик в музее рядом с ленинским простреленным пальто и так далее...

Но в жизни все произошло с точностью да наоборот. Никита Сергеевич на том банкете действительно встал и разразился многообещающей в отношении себя тирадой, которую подкрепил жестом согнутой в локте правой руки (что в мужском сообществе обозначает, сами понимаете что: ещё могу!), и подтолкнул развитие событий в единственно возможном направлении. А жест, которым Никита обозначил свой физкультурный потенциал, только подкрепил слухи о неких сердечных отношениях с Екатериной Фурцевой – женщиной, безусловно, привлекательной (если это так, то за Никиту надо только порадоваться), талантливой, но тоже пропустившей время ухода из большой власти и заплатившей за это (страшно сказать) самоубийственной гибелью. Более того, ранней смертью единственно близкого человека, дочери Светланы. Обе лежат сейчас на Новодевичьем под огромной запыленной плитой, треснутой как раз посередине...

Так что вовремя уйти – это не столько уйти вовремя, сколько вовремя предвидеть последствия неухода. В нашей богоспасённой истории это пока удалось одному – Ельцину...

## Лечебное питание

В год открытия зимней Олимпиады в Сочи как раз исполнится полвека с того дня, когда в стране было покончено с хрущёвским «волюнтаризмом» и на высший государственный пост взошёл Леонид Ильич Брежнев.

В звуках олимпийского горна и грохоте всеобщего ликования вряд ли кто вспомнит об этом факте, а главное, наверняка не проявят никакого любопытства о деталях тех далеких событий. А они, между прочим, весьма поучительны. Ведь для понимания стратегических тенденций всегда более убедительны житейские частности, чем трибунные рассуждения о вечных ценностях, на что мы гораздо во все времена с одинаковым отсутствием успеха.

До самого последнего момента того октябрьского (1964 год) «исторического» пленума хрущёвские соратники, по большому счету, не были уверены, что дело закончится ликующей пьянкой в Ореховом зале Кремля. Но когда это произошло, то, надо полагать, на радостях выпили много, тем паче, не будь Никита такой расквашенный, ситуация вполне могла закончиться отрезвляющими запахами камерной тишины в «Матросской тишине». Но русский человек, пьяный от свалившейся радости и большого количества доступных бутылок, плохое быстро забывает и в минуты успеха великодушен иногда до изумления. Под влиянием этого «соратники», видимо, и решили от распиранья чувств не сходя с места принять решение, которое приведу полностью:

*«...О материальном обеспечении т. Хрущёва Н.С. (присутствовали гг. Брежнев, Суслов, Микоян, Подгорный, Косыгин, Полянский).*

*1. Сохранить за т. Хрущёвым Н.С. получаемую им по последнему месту работы заработную плату пожизненно.*

*2. Предоставить для жительства Хрущёву Н.С. и его семье государственную дачу в Семеновском с обслуживанием.*

*3. Обязать Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР выделить для обслуживания т. Хрущёва Н.С. легковой автомобиль «Волга» с водителями.*

*4. Медицинское обслуживание т. Хрущёва Н.С. и его семьи возложить на Четвертое Главное управление при Минздраве СССР.*

*5. Предоставить право т. Хрущёву Н.С. пользоваться столовой лечебного питания»*

Ну что, вполне пристойно! Не мраморный дворец, конечно, с павлинами, но все-таки учли, что ещё вчера был не последний человек в государстве, немало сделавший для него, к тому же,

воевал, даже в Сталинграде. Да и пожилой, не сильно здоровый. Хрен с ним, пусть доживает век в благополучии. Пора кончать с этой азиатчиной! Так, скорее всего, надо было понимать движущую суть этого решения, в принципе, значимого для будущих времен, выдержки Брежнев марку.

Но не пришлось! Быстро прошелестели первые радости, освоились победители в креслах, отрезвели и вновь привычно озлобились, начиная всякое заседание политбюро с «перемывания костей», естественно, вспоминая худшее, в основном – личные обиды. У нас что «старые русские», что «новые», обидное помнят до гробовой доски (кстати, нередко тем самым приближая ее).

Рассказывают, однажды секретарь ЦК Кириленко (которого Хрущёв иначе как «мудак» не называл, его потом точно так называл и Брежнев) говорит:

– Побывал я недавно, Леонид Ильич, у рабочих Уральского новотрубного завода. Спрашивают: «А что вы так возлюбили этого дурака Никиту? Говорят, как сыр в масле катается...» Я пообещал проинформировать товарищей о настроениях пролетариата...

– Да-а! – протянул Брежнев. – Наверное, рабочие правы... Я уральцев знаю, принципиальные люди, правильно нас критикуют... А что, давайте подумаем, как нам это дело исправить...

Подумали, и в результате через пару месяцев после неожиданного расслабления духа приняли второе, более осмысленное, лаконичное, по-партийному строгое решение: шоб жизнь мёдом не казалась!

*«...В частичное изменение решение ЦК о материальном обеспечении т. Хрущёва Н.С.*

*1. Установить т. Хрущёву Н.С. персональную пенсию в размере 500 рублей в месяц.*

*2. Предоставить т. Хрущёву и его семье государственную дачу на реке Истра.*

*3. Медицинское обслуживание т. Хрущёва и его жены возложить на Четвертое Главное управление при Минздраве СССР».*

Вот и всё! Великодушия «царского» на квартал не хватило. Уральские рабочие и рабочие вообще могут спать спокойно – клас-

совая справедливость восторжествовала, хотя вряд ли они даже нафантазировать могли, что такое «лечебное питание», а тем более «кремлевский паёк». А ведь пользовались им широко и вольно большинство абсолютно одноликих чиновников Старой площади, и это совсем не то, о чём вы думаете, – протёртые супчики с обезжиренной курочкой и котлетки из морковки.

То, что конвейерно расфасовывалось в закрытых распределителях в неподъёмные пакеты, было кординально другое – лучшие деликатесные продукты (за те же «три копейки»), одно перечисление которых могло вызвать у полуголодной страны пищевой шок. И то, что орава «вип-едоков» после «исторического пленума» выросла впятеро, никого не беспокоило. В этом и заключалась брежневская «забота» о кадрах – жрать «на шару» в три горла и безоговорочно быть преданным хозяину на уровне верных Русланов. Иначе – геть со двора! Вот этого боялись пуще смерти.

Зато Хрущёв получил на этот раз «по полной», безвыездно сидел с больной дочерью и старухой-женой за дощатым забором на реке Истра, в старом бревенчатом доме, таком старом, что когда «опальник» угас, жену выгнали, а дом раскатали на дрова.

– Так ему, мудаку, и надо! – радовался больше всех Кириленко.

Меня, между прочим, продолжает удивлять, а то и поражать, изобретательное крохоборство состоятельных особ, а если крохобор ещё при власти, то тогда речь может идти только о психической деформации личности, что, в конце концов, и произошло с тем же Кириленко. По слухам, он сошёл с ума и однажды, позвонив Брежневу, стал громко лаять в трубку.

– Шо-то я не пойму тебя, Андрей! – прошамкал в ответ Леонид Ильич, над которым в ту пору, как поется в той песне, тоже «Тучи над городом встали...»

## Тёмная история

Впервые я видел Леонида Ильича ещё в полном блеске весной 1966 года, когда вместе с Косыгиным он приехал в Краснодарский край, подтянутый, энергичный, обращавший на себя внимание

улыбчивой доброжелательностью и непривычной для той категории руководителей изысканностью узкобрючного костюма...

Это было время, когда широко декларировалась коллегиальность руководства, точь-в-точь, кстати, повторявшая первые властные заходы Никиты Сергеевича. Тогда, «оттоптавшись» на абсолютном диктаторстве Сталина, он показательно в обнимку ездил по миру с Николаем Александровичем Булганиным, свежим Председателем Совета Министров СССР, называя его близким другом, что, кстати, не помешало вскоре с треском выгнать, сначала в Ставрополь, а потом вообще «во чисто поле».

Особенно запомнилась их поездка в Лондон, по сути дела, первое в истории официальное посещение Великобритании руководителями Советского Союза, подчеркнуто помпезное путешествие с демонстрацией непоколебимой уверенности и показательной силы.

Новые «вожди» не поехали и не полетели, а, что называется, пошли. Пошли из Ленинграда на современном крейсере «Орджоникидзе», головном судне новейшей конструкции, серия которых стремительно сходилась с крупнейших верфей страны. Это были самые мощные в мире артиллерийские корабли, один из которых можно увидеть и сейчас. Под именем «Михаил Кутузов» он стоит у новороссийского причала, как памятник возможностям Военно-морского флота советских времен. Таких за пятилетку было построено около полутора десятков.

Взрезая мутные воды Темзы, «Орджоникидзе», несмотря на стальную огромность, лихо пришвартовался на фоне Вестминстерского аббатства, вызвав уважительные аплодисменты толпы, запрудившей набережную. Англичане понимали толк в морских делах, но тут удивились многому. Само собой, приезду лидеров далекой и угрюмой страны, дружескому визиту российского боевого корабля, загрозившего четверть Темзы грозным железом, да и трапами, гостеприимно спущенными прямо в городское пространство, над которыми тут же повисло полотнище с надписью «Велкам!», то есть «Добро пожаловать!».

Любопытство пересилило осторожность, посеянную в годы холодной войны, народ попер на диковинный корабль валом. Уже на следующий день весь Лондон восторженно гудел от впечатле-



ний, главным образом, от русских моряков, каждый из которых мог украсить лучшие голливудские фильмы про отважных и великодушных корсаров. Высокие, как на подбор, сильные красавцы с прокаленными медальными лицами, в золоте флотских лент, наповал повергали сердца лондонских красавиц, вприпрыжку бежавших на гулкую палубу, где каждую встречала крепкая мужская рука. А флотские офицеры! В белоснежных кителях, безукоризненно натянутых на правую бровь фуражках, в золоте кортиков и жемчуге улыбок, да к тому же почти все говорящие по-английски, вызывали чувства, полностью очищенные от классовых предрассудков.

Великобритания, царица морей, радушно встречала русских моряков, тем более советские государственники, поселившись в роскошной резиденции, источали открытость и стремление к долгожданному миру, но при этом пушечные корабельные стволы, упёртые в серое британское небо, хотя и были затянуты в брезент, но красноречиво утверждали основной тезис советской военной доктрины:

– У нас есть что защищать и, как видите, есть чем защищать!

Пока «друзья» в сопровождении мотоциклетного эскорта суетились по британской столице, английская разведка, не теряя времени, трудилась в поте лица. Дело в том, что чуть ранее аналогичный советский крейсер «Свердлов» на Спитхедском рейде принимал участие в международных боевых стрельбах и, с первого залпа повалив мишени, победителем отправился домой. Но в сумерках при входе в Балтику налетел на «банку» и, стыдно сказать, сел на мель. Конфуз на всю Европу! Стаскивать такую махину – дело долгое, канительное и довольно позорное. Каково же было удивление выдавшего виды морского «люда», когда наутро «Свердлов» на всех парах, как ни в чем не бывало, шёл курсом на Кронштадт.

Много лет спустя секрет «счастливого» избавления стал известен: ночью командир, в отчаянии поминая Бога, душу, мать, приказал «врубить» машины на полную мощность, и, видать, Господь услышал – корабль медленно, но сам сполз на чистую воду.

То был большой секрет, но если бы даже сказали правду, никто не поверил, потому как многотысячетонную махину и с помощью полутора десятков буксиров сдвинуть было трудно.

В истории мореплавания не было подобных случаев, поэтому

лукавые британские адмиралтейцы не без логики решили, что советские крейсеры «68-бис» (так они значились в документах) имеют какие-то подруливающие устройства, взглянуть на которые очень захотелось на «близнеце» «Орджоникидзе», наудачу пришвартованном к лондонским кнехтам.

Но через пару суток общую парадную благодать вдруг омрачило известие о страшной находке в водах района Тауэра. На борт портового катера было поднято обезглавленное мужское тело, обложенное в гидрокостюм. Власти попытались инцидент замять, но пронирующие местные журналисты, дав в адмиралтействе кому надо «на лапу», пронюхали, что тело принадлежит морскому диверсанту, командору Крэбсу, известному дерзкими операциями в Александрии, на острове Крит и прочих местах, где надо было противостоять итальянским боевым пловцам.

Крэбс считался не только крупным специалистом в темных делишках, но и слыл организатором и командиром того подразделения.

Загадка была более чем странная, командор имел репутацию умелого бойца, обладавшего огромным опытом и недюжинной физической силой, а вот голову ему отделили так, словно тело было из пластилина, отрезали аккуратно, не задев даже снаряжения.

Поскольку Крэбс исчез на следующий день по приходу «Орджоникидзе», а выловили его неподалеку, то газеты стали связывать историю с русским крейсером и даже на пресс-конференции задали вопрос Хрущёву. Тот выразительно изумился, сказав, что впервые об этом слышит, и даже рассказал случай из своего детства, когда по неосторожности чуть было не утонул в ставке за околлицей родной Калиновки. Высказав соболезнование, Никита Сергеевич закрыл тему и перешёл к другой, которая, между прочим, оказалась много важнее для советской стороны.

Я веду речь о воистину эпохальных в истории нашего государства Черёмушках, безвестной подмосковной деревушке, которую через короткое время стали застраивать быстровозводимыми панельными пятиэтажками. Вот это глазастый Никита как раз и подсмотрел в Лондоне, где на окраинах ставили дома для рабочих ткацких фабрик.

Их собирали, как карточные домики, под изумлённые взгля-

ды москвичей, живущих в коммуналках, подвалах, бараках, бывших драгунских конюшнях. Люди толпами съезжались в Черёмушки, где на глазах вырастали кварталы безликих сооружений, весело сверкающих окнами, обещая москвичам новую жизнь. Она вскоре и пришла, реально разрешая, казалось бы, неразрешимый квартирный вопрос, о котором твердил ещё Булгаков. Но как пел незабвенный Володя Высоцкий: «А гадость пьют из экономии...» – это и про английские панели, где, моясь под душем, приходилось одной ногой стоять в унитазе. Вскоре острые на язык и малоблагодарные москвичи окрестили новые дома «хрущёбками». Одна радость – квартиры давали бесплатно и срок их использования обещали на двадцать пять лет. Безусловно, соврали!

«Черемушки» стремительно разбежались по всей стране, в том числе, достигли и Краснодара, где под первые «хрущёбы» отвели Дубинку. Там, над самой Кубанью, селились ещё первые «казачуры», строившие, а потом охранявшие екатеринодарский тюремный замок. Жили крепко, просторно, шапку не ломали ни перед какой властью, поэтому когда под бульдозерами затрещали вековые сады, потомки недовольно заурчали. Дядин фронтовой друг по воскресеньям приезжал к нам на шоссе Нефтяников, всегда с бутылкой самогона, и, склонив седую голову, твердил с пьяной горечью:

– Представляешь, Иваныч, это ж додуматься надо – сральник в доме!

Уже никто не помнит про ту английскую поездку, да и Никиту Сергеевича смутно, и то, главным образом, из-за «хрущёб», которые по-прежнему стоят, преодолев обещанный срок раза в три. Снесли их только там, где и начали – в Москве, и то стараниями Юрия Михайловича Лужкова. В Краснодаре они по-прежнему высятся, накапливая воистину тротильную опасность. Не дай Бог, тряхнет, как в Нефтегорске, где крохотный сахалинский городок в мгновение ока превратился в одну большую братскую могилу. Тогда, скорее всего, и вспомним...

А что касается истории с Крэбсом, то о ней в 2006 году (аккурат через пятьдесят лет) взяли вдруг и вспомнили, подтвердив, что дело таки наших рук. Новейший корабль тщательно охраняли со всех сторон, предполагая, что британские спецслужбы будут ин-

тересовать всё, в том числе и гальюнные сбросы. Что уж по обнюхиванию их можно выяснить – ведомо только им, тем, кто посылал на роковое дело отважного Крэбса. Никаких подруливающих устройств там и в помине не было, а швартовая лихость – чисто выучка экипажа. По телевизору выступал даже какой-то закамуфлированный дед, который якобы и отсек голову бедному командору, и даже показывал здоровенный нож, больше похожий на лесорубную пилу. Но специалисты этого «промысла», которых я знал ещё по советскому Севастополю, смеялись в открытую – нож подобной конструкции появился у наших боевых пловцов лет этак через пятнадцать после случившегося. А вот буйная голова Крэбса как тайно слетела с плеч, так и тайно исчезла без всякого следа. Словом, тёмная история, и чем дальше, тем темнее...

## Солнечная сторона

Давайте-ка лучше от греха и прочих мрачных коллизий вернёмся туда, с чего начали предшествующую главку, а именно – к прекрасной весенней поре 1966 года, с настёжь распахнутыми мартовскими «окнами», куда (как казалось) врывается свежий ветер перемен.

Брежнев и Косыгин в ту пору и приехали на Кубань. Хрущёв со всеми своими трескучими новациями уже прочно канул в Лету. Крайкомы и обкомы объединили, во главе Кубани поставили Григория Золотухина, переведённого из Тамбова, сурового человека, принципиального, но, по общим отзывам, справедливого. Упразднили совнархозы, Байбакова вернули в Москву, восстановили министерства. Навели партийный порядок в средствах массовой информации, для начала сняв с редакционного поста газеты «Известия» всевластного хрущёвского зятя Алексея Аджубея.

Но главное, на том «историческом» пленуме поклялись на уставе КПСС, как правоверные на Коране (не ели только землю из горшка), что никогда впредь не будут славить первого секретаря ЦК КПСС (хотя именовать его стали как в сталинские времена – генеральным) и никогда в одном лице не станут объединять высшие государственные и партийные посты.

Хрущёв, кстати, после XXII съезда КПСС на всех углах утверждал то же самое. Откуда у него появился тогда «лучший» друг Николай Булганин? Как раз в рамках этих самых обещаний, заодно собираясь прекратить, наконец, и азиатское всевластие одной личности. Но стоило Никите Сергеевичу освоиться в должности, как все обещания были привычно забыты, и «лучший друг» сразу оказался «большой ошибкой», благо подросла молотовская «антипартийная» группа, к которой Булганина удачно и подверстали.

Я уверен, Николай Александрович Булганин сегодня прочно забыт, и это неудивительно, поскольку и при большой власти он был замечен мало, но, в отличие от соратников, краснолицых и громогласных, был интеллигентен, лицом чист, с приятной мушкетерской бородкой, дамам при случае мог галантно поцеловать ручку и даже шаркнуть ножкой.

В поле зрения он попал в начале тридцатых годов, когда, директорствуя в Москве на электроламповом заводе, умудрился самую первую советскую пятилетку выполнить в два с половиной года. Судя по всему, это как раз на его изделия профессор Преображенский из «Собачьего сердца» «грешил» доктору Борменталю:

– Раньше, бывалоча, лампочки годами горели, а сейчас менять не успеваем!

Завалив столицу хилыми светильниками, Булганин сильно возвысил свой авторитет и был назначен как раз на то место, с которого нынче слетел Лужков, – председателем Моссовета, одновременно став руководителем Госбанка, сменив скромный парусиновый портфель рядового совслужащего на кожаный, хорошей английской выделки. По тем меркам, он был большой франт, никогда не расставался с одеколоном и, говорят, много сделал, чтобы советские мужчины получили массовый парфюм под названием «Шипр». Этим «Шипром» вскоре «зашипели» все парикмахерские Советского Союза. Я помню, особенно смердела им в Новороссийске гостиница «Черноморская», причём уже в семидесятые годы.

После такого успеха Николай Александрович заслужил репутацию первого щеголя страны. Приятный снаружи, непривычно обходительный изнутри, большой любитель театра (с хорошенькими актрисами, главным образом из оперетты, тесно и подолгу дру-

жил), подчеркнуто не тщеславный, исполнительный, поэтому и полетел по карьерной лестнице, как Зефир на пушистых крыльях. Во время войны (в отличие от того же Брежнева) ему сразу дали генеральское звание, а в 1947 году, неожиданно для всех, стал маршалом Советского Союза.

Заодно я хочу напомнить, что назначение у нас на пост министра обороны гражданского лица – вовсе не новации нынешних дней. Они берут начало ещё от Льва Давыдовича Троцкого. Тот, как профессиональный бунтарь и классовый убийца, долгое время вообще считался организатором Красной Армии. Булганин был вторым министром, штатским по сути, но военным только по форме, поскольку Сталин охотно переодевал, особенно после войны, руководящую элиту в мундиры. Так бывший столичный градоначальник, переобмундированный в маршала, стал министром вооружённых сил СССР, заменив на этом посту самого Сталина.

Почти то же самое в брежневские времена произошло с секретарем ЦК Устиновым, ставшим вначале министром обороны, а потом уже маршалом. Правда, в годы войны, будучи наркомом вооружения, он получил звание генерала, по-моему, полковника. Но когда он стал министром обороны, это звание ему реанимировали, а с разрывом в месяц дали генерала армии и затем сразу маршала. Чего не сделаешь для близкого соратника, если Брежнев уже абсолютный владыка...

Но Булганин, облачившись в военную форму, неожиданно-негаданно стал показывать характер, и с тех пор мундир снимал только в кровати. Надо бы подчеркнуть, что в отличие от многих генералов, толстых и пузатых, он смотрелся пристойно, да и форма ему, дамскому проказнику, шла очень-очень. Он даже выучился ездить верхом и во время праздничных парадов скакал по брусчатке Красной площади не хуже прирожденных конников Жукова и Рокоссовского.

Но когда Хрущёв его выгнал, прицепившись к тому, что тот якобы во время «молотовского» путча качнулся в сторону «антипартийной группы», то Николая Александровича вмиг разжаловали и, снова переодев в пиджачную пару, тут же забыли не только о клятвах в «вечной дружбе», но и о договоренностях не совмещать

руководящие должности. Поэтому под привычное «одобряем-с», Хрущёв в ту же минуту стал главой партии и правительства одновременно. Народ, как всегда, тупо и равнодушно молчал.

Генка Ходоркин утверждал, что лет пять спустя он видел Булганина в электричке с дачной кошёлкой в руке. Тот дожил до восьмидесяти, пытался попасть на похороны Хрущёва, но его туда не пустили. Вначале не узнали, а узнав, усадили в милицкий «Уазик» и отвезли до ближайшей к Новодевичьему монастырю станции метро. Молодой лейтенант-кагэбэшник проводил до эскалатора:

– Ступай, дедушка! Успеешь ещё на кладбище...

Никого из явных недругов Хрущёва Брежнев в своё правительство не позвал, все они (включая и Жукова) так и дожили век в забвении, но к Косыгину, особенно в первые годы своего восхождения, старался прислушиваться и прилюдно демонстрировал уважительное отношение. Тогда казалось, что разум восторжествовал и мы, наконец, покончим с любым идолопоклонством одной личности...

Весна того года забушевала без всякой увертюрной паузы – сразу и вдруг, вызывая вместо радости пробуждения тревогу и обеспокоенность. Причина была банальна и традиционна – залповое половодье. Не дожидаясь июньского зноя, тронулись кавказские ледники, мутными потоками заливая кубанскую равнину. Станицы, хутора, аулы привычно полезли на крыши. Это сегодня идут споры (в основном дилетантов) – нужно или не нужно было строить Краснодарское водохранилище, а тогда главной заботой для всех являлось одно – когда начнем?

Дело в том, что за возведение защитной дамбы брались раза три, до войны и после, но «тяму» хватило только на Тшикское и Шапсугское водохранилища и то с помощью лопаты, усиленной невиданным массовым энтузиазмом. На большее не хватало ни денег, ни техники, страна, выбиваясь из сил, залечивала послевоенные раны, а тут предстояли масштабы воистину всесоюзного размаха. По этой причине и приехали в край Брежнев и Косыгин, чтобы на месте убедиться в необходимости стройки.

Был ещё один аргумент, пока не слишком афишируемый, но весьма чувствительный и серьезный – аккумулированную воду на-

правлять на создание крупнейшего комплекса по выращиванию риса. Чувствительность объяснялась, прежде всего, тем, что неистовый Никита Сергеевич, привыкший, чтобы ему всегда и все «заглядывали в рот», серьезно и надолго «побил горшки» с Китаем, и тот в отместку прекратил нам поставки риса, сразу создав немалые сложности, особенно в детском и диетическом питании. Для снятия напряжения необходимо было искать другие рынки, а они далеко и дорого (рис – вообще, самое драгоценное зерно), поэтому, просчитав все «за» и «против», пришли к выводу, что рис надо выращивать самим, при этом «убив» сразу «двух зайцев». Впрочем, каких зайцев – медведей! Задуманное по масштабам немедленной полезности аналогов не имело.

Байбаков, уже возглавивший к этому времени Госплан страны (а уж он-то Кубань и её проблематику знал!), утверждал, что, решив эту задачу, мы не только избавим самый продуктивный сельскохозяйственный регион страны от масштабной природной напасти, но и ликвидируем продовольственную зависимость в рисе и во многом другом.

У Брежнева тогда хватало ума не с маху решать, а лично посмотреть, так ли обстоят дела, как ему докладывают. Побывав он спустя десяток лет в Афганистане, переодевшись бедуином, толкайся на кабульском базаре, осмотришь окрест, скушай тарелку плова в местной харчевне, может быть, сразу и понял, что соваться в тот «монастырь» смерти подобно.

Но Леонид Ильич образца 1966 года и он же в 1978 году – это не просто два разных человека, это диаметрально противоположные мироощущения и оценки дел и творений.

Вот «творения» его, по оценке льстивого окружения – бессмертные, всех нас как раз и подвели под тот «монастырь». По этой причине мы потом и побежали в будущее, как бараны на заклание по единственно возможной узкости, в конце которой призывно улыбался тот единственный, с неповторимо пятнистой головой и со всеми вытекающими из этой «радости» последствиями, о которых вы и без меня много знаете...

Так вот, тогда вершились только ещё «дела», и чтобы понять разницу между предлагаемым и возможным, караван машин во

главе с правительственной «Чайкой» мчится в сторону Азовского моря, в единственный тогда рисосовхоз «Красноармейский», возглавляемый легендарным и неповторимым Алексеем Исаевичем Майстренко. Генсек и предсовмина желают лично убедиться, где проходит граница между рациональной реальностью и восторженным вымыслом, поскольку речь идет о гигантских капиталовложениях, а проблемы имеются...

Оппоненты (а они в таких делах должны быть всегда, и не такие, которые сегодня в любой предвыборной дискуссии пользуются единственным ключевым словом – «говно») с цифрами в руках утверждают, что кубанский рис находится за критичной северной зоной и даже при удачном вызревании времени на уборку остается опасный минимум: первый осенний дождь – и урожай в размокших чеках уже не ухватишь, а если ухватишь, то с большим трудом и огромными расходами, в частности, на топливо и сушку зерна.

Майстренко, жестикулируя, словно на митинге, горячо и убежденно отстаивает обратное, совсем не смущаясь, что стоит перед первыми лицами государства. Вот такой он! Брежнев посмеивается, но Косыгин как гвозди вбивает – задает конкретные вопросы: какова среднегодовая урожайность в течение пятилетия, себестоимость центнера зерна, гарантированные сроки уборочных работ, вероятные риски от болезней и непогоды, необходимое количество ядохимикатов на гектар, уровень требуемой механизации, наличие возможности массовой подготовки кадров, их ресурсы на месте и прочее в том же духе.

Восторженные оды эмоционального Майстренко глава правительства быстро опустил в лаконичную прозу, поручив тут же посчитать соотношение «дебета с кредитом». Получалось что-то не так уж восторженно, но итог все-таки подвел Брежнев:

– Ты, Алексей, не журишь! Деньги народные считать надо, хотя мы понимаем, что рядом с производством такого масштаба формируется совсем иная социальная обстановка, прежде всего, вырастает другой человек – умелый, энергичный, с достоинством и, если хочешь, запросами. Мы вон сегодня пароходы за рисом к экватору гоняем и видим, как он тому крестьянину достается, – с рассвета до заката раком в воде стоит. Сорок лет прожил, и на

кладбище... А наша задача – совсем другая, и замечательно, что ты её понял раньше других, – дома просторные, клуб, как в столице, стадион – загляденье, девчата – красавицы, парни, вон какие! Небось, и кубышка не пустая?

Майстренко хмыкнул:

– Да кое-что имеется... Каждому по труду, Леонид Ильич!..

– Это верно! – ответил Брежнев. – Я посмотрел справку по вашему хозяйству – более ста человек в очередь на машины стоят...

– Так от этого слаще во рту не станет! – обиженно протянул Майстренко. – Очередь есть, а машин нету...

Тут не выдержал и рассмеялся Косыгин.

– Вот видишь, – говорит Брежнев, – ты даже не знаешь, почему тёзке твоему так весело, – и, выдержав паузу, добавил: – А потому, что недавно мы приобрели у итальянцев завод по производству малолитражных автомобилей на миллион штук в год...

Толпа рисоводов, до сего почтительно молчавшая, ахнула и загудела:

– Мильон! Япона мать!

– Да! – подтвердил Брежнев. – Миллион штук в год... Хорошая машинка, доложу я вам. «Фиат» называется. Я уже пробовал... Понравилась! Скажи, Алексей! – это уже Косыгину. Тот согласно кивнул.

Далее, как пишут в ремарках маститые драматурги: «Сцену охватывает всеобщее возбуждение. Народ ликует».

– Так что, вытряхнет скоро ваши кубышки Косыгин, – улыбаясь, продолжил Брежнев, а потом уже серьезно добавил: – Решили мы с Алексей Николаевичем ещё по пути к тебе – водохранилище будем строить. Отступать некуда, пора кончать с этим безобразием – системными наводнениями в самом плодородном регионе страны. И будем создавать на Кубани центр отечественного рисосеяния на самой передовой индустриальной основе, – генсек со значением поднял указательный палец. – Деньги народные продать – последнее дело! Ты уж не подкачай, делись опытом, показывай, как на болоте создавать райскую жизнь... Молодец, Алексей! – и Брежнев под общие аплодисменты приобнял польщенного и растроганного Майстренко.



Близостью к высшим эталонам власти Алексей Исаевич пользовался широко и умело, но всегда в интересах своего хозяйства, где создавалась не просто «сладкая жизнь» в духе трогательных советских оперетт, типа «Свадьбы с приданым», а нечто похожее на реальную сказку о поле чудес, где есть всё, а если чего нет, то, сосредоточенно пробормотав «Крекс-фекс-пекс», волшебник всегда это достанет. Тут даже спортивной школой конной ездки руководил олимпийский чемпион, а молодежь по утрам прыгала с парашютом.

Однажды Майстренко завождедел вдруг картинную галерею, да не какое-то собрание из мазни местных любителей, а настоящую, этакий филиал Русского музея в приазовских плавнях.

– А почему нет? – убеждал он членов правления. – Почему труженик должен ехать за тридевять земель, чтобы пообщаться с великими живописцами? У нас тут и Репину, и Айвазовскому будет славно...

Ну, до Репина и Айвазовского дело, по-моему, не дошло, а кое-что из современного и значимого Алексей Исаевич таки «выцыганил». Он ездил по музеям обеих столиц, спускался в запасники.

– Шо ж вы, хлопцы! – по-крестьянски без обиняков укорял музейщиков. – Болтаете о народности, а подвалы забили добром, о котором народ и не слыхивал. Ведете себя, извиняйте, как собаки на сене...

– Так вешать негде, простенков не хватает! – отбивались от натиска искусствоведы.

– Шо значит негде? – гремел гость с Кубани. – У нас в крае видели, какие просторы? Им бы эти нивы, – жест в сторону картины с насыщенным пшеничным сюжетом. – В самый раз висеть в станичной галерее, на радость и утеху хлеборобам...

Однажды кумулятивная настойчивость привела Майстренко к самому Юрию Серафимовичу Мелентьеву, министру культуры России, рафинированному интеллигенту, прошедшему такую комсомольскую выучку в столице Урала – Свердловске, что в Москве он уже в простоте единого слова не произнес. Ещё бы! Он и министр, и полнозвездный доктор наук (это ведь не нынче, где простой среднерукий мэр – и доктор, и академик всевозможный, правда, боль-

ше из раскрашенного папье-маше). А тот, безусловно, искусствовед в штатском, верный «слуга царю», строгий руководитель, подчеркнуто вылизанный от макушки личным парикмахером с «Мосфильма» до штиблет работы кудесников цехов Большого театра.

Но про кубанского казака со звездой Героя, к тому же публично обнятого генсеком, министр уже слышан, принял сразу и с уважением. Вдруг секретарша, этакая трепетная тетёрка, улавливающая по весне любые звуки, услышала, что в министерском кабинете кто-то со всхлипами плачет. Врывается, словно санитарная машина, с валидом в руке и видит ошеломляющую картину: министр, опрокинувшись на кресло, истерически хохочет, а гость невозмутимо рассказывает что-то такое, что этот хохот вызывает. Это тем более странно, поскольку самые популярные комики, иногда посещавшие сдержанного министра, как из царевны Несмеяны, и подобия полуулыбки выдавить из него не могли, а тут приступ до колик и лужа прозрачных слез во всю длину стола, за которым определялись судьбы всей российской культуры.

Оказывается, когда Майстренко изложил свою просьбу, намекнув, что в их галерее вполне может побывать «Сами понимаете Кто!», то министр, он же крупный теоретик культурологии, автор монографий и статей, решил, пользуясь случаем, поразмышлять о причинных связях, приведших к расцвету советской культуры в бывшей дремучей крестьянской стране, где только благодаря марксизму-ленинизму осуществилось, наконец, гениальное пушкинское предсказание:

*...И назовет меня всяк сущий в ней язык,  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  
Тунгус, и друг степей калмык...*

Вот он, пожалуйста, «друг степей», культурный, образованный, с запросами, опять же благодаря советской власти поднявшийся до таких вот высот духовно-эстетических потребностей. Как удачно это можно будет увязать потом на каком-нибудь идеологическом совещании, да ещё в присутствии «самых» Михаила Андреевича Суслова. И тут Мелентьев, решив углубить научную концепцию, спрашивает:

– Вот слушаю я вас, уважаемый Алексей Исаевич, и ещё раз убеждаюсь в великой силе ленинского провиденья о необходимости всеобщей образовательной политики нашей партии, – руководящего практика и ведущего теоретика привычно понесло. – Кстати, вы-то что сами заканчивали? Смею предположить, институт Красной профессуры? Не так ли?..

Майстренко крикнул, почесал темя и через длинную задумчивую паузу говорит:

– Видишь ли, у нас на хуторе всем образованием ведал отец Еремей, бабник и пьяница редкий. Его благочинный и сослал в глушь за блуд и грехопадение. Так вот он, по мере настроения, набирал детишек молитвам и грамоте учить. Как уж он там учил, один Господь ведаёт, но палка его всегда была при деле, с ней и по хутору ходил... Наконец, подошла моя пора... Стопнулись мы у плетня, ждём... Босые, на теле рубаха, перешитая матерью из мучного мешка, а под ней ничего, одна бедность. Выходит Еремей, начинает по головам считать: «Заходи, заходи, заходи...» Доходит очередь до меня, а я озорник невозможный. Знаю, что поп меня не любит, но веду себя кротко. «Ты чё приперся?» – спрашивает сквозь бороду. «Дык, учиться...» – отвечаю. Задирает он мне дручком рубаху, посмотрел и говорит: «Тебе ещё рано...» Ладно! Прихожу на следующую осень, процедура та же – задрал, взглянул, говорит: «Тебе уже поздно!..» Мне так обидно стало! Сонька, сестра моя, уже Чарскую по слогам читает, а я пень-пнем. Так вот, задумал я страшное. Вечером постучал в оконце, он бороду высунул: «Те чё, варнак!» – Майстренко вздохнул: – Задрал я уже сам рубаху и всю его пьяную рожу обоссал. Неделю потом бегал по плавням. На этом моё образование и закончилось...

Мелентьев оценил рассказ Деда (так в простонародье величали Майстренко), и появилась вскоре в поселке кубанских рисоводов знаменитая на всю страну картинная галерея...

В Горячем Ключе, на парковой скамье, мы как-то разговорились приватно с Борисом Александровичем Чепковым (он долгое время работал заместителем председателя крайисполкома), человеком мудрым, бывалым, прошедшим всю войну.

– Знаешь, Володя! – говорил он. – Кубанская станица тех

лет – это уникальное и никогда уже, к сожалению, не повторимое явление. Будь такой вся советская деревня, считай, что власть свой долг перед народом выполняла. Недавно посмотрел твой грустный фильм о развале кубанского села – поверь, хуже только война... Но там хоть враг, а тут кто?.. По крупницам народное благополучие собирали, а рассыпали сразу и в прах. Слава Богу, они хоть до этого не дожили...

Они – это те достославные герои самой первой шеренги (всех, кого я перечислил выше, включая и легендарного Деда), маршалы кубанских степных просторов, у которых ещё при жизни тыловая сволочь пыталась отнять боевые знамена. Видеть им происходящее на рубеже 90-х годов было, конечно, невозможно, а пережить, когда к созданному миллионами ринулись железные клешни цапковских банд, – тем более... Ушли в одночасье – один за другим...

Второй раз я видел Брежнева в сентябре 1974 года в Новороссийске. Он приехал вручать городу своей боевой молодости звезду Героя. Леониду Ильичу в ту пору было 68 лет. Выглядел он просто великолепно. Я думаю, это был тот миг его жизни, когда в единое сияющее чувство сошлось всё: прошлое, настоящее и будущее. Мне и сейчас кажется, что для него то были самые счастливые дни...

Он готов был обнять и город этот прекрасный, поднятый из руин, и друзей своих фронтовых, и новые поколения, с восторгом встречавшие главу государства на праздничных улицах.

Тогда казалось (а ему наверняка больше всех), что лучшее ещё впереди, и он, всесильный и всевластный, в ореоле всенародного обожания, пойдет упругими шагами к ещё более славному и величественному, возглавляя благодарные массы.

Но вы не представляете, как трудно, а в сущности – невозможно, в грохоте ритуальных барабанов услышать то, что тихим голосом говорила Золушке сказочная Фея:

– Учти, ровно в полночь исчезнет всё!

Увы, но ликующий Новороссийск стал для Брежнева той ночью, о которой наверняка пыталась предупредить его собственная Фея (у каждого из нас она есть или должна быть). Да кто же её слышит, а тем более слушает, когда оглушающе грохочут барабаны!

Ему оставалось жить восемь лет, всего восемь, мучительных, в жестоком барахтанье цепляясь за угасающую жизнь, в борьбе с непростыми личными обстоятельствами. Через полгода энергичный период жизни завершится роковой болезнью, а дальше начнется доживание, после которого (как и на предшественника) обрушится всё: тюрьма зятя, смерть дочери в психушке, одинокая старость жены, пьянство сына, циничные анекдоты эстрадных зубоскалов, ради денег готовых кого угодно хаять...

Так что давайте повторим ещё раз то, с чего начинали: вовремя уйти – это не столько уйти вовремя, сколько вовремя предвидеть последствия неухода. А они в России всегда более чем печальные...

## Глава 7

### ВО ВРЕМЕНА ОНЫЕ

*Терпеливо, как щебень бьют,  
Терпеливо, как смерти ждут,  
Терпеливо, как вести зреют,  
Терпеливо, как месть лелеют...*

*Марина Цветаева*

Э то были времена, когда звание академика предполагало все-народный авторитет, но двигаться к нему надо было, как на Джомолунгму, не пропуская не единой промежуточной вершины, каждая из которых опасна и труднодоступна.

Но, думаю, «грызть» заоблачный гранит все-таки полегче, чем проникать в тайны Вселенной, нередко огражденные воистину смертельными рисками. Подчеркну, доблестная советская наука всегда являлась, как бы это поточнее выразиться, – страхонасыщенной. Не случайно многие светлые умы нашего отечества прошли через одно из самых жутких изобретений имперского социализма – «шарашку». Этот термин не имеет перевода, как, впрочем, не имеет и аналогов в мировой практике.

Согласитесь, трудно представить Резерфорда с кайлом в каменоломнях Верхней Англии, а вот не менее великого Ландау увидеть на Колыме, где пребывал не менее значимый Королев – пожалуйста, сколько угодно. Не упади тогда в ноги Сталину сверхнужный Родине Пётр Капица – быть бы полному тёзке Троцкого, Льву Давыдовичу Ландау, погребенным в вечной мерзлоте со

всей его теорией сверхпроводимости, на которой нынче выстроена вся атомная энергетика...

## Мичуринец районного масштаба

Удивительная вещь – большевизм, не жалея денег на продвижение фундаментальных отраслей науки, редко жаловал самих учёных, понуждая их соединять несоединимое. Например, «упаковывать» законы природы в пропагандистские догмы классовых теорий.

Ярче всего это проявилось в биологии, поскольку держава наша, по крупному счёту, всегда пребывала в полуголодном состоянии, и слово «паёк» (иногда «пайка») – исключительно нашего, российского порождения.

Долгие годы именно продовольственный паёк регулировал отношения власти с народом и был показателем места гражданина в обществе. Одному – лечебное питание и большое брюхо в просторных штанах, а большинству – карточная система и голодные обмороки с перспективой дистрофии. Стремление решить проблему сытости за счет «большого скачка», то есть ветвистой пшеницы, суходольного риса, продвижения кукурузы до границ ягеля, распашки североказахстанских пустынь и прочего такого же, привело в биологию ловких проходимцев, обещавших за одну пятилетку накормить страну «от пуза», да ещё усадить за наш «стол» «братьев по классу». «Братья», скажу я вам, у нас всегда были из тех, у кого одни штаны на семерых, поэтому к 240 миллионам своих ртов надо добавлять столько же ещё более голодных и яростно прожорливых.

Продимцы (особенно наши) всегда крайне убедительны. Они никогда не размышляют: «Я думаю...», они всегда безапелляционно гвоздят: «Я уверен...» Самым уверенным оказался некий Трофим Денисович Лысенко, щуплый агроном из-под Белой Церкви, скромный до такой степени, что демонстративно долго ходил в столовую Академии наук в сатиновой косоворотке, подпоясанной кучерским кушаком. Горынычем дуя на раскаленный борщ, подпирал ложку ржаной горбушкой, густо натертой чесноком. Вначале такой незаметный, услужливый, что даже великий естествоиспытатель

Николай Иванович Вавилов, пригласивший мичуринца районного масштаба в Москву, не угадал в нем не только разрушителя отечественной селекции, но и собственного могильщика.

Научный оптимизм Вавилова, подкрепленный исследованиями в области бурно развивающейся генетики, ещё в 1920 году, когда тень свирепого голода накрыла Поволжье, Украину, да и Кубань, вызвал восхищенную сенсацию на Всероссийском селекционном съезде, проходившем в Саратове. Его доклад «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости» потряс слушателей глубиной и силой аргументации до такой степени, что делегаты шлют телеграмму наркому просвещения Луначарскому, подчеркивая, что «теория эта представляется крупнейшим событием мировой биологической науки, соответствуя открытиям Менделеева в химии, открывая самые широкие перспективы для практики».

Однако можно только поражаться пересечению зловещих, присущих только классовому обществу закономерностей, когда через двадцать два года из того же Саратова номерной зек местной спецтюрьмы, царапая грубую бумагу карандашным огрызком, пишет из одиночки смертников в ту же Москву и тоже наркому.

*«Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович! 6 августа 1940 года я был арестован и направлен во внутреннюю тюрьму НКВД в Москву, а 9 июля 1941 года решением военной коллегии Верховного суда СССР приговорён к высшей мере наказания. 1 августа 1941 года, то есть три недели после приговора, мне было объявлено в Бутырской тюрьме, что вами возбуждено ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР об отмене приговора по моему делу и что мне будет дарована жизнь. Впоследствии было заявлено, что мне будет предоставлена возможность научной работы как академику. Но через три часа после этой беседы, 15 августа 1941 года, я был этапом направлен в Саратов в тюрьму № 1, где снова помещён в камеру смертников. Сейчас тяжело болею цингой... Перед арестом я заканчивал большой многолетний труд "Борьба с болезнями растений путем внедрения устойчивых сортов", незаконченными остались "Полевые культуры СССР", "Мировые ресурсы сортов зерновых культур и их использование в советской селекции", "Растениеводство Кавказа", большая книга*

*“Очаги земледелия пяти континентов” (результат моих путешествий по Азии, Европе, Африке, Северной и Южной Америке за 25 лет). Мне 54 года, имея большой опыт и знания, в особенности в области растениеводства, владея свободно главнейшими европейскими языками, я был счастлив отдать себя полностью Родине, умереть за полезной работой для моей страны. Будучи физически и морально достаточно крепким, я был бы рад в труднейшие годы для моей Родины быть использованным для обороны страны по моей специальности, как растениевод, в деле увеличения растительного продовольствия и технического сырья... Умоляю вас о смягчении моей участи...»*

И подпись – член Академии наук СССР, вице-президент сельскохозяйственной академии имени Ленина, директор Всесоюзного института растениеводства и института генетики Николай Вавилов.

Не забудьте – идет второй месяц войны, враг штурмует Смоленск, подходит к Вязьме...

Берия участь смягчил и заменил немедленный расстрел 20 годами каторги, и то только потому, что получил известие об избрании Вавилова членом Лондонского королевского общества естествоиспытателей (СССР тогда вступил с Британией в союзнические отношения, неудобно вроде сэра ставить к стене). Но чья-то подлая рука режим содержания оставила прежний, и могучий мужчина, свободно проходивший по полю десятки вёрст, умирает в старости от истощения и цинги.

Великий ученый, мечтавший накормить досыта весь мир, скончался от голода в самый разгар войны, 26 января 1943 года. Сегодня известно одно – погребен Вавилов в одной из братских могил Воскресенского кладбища Саратова без креста и даже чернильной дощечки. Какие кресты, какие дощечки, когда безвестных арестантов всякое утро хоронили сотнями! На волжские берега тогда и переместилась машина уничтожения своих...

А вот выдвиженец Вавилова – Лысенко – процветал, и в этой зловещей закономерности содержалось столько завистливой подлости, что надолго превратило судьбы многих выдающихся людей в откровенно мученические...

## Молодец, Трохим!

Ко времени кончины Вавилова Лысенко уже крепенько встал на ноги. Он обещает засыпать страну зерном и залить молоком, и по этой причине (словно в издевательство) назначается на место Вавилова – директором института генетики Академии наук СССР, избирается «вечным» депутатом Верховного Совета СССР (двадцать четыре года подряд), а к концу войны уже и Герой Соцтруда. Но главное – он один из немногих, кого Сталин воспринимает с редким доверием. А как иначе, ведь он единственный, кто твёрдо сулит в ближайшее время довести число зёрен в одном колосе до двухсот сорока вместо шестидесяти ныне.

Сталин, лично контролирующий продовольственные ресурсы страны, клюнул на удочку, тем более когда Трофим Денисович «окрасил» обещания детективным сюжетом о вредителях, мечтающих заморить социализм голодом. Берия мгновенно принял сторожевую «стойку». «Народный академик» (так восторженные газеты наименовали Лысенко) тут же дал понять, что «враги народа» прикрываются псевдонаучной демагогией, стараются оторвать советскую селекцию от мичуринского учения, завести её в дебри буржуазного «менделизма».

– Кто такой Мендель? – вознесся худющие длани, страстно восклицал Трофим, эксплуатируя образ махрового крестьянского происхождения. Да уж, действительно, проще не придумаешь – сам из глухой полтавской Карловки, выросший среди кизяков, подсолнухов, кукурузы, глиняных корчаг на плетне да огромных лопухов в лягушачьем ставке, сохранив от детства впечатления, как, обливаясь сладкими соплями, ловко «насобачился» колоть кавуны об острую коленку.

А уж когда Лысенко поведал Сталину, кто таков Мендель, то сомнений в Политбюро никаких не осталось – безусловный враг социалистической науки, ставленик буржуазии, и к тому же служитель культа, монах из Брно, скрецаивающий от религиозной скуки белых мышей с серыми. Сталин монахов терпеть не мог, в СССР их не было и быть не могло. Поэтому на Менделя (родоначальника теории наследственности) и его последователей сразу постави-



ли жирный крест. В связи с этим Лысенко получил редчайшее право лично докладывать вождю об успехах марксистско-ленинской селекции, очищенной, наконец, от скверны менделизма и генетики — лженауки и «публичной девки» капитализма.

До сих пор утверждают, что «лысенковщина» — одно из худших порождений сталинизма. Но как не странно это звучит, возвышению Трофима Денисовича более всех способствовал именно Николай Иванович Вавилов, точнее, его всеобъемлющая доброта и наивная доверчивость. Прослышав как-то об энергичном агрономе с Украины, он посылает в Белую Церковь своего сотрудника Николая Иванова. Возвратившись, тот докладывает, что Лысенко действительно энергичен, скорее способен, чем образован, но крайне самолюбив — от любого замечания белеет до обморока. Вавилов, к сожалению, эти впечатления пропускает мимо внимания, считая, что в серьезной научной среде провинциальный исследователь быстро встанет в общий строй, поймет, что главное — не обещание результата, а сам результат, нередко, к сожалению, не тот, которого ждёшь.

То, что Лысенко выдвинулся и к 35 годам стал академиком ВАСХНИЛ, — заслуга прежде всего Вавилова, а уже дальше он «помчался своими ногами», попав в сферу внимания Сталина, когда на первом же совещании в присутствии вождя, понёс «по кочкам» менделистов-морганистов, предупредив, что если по указке буржуазии мы станем «просить милостей у природы», то будем вечно перебиваться с хлеба на воду. Сталин захлопал в ладоши и, приподнявшись, сказал:

— Маладэц, Трохым!

Зал ответил бурной и продолжительной овацией.

Генетики в СССР вскоре поняли, что наступили тяжкие времена, однако ещё не предполагая насколько. Николай Петрович Дубинин, ведущий советский генетик, учёный с мировым именем, впоследствии вспоминал, что «черные дни» к советской биологической науке вплотную подошли в конце 1946 года, когда Лысенко попытался его, Дубинина, «провалить» на выборах в члены-корреспонденты Академии наук СССР. Легко так взбежал на трибуну общего собрания и, разбрызгивая слюну, привычно визгливо, с

малороссийскими интонациями зачитал заявление, в котором были слова, вполне соответствующие приговору трибунальной «тройки»:

*«...Дубинин не имеет никаких реальных заслуг ни в области биологической теории, ни в области практики. В то же время Дубинин является вожаком антимичуринской группы генетиков, представляя в нашей генетической науке идеологию консервативных и даже реакционно настроенных в идеологическом отношении зарубежных биологов...»*

Самое удивительное заключалось в том, что убийственные лысенковские «посылы» и грозные намёки на академиков должно-го воздействия не возымели, и Дубинина, в конечном итоге, избрали, что только усугубило отношение власти к классической генетике и подтолкнуло «лысенковщину» на более активные меры.

Ни Дубинин, ни общее собрание Академии наук не ведали (да и знать не могли), что после той сессии Лысенко принял Сталин. Его привёл туда Хрущёв, который до конца дней поддерживал «Трохыма», поскольку и сам был сколь невежественен, столь и нахрапист. Во время разговора в кабинет тихо вошёл Берия и полтора часа просидел молча, что-то коротко «чиркая» на листочке бумаги. Через три дня — новая встреча там же, в компании тех же, но в дополнение приглашены член политбюро Маленков, курирующий науку, и заместитель министра обороны Булганин, отвечающий тогда за продовольственное обеспечение армии.

Через час, выслушав страстную тираду «о молочных реках в кисельных берегах» (если, конечно, враги мешать не будут), Лысенко с тёплыми рукопожатиями отпустили, пообещав всяческую поддержку. Сталин потом ещё с полчаса «накачивал» соратников, рассуждая о важности борьбы с «менделистами-морганистами», определив их как опасных сектантов-раскольников в живом сообществе советских учёных, упомянув при этом об ошибочной позиции своего зятя, Юрия Жданова, занимавшего в то время пост заведующего отделом науки ЦК ВКП(б).

В отличие от отца, убеждённого партийца, готового во имя интересов пролетариата ломать кости кому угодно, Юрий Андреевич получил прекрасное образование в абсолютно нейтральной к лю-

бой политической ориентации области – химии. Он хорошо сознавал, что дорога, на которую тянет страну Лысенко, ведёт в тупик, никакие «ветвистости» у злаковых природа не потерпит, и посчитал своим долгом предупредить об этом руководство государства.

Юрий написал обстоятельную записку в ЦК, которая тут же была доложена Сталину. Я думаю, что от серьёзных неприятностей его защитило то, что он был всё-таки сыном Жданова, мужем дочери вождя – Светланы, самым молодым, а отсюда – малоопытным заведующим отделом ЦК. На это и списали, но от должности, тем не менее, освободили, а позже отправили в Ростов-на-Дону, где он прожил до конца дней, долгие годы будучи ректором местного университета.

Как-то уже в 90-е годы я присутствовал на каком-то юбилейном мероприятии донской телерадиокомпании. Кресло рядом оказалось свободным, и подошедший старичок, невысокого роста, в просторном, довольно мятом костюме, учтиво испросил разрешения его занять. Каково же было моё удивление, когда на сцену пригласили Юрия Андреевича Жданова, и им оказался тот самый учтивый старик, что сидел рядом со мной, человек, первый набравшийся мужества публично сказать, что Лысенко – не более чем проходимец...

## Аспидные времена

Но именно тогда для классической генетики наступили по-настоящему «аспидные» времена, завершившиеся трагически знаменитой августовской сессией ВАСХНИЛ 1948 года. Сессию готовили в глубокой тайне, да и понятно почему – всю работу по ней контролировал лично Лаврентий. Итоги собрания были большевистски жестки и трибунально радикальны:

*«Сессия ВАСХНИЛ вскрыла реакционную, антинародную сущность вейсманистско-морганистского мендельского направления в биологической науке, разоблачила его конкретных носителей. Академия наук СССР не только не приняла участия в борьбе против реакционного буржуазного направления в биологической науке, но фактически оказывала поддержку представителям формально-*

*генетической лженауки. Считая необходимым очистить дорогу для развития идей Т.Д. Лысенко, президиум Академии постановляет уволить академиков Орбели и Шмальгаузена»...*

Ну и, конечно, Дубинина в первую голову...

Николай Петрович узнал об этом на железнодорожном вокзале города Горького (ныне Нижний Новгород), где после возвращения из дальней экспедиции по реке Белой коротал время в ожидании поезда на Москву. На дворе стоял изумительный августовский вечер, с волжской «стрелки» доносились дальние пароходные гудки.

Так покойно и уютно наступает, когда летняя жара уже окрашивается прохладой близкой осени, а в теле и на душе разливается приятная усталость от сознания хорошо выполненного дела. Остановившись перед газетной витриной, Дубинин стал просматривать свежие «Известия», и вдруг по глазам ударил жирный заголовок передовицы – «Разгром антинародного учения в биологии».

«Кусая губы так, что выступила кровь, я прочёл эту статью от первого до последнего слова. Как будто-то земля разверзлась у меня под ногами, сердце наполнилось нестерпимо щемящей болью...» – писал впоследствии Николай Петрович.

Откуда Дубинину было знать (тем более тогда), что все формулировки отредактированы лично Сталиным. За трое суток до начала сессии он снова принимает в Кремле Лысенко. На этот раз разговор тянется за полночь – ни одному советскому учёному вождь никогда не уделяет столько внимания. Вот и эта встреча проходит в доверительном формате с полным поощрением действий «Трохыма», ещё больше разогревая его неистовость. На следующий день у Сталина начинается отпуск, и аж до декабря. Как всегда, он собирается провести его в Сочи. Тепло прощается с Лысенко, отечески советует тоже хорошенько отдохнуть, не забывая, однако, напомнить, что «враг не дремлет».

– Он только меняет личину. Запомните это! – наставляет вождь окрылённого «Трохыма». Окрылённого настолько, что поверженные генетики сломя голову разбегаются куда глаза глядят, в поля, в леса, хорошо понимая, что когда формулировки постановления сессии переключат в прокурорские дела, бежать будет поздно.

Дубинин надолго переквалифицировался в орнитолога, и вплоть до смерти вождя бродит глухими среднерусскими опушками с птичьими клетками под мышкой, оббегая столицу дальней дорогой, а его соратник Михаил Иванович Хаджинов бежит на Кубань, укрывшись от взора НКВД на межрайонной кукурузной станции...

Торжество проходимцев рано или поздно заканчивается, но обязательно с большой потерей для народа и государства. Так было и в тот раз. Страна по-прежнему собирала недопустимо низкие урожаи, с пропагандистским шумом обсуждая вечную проблему хлеба насущного на бесчисленных расширенных активах и пленумах ЦК.

С приходом к власти Хрущёва «шум» усилился, но надо сказать, что и практическое внимание к селекционной науке существенно возросло. На Кубани, в «жемчужине России», как восторженно однажды поименовал её Дмитрий Полянский, коротко правивший краем, были созданы крупные научно-исследовательские институты сельскохозяйственного назначения, прежде всего, зерновых отраслей. Отношение к генетике несколько изменилось в лучшую сторону, хотя Никита Сергеевич привычно «дурковал» (потом это назовут малопонятным словом «волюнтаризм»; у нас как хреново – так газеты успокаивают народ малопонятными терминами), но друга «Трохыма» в одиночестве не оставил и, по-прежнему веря в чудеса, снова избрал (правда, ненадолго) президентом Всесоюзной сельхозакадемии.

Однако мировая научная неприязнь к сей фигуре была столь сильна, что в конце концов Трофим Денисович был снят со всех должностей и укрылся в своей подмосковной вотчине – совхозе «Белая дача», куда со всего света везли экскурсантов, чтобы показать две диковинки – самого Лысенко и невероятных коров, с жирностью молока на уровне сливок. Но, как потом выяснилось, к селекции это никакого отношения не имело. Просто «бурёнок» кормили бисквитным ломом, который грузовиками доставляли с кондитерской фабрики «Красный Октябрь».

«Сладкая жизнь» «Трохыма» завершилась с уходом его главного покровителя, но выдающегося «мичуринца» ещё долго с ико-

той вспоминали, всякий раз недоумённо разводя руками – как такое в век прорыва в космос стало возможно?

Именно подобным образом прореагировал однажды на мой вопрос Михаил Иванович Хаджинов, замечательный учёный и поразительной скромности человек. Он жил в центре Краснодара и почти всегда ходил по городу пешком. Как-то я встретил его в аптеке при спецполиклинике, что на улице Октябрьской. Проплывавшая мимо по коридору главврач Ганзурова в ужасе всплеснула руками и попыталась чуть ли не за рукав вытащить академика и Героя Соцтруда из очереди – он же имел беспрепятственное право! И вдруг иронично-спокойный Михаил Иванович ошетинился, как ёж, а когда очередь, дружно заахав, почтительно расступилась, резко повернулся и ушёл прочь, негодуя скрипя калошами и сердито бурча что-то под нос. На имперски величественную Ганзурову жалко было смотреть.

И уж совсем уникальный факт, а по нынешним временам – просто немыслимый – будучи учёным с мировым именем, Хаджинов отказался баллотироваться в действительные члены Академии наук СССР, мотивируя тем, что ему туда ещё рано. Так и не согласился, как ни уговаривали...

## Эх, Ваня!

На Кубани тогда работали три богатыря советской селекционной науки – Хаджинов, Пустовойт и Лукьяненко. Их слава воистину была безмерной, особенно когда весной 1966 года Брежнев и Косыгин приехали в край, чтобы, в числе прочего, определить возможности и перспективы «жемчужины России», именовав её, правда, поскромнее – «житницей страны».

Тогда лидеры государства отметили особые заслуги кубанских селекционеров в повышении урожайности стратегически важных сельхозкультур: кукурузы, подсолнечника и пшеницы.

Все трое были страшные скромники, но если Хаджинов отделялся от журналистов шуточками, то Лукьяненко был угрюмо нелюдим (во всяком случае, таким казался). Первенствовал среди них, безусловно, Василий Степанович Пустовойт. Во-первых, он

был много старше, научную деятельность начинал ещё при самодеятельности, организовав в дальних полях за Екатеринодаром опытные делянки под названием «Круглик».

Надо подчеркнуть, что вся селекционно-исследовательская работа на Кубани с «Круглика» и начиналась, и была она со старта достаточно успешной, потому что (и это будет во-вторых) Пустовойт никогда не вступал в дискуссии, особенно околонуточные, а вот бродить в одиночестве в глубине огромных подсолнухов мог часами. Рассказывают, в молодости он был стройным кудрявым парнем, большим ценителем «гарных дивчин», удивительно гармонично совмещавшим увлечение ими и наукой. Однако это не помешало отправить его на несколько лет в ссылку, по-моему, в Казахстан, но, слава Богу, живым вернулся.

Он обладал воистину дьявольским даром предвидения, успешно реализуемым как в первом, так и во втором случаях. Никогда не афишируя своей приверженности Менделю, тем не менее одним из первых успешно оперирует законами классической генетики и достигает поразительных результатов, год от года стабильно повышая маслянистость семян подсолнечника.

Судя по всему, Лысенко его недолюбливал, несмотря на очевидные успехи, в академию ВАСХНИЛ «допустил» только в возрасте 70 лет. Зато впоследствии дождь поощрений обрушился на Василия Степановича, как щедрый майский ливень с раскатами радостного грома. Словно во искупление, минуя звание «членкора», его под продолжительные аплодисменты сразу избирают в академики Академии наук СССР, дают вторую звезду Героя и Ленинскую премию впридачу, а главное, принимают в партию по ходатайству самого Хрущёва без прохождения кандидатского стажа. Я полагаю, это был первый и последний «новобранец» КПСС столь почтенного возраста – почти 80 лет!

Словно спохватившись, что чего-то не успеют добавить, партия и правительство не жалеют благостей в адрес великого селекционера, сумевшего достичь поразительной маслянистости подсолнечника. Эти достижения были жизненно важны, потому как страна испытывала острый дефицит жиров, а тут во всяком продуктовом магазине появились батареи бутылок с растительным маслом, абсолютно до-

ступным для человека с любым достатком. Я думаю, это был один из немногих продуктов, включая хлеб, картошку и соль, в шестидесятые годы имевшихся всегда и везде, от Камчатки до Балтики.

Любимая еда нашей студенческой юности – горячая картошка «в мундире», блюдо с подсолненным растительным маслом и хрустящая французская булочка за шесть копеек. А если ещё и чай с избытком сахара, то праздник души и тела обеспечен. Невиданное дело – сортами кубанского селекционера была засеяна половина послевоенной Европы. По этой причине имя Василия Пустовойта звучало в ту пору так же часто, как сегодня – эстрадных идиолов. Однако сам Василий Степанович, в отличие от красочных и пронзительных, как языческие шаманы, нынешних «звёзд», был скромнее до такой степени, что заставить его нацепить золотые звёзды на пиджак, даже для парадной юбилейной фотографии, оказалось делом совершенно невозможным. Мне рассказывал Олег Галушко, известный в ту пору фотокорреспондент «Известий», что Иван Васильевич Калашников, секретарь крайкома по сельскому хозяйству, вручая Пустовойту очередной орден Ленина, решил подчеркнуть значимость события торжественной фразой:

– Вот, Василий Степанович, шестой орден тебе вешаю!

И вдруг юбиляр, воровато оглянувшись, озорно блеснул очками и, заговорщически подмигнув, сказал:

– Эх, Ваня, если б ты повесил мне новый... – и, наклонившись к уху, поведал то, что заставило Ивана Васильевича оглушительно хохотать, сломав всю торжественную чопорность ритуала.

Калашников вообще был человек нетипичный для профессионального партийца – широкий, открытый, умница бесконечный, любил шутки, песни, особенно кубанские. Я помню, однажды где-то под Темрюком, в передовом приазовском хозяйстве, вручал он животноводам правительственные награды. Ну, а после сел со всеми за праздничный стол. Пели, плясали, да так, что какая-то доярка орден потеряла. Плакала в голос, размазывая по широкому лицу чернильные слёзы. Искали в сумерках все, на коленках ползая по притоптанной траве, Иван Васильевич – в том числе. Что вы думаете – нашли и от этой радости гулеванили ещё до утра...



## Хлебный батька

А вот масштабность фигуры Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, с моей точки зрения, ещё более возвеличивает трагичность его личной судьбы – смерть малолетнего сына и долгая тяжкая болезнь жены. Сын, совсем мальчик, погиб в день освобождения Краснодара. Пацаны увидели на улице мужиков в советской форме и кинулись к ним с ликованием, а те оказались провокаторами и негодяями. Расстреляли детей и бросили их тела в Кубань. Мать всю жизнь так и не смогла оправиться от горя.

Литераторы, эксплуатируя некую загадочность совпадений в фактах рождения и смерти нашего великого земляка (родился в пшеничном поле под станицей Ивановской, а через 72 года скончался неподалёку, и тоже в поле, в одиночестве упав прямо на созревшие колосья), видели в этом пересечении чуть ли не Божье провидение в определении предназначения человеческой судьбы. Что и говорить, эффектный ход, но не это всё-таки определило жизненную и профессиональную судьбу одного из крупнейших селекционеров XX века.

Уже идёт пятое десятилетие, как его нет, а я отчётливо вижу суровое лицо без всякой мимики, огромную фигуру и большие, по-крестьянски грубо вылепленные руки. Вблизи я видел его только однажды, на пресс-конференции, которая проходила на студии телевидения. Вдохновителем и организатором её стал отдел пропаганды и агитации крайкома партии. Это было первое и последнее выступление Лукьяненко по телевидению – он всегда чурался любой публичности. Незадолго до этого на широкое поле выпустили «аврору» и «кавказ», новые сорта пшеницы, которые в первую жатву дали сверхвысокие урожаи. В связи с этим поднялась волна неумных восторгов, в том числе и на той пресс-конференции.

Я думаю, в каждом партийном пропагандисте всегда сидел маленький «Трохим», желавший выдавать желаемое за действительное. Уже потом стало известно, что Лукьяненко, в сущности, понудили «гнать лошадей», заставив отдать малоиспытанные сорта в массовое производство. В результате, уже на следующий год начались проблемы, всходы схватила «ржавчина», проявились какие-

то другие болезни. Это был серьёзный удар по престижу академика, тут же зашевелились завистники, недруги. Трескуны, организовавшие пиар-компанию с вечным лозунгом – «догнать и перегнать», вмиг забыли, что именно Лукьяненко был тем подвижником, что вывел для послевоенной страны, ещё не имевшей необходимых средств защиты растений, самый стойкий к отрицательным воздействиям, максимально урожайный для технических, производственных и агрономических возможностей того времени сорт под названием «безостая-один». Миллионы гектаров, засеянные ею, дали народу почувствовать вкус настоящего пшеничного хлеба, понять после страшных голодх, что такое на каждом столе хлебное довольствие.

Сегодня об этом уже никто не помнит, но ведь через десять лет после отмены карточной системы во всех столовых страны хлеб стали подавать свободно – ешь сколько хочешь! Да-да, практически бесплатно! Такое было до тех пор, пока мы не стали хамски и варварски обращаться с самым драгоценным продуктом питания – разбрасывать его, кормить скот, вываливать грудями на помойку.

Бесплатную подачу отменили, но всё равно хлеб стоил копейки. То, что через две пятилетки после войны, хлебный вопрос в стране был, в основном, решён, – огромная заслуга советских селекционеров, и первым в этом списке стоит имя Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, столетие которого, к сожалению, даже на его родине прошло незаметно. Что делать, забывчивость – наш удел!

Летом 1967 года в Краснодар к Лукьяненко приехал Дубинин. Время было знаменательное – страна готовилась к 50-летию советской власти. Для Николая Петровича жизнь резко поменяла очертания, ярко засияв протуберанцами официального признания. И было отчего! Он стал ведущим в мире специалистом в области космической генетики, обосновал и разработал проблемы этапности в процессах мутации. По его рекомендациям космонавты поливают на орбите всходы злаковых культур, изучая возможности космических «огородов» с повышенной частотой урожайности.

Без всяких препятствий на этот раз он становится действительным членом Академии наук СССР, директором Всесоюзного института общей генетики, почти сразу после этого получает Ленин-



скую премию, за то, кстати, за что двадцать лет назад прятался по лесам. И как торжествующий итог – Дубинина, наконец, принимают в партию. Понятно, что большинство гонимых генетиков являлись беспартийными, брежневский ЦК решил, что негоже выдающимся учёным стоять в стороне от направляющей и руководящей. По этой причине заодно приняли и Лукьяненко, кажется, ещё кого-то, всех без прохождения кандидатского стажа. Спешку можно понять – не дай Бог, кандидат откинет ноги, не дождавшись «звёздного часа»! Ведь партийцам этого призыва было хорошо под семьдесят, а Пустовойту (как я уже сказал) – вообще восемьдесят...

## Я видел Ленина!

Вот в этом блистательном обрамлении Николай Петрович приехал к «хлебному батьке», как уважительно величает кубанская пресса Павла Пантелеймоновича. Я работал в ту пору телерепортёром, и Борис Яковлевич Верткин, наш главный редактор, отрядил меня освещать то событие, наказав, чтобы я непременно взял интервью у академика Дубинина.

Бориса Яковлевича в меньшей степени интересовали проблемы генетики (он просто ничего не понимал в них, а я – уж тем более). Однако сильно «ушибленный» подготовкой к юбилею советской власти, Вёрткин где-то вычитал, что Дубинин встречался с Лениным. Сей факт затмевал в ту пору все иные человеческие достоинства, а если ещё перекинулся парой слов с вождём революции – считай, уже соратник.

– Когда ж он успел? – легкомысленно усомнился я. – Ему в те годы лет десять было...

Борис Яковлевич поджал губы, он не терпел, если ломали восторженные пропагандистские конструкции, особенно возведённые лично им.

– Вот вы его об этом и расспросите! – строго назидал он меня, заранее предвкушая очередной поучительный рассказ в собственном исполнении о великих ленинских делах. С этим напутствием я и поехал...

По золотистому полю белоснежным уступом двигалась боль-

шая группа солидных людей, все как один в нейлоновых рубашках. Это было сильно круто – такие рубашки можно было достать только в закрытых распределителях крайпотребсоюза по большому благу, а проще – у спекулянтов на «толчке». Один Лукьяненко, несмотря на жару, одет в тёмную пиджачную пару, на голове старомодная соломенная шляпа. Он хмуро молчал, а пояснения давал молодой человек, очевидно, помощник. Из столичных гостей выделялся крупный мужчина в чёрных очках на властном лице. Начальствующим баритоном он задавал вопросы и после каждого ответа многозначительно хмыкал:

– Ну-ну...

Я решил, что это и есть Дубинин, и загрустил – уж больно грозен показался мне академик. Но, по счастью, ошибся! Хорошенькая барышня из окружения селекционеров на мой вопрошающий шёпот так же шёпотом ответила, что властный мужчина – замминистра, а Дубинин вон, в заднем ряду, маленький и кругленький. У меня камень с души – я побаивался людей из власти (да и сейчас боюсь). Уже не помню, как мне это удалось (по-моему, с помощью той же барышни), но Николай Петрович охотно согласился дать интервью краевому телевидению, с доброй улыбкой терпеливо наблюдая за нашей суетой между микрофонными проводами и настройкой громоздкой кинокамеры.

– Ленина? – переспросил он. – Да, видел, правда, не знал, что это Ленин. Я ведь сирота из беспризорников... В десять лет сбежал из умирающей от голода деревни, добрался до Самары, жил при базаре. Потом угодил в облаву, оказался в детском распределителе. Там меня научили выживать, как бы сегодня сказали, в экстремальных условиях, в том числе и с поножовщиной. С первым теплом в стае таких же укатил в Москву – две недели на крышах, в тамбуре, собачьем ящике, зарывшись в уголь. Так стал москвичом... Всё ищу место своего первого обитания, знаю, что где-то в районе Лубянской площади, а где – никак не соображу. Помню огромный котёл в глухом подвале. Туда и милиция боялась соваться, крыс полно. Мы их из котла, как из-за крепостной стены, обломками кирпичей бомбили. Я довольно успешный был «стрелок», – Дубинин рассмеялся, у него были удивительные гла-

за, лучистые, ироничные и в то же время очень доброжелательные. – Так вот, Ленин... Однажды вылезли мы из своего убежища, а по улице идут люди со знамёнами и музыкой. Было это в девятнадцатом году, мне уже полных двенадцать лет. Читал я кое-как, а вот курил основательно, матом мог, да и кастетом при случае... Мы побежали на Красную площадь, народу там было полно. Внимание наше привлекла редкость – огромная легковая машина. Несколько пацанов, в том числе и я подобрался к ней, уж больно диковинна была – открытая, большая. Какие-то люди в кожанках хотели нас прогнать, однако делали это столь зычно, что человек, сидящий в машине, оглянулся и сказал чтобы нас не трогали. После чего мы устроились рядом и с любопытством смотрели на проходящие колонны. Оказывается, праздновали Первое мая, а человек в машине был Ленин. Самое интересное, – продолжал Дубинин, – я узнал недавно: оказывается, есть снимок Ленина в этой машине, а позади пристроились два пацана. Один из них я...

Дубинин и не ведал, что при подготовке многосерийного фильма к 50-летию Октябрьской революции под названием «Летопись полувека» проделана кропотливая работа по выяснению, кто же эти подростки. Журналист Михаил Лещинский, взявшийся за это дело, показал снимок генералу Лобачёву, бывшему московскому беспризорнику, а тот посоветовал обратиться к Чайванову, когда-то секретарю комиссии ВЧК по борьбе с беспризорностью. Он был глубокий старик, но многое помнил, а самое главное, знал. Взглянув на снимок, он посоветовал Лещинскому найти академика Дубинина.

– По-моему, это Колька! – сказал Чайванов и не ошибся.

– Помнил, сколько я у него крови попил... И вот ко мне на Бауманскую года три назад приходит сей журналист, – продолжает Дубинин, – показывает фотографию и спрашивает: «Посмотрите, Николай Петрович, вот этот пацан поменьше – не вы ли?» Я был потрясён, это казалось невозможным! Лещинский сфотографировал меня несколько раз и ушёл, а через месяц сообщил, что криминалисты подтвердили – мальчик на снимке и я – одно лицо. Вот так я встречался с Лениным, если вас это устроит, – Дубинин снова весело рассмеялся и быстрым шагом поспешил догонять своих коллег.

Потом по телевизору показывали этот фильм. Диктор торжественно вещает:

*«Вот это наши дети, будущие учёные, завоеватели космоса, сталевары, артисты – словом, те, кто создал нынешний день. Первого мая 1919 года на Красной площади кинооператор снимал Владимира Ильича. В это время машину Ленина окружили вездесущие беспризорники. Физиономии двух ребят довольно ясно видны. Интересно узнать их судьбы, хотя бы вот этого, старшего? Зовут его Иван Фёдорович Крюков. Судьба беспризорника интересна тем, что обычна для людей того поколения. Комсомолец 20-х годов, моряк-черноморец, потом строитель, сейчас работает в Бурятии. Ну а второй, который выглядывает из-за плеча Ленина – ныне академик Николай Петрович Дубинин...»*

Скажу больше, меня эта история удивляет сегодня сильнее, чем тогда. Большинство крупных отечественных селекционеров родом из бедных деревенских семей, где выше всего ценился хлеб, но за счастье почиталось другое – образованность. Как бы мы нынче не относились к советской власти, но именно в этих слоях общества она черпала лучшие умы.

Система образования была построена не только всеохватно, но максимально привлекательно. В короткие сроки она дала стране тысячи людей, на талант которых оперлась не только молодая советская наука, но и стремительно развивающиеся техника, искусство, литература, армия, наконец.

Большинство советских маршалов родовыми корнями из такой глухомани, что название ей «Чёрная грязь» – самое подходящее (мать маршала Жукова оттуда, из деревни Чёрная грязь).

Советская система народного образования сумела поднять «целину» такой урожайности, что попасть из «грязи в князи» считалось явлением обычным и мало кого удивляло. Например, родители нынешнего ректора крупнейшего вуза страны – МГУ, блистательного с любой стороны академика Садовниченко, были людьми неграмотными и глубоко деревенскими. Идём в другую сторону – в катунские дебри Алтая. Приехавший оттуда в столицу Василий Макарович Шукшин поначалу если и удивлял чем-то в элитарном

ВГИКе, то только кирзовыми сапогами и матросским бушлатом, в котором мужественно преодолевал студёные московские зимы.

Или тот же Лукьяненко, проспавший младенчество в снопах, заботливо укрытый от солнца лопухами. Или другой наш земляк, выдающийся полиглот Анатолий Овсянников, родом из станицы Красноармейской (ныне Полтавская), семилетним подпаском изучивший свой первый язык – немецкий, а закончивший жизнь политобозревателем Центрального телевидения, личным переводчиком Брежнева на Всемирном Хельсинском форуме, с великолепным знанием тридцати (а может, и больше) иностранных языков...

Увы, сегодня на телевизионном «небосводе» иные звёзды, повадками напоминающие поддатых буфетчиков из вагона-ресторана. Страна уже давно не внемлет волшебному слову блистательного Ираклия Андроникова, а, вытянув от нетерпения шею, пытается угадать слово в обмен на мясорубку. Поэтому даже я не знаю, кто у нас нынче в «хлебной столице» России лучший селекционер, чем занимается и есть ли он вообще...

## Глава 8

### ПОД ЛУЧЕЗАРНЫМ НЕБОСКЛОНОМ

*Портретов Ленина не видно:  
Похожих не было и нет.  
Века уж дорисуют, видно,  
Недорисованный портрет...*

*Николай Полетаев. 1923 г.*

**М**оё поколение появлялось на свет под образами Ленина, и потому даже в роддоме, блуждая бессмысленным, замутнённым взглядом по забеленным стенам, ты уже натыкался на иконообразный портрет кудрявого мальчика, ласковым взглядом встречавшего каждого, кому выпало родиться в стране, которую он придумал.

По мнению родителей – мне сильно повезло, и поэтому я подозреваю, что имя своё получил в честь того мальчугана, как, впрочем, в те времена каждый третий младенец становился Владимиром, хотя лично меня долгое время называли вполне дурацким дворовым именем – Вован.

Но под портретом того «Вовы» мы росли, выросли, умнели, мужали, старели, сидели, лысели, глупели и даже умирали, но он ни на минуту никого не выпускал из поля своего пристального внимания, на все случаи имея мудрые поучения, как сделать нашу жизнь похожей на его. Сам Владимир Владимирович (тот, который Маяковский) однажды громовым голосом заорал на всю страну:

– Я себя под Лениным чищу!

Тогда тем более непонятно – почему пулю в лоб пустил? Я имею в виду опять того же Маяковского...

Но если честно, наше поколение воспринимало Ленина безо всяких условий – для одних он был добрый дедушка, для других – верный друг, но для всех – гениальный вождь и проницательный учитель. Вот и для академика Дубинина, несмотря на безусловное первопроходство в конкретной и очень важной науке, Ленин всегда оставался безусловно путеводной звездой...

## Человек с ружьём

В те времена все диссертации начинались с крылатых высказываний классиков марксизма-ленинизма по вопросу, который лежал в центре данного диссертационного исследования. Считалось, что если вы изучаете даже морфологию серых мышей, то делать это надо непременно с позиций марксистско-ленинской диалектики, и только тогда путь к познанию зловредной сущности этих тварей (как, впрочем, и всех других) будем максимально гладким и успешным. И чем быстрее в ворохе ленинских высказываний вы разыщите хотя бы одно упоминание о мышах, тем аргументированнее будут ваши доказательства их антинародной, а значит – и классово враждебной сущности, а отсюда обеспечена беспроblemная научная успешность.

Это, кстати, в полной мере касалось и академика Дубинина, который к Ленину относился весьма уважительно, и не только потому, что однажды попал вместе с ним на один фотографический снимок, а потому что никогда не подвергал сомнению ленинскую диалектику противостояния бедных богатым, предрекавших последним «геенну огненную», и не только на том свете.

В пору моего студенчества встречи с людьми, которым посчастливилось видеть, а уж тем более слышать Ленина, считались событием, определяющим всю твою будущую жизнь. К нам, студентам Уральского университета, однажды приезжала даже сама Фотиева, секретарь Ленина. Это была мышиного цвета старуха, с табачным голосом и сияющим орденом на отглаженной груди. Она с восторженным придыханием вспоминала что-то такое, что я, убей, не помню.

Зато хорошо помню встречу с кандидатом исторических наук (так он был представлен) Андреем Яковлевичем Свердловым, сыном председателя ВЦИК Якова Михайловича Свердлова. По личному указанию отца и была расстреляна царская семья, и имя Свердлова носил город, где я учился и где в ту же пору на загородной стройке прорабствовал другой зловещий разрушитель – Борис Ельцин, главный «могильщик» всего, что было связано с именем Свердлова (и Ленина тоже). Но это так, к слову о парадоксальности исторических пересечений сюжетных линий в нашем беспокойном отечестве.

Сын Свердлова на той встрече много чего говорил про своего заслуженного папашу и несколько раз упоминал при этом имя Павла Малькова. Тогда только-только вышла его книга под названием «Записки коменданта Кремля», приоткрыв некоторые тайные частности, что скрывались за крепостными стенами, отделявшими первое народное правительство от самого народа, от которого можно было ожидать чего угодно (я имею в виду и народ, и его правительство). Меняются эпохи, уходят общественные формации, но главное верховенство страны все равно сидит за непрошибаемыми кремлёвскими стенами. Там ему, вроде, поспокойнее...

Тайны в изложении Малькова выглядели, безусловно, восторженно и победительно разжигали яркие нимбы над головами вождей революции, главным образом, конечно, над Лениным (ну и Свердлову тоже кое-что перепало), тогдашних премьера (Председателя Совета народных комиссаров) и президента (Председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета), и заметьте – ещё никаких генсеков.

В отличие от нынешних «студизов», мы были ребята читающие, и поэтому на Свердлова-сына сразу посыпались вопросы. Прежде всего – встречал ли он книгу Малькова, который впервые публично признал факт расстрела Фанни Каплан, причём лично им? Андрей Яковлевич весело рассмеялся:

– Что значит встречал? Я писал её...

Дело в том, что в течение многих лет по стране блуждали слухи, что Фанни жива, Ленин якобы её простил. Появлялись даже люди, которые видели Каплан в разных лагерях. Мать моего

друга детства, Владьки Соболева, рассказывала, что она вместе с ней работала в лагерном пищеблоке где-то в Тюменской области, где сидела сама во время войны за мелкие хищения, чтобы прокормить детей. Что делать, у нас всегда много самозванцев, даже в такой малопочтенной сфере!

Так вот, Павел Мальков с помощью того же Свердлова написал буквально следующее:

*«Было 4 часа дня 3 сентября 1918 года. Возмездие свершилось. Приговор был исполнен. Исполнил его я, член партии большевиков, матрос Балтийского флота, комендант Московского Кремля Павел Дмитриевич Мальков – собственноручно. И если бы история повторилась, если бы вновь перед дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Ильича, моя рука не дрогнула бы, спуская курок, как не дрогнула она тогда...»*

Есть такой занимательный фильм времен моего детства под названием «Человек с ружьём», экранизация не менее заметной пьесы Николая Погодина, того самого, что спустя десятилетие написал сценарий картины «Весёлая ярмарка», которую лично Сталин переименовал в «Кубанские казаки».

Фильм «Человек с ружьём» – полная брехня о том времени, что пытались воссоздать на экране, но профессионально сделан великолепно – поставлен, снят, сыгран выдающимися мастерами, среди которых любимые народом актеры – Борис Тенин, Зоя Фёдорова, Марк Бернес, Николай Крючков. Даже в эпизодах ярко сверкают штучные «бриллианты» экрана и сцены: Павел Кадочников, Серафима Бирман, Николай Черкасов, Михаил Яншин, Юрий Толубеев, впоследствии все народные артисты СССР, а половина вообще Герои Социалистического Труда. Вот такое творческое «созвездие» собрал «под одной крышей» режиссер Сергей Юткевич, чтобы убедить народ (фильм-то вышел в самое «расстрельное» время – в 1938 году), что «не надо сейчас бояться человека с ружьём!».

Именно там один из самых убедительных актеров советского времени Юрий Толубеев снялся в роли балтийского матроса по имени (опять же) дядя Володя. Этакий полный революционной энер-

гии, коренастый, перекрещенный пулемётными лентами «братишка», решительный, всегда с карабином через плечо и парой бутылочных гранат за широким флотским ремнём. Вот такого, несмотря на ленинское предупреждение, надо было все-таки сильно бояться!

С Павла Малькова и «писал» свой образ Юрий Толубеев, пытаюсь, как мог, смягчить его. В жизни Мальков был ещё наступательнее и решительнее, особенно когда речь шла о классовых врагах (об этом можете судить по его впечатлениям от расстрела Фанни Ройд-Каплан, после он ещё долго пытался сжечь её тело в бочке с мазутом). Позже вспоминал не без гордости, правда о другом заметном, классово чуждом персонаже:

*«...Я запер Михаила Романова в отдельную комнату на третьем этаже Смольного и приставил надёжную охрану. Сам по несколько раз на день ходил проверять, крепко ли стерегут царского братца. Опасения Урицкого оказались напрасными. Никто из колпинских рабочих за Михаилом не являлся (Великого князя арестовали в Колпино, где он жил в ранге рядового гражданина, якобы чтобы оградить себя от гнева и возмездия местных пролетариев – В.Р.). Уверенность в том, что Советское правительство правильно решит судьбу этого отпрыска ненавистного дома Романовых, была у рабочих куда сильнее, чем стихийный гнев и ненависть...»*

Мальков не обманывал, поскольку уверенность такая была совершенно обоснованной. Уже через несколько дней, а именно 9 марта 1918 года, Ленин подписывает постановление, согласно которому «...бывшего великого князя Михаила Александровича Романова, его секретаря Николая Николаевича Джонсона, делопроизводителя Гатчинского дворца Александра Михайловича Власова и бывшего начальника Гатчинского железнодорожного жандармского управления Петра Людвиговича Знамеровского выслать в Пермскую губернию впредь до особого распоряжения...»

Распоряжение последовало, но несколько позже. Великого князя, сорокалетнего Михаила (которого после отречения царя звали на престол, но у него хватило ума отказаться), убили в Перми 13 июля 1918 года, за три дня до расстрела в Екатеринбурге старшего брата вместе со всей семьей. Все было очень похоже



на колпинскую версию – возмущенные рабочие, на этот раз якобы Мотовилихского завода, пришли ночью прямо в дом, где под надзором жил бывший князь, и беспрепятственно, несмотря на надзор, увезли за город и расстреляли, бросив тело в придорожном кустарнике.

О Малькове я вспомнил не случайно. Он оставил довольно подробное повествование о порядках, которые установились в Кремле со дня переезда советского правительства из Питера в Москву. Для начала погнали в шею монахов, которые зловещими тенями шныряли по кремлёвским закоулкам, а потом дали строгую оценку массовому увлечению винтовочной стрельбой по воронам, оседлавшим зубчатые башни. Особенно усердствовали латышские стрелки, охранявшие правительственную цитадель. Ленин, услышав пальбу и выяснив, в чём дело, выговаривал Малькову:

– У нас на фронтах не хватает боезапасов, а вы позволяете подобные развлечения! Что о нас, большевиках, подумают рабочие? Вы, товарищ Мальков, лучше организуйте уборку Кремля. Приближается Первое Мая, по вашей команде выйдем на это мероприятие и, как один, как говорится, встанем под знамёна. Ну как, батенька, решились?

Тогда, видать, и родилась идея о коммунистических субботниках, о чем стали сразу говорить, – «праздниках освобождённого труда». Идея, кстати, превосходная! Я до сих пор с теплотой вспоминаю «свои» многочисленные субботники, в которых принимал участие, когда трудом сотен, а то и тысяч людей, объединённых весенним настроением, преображалась просыпавшаяся от зимней спячки земля.

Старые краснодарцы до сих пор с гордостью вспоминают, как под руководством того же Игнатова за один субботний день перетаскивали из центра на соседнюю улицу трамвайную линию, создав тем самым прогулочную перспективу со сквером посреди и послевоенной отрадой – пивными киосками с изобилием раков, которых корзинами возили из речки Вторые Кочеты, только-только разминированной саперами после боев.

В Кремле, однако, на тех субботниках решались не только благоустроительные задачи.

Мальков утверждает, что «...Владимир Ильич терпеть не мог памятников царям, великим князьям, всяким прославленным при царе генералам. Он не раз говорил, что победивший народ должен снести всю эту мерзость, напоминающую о самодержавии. По предложению Владимира Ильича в Москве были снесены памятники Александру II в Кремле, Александру III возле храма Христа Спасителя, генералу Скобелеву...»

Особенно Мальков умилялся, как 1 мая 1918 года сносили в Кремле памятник на месте убийства великого князя Сергея Александровича:

*«...Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошёл, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом внезапно погрозил пальцем:*

*– Хорошо, батенька, всё хорошо, а вот безобразие так и не убрали. Это же нехорошо, – и указал на памятник.*

*Я сокрушенно вздохнул.*

*– Правильно, – говорю, – Владимир Ильич, не убрал. Не успел, рабочих рук не хватает.*

*– Ишь ты, нашёл причину! Так говорите, рабочих рук не хватает? Ну, для такого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как, товарищи? – обратился Владимир Ильич к окружающим. Со всех сторон его поддержали дружные голоса.*

*– Видите? А вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите верёвки.*

*Я мигом сбегал в комендатуру, принёс верёвки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник...*

*– А ну, дружно! – заодно командовал Владимир Ильич.*

*Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК и Совнаркома впряглись в верёвки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжники.*

*– Долой его с глаз, на свалку! – продолжал распоряжаться Владимир Ильич.*

*Десятки рук подхватили верёвки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду...»*

Вот так многое, что не вписывалось в идейные установки

или просто не нравилось этой, да и всякой следующей правящей кремлёвской компании, тут же «гремело» по булыжникам. Так, в бурные девяностые загремел, например, помпезный памятник самому Ленину. Смешно сказать, но однажды этот «гром» происходил на моих глазах...

## Ленин уходит из Кремля

Наступило время, когда в Кремле объявился очередной «громовержец» – Борис Ельцин. Но в том-то и состояла журналистская удача, что именно тогда в моей профессиональной жизни гармонично сошлись желания и возможности.

Я уже говорил где-то, что возможности провинциального журналиста всегда чрезвычайно ограничены, будь он даже семи пядей во лбу. Или ищи счастья в столицах, или белым и пушистым жуй травку на местных покосах и пой залиvistую осанну «жемчужине» и её правообладателям. Причём в строго разрешенной тональности, при этом всегда боясь не столько «царя», сколько «пса-ря». В псари, как правило, назначались самые злобные, с тигриным прищуром и желтыми клыками. Чуть что не так – порвёт за хозяина не задумываясь!

Отмечу, что Борис Николаевич (плох он или хорош) – первый и пока, увы, последний правитель, кто надломил эту практику, и журналистская братия, потеряв привычную узду, помчалась навстречу ветру перемен со скоростью борзых, отлавливая того «зайца», что во все времена назывался сенсацией. А в ту пору, куда ни глянь, везде сияла сенсация, то бишь скандал или потасовка. Надо ли сомневаться, что в той стае бежал и я, может, даже быстрее всех...

Более того, повезло и тем, что в ту пору меня заметил Николай Дмитриевич Егоров, тогдашний глава Краснодарского края, вскоре ставший одним из ближайших соратников Ельцина. Переехав в Москву, вначале министром, а потом руководителем президентской администрации, он быстро разобрался, что взгляд провинциальных журналистов на общероссийские проблемы может стать более свежим и интересным, чем «засахаренных» в амбициях и

удовольствиях от самих себя столичных мэтров, лениво поучающих из-за Садового кольца, как «доить корову». И когда я однажды предложил Егорову показать Кремль и Мавзолей глазами кубанского телевидения, он подумал-подумал, а потом молча поднял трубку АТС-1, украшенную ещё советским гербом. В нескольких сдержанных словах тут же решились все организационные проблемы, после чего перед нами открылись такие двери, что доживи до того мои доблестные предки (отец, дядя, тесть), орденоносные участники всех войн, немедленно отреклись бы от меня, безумца, покусившегося на святое. Особенно мой отец, Виктор Ильич Рунов, железнодорожный генерал.

Бывая на Красной площади, он всегда вставал «во фронт» перед Мавзолеем и брал под козырёк. Однажды, когда я в его присутствии попытался там закурить, резко оборвал меня, а потом не менее жёстко выговаривал за вопиющую, с его точки зрения, бестактность. Будучи как-то, ещё при Хрущёве, участником Всесоюзного совещания железнодорожников, проходившего в Большом Кремлёвском дворце, он долгие годы бережно хранил всю атрибутику – мандаты, значки, фотографии в Георгиевском зале, а самое главное – память об этом событии, искренне значимом для него, отдавшего советской железной дороге всю свою жизнь...

Так вот, иду я длинным и темным кремлевским коридором и не куда-нибудь, а прямо на квартиру Ленина. Кругом строительный разгром, битая штукатурка, обваленные стены, оголенный кирпич ещё времен Ивана Грозного. Происходит то, что в нашей стране называется всеразрушающим словом «перестройка». Борис Николаевич решил истребить даже дух коммунистический из царских покоев, и, кажется, это ему удастся.

Мы шагаем тем самым путём, что вел когда-то в кабинет Сталина. Кабинета уже нет, причём первым к этому приложил руку Хрущёв, вселившись туда после смерти вождя. Он что-то поменял, но, в принципе, сохранив как место, где решались судьбы страны. Брежнев же окончательно съехал на Старую площадь, определив там местонахождение ЦК со всеми секретарями, включая генерального. Потом в том кабинете я бывал, брал интервью у Черномырдина. Практически всё оставалось на местах, за исключени-

ем часов в виде морского штурвала. После Черномырдина, занявшего Белый дом, в кабинете какое-то время сидел Егоров в ранге руководителя администрации, но у него был кабинет и в Кремле, причём рядом с ельцинским, где я тоже бывал, но в данный момент хрустим подошвами по битой штукатурке мимо пустых дверных проёмов и наш сопровождающий по ходу дает пояснения:

– Здесь была сталинская приемная... Тут личные покои вождя... В этой комнате повесился маршал Ахромеев... – и так далее.

Слушать – слушаем, но снимать не позволяют. Разрешение у нас только на ленинскую квартиру, кабинет и Мавзолей, куда пойдем после Кремля. Наконец, по лестнице, напоминающей старый московский быт, поднимаемся на площадку, забранную стальной решеткой со следами свежей сварочной окалины. Если там, в сталинских коридорах, ещё мелькали какие-то осыпанные известью пролетарские тени, то тут уже никого не видно, стоит какая-то зловещая, опечатанная казенной печатью тишина. Наш сопровождающий отомкнул решетку, набрал на дверях шифр и распахнул дверь, за которой открывалось пространство, ещё недавно освященное памятью вождя революции...

Сразу после его смерти кабинет и квартиру перевели в музейный ранг, но пускали туда только самых-самых избранных. Это были помещения, куда со священным трепетом вводили лидеров компартий разных стран, делегатов партийных съездов, первых космонавтов перед полетом, прославленных героев... Словом, рождалась легенда о небожителе, ушедшем в вечность!

– Вы общаетесь с живым Ильичом! – торжественно начинали экскурсоводы, отобранные по особому списку. Сейчас не было никаких экскурсоводов, правда, появился какой-то пожилой, очень грустный человек в мятой шляпе и с большим портфелем в руке. Он ходил следом за нами, с нескрываемым осуждением наблюдал за съёмочной суетой, время от времени тихо пререкаясь с нашим сопровождающим.

– Поймите, – бурчал себе под нос, – это же вопиющее варварство. Свалили всё в кучу, куда-то дели Брэма. Почему надо постельные принадлежности вязать в узлы? Это же бесценные экспонаты. И кто эти люди, что снимают? Кто разрешил?

– Александр Николаевич, – так же тихо отвечал наш сопровождающий, – мы же с вами обо всём переговорили. Вы зря сюда ходите, терзаете себя и других. Музей перевозят в Горки, и приказано это сделать в максимально сжатые сроки. Здесь будут служебные помещения... Не волнуйтесь, ничего не потеряется, ничего не исчезнет...

– Как не исчезнет? – продолжал возмущаться человек с портфелем. – Когда уже исчезло... Я же вижу, – он поднял с пола старую книгу. – Господи, это же Плеханов с пометками Ильича... Ужас какой-то!

– Бывший директор музея, – прямо в ухо пояснил мне наш благодетель. – Переживает старик... Понять можно, лет сорок служил тут, а сейчас всего лишился... Впрочем, пенсионер давно... Не пропадёт...

– Да ничего я не лишился! – старик, как привидение, появился вдруг из-за какого-то угла. – Просто сердце вы мне вынули...

Бывшим директором оказался человек по фамилии Шефов. Узнав, что съёмочная группа из Краснодара, он изумился так, словно в спальне обнаружил сидящую на пустой кровати сетке Надежду Константиновну Крупскую.

– При чем здесь Краснодар? Почему Краснодар? Владимир Ильич там сроду не бывал... – возмущенно бурчал он, не глядя на меня. Но в конце концов, отметив нашу кроткость, сменил гнев на милость и даже кое-что рассказал.

Квартира и служебные помещения, в сущности, смыкались в единое пространство, так что на службу Ленин ходил из двери в дверь, особенно в тот кабинет, что часто показывали в кино и по телевизору, где в почтительных позах замирали те, кому выпало счастье прикоснуться вплотную к ленинской легенде. Затаив дыхание, отфильтрованные люди внимали рассказам о человеке, возведенном в ранг Бога, восхищенным взглядом прикасаясь к священной атрибутике, которая в ту пору выполняла миссию много выше, чем пояс Богородицы.

Увы, но сейчас священные реликвии (стол, кресла, книги, настольная лампа и все прочее), с которых десятилетиями сдували пылинки, были небрежно накрыты складской парусиной и покорно

ждали невесёлой участи. На Шефова жалко было смотреть. Он снял шляпу, потоптался, а потом, показав на соседнюю дверь, сказал:

– Там зал, где проходили заседания политбюро...

Из знаменитого кабинета, с просторной географической картой на стене, на которой Ленин карандашом почему-то обвел Адыгею, написав – Черкесия, мы перешли в менее известный широкой публике зал, с огромным столом посередине и длинной вереницей стульев вокруг. На самом видном месте висел портрет Свердлова.

– Здесь Яков Михайлович сообщил Ленину о расстреле царской семьи, – Шефов показал место, где сидел Владимир Ильич и откуда вошёл Свердлов. – Ещё при Хрущёве тут продолжало собираться политбюро. Насиженное место... – директор посмотрел исподлобья и через длинную паузу добавил: – Берию тут арестовали...

Я сразу представил июньский день 1953 года, молодежный лагерь под Ревдой, где мы с местными ребятами из соседнего поселка на вытоптанном до глинобитности поле рубились в футбол, выясняя не только спортивные отношения. И вдруг в перерыве кто-то из них, как бы между прочим, сказал, что арестовали Берию.

Наш воспитатель Лев Львович Рыльских, бывший летчик-штурмовик, завершивший свою войну тем, что чудом посадил под Кенигсбергом измочаленный самолёт раздробленными руками (после чего одну кисть ему ампутировали), враз окаменел лицом и хриплым голосом, не предвещающим ничего хорошего, спросил:

– Ты откуда это взял?

– По радио утром передавали... – ответил пацан.

– Сам слышал? – ещё более жестко повторил вопрос Львович.

– Да не-е, мамка сказала... – пацан на глазах стал тухнуть от жесткой тональности вопроса.

– Ты бы меньше болтал! – в голосе нашего добряка Львовича зазвучали незнакомые нотки. Он повернулся и быстро пошёл к лагерным строениям. Но через несколько минут так же быстро вернулся, сел на скамью и, чиркнув культей по коробку спичек, закурил, и только через долгую паузу сказал то, что много лет спустя повторил милиционер Манков в фильме «Холодное лето 53-го», выдохнув вместе с дымом из самых глубин грудной клетки:

– Все правда... Разоблачен и выведен...

Короткое силовое барахтание маршалов с обнаженным оружием вокруг стола, опершись на который, сейчас стою я, в тот день (кстати, совсем и не холодный) стало ступорным ошеломлением для всей двухсотпятидесятимиллионной страны. Кто тогда знал, что начинался грандиозный демонтаж сталинской системы, за которую наш Львович и миллионы таких же без раздумий отдавали руки, ноги, головы, души...

От всего этого зрелища – мрачного орехового шпона, массивных дверей с литой бронзой на месте ручек, портрета председателя ВЦИК с изучающим взглядом профессионального иезуита, шеренг одинаковых стульев – до сих пор исходила аура совсем не музейного свойства, будто по-прежнему в ожидании тайного выноса убиенного тела. Сколько их вытащили из-под кремлевских куполов – не счесть!

Лаврентия тут не прикончили, хотя возможность такая оговаривалась, но как политическую личность уничтожили без всякого остатка. Закатав в ковер из соседней комнаты, притоптанный нетерпеливыми сапогами генеральской «группы захвата», таившейся до поры условного сигнала, полумертвого, уписанного прямо в штаны сатрапа, в днище булганинского, похожего на катафалк «ЗИ-Са», вывезли в подвалы гарнизонной гауптвахты. Там и расстреляли, причём, действительно, холодной ночью того же 53-го, за неделю до нового, 54-го года.

В пространстве, где я брожу, стиснутом метровой толщины стенами, решались дела и похлеще – судьбы миллионов, часто посылаемых на массовую гибель во имя политических химер. Увы, по количеству павших от насильственного воздействия у нас в конкурентах один-единственный – «красный кхмер» Пол Пот, тот, что перебил половину Кампучии.

Такова плата за «светлое будущее», которое предначертал человек, кого Герберт Уэллс назвал «великим мечтателем», полдня отсидев с ним в беседе в том самом кабинете, что накрыт сейчас пыльной попоной... Ею и накрылось в одночасье всё, о чем говорилось, писалось, пелось, думалось и мечталось семь десятков лет. Мы все были «мечтателями», даже не допуская мысли, что может быть как-то иначе...

*...Солнце майское, светлее  
С неба синего свети,  
Чтоб до вышки Мавзолея  
Нашу радость донести.*

*Чтобы ярче заблистали  
Наши лозунги побед,  
Чтобы руку поднял Сталин,  
Посылая нам привет!*

Так звонкоголосо пели мы, школьники Железнодорожного района города Свердловска (ныне снова Екатеринбурга), кумачовыми потоками топая на Первомайскую демонстрацию к гранитной трибуне на площади Революции пятого года.

Мы шли от вокзала улицей имени Свердлова, потом подымались каменной мостовой на взгорье по улице Карла Либкнехта. С левой стороны у нас оставалось знаменитое дворцовое поместье горнозаводчика Расторгуева, отданное уральской пионерии, а с правой – Ипатьевский дом, последнее прибежище царской семьи.

Да плевать нам, юной поросли лучшей страны в мире, на царя и его приспешников, когда «лозунги наших побед» от края до края заполняли пролетарский город в густом обрамлении заводских труб, когда со всякого угла несло громоизвергающе:

*Кипучая, могучая,  
Никем непобедимая,  
Страна моя, Москва моя –  
Ты самая любимая!*

А сейчас вот в самом центре «любимой», в мрачной темноте кремлевских склепов с тусклой лампочкой под потолком, уже стаскан до кучи ленинский скарб. К окованному медью сундуку, срубленному из сибирской лиственницы, привезенному ещё из шушенской ссылки, вплотную придвинута пишущая машинка из ленинской приёмной. Тот самый «Ундревуд», на котором Фотиева по вечерам печатала генсеку секретные спецдонесения о семейных бедах Предсовнаркома и особенностях его быта. Двумя пальцами я совершаю святотатство – осторожно приподнимаю краешек

изломанного, протертого до дыр клеенчатого чехла – тускло блеснули костяные кнопки ещё с ятями...

Лидия Александровна лет шесть, до самой кончины Ильича, считалась личным секретарем, а после его смерти поднялась до уровня душеприказчика, по совету ЦК объезжая страну с рассказами о нерушимой дружбе, о великой преемственности соратников, об отеческой любви Ленина к Сталину, верному продолжателю дела «основателя первого в мире социалистического государства», как говорилось и писалось на плакатах и лозунгах, развешенных по всей стране.

Безусловно, это было сплошное враньё. Ленин к Сталину относился как к редкому хаму, а Крупская его смертельно боялась, но молчала, поскольку преемник ее мужа и новый вождь однажды прямо заявил, что если она будет возражать против оценок и действий сталинского ЦК, то покойному Владимиру Ильичу «подберут другую жену» – Стасову, например, крупную носатую тетку с щучьим взглядом партийного контролёра.

Вскоре, измотанная базедовой болезнью, вдова умерла, оставив на всех портретах испуганно-укоряющий взгляд. Фотиева, напротив, изо всех сил старалась сотворить «лучезарный образ» той «любви», вплетая серебряные нити в героико-романтическую легенду, которую на всех языках славили с утра до вечера поэты и песенники. Я хорошо помню, как в классе четвертом самозабвенно читал стихи столетнего казахского сказителя Джамбула, который, вскинув синюю бороду, монотонно, под однострунную бандуру тянул на всю державу:

*На дубу зелёном,  
Да над тем простором,  
Два сокола ясных  
Вели разговоры.  
Первый сокол – Ленин,  
Второй сокол – Сталин...*

И так до бесконечности.

Фотиеву за плодотворную деятельность по созданию ленинских легенд щедро привечали и Сталин, и Хрущёв, и особенно Брежнев.



По сути, не занимаясь ничем, кроме воспроизводства «воспоминаний», мемориальная старушенция в образе этакой Арины Родионовны ленинского «домашнего очага» только орденов Ленина на-получала четыре штуки, трижды была делегатом партийных съездов (кстати, всех антисталинских – 22-го, 23-го и 24-го), в полном благополучии прожив длинную жизнь (95 лет), «сложив крылья» аж в 1975-м, в год начала брежневского маразма.

Говорят, в конце жизни Леонид Ильич бывал тут, подолгу сидел в ленинском кресле и даже иногда плакал. Ильич II был самый сердечный наш руководитель – никого не расстрелял, никого не утопил, не удушил ночью подушкой и не отравил за «товарищеским» ужином, и уж абсолютно точно – не был жмотом и эгоистом. За время его правления правоспособным гражданам СССР было выдано наградных знаков, всяческих почетных званий и прочей сверкающей мишуры раз в пять больше, чем Сталиным и Хрущёвым вместе взятыми.

Вот и Фотиевой из пяти её орденов три дал Брежнев, и золотую звезду Героя Соцтруда впридачу: «Бери, не жалко!» Право же, хороший был человек, душевный, особенно на фоне прочих персонажей. Просто в силу генетической противности настоящую добродетель мы оценить не в состоянии...

Я думаю, люди, которые в мрачных узилищах русских царей замыслили свой собственный Вифлеем, рассчитывали, что объявление символов новой святости укрепит и возвысит веру в светлое грядущее, что просеянные через дуршлаги чекисткой селекции на чистых и нечистых счастливы, кои сподобились прикоснуться к ленинским предметам, разнесут по белу свету слухи об исцелении народов от несправедливости правящих угнетателей. Но я был бы абсолютно неправ, если стал утверждать, что это не удалось.

Но вот сейчас, повязанное в узлы и сваленное в коробки из-под ксероксов, всё это потерявшее всякую ценность «вчера-нее богатство» ждёт грузовика, чтобы быть отправленным на свалку истории. Выглядит очень грустно, но, согласитесь, как во всякой утопии, закономерно...

Ни во что обездоленные и нищие не верят с такой просветленной убежденностью, как в очевидно несбыточное. На примере

с ленинскими идеями это видно отчётливо. Никакие предметы религиозной атрибутики, никакие очереди к поясам Богородицы и в сравнение не идут с тем потоком, что несколько десятилетий безостановочно двигался к гробу «вождя революции», искренне считая, что «без Ленина в башке и нагана в руке» жить невозможно.

По счастью, любой обман (даже исторический) всегда когда-то заканчивается. Но что нехорошо – с полным разрушением всякой уважительности к памяти поколений, тех, кто, заблуждаясь искренне, прокладывал путь в «светлое будущее», не жалея ни других, ни себя тоже... Впрочем, мы вообще к любому прошлому относимся наплевательски, а уже тем более если дорываемся до власти.

Борис Николаевич, изгоняя из Кремля Михаила Сергеевича, повел себя так, словно отвоёвывал в коммунальном общежитии угол у ненавистного соседа: «Шоб духу его тут не было!» По моему разумению, это основная доминанта, что вела Ельцина по жизни. И куда она сейчас нас привела, видно даже такому «романтику», как господин Немцов, который в те времена молодым и ласковым кенгурёнком запрыгнул Борис Николаевичу прямо на колени.

Но говорят, практические мероприятия по удалению из Кремля «духов и привидений» возглавила всё-таки президентская дочурка Таня, точнее – Татьяна Борисовна, которую с первой минуты возвышения отца так почтительно стала именовать дворцовая челядь, чего до этого никогда не делала и делать не собиралась.

Кто мог подумать, что простенькая девчушка, этакая уральская «поскакушка», на радость папе-маме принятая в пионеры в том самом distinguished Свердловском дворце пионеров, что напротив «Дома особого назначения» (так фигурировал в секретных документах особняк Ипатьева), фактически станет кремлёвским «комендантом», не менее, кстати, решительным, чем матрос революционного Балтфлота, в очередной раз очищая царские покои, но уже для себя, под семью свою простецкую, с родовыми корнями от железнодорожной будки глухого уральского разъезда.

Правда, выступая на сей раз не в качестве комиссара из очередной «оптимистической трагедии», а скорее в образе горластой комендантши расхлыстанной строительной «общаги» какого-нибудь УНР с окраины дымного пролетарского города. Носилась

по этажам в распахнутой шинилле, как Чапаев в бурке, звучно командуя, куда и что выносить, главное – побыстрее! Захватчики, откуда бы они ни появились, всегда спешат. Судя по разгрому ленинского «гнездовья» и страданиям верного Шефова – действительно, очень спешат!

Но нынешняя власть в победительной суете не позаботилась, на мой взгляд, об одном и важном – каким гробам будем поклоняться? Скорее потому, что сами собираются жить вечно. При таких недостатках, безусловно, другого не дано, поэтому и стараются перетащить вчерашние «святости» на собственное подворье, тем паче, что от царского двора оно ныне почти не отличается.

И верно, в Москве тащат все, а из Кремля – в первую очередь. Сопровождающий, когда мы пожаловались на некоторую сумеречность, мешавшую снимать, сказал, что лампочки вчера свинтила какая-то свинья, видать, на сувениры.

«А что, "лампочка Ильича" в собственном сортире – совсем неплохо! – подумал я. – Эксклюзивно, так сказать! Хорошо бы ещё унитаз из Лувра и биде из Букенгема. Полита от зависти сдохнет...»

Со сталинской вешалки, описанной в десятках маршальских мемуаров, выдрали «с мясом» все меднокованные крючья ещё царской чеканки. Настольные лампы под знаменитым зелёным абажуром, что стояли во всех правительственных кабинетах, включая генсеков, я потом встречал на арбатской «горбушке». Какая-то рожа, скрытая нечесаной бородой, денег огромных просила, уверяя, что лампа со стола самого Андропова. А что, вполне возможно!

Тут недавно и вовсе произошла святотатская дикость – на Троекуровском кладбище разрыли могилу только-только похороненного маршала Ахромеева, мундир в ночной темноте с мертвого тела содрали. Ужас какой-то! Вот, оказывается, как возвращается знаменитый ленинский призыв – «Ташите верёвки!»...

Пока эти и подобные нехорошие мысли я грел в своей шалой башке, сопровождающий нас человек, появившись неожиданно в очередном пустом проёме (двери уже унесли, может быть прямо на Рублёвку – тоже не хило!), прошептал заговорщически:

– Ребятки! Поспешать надо, нас на втором объекте ждут...

## Закулисье

Второй объект – это Мавзолей, а шепчет, скорее, чтобы не услышал Шефов, который серой тенью продолжает мелькать в кремлевской квартире, по-моему, единственный, кто переживает искренне и бесконечно, бормоча что-то про себя. Я его понимаю, жизнь прошла в этих стенах, где каждая брошюрка, всякий крючок, каждая лампочка считались национальной святыней. И на тебе – «монголы» снова топчут, да ещё в сопровождении телевидения, да из неведомого никому Краснодара, который в столице нередко путают с Красноярском.

Директор музея немного оттаял и даже рассказал, что после кончины Сталина был назначен по совместительству руководителем «Ближней дачи» в Кунцево, где скончался вождь. Там тоже решили создать музейные покои. Но вскоре Хрущёв, накручивая себя антисталинскими речами, приказал Сталина из Мавзолея вынести и разговоры о каком-либо музее «на Ближней», где его заставляли петь, плясать и даже есть птифур, набитые горчицей, – немедленно прекратить. Ничто не управляет нашими действиями с такой упрямой последовательностью, как личные обиды. Только срезав со сталинского кителя золотые пуговицы и опустив тело в «сыру могилу», Никита Сергеевич облегченно вздохнул, тем более на гранитном фронте Мавзолея снова засияло успокаивающее слово – Ленин. Заколотив, наконец, гробовыми гвоздями пугающее прошлое, Хрущёв почувствовал, что жизнь таки удалась!..

Так вот, идём мы сейчас тем самым путём, которым в праздничные дни шли вожди на мавзолейную трибуну. Увесистой гурьбой, не спеша, словно несли собственные портреты, двигались вдоль кремлёвской стены, вначале изнутри, а потом через потайную дверь попадали наружу, ритуально кланялись могилам предшественников, настенному колумбария с громкими именами. Кого тут только нет – и герои, и жертвы, и палачи, и люди, что клали жизни за народ, и те, кто ломал хребты тому же народу... По дороге встречаем редких охранников ФСБ, переодетых милиционерами. Нас пропускают беспрепятственно, тем более возле ухоженных могил – ни души, словно санитарный день. Одному тут ходить

не менее страшно, чем Кармадонским ущельем после схода лавин.

Наконец, мы у Мавзолея, но с обратной, обращённой к стене стороны. Спускаемся по гранитным ступеням и через неприметную дверь радикально чёрного цвета попадаем в небольшое помещение, что-то вроде ритуальных сеней. Нас встречает статный мужчина в штатском, с лицом, как бы помазанным жиром, и, как я заметил, слегка выпивший. Вид у него – словно только-только оторвали от корпоративного стола.

Так и оказалось – где-то в подземных глубинах трудовой коллектив «объекта» что-то отмечал. Мужчина оказался комендантом Мавзолея и дружеским знакомцем нашего «гида», и пока мы снимали, они на своём «птичьем» языке делились впечатлениями, в том числе от торжества, которое мы, видимо, подпортили своим вторжением.

Судя по всему, будничная, повседневная жизнь тут проистекала, как во всех государственных учреждениях, с оптимизмом и надеждой на будущее. В этом мы убедились, спустившись в помещение с надписью на дверях «Посторонним вход строго воспрещён». Со стенгазетой, понятно, под названием «Память Ильича», с активной профсоюзной жизнью, с энергичным соцсоревнованием, борьбой за звание ударников труда, с расписанием занятий в системе политехбы, графиком работы спортивных секций, с приглашением принять участие в осеннем кроссе вокруг Кремля и прочими повседневными заботами, присущими любому коллективу, включенному по инерции в соревнование в честь очередного общенародного торжества...

– Гуляют что ли? – недоуменно дохнул мне в ухо оператор Юра Архангельский, чутким носом уловив запах марочного коньяка и качественных копченостей.

– А почему нет? – тихо отреагировал я. – Не с цыганами же... Культурно...

Комендант оказался в курсе наших забот, но сразу предупредил:

– Значит так, в траурном зале на всё про всё не более пятнадцати минут...

Он достал из кармана храмовых размеров ключ и, отомкнув массивную дверь, первым шагнул в крошечную тьму...

До этого я никогда не бывал в Мавзолее (вообще ненавижу очереди в любом виде), а тут стою с открытым от изумления ртом и вижу, как на медленном огне бронзовых факелов разгораются отблески темно-красного полированного гранита и сквозь нарастающий свет проступает накрытое прозрачным колпаком лицо, такое знакомое по мириадам портретов. Гладкое, как пасхальное яичко, подчеркнуто жизнеутверждающе розовое, с аккуратной, волосок к волоску, бородкой, умиротворенное, словно покойный только что вернулся с сеанса лучшего столичного косметолога. «Косметологов» по этим и другим частям тела тут, видать, пруд пруди. Это они сейчас за стеной что-то душевно отмечают. Позже, прочитав воспоминания Збарского (главного специалиста по бальзамированию), я узнал, что в «демократические времена» у сверхсекретных хранителей тела «вождя революции» появились и иные возможности для дружеских застолий. Чуть ниже – и вы поймете откуда!

Понимая, где находимся, мы (я и оператор) стараемся, чтобы ненароком неосторожным словом, а уж тем более – действием, не нарушить траурную тишину. Мавзолей всё-таки!

Прессу сюда долгие годы даже на дух не пускали, стремясь придать новопреставленным мощам таинство святости. Это удалось! Для миллионов людей двадцатого века Мавзолей Ленина (и тут из протяжной, в семь десятков лет, песни слов не выкинешь) стал местом поклонения на грани языческого безумия. Я человек того времени и исключением не являлся...

Пишу и время от времени, отложив ручку, смотрю по телевизору, как хоронят в Пхеньяне очередного идола, возведенного в ранг Бога. Боже ж ты мой праведный, рыдают все, ползут на коленях, рвут волосы, до крови царапают лицо, бьются головой об уличные фонари, плачут со стенаниями навзрыд от маршалов до истопников. Целая страна обезумела до такой степени, что лучшие психиатры вряд ли поймут первопричину и что же надо такое сделать, чтобы двадцать три миллиона человек были отмороженными волчьими голосами, словно оказались в пустыне после термоядерного удара. Ведь люди эти не имеют ничего, кроме бывшего в употреблении катафалка, вцепившись в который, совершает первый инспекционный обход владений престолонаследник, гладкий, сытый

до нездоровой упитанности молодой человек с капризным, ничего доброго не обещающим выражением щекастого лица.

Управляет этим одно – страх, доведенный до патологически совершенного ужаса, когда духовно парализованный человек низводится до молекулярного, одноклеточного состояния, с полным отсутствием всяких индивидуальных качеств – достоинства, мыслей и чувств. Получается этакий оструганный со всех сторон, подходящий для любой печки сосновый поленообразный истукан.

Вот в этом одновременно и причина, и механизм действий, что дают возможность превращать целые народы в организованно топающие стада, причём только в ту сторону, куда укажет «любимый» вождь, не ведающий, что такое полнокровная личная судьба (чужая, понятно), без которой любой человеческий организм превращается в хворост для ритуальных государственных костров, вокруг которых греются политические фантазеры, безумцы, и негодяи в том числе...

Увы, но надо признать, что основу самых радикальных способов и механизмов осуществления завиральных идей «всеобщего равенства и братства» в мировую практику первыми заложили-таки мы. То есть, конечно, не мы с вами, дорогой читатель, а те «избранники», чьи овеществлённые следы «смывались» на моих глазах с древних кремлевских стен, правда, в очередной раз приспособлявая их (стены) под новую, на этот раз «рыночно-демократическую» реальность. Как заметил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин: «Какую бы партию мы ни создавали, всё равно получается коммунистическая». А там, сами понимаете, без вождя никак нельзя. А раз вождь, то не исключено, что скоро опять всех потянет в Мавзолей...

Когда после 21 января 1924 года явственно запахло могильным склепом, первой спохватилась вдова. Обращаясь ко всем гражданам России через «Правду», слабым голосом она пыталась докричаться:

– Товарищи! Работники и работницы! Крестьяне и крестьянки! Большая просьба к вам: не дайте печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и так

далее – всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много нищеты, неустойства в нашей стране...

Да кто же помнит о нищете и неустойстве, когда речь идет о вещах, возвышающих само государственное устройство! Ленин ещё лежал в Колонном зале, как ЦК завалили письмами, телеграммами, прочими депешами – сохранить тело вождя навечно. Телефонируют рабочие фабрик «Освобожденный труд», имени Таратуты, пишут сироты из Оренбургской губернии, приходит телеграмма от коллектива завода «Красный поставщик»:

*«В нас запала гениальная мысль – не опускать его в землю, а, построив возвышенное место на Красной площади, установить его в стеклянном гробу, заспиртованного так, чтобы настоящее столетие как мы, так и наши дети обращали бы взор на дорогого нам Ильича...»*

Им вторят московские кустари во главе с предзавкома Спиридоновым и женотделом Краюшкиной:

*«Тело глубокоуважаемого Владимира Ильича советуем похоронить на середине Красной площади, дабы каждый рабочий, крестьянин, проходя Красную Площадь, мог умственно и сердечно общаться с дорогим Ильичом...»*

Словом, уже через три дня, «идя навстречу пожеланиям трудящихся», ЦИК единогласно принимает решение: гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе...

И вот сейчас, глубоко под празднично-парадной брусчаткой Красной площади, я хожу тем самым «склепом» – производственными цехами, исследовательскими лабораториями, иду вдоль длинных трубопроводов и вентиляционных коробов, разглядываю цветные телеэкраны, усеянные символами и цифрами, наблюдаю за мерцающими лампочками во всех углах так называемого производственно-технологического комплекса.

Усопший числится объектом № 1, вокруг которого за годы советских пятилеток выстроен подземный город, практически на всю ширину площади. Понятно, что сверхсекретные обитатели его и сей-

час шарахаются от всякой публичности, хотя наверху уже болтают чёрт-те что, в том числе и о Ленине. Ни один сотрудник не пожелал на телекамеру слова молвить, не скрывая, однако, крайне отрицательного отношения ко всем поползновениям к выносу тела. Но разговоры-то идут! Вот и журналисты суют нос, расспрашивают, о чём ещё вчера думать боялись.

Я помню, каким потрясением для меня стало (если не ошибаюсь, это было лето 1988 года) выступление на съезде народных депутатов главного режиссера театра Ленком Марка Захарова с предложением выноса тела Ленина и предания его земле. Тут же в дискуссию включился Анатолий Собчак и предложил перезахоронить Владимира Ильича на Волковом кладбище в Ленинграде (по предложению того же чрезвычайно активного Собчака его переименовали в Санкт-Петербург несколько позже).

Интересно, что речь Захарова я слушал на шикарном круизном теплоходе «Русь», который шёл из Москвы в Ленинград. В тот момент мы с женой проплывали где-то между Угличем и Белозерским монастырем, а поскольку съезд подобного рода был первый и сулил ничем не ограниченную публичную говорильню, то в судовой музыкальный салон, где стоял большой телевизор, набился народ с желанием посмотреть и послушать, как будет выглядеть «свобода слова».

Сорвавшиеся «с цепи» депутаты демократического призыва несли всё и всех, пока, наконец, не добрались до «основателя». Но к этому времени слушатели, надо сказать, подустали от скандальной дискуссии и, поняв, что дальше разоблачающих пассажей дело не пойдёт, потихоньку потянулись к выходу, тем более, день был чудесный. Теплоход шёл изумительным русским севером, и пассажиры предпочли наблюдать из палубных шезлонгов речные просторы верхневолжского бассейна в обрамлении левитановских пейзажей.

В салоне осталось лишь несколько самых упорных, в том числе и я. Рядом дремал худой высокий дед в чесучовом костюме, с потёртыми орденскими планками на лацкане мягкого пиджака. Вдруг, когда заговорил Марк Захаров, он встрепенулся и, видимо, не сразу уловив суть претензий известного режиссера, стал меня расспрашивать – в чем дело?

Я, не без апломба информированного человека, стал объяснять, что тело Ленина истлело и в гробу находится восковая кукла. То есть пересказал ему суть доводов Марка Анатольевича, известного ниспровергающими речами из цикла модной тогда риторики в изложении деятелей театра и кино, объединенной общим лозунгом «Так жить нельзя!».

Дед округлил глаза:

– Откуда он взял?

– Что вы имеете в виду? – ещё не утерев апломба, спросил я.

– Вот ты ересь о Владимире Ильиче...

– Почему ересь? – удивился я, склонный доверять бунтующим творцам.

– Да потому, что я его недавно осматривал. Он в прекрасном состоянии, и с чего вдруг кукла? Глупость какая-то! – забухтел враз ошетинившийся дедушка.

Словом, «дедом» оказался академик Смольяников, крупнейший специалист в области бальзамирования и ведущий консультант как раз мавзолеевых дел. Он ещё некоторое время возмущённо «топтал» режиссеров, журналистов, писателей вместе взятых, ну и, конечно, депутатов отдельно, а потом, поднявшись во весь гвардейский рост, ушёл, топая ногами и громко хлопнув дверью.

О том, что в области бальзамирования диктаторов (на счету уже были Сталин, Чойбалсан, Димитров, Готвальд, Хо Ши Мин, ещё кое-кто) мы стали самыми авторитетными, свидетельствует тот факт, что даже северокорейцы, известные своей агрессивной неговорчивостью во всем, выбрали наших специалистов, чтобы очередному «отцу и учителю» навечно придать лучезарный облик. Тем более, что лучезарность Ким Ир Сена, отца нынешнего «отца» Ким Чен Ира, дело тоже наших рук. Я думаю, есть основания гордиться тем, что наша нынешняя рыночная востребованность не только в нефти и газе, но ещё и в таком деликатном и тонком деле, как придание титулованным покойникам, так сказать, товарного вида «выставочного качества», ибо денег на это дело никто не жалеет, в том числе и мы.

Я не знаю смету содержания Мавзолея (могу только догадываться), но то, что она много больше, чем содержание всех оте-



чественных стариковских интернатов и «домов презрения» вместе взятых, – ручаюсь, поскольку сам видел масштабное предприятие с передовым оснащением и оборудованием, ту самую спецлабораторию, научную деятельность которой в течение нескольких десятилетий возглавляли два выдающихся ученых, отец и сын Збарские – Борис Ильич и Илья Борисович (Борис – отец, Илья – сын).

Их жизнь рядом с умершим Ильичом – это драматический бестселлер с наглухо зашифрованными ситуациями и действующими лицами под секретными номерами. Все, кто так или иначе прикасался к «объекту», в случае неприятностей мог рассчитывать только на безымянную могилу в широтах Крайнего Севера. Даже великий Збарский-отец был однажды арестован и избежал смерти только благодаря тому, кого впоследствии бальзамировал, – самому Сталину.

Через сорок лет к его сыну, Илье Борисовичу Збарскому, обратился за консультацией по вопросам, связанным с сохранением тела Ленина, один учёный-историк, имевший доступ к материалам Президентского архива. В разговоре он рассказал, что встречал докладную записку Абакумова от 1949 года с предложением арестовать Збарского Бориса Ильича и Збарского Илью Борисовича за контрреволюционные разговоры. На записке, по словам историка, рукой Сталина начертано синим карандашом: «Без надёжной замены товарищей из лаборатории трогать нельзя».

В 1952 году, видимо, замену нашли, отца – Героя Социалистического Труда – посадили, а сына, орденосца, уволили. Но это вовсе не результат контрреволюционной болтовни. В то время её могли вести только сумасшедшие, а Збарские – не только блистательные биохимики, но и весьма лояльные к режиму люди. Это результат обычных межличностных интриг, присущих нашему обществу в любые времена, интриг коллег, стремившихся занять место поближе к телу... Даже к мертвому...

## Раздвоение

По приезду в Краснодар мы сделали для кубанского телевидения две передачи о Кремле и о Ленине. Не скрою, после долгого перерыва я с шумом возвращался в журналистику на греб-

не этой и других подобных сенсаций. С профессиональной точки зрения, это было очень интересное время, но лично мне оно создавало больше проблем, чем возможностей для их разрешения, в том числе и по поводу дискуссии вокруг имени, и особенно – тела Ленина. Реакция на передачи была, как сейчас говорят, неоднозначна. Многие зрители, особенно старшего поколения, осудили меня, хотя я и старался быть осторожным в оценках и в качестве экспертов привлек двух известных и уважаемых людей: писателя Виктора Логина и философа Бориса Солодкого.

Надо понять, что разочарование – это чрезвычайно сложное душевное состояние, тем более что приходит оно чаще всего тогда, когда в жизни ничего, кроме горьких чувств, не остаётся, особенно у людей, ставших участниками или свидетелями разрушения могучей державы, делу создания которой они отдали самое дорогое – свои жизни.

В качестве подтверждения этого вывода я хочу привести слова человека более чем компетентного в современной проблематике ленинской темы, в том числе и мавзольной (а она, несмотря на относительное затишье, существует как вялотекущая, но тяжёлая и неотвратимая болезнь), академика Ильи Борисовича Збарского, почерпнутые мною из его книги «Объект № 1». Он пишет:

*«Теперь оживился интерес к бальзамированию и хранению тела В.И. Ленина, и по этому поводу ко мне часто обращаются отечественные и зарубежные журналисты. Спрашивают о бальзамировании, возможности длительного сохранения тела Ленина, истории этого вопроса и почему-то о моем отношении к возможности выноса тела Ленина из мавзолея и захоронения его. У меня этот вопрос вызывает двойственное чувство: как гражданин страны я не сторонник сохранения тела Ленина в качестве объекта поклонения. Это мне кажется варварством, не принятым в цивилизованных странах, не говоря уже о том, что сама фигура Ленина мне отнюдь не симпатична. С другой стороны, довольно длительная работа в этом учреждении была ответственной, я исправно выполнял ее...»*

Увы, но раздвоение души – тоже наш удел... В конце концов, даже святости в любезном и богоспасенном российском оте-

честве произрастают сегодня из одного источника – рыночного цинизма. Тот же Збарский пишет:

*«После прекращения государственного финансирования спецлаборатории при мавзолее казалось, что ее "продукция" – бальзамирование с сохранением сходства – вряд ли найдет спрос в нашей стране. Однако начиная с 1992–1993 годов в лабораторию всё чаще стали обращаться с просьбами забальзамировать тела умерших, предлагая за это немалое вознаграждение. Число таких обращений нарастало, и при лаборатории создали дочернее коммерческое предприятие под названием "Ритуал". Этот источник доходов значительно превышал прежнее вознаграждение бальзамировщиков...»*

И далее автор указывает на источник поставки, как говорят специалисты, «рабочего материала». А при сегодняшней ситуации в стране такое «сырьё» практически неисчерпаемо:

*«Подавляющее большинство тел погибших поступают поврежденными, часто изуродованные пулевыми и (или) ножевыми ранениями, вследствие чего в задачи бальзамировщиков входят также восстановление прижизненного облика и придание открытым частям тела нормального вида, из-за чего вся процедура занимает до трёх дней...»*

Скорее всего, тот корпоратив, которому мы с Юрой чуть было не помешали, и был успешным итогом тех многотрудных, но судя по всему, продуктивных трёх дней. Мастера там, конечно, уникальные: любой покойник, простреленный, как решето, после них появляется на публике «душистой мармеладкой».

Боже праведный! Кто бы мог предвидеть или подумать, что «бессмертные ленинские методики», которые мы пхали во все мыслимые и немыслимые диссертации, продвинулись в столь неожиданную сторону, когда под крышей Мавзолея откроют похоронный лагерь и одной краской, из одной бочки и одной кистью станут мазать и вождя, и бандита – с целью сохранить то, что вдова усопшего просила не делать ни в коем случае.

Может, прислушаемся к старушке?.. Она ведь тоже не сторонний человек в этой затянувшейся до неприличия истории...

## Глава 9

### ОБЕД У ПРЕЗИДЕНТА

*Вырыта заступом яма глубокая.  
Жизнь невесёлая, жизнь одинокая,  
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,  
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая...*

*Иван Никитин, русский поэт.  
1860 г.*

Получаю телеграмму, предписывающую быть в Москве такого-то числа. Подписал первый заместитель руководителя Федеральной службы по телевидению и радиовещанию Макаев. Честно говоря, ехать не хотелось – на улице стояла размягчающая голову и тело липкая жара. В Краснодаре так часто бывает – короткие грозы с бурным дождем, потом сразу влажные испарения и снова ливень, и так неделями. Природа беснуется на всей европейской части России. К тому же дел много – приближаются президентские выборы. В студии то Жириновский, то Беляев, то Рыжков, то Зюганов, то Лахова, то ещё какие-то менее заметные, но не менее амбициозные деятели. По коридору не протолкнешься – референты, телохранители, ещё какие-то суровые люди с прицельными глазами – не студия телевидения, а Смольный перед октябрьским штурмом. Время от времени вспыхивают истерики с угрозами разобраться, естественно, со мной... Какое-то политическое движение (уже не помню какое) в качестве «флага расцветивания» привезло Федосееву-Шукшину. На

удивление, кинозвезда перед камерой, что называется, «поплыла». В прямом эфире растерялась и в отведенные десять минут лепетала нечто. Вместо страстного пламени агитации десять минут обернулись конфузом, переходящим в легкий позор. Плачущая Федосеева-Шукшина прямым ходом отправилась к главе администрации края и там, судя по всему, закатила истерику уже по полной программе. Утром звонит Евгений Михайлович Харитонов и очень мягко спрашивает:

– Нельзя ли дать Лидии Николаевне, учитывая ее заслуги в разных областях нашей жизни, ещё одну попытку обратиться к кубанцам? Исключительно в порядке эксклюзива! – добавляет деликатный Евгений Михайлович.

– Помилуйте! – говорю я. – Так ведь это не я решаю, дорогой Евгений Михайлович! – говорю что-то о жеребьевке, о минутах эфира, которые «нарезают» и делят в избирательной комиссии, как блокадный хлеб.

– Господи, да я это все знаю! – восклицает губернатор. – Ну уж как-нибудь... Да вы не волнуйтесь – она и на этот раз ничего путного не скажет!

– Вяжите меня, члены избирательной комиссии, – губернатору уступаю! Принимаем «звезду» во второй раз. Отрешенность на немолодом нервном лице, хрустящие пальцы и беспокойные глаза. На мои любезности не реагирует и, как кажется, меня даже не замечает. Я хорошо знаю эту особенность «кинозвезд» – никого, кроме деятелей своего мира, не видеть, а тем более не слышать. На этот раз рядом с Федосеевой-Шукшиной сопровождающий – заматеревший в политической грызне дядя (лицо знакомое, но фамилию не вспомню). Сели они в эфир вдвоем. Больше говорил дядя. Лидия Николаевна время от времени многозначительно вздыхала и весомо соглашалась с тем, что вещал ее телевизионный поводырь.

Расстались тепло, тем более что я, как опытный «лис», наговорил Лидии Николаевне кучу приятностей, за что был удостоен теплого взгляда, правда, беглого. В который раз вспоминаю Чехова: «...Истеричнее актера, пожалуй, только околоточный...»

## Жизнь, однако, улучшается!

Ну, Бог с ними! Вернемся к телеграмме. Ясно одно – ехать в Москву не хочу. Звоню Макавееву. Обычно Владимир Григорьевич с пониманием относится к просьбам, но на этот раз дело не выгорело. Самого его на месте не оказалось, но секретарь в приемной сказала, что быть в Москве надо, и, более того, намекнула, что ожидается дело особой важности.

Мое острое любопытство, подогретое некой загадочностью визита, она в конце концов удовлетворила. Оказывается, девять или десять председателей региональных телерадиокомпаний, в том числе и я, приглашаются на товарищескую беседу к Президенту России. Как раз накануне руководителем президентской администрации был назначен Николай Дмитриевич Егоров, бывший наш губернатор. Скорее всего по этой причине я попал в число тех, кто удостоен чести побывать у Президента – я все-таки земляк столь высоко и стремительно взлетевшего руководителя. Весь вечер фантазировал – как будет выглядеть наше общение с Президентом. Вдруг он у меня что-то спросит, а я должен ответить не только умно, но солидно. А меня в высоких кабинетах все больше сносит на испуганную скороговорку. Ох уж этот провинциальный синдром вечной зашуганности. Всегда ты ждешь, что тебя спросят: «Вот вы, да-да, именно вы, ответьте-ка нам!» – и далее с насупленными бровями. Ладно, будем надеяться, что Президент лично у меня ничего не спросит, тем более что среди приглашенных будут находиться три наших видных отраслевых златоуста, из тех, которые всегда возле или на трибуне. С этим и заснул.

Собравшись через несколько дней в Москве, мы уже почувствовали себя в некотором роде избранниками и всерьез преисполнились исключительностью предстоящего события. Валентин Валентинович Лазуткин, руководитель Всероссийской службы по телевидению и радиовещанию, взыскательно осмотрел нашу, так сказать, «партикулярность», и хотя ничего не сказал по этому поводу, но, видимо, остался ею доволен. Приглашенные (а с этого момента мы так и именовались) выглядели, чего скрывать, солидно. Несмотря на жару, облаченные в строгие костюмы темных тонов, мы

скрипели заграничной обувью и сдержанно издавали запах интеллигентных духов. Единственная наша дама, председатель небольшой северной телерадиокомпании, была «упакована» в нечто небесное с прозрачными кружевами на волнующейся груди. И это, как ни странно, тоже удовлетворило строго-сдержанного Валентина Валентиновича. Он часто бывал ТАМ и знал тонкости, которые нам знать было не дано.

Позже, когда Борис Николаевич должен был в рамках своей президентской избирательной кампании приехать на Кубань, я получил сообщение, что Президент даст Кубанскому государственному телевидению эксклюзивное интервью. Но при этом федеральной службой была высказана ненавязчивая рекомендация, чтобы интервью брала дама. Между строк этой рекомендации я уловил, что это должна быть дама непременно приятная, а ещё лучше, если она будет приятная во всех отношениях. Было отчего взяться за голову! Должен вам сказать, что в нашей профессии это задача весьма сложная. Необходимо было соединить нечто несоединимое. Умные журналистки (да простят они меня, грешного) часто несут на себе печать многих наших цеховых недостатков и даже пороков – бессонные ночи в табачном дыму, нервный тик, легкое впадение в истерику, часто усугубленное неустроенностью в быту и беспорядками в личной жизни. Внешность при этом, к сожалению, является отражением душевных страданий. Не думаю, что Президент остался бы доволен от такого общения, тем более, если бы оно притом сопровождалось вопросами, через которые умные, а от этого ещё более амбициозные журналистки обычно утверждают в жизни, типа: «Скажите, а почему Вы так несправедливы к умненькому Грише Явлинскому и откровенно потворствуете этому рыжему и противному Чубайсу?»

Степень такого «гостеприимства» я бы тотчас испытал на своей семь раз драной «шкуре». Но должен признаться, с красивыми ещё хуже. Если они и есть, то столь зациклены на своей внешности, что с трудом воспринимают всё остальное. И тогда качества внешности снижаются до уровня ума, и достоинства плавно переходят в те же недостатки, только ещё более худшие.

Ночью я перебирал в памяти персоналии, сопоставлял плюсы

и анализировал минусы, пока не решил, что лучше всего для роли президентского интервьюера подойдет Марина Калачева, наш диктор.

Ах, Марина! Красавица! Фотомодель! Талия – во! Все, что выше и ниже ее, – тоже во! Глаза, улыбка! А рост? Сто восемьдесят шесть сантиметров без каблуков. А когда каблуки? А у Марины каблуки всегда не меньше десяти сантиметров. Словом, с Мариной не страшно и на Саддама идти. Одно плоховато: добросовестно отзубрив все вопросы, Марина на каком-то этапе разговора может впасть в некое доверительное воркование и свести беседу к выяснению незначительных деталей. Что, в конце концов, и произошло с Президентом, когда Марина стала дотошно допытываться у него, какой же магазин в Краснодаре он посетил, при этом сопровождая пояснения Бориса Николаевича душевными девичьими охами.

Но в который раз убедился – красивой женщине позволено все, тем более когда она идет навстречу обстоятельствам в блестящем сочетании своего природного дара, тонкой косметики и хорошего вкуса. Марина, конечно, постаралась. Стройная фигура в великолепном белом костюме, белозубая улыбка и сияющие глаза на загорелом лице, красивая прическа, а самое главное – одного с Президентом роста. В конце интервью Борис Николаевич подписал Марине свою фотографию и даже поцеловал руку. Рассказывают, потом в самолёте вспоминал:

– Ну какие ж очаровательные барышни на Кубани!..

Однако вернемся в просторный зал ФСТР, где мы томимся в ожидании чего-то значительного. Маковеев время от времени уходит, куда-то звонит. По всему чувствуется – что-то не вяжется. Наконец приходит улыбающийся:

– Ребятки, все в порядке. Сегодня будете обедать в компании с Президентом. Он вас ждет в час дня!

Вообще любому человеку, как мне кажется, присуще преувеличивать свою значимость. И хотя я не могу сказать о себе как о фигуре чрезвычайно амбициозной, но, тем не менее, в тот момент я ощутил в душе некое высокомерное томление. Ещё бы, обедать в обществе с Президентом! Воображение почему-то стало подсовывать сюжеты из мексиканских телесериалов, где костюмная пу-

блика вкушает нечто воздушное на серебряной посуде, почти не прикасаясь к тому, что именуется пищей.

Маковеев сообщил, что автобус уже ждёт и мы едем в Дом приёмов правительства. Это где-то на Ленинских горах, там, где находится «Мосфильм». По тенистой, непривычно тихой для Москвы улице подъезжаем к большим решетчатым воротам. Почти без задержек въезжаем в уютный и небольшой парк. Вокруг цветы, стриженные газоны. По широкой мраморной лестнице поднимаемся в просторный холл, украшенный картинами и красивыми диванами.

Ощущение некой тревожной скованности нарастает, тем более что в этом довольно большом зале мы почти одни. Наконец стали появляться ещё какие-то люди. По уверенным манерам понимаем, что они здесь не впервой. Некоторых начинаем узнавать и даже раскланиваемся, тем более что большинство из пришедших выказывают нам свое расположение. Подходит улыбающийся Виталий Никитович Игнатенко, тогдашний вице-премьер. Накануне он был в Краснодаре, знакомился с состоянием дел в прессе и оставил о себе очень приятное впечатление не только глубоким пониманием предмета, но располагающей простотой общения. Тепло здороваемся с Лаптевым, председателем комитета по печати. Я помню, когда он был ещё известным спортсменом-велосипедистом. Сейчас, правда, в кряжистой увесистой фигуре мало что напоминает о его далеком велосипедном прошлом. А ведь был одним из самых сильных в стране шоссейников. Прославился, если память мне не изменяет, в многодневных гонках, которые в пятидесятые годы были очень популярны. Лаптев подводит к нам Марка Захарова, который до этого с отсутствующим видом спонялся в дальнем углу зала.

– Вот, Марк Анатольевич, это руководители региональных телерадиокомпаний! – представил нас Лаптев.

– Угу! – неопределенно промычал знаменитый режиссёр и ещё ниже опустил все углы своего лица, придав ему выражение крайнего уныния. Наша северная дама возбудилась и стала выражать свое восхищение, напирая в основном на словосочетание «гениальный талант».

– Да-а-а! – ещё более неопределённо промычал Захаров и с видом чем-то, а может, кем-то обиженного сатира удалился.

Надо сказать, что количество узнаваемого народа в зале нарастало. Вот величественно вплыла, закутанная в цветастые шали, стареющая театральная львица Элина Быстрицкая. Появился Юрий Никулин с маской гражданской простоватости. Цвет его носа веселит глаз и душу. А вот цвет лица и глубокие свисающие морщины огорчают. На голове у Никулина блином приплюснутая легкомысленная каскетка. Стремительно вбежал Гарри Каспаров. За ним, отдуваясь, как «стойловый» паровоз, движется депутат-адвокат Макаров. Сейчас он сильно похудел, а тогда природа, видимо, долго забавлялась, вылепляя из российской плоти нечто похожее на массивное японское сумо.

Неподалеку видим актера Александра Абдулова и векового Александра Маслякова. С огорчением отмечаю, что время хорошо поработало и тут. У Абдулова, кинокасаца и телегероя, на лице, как мне показалось, печать болезненной усталости, разрезанная сеткой мелких морщин. Масляков, наоборот, как рождественский фарфоровый дедушка, бело-розовый, с одуванчиком крашенных волос. Сквозь непрерывно нарастающую толпу мелькнула прилизанная голова Хазанова. Он сосредоточен, как молодой раввин перед дебютом в столичной синагоге. Здесь же вальяжный Борис Брунов с неизменной сигарой в пухлой руке. Время от времени радостные восклицания перемежаются звучными мужскими поцелуями. Так, со вкусом и чувством, целуются только в столице.

И вдруг с нарастающим гулом в зале появляется толпа людей, в которой и знаменитости, и мы растворяемся, как таблетки сахара в стакане горячей воды. Оказывается (мы потом узнали), в последний момент на обед были приглашены руководители российской провинциальной прессы, которые находились в те дни на семинаре в Москве. Где-то человек под двести.

Публика была разношерстной и в прямом смысле. Костюмы перемежались мятыми штанами, рубашками с закатанными рукавами. Попадались даже несвежие джинсы и стоптанные кроссовки. На многих лицах была выписана первородная изумлённость – оказывается, газетчикам о радости встречи с Президентом сообщили буквально за час до отъезда сюда. В толчее обнаруживаю и своих земляков, кубанцев, но почему-то не редакторов, а их заместите-



лей, причём по коммерческим и даже хозяйственным делам. Подходит Володя Войтенко из «Кубанских новостей», как всегда улыбающийся – «Видишь, где встретились!». И в это время в дальнем углу зала закрутился легкий людской водоворот. Видим – над ним возвышается серебряная голова Бориса Николаевича.

Народ кинулся туда – каждому хочется пожать руку Президенту, потом ведь дома будет масса рассказов! Борис Николаевич – само радушие. Здоровается неформально, с широкой улыбкой. Дама наша немислимым образом пробилась в первые ряды. Что-то горячо и долго говорит Президенту, вцепившись руками в огромную президентскую длань. Тот улыбается и терпеливо слушает восторженное щебетание дамы, чего не скажешь о длинной очереди, выстроившейся за президентским рукопожатием. Даму откровенно поругивают. Наконец, оторвавшись от президентской руки, с широко распахнутыми и счастливыми глазами, она устремляется в большой зал, уставленный богато сервированными столами. Знаменитости уже здесь. Они заняли ключевые подступы к президентскому столу, который расположен таким образом, что каждый может подойти к микрофону и сказать несколько слов, находясь в двух шагах от Президента.

Борис Николаевич занимает место в центре, рядом садятся Николай Дмитриевич Егоров, далее Медведев – тогдашний пресс-секретарь Президента. За президентский стол приглашают и Валентина Валентиновича Лазуткина, руководителя нашей федеральной службы.

Мы с соседом по столу с удовольствием отмечаем, что Президент выглядит хорошо. В отлично сшитом костюме, элегантный, улыбающийся, он подвинул к себе микрофон и произнес несколько приветственных слов, а затем пригласил всех к застолью, объяснив при этом, что давно мечтал вот так по-хорошему, по-доброму, по-семейному, за щедрым столом, посидеть, поговорить о жизни, обсудить предвыборные проблемы с представителями российской прессы, невзирая, как говорится, на их политическое лицо.

– Именно российской, а не столичной! – подчеркнул Борис Николаевич.

Первый тост, естественно, подняли за Президента. Должен

сказать, что стол выглядел неплохо, хотя на первое подали быстрорастворимый иностранный супец с крохотными гренками. Напитки были отечественного производства. Особо хороша была водка, мягкая, душистая, в меру охлажденная. Смотрю, журналистский корпус, преодолев первоначальную робость, стал отдавать водочке должное. Зазвенели стеклом, возвысились голоса, зарозовели лица.

– Кушайте, гости дорогие! – гудел в микрофон Борис Николаевич. – Продуктов на всех хватит.

Но водочка водочкой, а к микрофону подходить ещё робеют. Кто первый? Наконец почин делает Юрий Владимирович Никулин. Президент, видимо, благоволит ему. Засиял куда более широкой улыбкой. Свита, что рядом, тоже радостно заелозила по стульям.

Публика притихла. Что же такое сейчас выдаст Юрий Владимирович, наш народный утешитель?

– Я, Борис Николаевич, хочу вам рассказать один анекдот, который, с моей точки зрения, очень точно передает нынешнюю ситуацию, – начал Никулин, сдвинув кепку на лоб и почесывая затылок. Так сказать, сформировал образ. – Приходит один безработный мужик домой, а дома шаром покати. И решил он повеситься – кому нужна такая жизнь! Поставил табуретку, привязал к лампочке веревку, сунул голову в петлю и вдруг сверху видит, что за шкафом стоит бутылка водки, непочатая и когда-то забытая. Подумал мужик и говорит сам себе: «А что, если я перед смертью выпью стакан? Умирать будет наверняка проще!» Снял петлю, спустился с табуретки, налил стакан, выпил, занюхал рукавом и обратно громоздится на табурет. Встал, петлю натянул, а бутылка опять перед глазами. И водка в ней ещё завлекательнее поблескивает. «А не махнуть ли мне ещё стаканчик? – задает мужик вопрос. – Первый что-то не сильно меня прошиб. Видно, от волнения», – рассуждает сам с собой. Слез, выпил, обратно залез, петлю одел, а бутылка опять маячит в поле зрения. И в ней ещё что-то приятно колышется. «Ну зачем я буду ее кому-то оставлять?» – подумал мужик и на этот раз все допил до конца. Снова поднялся на табурет, петлю приладил и вдруг подумал: «А зачем я это все делаю, ведь жизнь, однако, улучшается!»

Веселее всех хохотал Борис Николаевич. Судя по общему

смеху, такой способ улучшения жизни понравился многим. Публика особо оживилась, когда слово предоставили Геннадию Хазанову. Все решили, что этот сейчас выдаст нечто ещё более остроумное, а значит, и более смешное. Но Хазанов подошёл к микрофону сосредоточен и серьёзен, как парламентарий непримиримой оппозиции, собирающейся сделать важное политическое заявление...

## Маленький и противный

Тут я хочу сделать некоторое отступление, и вот почему. Во многих из нас сидит маленький и противный подхалим. Он живет своей особой жизнью, до времени притаившись где-то возле нашей души. Этот подхалим ведёт себя тихо и даже злорадно хихикает, когда вечером на кухне, разгорячив воображение чем-нибудь основательным, мы говорим друг другу:

– И вот, понимаешь, старина, подхожу я к микрофону и без всяких экивоков говорю: «Борис Николаевич, что-то я вас не пойму...»

– Так прямо и сказал? – переспрашивает враз протрезвевший собеседник.

– А что! Так прямо и сказал. И он мне вынужден был ответить! – окончательно распускаю перья.

Внутренний подхалим умирает с хохоту, отлично зная, что на самом деле все обстояло круто иначе. В реальной ситуации (если она возникает) именно он забирает вашу душу или то, что от неё осталось, и диктует поведенческое отношение к начальствующему лицу, когда очень хочется оставить о себе исключительно приятное впечатление преданностью и единодушием. Ох уж этот увесистый русский кукиш в кармане! И все-таки, мне кажется, это простительный недостаток. Один в высшей степени значительный человек с ироничным складом ума рассказывал мне: когда его неожиданно (во всяком случае, для него) избрали делегатом какого-то партсъезда, он поймал себя на том, что громче всех выкрикивал здравицы в честь Брежнева, который в это время брел к трибуне. «Вижу, – рассказывает, – больного и немощного старика, с трудом хватающего ртом воздух, а сам кричу от восторженного прилива. И все рядом кричат. Ночью, под одеялом, думаю –

так ведь он помрет скоро! А утром все как один голосуем – за».

Маленький подхалим крутит своими бойкими ручонками какие-то важные винтики внутри нас, и ты уже не ты, а нечто умильно-восторженное, счастливый уже оттого, что близко допущен к самому сокровенному, к Президенту, например. Но есть и другие люди, подхалимствующие, я бы сказал, профессионально, с искусством и хорошим знанием этого предмета.

Хазанов привычно занял исходную позицию возле микрофона, выдержал глубокую паузу и в тишине начал рассказывать о том, какая негодная администрация «окопалась» в Смоленске. Он рассказывал, как плохо отнеслись в этом городе к группе поддержки Бориса Николаевича, в которую, в частности, входил он, Геннадий Хазанов. Поведал, как в гостинице им грубили и особо унизили одного замечательного, всем известного актера (он не хотел бы называть его имя), и благородный гражданский гнев заставляет его, Хазанова, обо всем этом лично доложить Президенту.

Всем известный и не названный Хазановым артист не заставил себя долго ждать и тотчас оказался рядом с микрофоном. Это был Борис Брунов.

– Спасибо тебе, Геночка, что ты решил рассказать эту возмутительную историю, от которой меня до сих пор трясет! – начал свое выступление всенародный конферансье. После этого, бегло изложив свою боевую и трудовую биографию, он умело спроецировал на неё неуважительное отношение смоленских чиновников лично к нему, а значит, и ко всем патриотам, болеющим за судьбы демократии и за Бориса Николаевича, прежде всего, конечно. Брунов дал понять Президенту, что в Смоленске пора принимать меры по установлению подлинной демократии и уважительного отношения к таким людям, как он и Хазанов.

Какая-то часть зала подавленно замолчала, а мой сосед, кажется, редактор областной газеты, тихо сказал:

– А если бы это был тридцать седьмой?

Слава Богу, это был не тридцать седьмой год и даже не пятьдесят седьмой, а девяносто шестой. Борис Николаевич понимающе хмыкнул – я думаю, что таких речей он наслушался по самую макушку. Наконец Хазанов с Бруновым покинули подиум, и на не-

го тут же всплыла Быстрицкая, кутаясь в нечто яркое, цветное, с махровыми кистями.

– Дорогой Борис Николаевич! – начала она низким грудным голосом. – Для нас, видных деятелей искусства, любая встреча с вами – большое человеческое счастье!..

За моей спиной Абдулов с Масляковым что-то лениво жевали, никак не реагируя на мелодекламацию Быстрицкой. Время от времени они перешептывались с каким-то жгучим молодым брюнетом с пронзительными глазами и эффектными толстыми усами. Только через какое-то время, увидев его по телевизору, я узнал, что жгучий брюнет – ещё и начальник всей российской информации и культуры по фамилии Шабдурасулов. Он явно смахивал на лицо кавказской национальности, хотя впоследствии мне сказали, что он татарин. Шабдурасулов тоже довольно равнодушно внимал Быстрицкой, очевидно, не раз слышавший ее чувственные монологи о том, как девчонкой она перевязывала раненых в госпиталях, потом трепетная тяга к искусству, переход через трудное творческое признание и, наконец, взлет к шолоховской Аксинье и далее к всенародной любви и славе. Говорит долго, расставляя глубокие сценические паузы, поэтому народ снова потянулся к рюмкам и застучал вилками. Наконец, заверив Президента, что подлинный мастер искусства всегда с ним и только с ним, примадонна, отвесив Борису Николаевичу церемонный поклон, удалилась к своему столу, храня царственную полуулыбку.

К сожалению, у нас всегда была несколько преувеличена значимость для общества актерской профессии. Человек с тиражированным лицом как бы сразу приобретал статус и права духовника на все случаи жизни и становился личностью с особой весомостью и убедительностью слова. Меня, кстати, это всегда удивляло, поскольку уж кто-кто, а актер озвучивает чужие мысли и публично если и проживает, то чужую жизнь. Его собственный нравственный мир может быть на уровне жэковского сантехника (что, увы, нередко и бывает), но общественности это подается как страдания мечущегося Мити Карамазова или бедной Аннушки Карениной. Если где-то в закрытом «почтовом ящике» спился очередной русский Кулибин, открывший «закон вечного движения», об

этом никто не знает и знать не хочет. А ежели сгорел от водки известный артист, то тут уж, извольте, приглашение к плачу получают все. Достаточно для подтверждения этого филатовских телепередач под символическим названием «Чтобы помнили», хотя лучше было бы – «Если б знали».

Но я думаю, что явление народу в обрамлении популярного на текущий момент артистического бомонда надо воспринимать как извинительную слабость наших политиков и государственников. Ну любят они это!

Кстати, эту же, правда, несколько усиленную «агитбригаду» я видел потом по телевидению на приеме у мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова, вручавшего медали по случаю 850-летия столицы. Львиная доля признания опять досталась людям, профессионально украшающим любое общественно значимое застолье. Право, не знаю, как «больших» людей, но меня анекдоты из телевизионного «Белого попугая» всегда погружали в состояние тягостного уныния. Хочешь не хочешь, а приходится верить, что лучшие анекдоты рождались все-таки в недрах КГБ.

Время за хорошим столом летит незаметно, тем более вышколенные юноши призывного возраста неслышно, но быстро меняют пустую посуду на полную. А стол, честное слово, хорош! Вместе с соседом мы нажимаем на рыбку – астраханский залом называется. Не пробовали? Уверю вас, отодвинете от себя все, включая и зернистую икру, которая на том столе также присутствовала. Залом – это нечто тающее во рту с букетом вкусовым ощущений на уровне блаженства. А если вы его ещё усиливаете холодной водочкой, то ощущения жизненной гармонии и душевной возвышенности начинают распирать вас, как теплую квашню изрядный кусок свежих дрожжей. Хочется говорить всем какие-то ответственные слова или ещё какие-нибудь приятности.

Борис Николаевич подбадривает гостей – он неподдельно весел, шутит много, а самое главное, к месту. Подали жареную осетрину с молодым хрустящим картофелем. Обновили блюда с овощами. Хотя лето ещё раннее, но помидоры, огурцы, зелёный лук, укроп – все свежее, цельное, нерезаное. На глянцевах поверхностях капельки прохладной росы. Замечательно!

## Уместные воспоминания

Куда делись робость и смущение публики! Зал уже многоголосно гудит, а у микрофона очередь. И тут я вдруг вспомнил, как всё тот же Михаил Ильич Ромм описал застолье, проходившее здесь же, в этом же доме, в этом же самом зале, только тридцать четыре года назад. Правда, тогда на месте, где сидит сейчас улыбающийся Борис Николаевич Ельцин, восседал хмурый Никита Сергеевич Хрущёв.

Хрущёв тогда встречался с творческой интеллигенцией, и было это почти сразу после того, как он со вкусом «отдубасил» в Манеже художников-авангардистов. Как известно, был Хрущёв человеком эмоциональным и склонным к определенной образности мышления, хотя и простоватой, но часто весьма точной. На мой взгляд, он, сам того не ведая, был первым, кто начал разрушать марксизм, опуская его из божественной заоблачности на грешную землю. По всему миру пронеслась тогда его фраза, пронзившая сердце ортодоксальных марксистов: «Идеи Маркса – это, конечно, хорошо, но ежели их смазать свиным салом, то будет ещё лучше». Как я понимаю, Хрущёв в день, описанный Роммом, как раз и «мазал марксизм салом». Когда я вернулся домой, я порылся в своем архиве и таки нашёл роммовские воспоминания, опубликованные в «Огоньке» десятилетней давности. Читаю и глазам не верю. Столько лет прошло, живем в разных обществах, по-прежнему по тому же «сценарию». Послушайте самого Ромма, увы, уже давно умершего, как, впрочем, и большинство участников того высокого застолья.

*«...В декабре шестьдесят второго года я получил приглашенный билет на прием в Дом приемов на Ленинских горах – там, где эти знаменитые особняки, там Дом приемов. Приехал. Машины, машины, цепочка людей тянется. На втором этаже анфилады комнат, увешанные полотнами праведными и неправедными. И толпится народ, человек триста... Все тут: кинематографисты, поэты, писатели, живописцы и скульпторы, журналисты, с периферии приехали – вся художественная интеллигенция тут. Гудит все, ждут, что будет.*

*А через двери, которые ведут в главную комнату – комнату*

*приемов, видны накрытые столы: белые скатерти, посуда и яства. Черт возьми! Банкет, очевидно, предстоит!.. Но вот среди этого гула, всевозможных взаимных приветствий и вопросительных всяких взоров появляется руководство, толпа устремляется к Хрущёву, защелкали камеры.*

*Хрущёв беседует как-то на ходу, направляется в эту самую главную комнату, все текут за ним. Образуется в дверях водоворот людей. Все стараются поближе к Хрущёву, туда поскорей... Как пылесос, эта главная комната с какой-то удивительной быстротой всасывает людей. Я решил в эту толкучку не путаться, но не прошло и минуты – смотрю, все уже там. Вхожу, уже все места заняты. Но с одного какого-то дальнего конца мне машут рукой. Оказывается, как раз молодые художники. Я между ними и сел в середине. А на другом конце – Хрущёв. Ну а художники-то ведь голодные. А перед ними осетрина, семга, лососина, индейка нарезанная, какие-то поразительные салаты, виноградные соки и тому подобное.*

*Хрущёв встал и сказал, что вот мы пригласили вас поговорить, но чтобы разговор был позадушевнее, пооткровеннее, сначала давайте закусим. Хрущёв ещё извинился, что нет вина и водки, и объяснил, что не надо пить, потому что разговор будет, так сказать, вполне откровенный... Примерно час ели...» – вспоминает Ромм.*

О качестве «душевности» того разговора, состоявшегося после обеда, вы можете судить по одной тираде, которую Хрущёв произнёс в адрес скульптора Эрнеста Неизвестного, который впоследствии вырубил знаменитый могильный памятник Никите Сергеевичу.

– Ваше искусство, – сказал Первый, то бишь Генеральный секретарь ЦК КПСС (и запомните – на том историческом этапе безоговорочный властелин и судия всех и вся), обращаясь к приглашённому и только что отобедавшему в его обществе молодому тогда художнику, – похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. Вот что такое ваше искусство. И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите.

Ромм вспоминает:



*«Говорит он это под хохот и одобрение интеллигенции творческой, постарше которая, – художников, скульпторов, да и писателей некоторых... Расходились все сытые, но тревожно, со смущенной душой, не понимая, что будет. Дела после этого пошли плохо, стали завинчивать гайки, стали помещаться письма, разоблачительные статьи. В общем, начался разгром...»*

Я это вспомнил по чисто внешней аналогии. Похожести, правда, были, но, слава Богу, не со стороны Президента, который не дал ни одной оценки, не произнес ни единого слова в развитие тех мыслей и страстей, которые, в конце концов, начали бушевать во-круг микрофона. Многие «товарищи с мест», особенно из тех, которые были в случайных «демократических одежах», то есть мятых штанах и прочем таком же, стали рассказывать о происках местных властей, которые не дают им с полной отдачей служить Президенту и демократии, и при этом обязательно просили в чем-то помощь.

Я не поверил своим глазам, когда увидел, как из глубины зала выскочил, как чёрт из табакерки, некий Фима, с которым в далекой юности мы учились в Ленинграде, на курсах редакторов молодежного телевидения. Я не видел его лет двадцать пять, но тотчас вспомнил, что тогда Фима отличался редким нахальством и первобытной раскрепощенностью слов и чувств, особенно по отношению к противоположному полу. Через пять минут стало ясно, что за минувшие четверть века Фима преумножил эти качества в величину, равную количеству лет, прошедших с нашей последней встречи.

С горячностью самозаводящегося местечкового трибуна Фима начал поносить власти города, где он, как я понял, возглавлял «самую независимую газету всех времен и народов». Размахивая руками и брызгая слюной, он возбужденно рассказывал, каким преследованиям и лишениям он подвергался за свою последовательную любовь к Президенту. В конце концов, всё свел к тому, что его, Фиму, надо тоже защитить от антидемократических сил, которые только и делают, что стремятся переселить его газету не то в подвал, не то в полуподвал, не то ещё куда подальше от глаз людских.

После выступления Фимы устроители встречи, видимо, поня-

ли, что если дело и далее пойдет так, то следующий «товарищ с мест» будет нести уже такое, что ни на какие уши не натянешь. Тем более что у некоторых приглашенных под воздействием замечательных напитков крайняя провинциальная робость сменилась столь же крайней петушиной смелостью.

И тогда к микрофону выпустили Гарри Каспарова. Я впервые видел его вот так, воочию, и он мне сразу понравился. У Каспарова есть одна располагающая особенность – он, когда смеется, то удивительно по-детски морщит нос, что придает его лицу некую задорную искренность. Говорил замечательно, чётко и логично излагая мысль, – почему он пошёл и продолжает последовательно идти за Президентом. Речь его была тем более привлекательна на фоне предшествующих мекабеканий. Зал притих, покоренный прекрасным образным языком, а самое главное, сильным интеллектом этой, безусловно, незаурядной личности. В заключение Каспаров поблагодарил Бориса Николаевича, который помог ему и его семье покинуть пылающий в межнациональном костре Баку и сделал все, чтобы в Москве он, Каспаров, обрел спокойствие, уверенность и условия для работы. Зал хлопал Гарри долго, горячо и душевно.

Скоро и все действие подошло к концу. Борис Николаевич поднялся во весь свой богатырский рост, поблагодарил присутствующих и выразил надежду, что российская пресса окажет ему поддержку на предстоящих президентских выборах. Российская пресса, во всяком случае, в лице тех, кто присутствовал на обеде, ответила ему дружным восторженным ревом. На выходе я случайно оказался рядом с Каспаровым. Он прощался с какими-то людьми. Протянул руку и мне, которую я с удовольствием пожал, ощутив ответное крепкое мужское рукопожатие. «Какой все-таки приятный человек!» – ещё раз подумал я, глядя, как Каспаров усаживается в огромный, как трансформаторная будка, «Додж».

И, как пишут в старинных романах, каково же было мое изумление, когда через несколько месяцев я увидел Гарри Кимовича по телевидению в компании с Александром Ивановичем Лебедем, который объявил о создании своей партии. Каспаров с той же искренностью и на том же замечательном интеллектуальном уровне объяснил собравшимся, почему он идет за Лебедем, а не за дру-



гими. Все так же внимали, замороженные каспаровским интеллектом, логикой, чувственностью, и так же душевно хлопали. «Прости нас, Господи, если можешь!» – сказал я тогда сам себе.

...Ельцинский кортеж со свистом вылетел сквозь распахнутые ворота. Ещё долго были слышны вопли милицейской сирены и грозные крики, усиленные автомобильными мегафонами. Слова были непонятны, но смысл был ясен. Все это удалялось куда-то к центру Москвы, пока не затихло совсем. Я подошёл к задержавшемуся Николаю Дмитриевичу Егорову. Он радушно протянул руку. Поговорили коротко, пока шли до его машины. Сквозь автобусное окно мои коллеги смотрели, кто с удивлением, а кто-то, может быть, и с завистью, как я запросто общаюсь с третьим (по тому времени) лицом в государстве – главой президентской администрации. Тогда все казалось таким устойчивым и надёжным, а самое главное, обещающим.

Улыбающийся Егоров, очевидно, был доволен проведенным приемом. Разгорающееся над Москвой лето обещало замечательную погоду, хотя в политической погоде было много тревожного. Впереди были президентские выборы, и это, видимо, беспокоило Егорова, который перед тем, как сесть в машину, сказал: «Ну, я думаю, кубанцы не подведут российского Президента!»

Тогда Николай Дмитриевич был, как говорится, весь в этой задаче. Какой провидец мог тогда сказать, что самому Егорову не о земном надо было думать, – жить оставалось менее года. Коварная болезнь уже шла рядом. К сожалению, оставшееся время заполняют иные хлопоты и, в основном, огорчения. Почти сразу после победы на выборах Президент освободит (в который раз) Егорова от должности. Егоров вернется на круги своя, то есть в Краснодар. А здесь у него уже будет иная жизнь, совсем не та, с которой он был знаком два года назад.

### Холодный апрель 1995 года

В Грозном я собирался побывать, наверное, всю свою сознательную жизнь, а попал туда внезапно, в самый неподходящий момент – когда там грохотали пушки. С городом Грозным у на-

шей семьи связано очень многое – там жил мой родной дядя Борис Иванович Айдинов, один из первых шоферов Чечено-Ингушетии (он получил водительские права в 1926 году). Там похоронена моя бабушка Екатерина Николаевна, в девичестве Домбазова. В тамошнем паровозном депо в студенческие годы проходила практику моя мама – Ева Ивановна. Там вообще должна была оказаться вся наша семья, да одно несчастливое обстоятельство помешало. Но как сейчас выясняется, помехи все-таки были к счастью.

К началу описываемых событий Борис Иванович и его жена Мария Ивановна скончались и не видели всего этого кошмара. Их сын Виктор, мой двоюродный брат, во время чеченских событий пропал без следа. После службы матросом на подводной лодке Тихоокеанского флота он вернулся в Грозный и стал работать рядовым автоинспектором. Дослужился до майора, до начальника отдела ГАИ одного из сельских районов Чечено-Ингушетии. Будучи в разрушенном Грозном, я пытался его разыскать, но тщетно. Боюсь, что и он, и семья его сгорели в огне этой бессмысленной бойни, как сгорели в ней десятки тысяч ни в чем не повинных людей.

На одной из улиц разбитого Грозного ко мне подошла старушка, похожая на нищенку. Видимо, война лишила ее разума. Светясь улыбкой, она достала из кармана затрепанную тетрадь и, спросив, откуда я, попросила разрешения писать мне письма. Она старательно огрызком карандаша записала адрес, а затем, дотронувшись рукой до моей куртки, спросила:

– А где ваше ружье?

– У меня нет ружья! Я – журналист, мне ружье не нужно, – ответил я.

– Как хорошо! – засветилась старушка. – И у меня тоже нет ружья, – она обвела взглядом руины и, махнув дырявым рукавом ветхого пальто в сторону площади Минутка, тихо сказала: – Там была школа. Я первоклашек учила, маленьких таких... – она показала каких, опустив ладонь на уровень моего колена.

– А где ваш дом? – спросил я, хотя и понимал, что у человека в таком рубище вряд ли есть дом. Юра Архангельский, мой оператор, нацелился на нас видеокамерой. Позади саперы в желтых касках разбирали завал какого-то большого здания. На обру-

бленной снарядом бетонной стойке чудом уцелела вывеска – «Океан». Усатый бравый командир распекал кого-то забористым матом. Так могут ругаться только строительные начальники. Старушка молча смотрела, как солдаты бурят шурфы под толовые шашки. Время от времени что-то ухало – это военные саперы обрушивали остатки зданий на центральной улице. Запавший рот бабушки беззвучно что-то шептал, может быть, молитву. Она повернула свое лицо. Из невидящих глаз струились слезы. Погружая ноги в жидкую весеннюю грязь, старушка пошла дальше. А рядом с ней с грохотом и дизельной вонью двигалась бесконечная колонна тяжелых САУ, самоходных артиллерийских установок. Дойдя до интуристовской гостиницы «Кавказ», зияющей обгоревшими глазницами окон, САУ издавали свирепый рык и, испустив сизое смрадное облако, делали небольшой разворот, а затем с грохотом исчезали за барханами битого кирпича.

Это было начало апреля 1995 года. Грозный был только-только очищен от боевиков, и мне было поручено федеральной службой по телерадиовещанию попытаться проникнуть на территорию чеченского телевидения с целью выяснить, что же там осталось после боев.

Наш добрый ангел, генерал Игорь Иванович Агарков, с которым мы подружились ещё во время первой поездки в Чечню, когда бои только начинались, и здесь не оставил нас без своей заботы и опеки. Он позвонил земляку-кубанцу, который в ранге заместителя полномочного представителя Президента России в Чечне ведал всеми вопросами обустройства, транспорта, связи, снабжения. Тот оперативно решил все проблемы нашей аккредитации, поскольку без документов, а тем более разрешения на съемку в зоне боевых действий и шагу нельзя было ступить. Выделил нам сопровождающих, машину и дал настоятельный совет быть максимально осторожными, не лезть куда не следует.

– Запомните, – сказал он, – эти руины стреляют и, к сожалению, очень часто. Снайперов много. Действуют исключительно изобретательно. Где-то в развалинах спрятана винтовка, снаряжение. Поблизости ходит мальчик и высматривает цель. Как только подходящий объект появляется, мальчик начинает посвистывать. Снайпер, а иногда и снайперша, занимают место. Выстрел, и че-

ловека нет. Вот так! Отнеситесь к моему совету серьезно, – добавил твёрдо и наставительно.

– А что, мы уж такие подходящие объекты? – ухмыльнулся Юра Архангельский.

– Ты, может быть, и нет, а вот «Бетакам» твой чеченцам наверняка понравится, – земляк показал на нашу видеокамеру. – Небось, тысяч на двадцать долларов тянет?

– Да нет, берите выше! – Юра хорошо владел ценами на рынке съёмочной техники.

– Тогда тем более береги ее, а ещё лучше – голову. Здесь и то, и другое потерять можно очень быстро.

То, что доброжелатель прав, мы смогли убедиться уже во второй половине этого дня. В районе грозненского вокзала, буквально через несколько минут после того, как мы оттуда уехали, снайпер застрелил двух командированных железнодорожников. Они только что прибыли на восстановление железнодорожного узла и пошли поглазеть, как и мы, на развалины. Я думаю, мальчика-наводчика привлекла их форма. А может быть, он перепутал их с военными. Во всяком случае, за пять секунд – два бесшумных выстрела из мелкокалиберной итальянской винтовки – и два трупа. Винтовку потом нашли в соседнем разрушенном доме. Рядом обнаружили аккуратный окурок с пятнами женской помады и следы небольших кроссовок. Видимо, стреляла женщина.

В Грозном я впервые почувствовал этот жуткий, продирающий до костей «аромат» войны. Это запах перемолотого кирпича и искореженного железа, и ещё чего-то сгоревшего, отдающего кислой псиной. Весна эти запахи только обострила. Из многих подвалов поднималась влажная тошнотворная вонь. Под завалами ещё лежало много разлагающихся от нарастающего весеннего тепла тел. Их не вытаскивали, потому как вытаскивать было некому, да и нечем. Разрушенные здания стали братскими могилами, куда постоянно ныряли бродячие псы. Их много в городе. Грязные, со злобными взглядами исподлобья, они дополняли картину вселенской безысходности.

К студии телевидения пробраться оказалось значительно сложнее. Сложнее даже, чем мы думали. Нас вызвался сопроводить ту-

да заместитель главы администрации Заводского района Хумгаев. Но он или там никогда не был, или не смог сразу сориентироваться среди разрушенных улиц. Словом, вначале мы почему-то оказались на территории грозненского коньячного завода. Печальное зрелище являло это знаменитое предприятие. Дело в том, что при штурме оно пострадало незначительно. Во всяком случае, емкости с коньяком оказались целы. Доблестные наши воины, пронюхав про такое богатство, вмиг наладили туда челночные рейды с канистрами наперевес. Через какое-то время командование, поняв причину резкого повышения психологической активности войск, приняло решение емкости уничтожить, что и было сделано с помощью танковых орудий, поставленных на прямую наводку. Говорят, обиженные танкисты сделали это со злорадным удовольствием, поскольку им про коньячок сообщили поздно, а поделиться не захотели.

Мы же застали картину на заводе более чем грустную. Несколько человек сидели на перевернутых тарных ящиках и с печалью смотрели на переливающиеся под весенним солнцем коньячные лужи. Мухи медленно роились в ароматной ауре.

Сидящие люди, как выяснилось, были кладовщиками. Один из них, самый пожилой, подошёл к нам и сказал:

– Корреспондент, ну скажи мне, пожалуйста, зачем стрелять предприятие? Вай-вай, такой богатый завод! Коньяк, как нектар! Равного на всем Северном Кавказе не было. Выпьешь, донышко поцелуешь. А сейчас что? Я, заведующий центральным складом, не могу угостить тебя даже каплей вина. Все пусто, все разбито. Нет ничего! – произнес он, сокрушенно разведя руками.

Вдруг один из сидящих, самый молодой, со стесанными борцовскими ушами, резко поднялся и стал быстро говорить почеченски, сверкая глазами в нашу сторону. Хумгаев молча слушал, а затем перевел:

– Он спрашивает, не из Москвы ли вы и какую телекомпанию представляете? Я ответил, что вы с Кубани.

Услышав о Краснодаре, парень с большими и гладкими, как вареники, ушами оживился и, чуть подобрев лицом, тут же перешёл на русский. Оказывается, он учился в Краснодарском институте физкультуры и был не то другом, не то родственником Руслан

на Лабазанова, который слыл ярким противником Дудаева и, если мне не изменяет память, к тому времени был уже убит. Я знал, что Лабазанов тоже учился в Краснодаре и тоже занимался вольной борьбой. Я видел его два раза. Он поразил меня своей яркой мужественной красотой. Это был огромного роста парень с великолепной, ну прямо голливудской статью. К сожалению, он отличался неукротимым нравом и, как мне рассказывали, каким-то болезненным чувством справедливости. Это был настоящий горец, вспыльчивый, гордый, не в меру горячий. В связи с этим у него были серьезные проблемы и в Краснодаре. Когда началось чеченское противостояние, Лабазанов оказался в кратере событий. Он начинал как верный сторонник Дудаева, а закончил как его кровник. По этому поводу долго шли не очень красивые игры с российской стороны. Лабазанова довольно неуклюже пытались использовать против Дудаева и даже присвоили ему звание полковника российской армии. Однако это не уберегло его от дудаевской мести. Пожалуй, только подтолкнуло к ней – его убили, причём каким-то зверским способом. Парень с борцовскими ушами мне об этом рассказал, и глаза его загорелись желтым, воистину волчьим огнём. Да! Природа все-таки вбила в каждого чеченца нечто жутковато-непредсказуемое. Не хотел бы я попасть ему в лапы где-нибудь на пустынной дороге.

Мы ещё немного поговорили о Краснодаре, а потом, попрощавшись, двинулись в сторону городского парка, в глубине которого, как сказали, и находится студия телевидения. Старик довел нас до ворот и предупредил, чтобы мы были осторожны. Он сказал, что в районе парка, особенно в той части, что примыкает к реке, ещё вчера был сильный бой. Российские десантники, встретив плотный огонь, отошли, и по парковому массиву ударила артиллерия.

– Часа два били! Могут быть неразорвавшиеся снаряды, а ещё хуже – мины, – сказал заведующий складом, прощаясь с нами крепким и, как мне показалось, искренним рукопожатием.

Мин в Грозном боятся все. Когда мы получали разрешительные документы в здании администрации, по коридорам, бухая коваными башмаками, вдруг забегала охрана. Оказывается, чуть ли не в приемной Семенова, самого главного в то время российского

начальника в Чечне (он сменил на этом посту Егорова), розыскная собака нашла так называемую растяжку. Эта тоненькая леска и привела к mine, заложенной в забитой всяким мусором урне. Откуда она взялась – ума не приложу! При входе лично нас раза два трясли, вывернули все наизнанку. Обыскивают вроде всех, а растяжки появляются в самых неожиданных местах. Чудеса, да и только!..

## Дудаевская баня

В детстве я однажды видел, как взорвался штабель мин. Взрыва, конечно, самого не видел, а вот последствия – да. Было это где-то через три-четыре года после войны. Мальчишкой, летом, я часто бывал в станице Калужской, что неподалеку от Краснодара. Мой дядя, Владимир Иванович Айдинов, работал здесь начальником лесоучастка, который заготавливал дрова для работников завода электроизмерительных приборов, а также выжигал известь для восстановления этого же самого завода. Краснодарский ЗИП после войны сильно пострадал, но отстраивали его довольно быстро.

Лесоучасток находился километрах в десяти от станицы, в горах, заросших лесом и густым кустарником, которые мы с братом облазили вдоль-поперек. Как две молодые собаки-ищейки, мы без усталости рыскали по горам и ущельям в поисках, как бы сегодня сказали, следов войны. И находили очень многое из того, что волновало наше мальчишеское воображение, вплоть до оружия. Здесь по перевалам проходила линия обороны, поэтому особенно много было мин, как наших, так и немецких. Бывало, ночью долетал до станицы глухой гул далекого взрыва. Это подрывалось зверье – кабаны, косули, иногда ушедшие из стада коровы.

Километрах в трёх от лесоучастка, на небольшой уютной поляне, сапёры оборудовали нечто вроде полевого лагеря – в то лето в горах под Горячим Ключом шло интенсивное разминирование. Мины, большей частью плоские, побитые ржавчиной кругляши, они сносили к ручью, где складывали в штабель. Что уж там произошло, я не знаю, но сам взрыв помню хорошо. Бабахнуло так, что окна барака, где жили лесорубы, вылетели со звоном, а с ра-

бочего стола моего дяди смело все. Стеклянная чернильница пятом размазалась по стенке и ещё долго напоминала о трагедии.

– Солдаты! – в ужасе вскричал Владимир Иванович.

Через несколько минут, подседлав лошадей, он и трое лесорубов мчались к месту взрыва. Нам с братом было строго-настрого наказано сидеть на месте. Сидели мы ровно столько, сколько слышали стук копыт по лесной дороге. А потом, под вопли тетки Райки, становой поварихи, которой было поручено за нами следить, уже карабкались по склону горы. Мы с Женькой знали более короткий путь. Картина, которую я увидел, впечаталась в мое детское сознание столь зримо, что я ещё долго мог воспроизводить ее до тонкостей. Сейчас помню только голые, без единого листика деревья, окрашенные в ярко-красный, сверкающий на солнце цвет. Это был цвет человеческой крови. Он густел и темнел прямо на глазах. Погибло тогда несколько саперов. Видимо, кто-то из них проявил неосторожность... Так вот, когда мы пробирались через парк в Грозном, я вспомнил этот случай, поскольку никогда в жизни ещё так близко не подходил к реальной опасности. Леденящий холодок страха время от времени пробежал по спине. Почти все парковые деревья были повалены вершинами в одну сторону. словно гигантский топор прошёлся по их стволам. Снарядные осколки посекали сучья и кроны, наворотив кучи бурелома. Мы внимательно смотрели под ноги, хотя если кто-то решил замаскировать здесь мину, труда особого это не составило. Но, видимо, в тот день Господь прикрыл нас своей заботливой ладонью – мы благополучно добрались до ажурной ограды телецентра. Она была сильно посечена осколками, но не повалена. В здании было пусто. Яркий солнечный свет проникал сквозь разбитые окна. Под ногами хрустело битое стекло. Проявляя возможную осторожность, мы переходили из комнаты в комнату, и ощущение бедствия, какого-то горького и безысходного человеческого несчастья все более и более охватывало меня.

Почти все российские региональные телестудии – родные сестры. Они строились по единому проекту, поэтому, пробираясь по разрушенным коридорам Грозненской телестудии, я, словно в страшном сне, брел по своей родной, Краснодарской. Однако в здании

были не только следы бомбежки и артобстрела. Очень скоро мы обнаружили и следы разграбления. В телевидеогруппе многие сейфы были взломаны, на полу валялись пустые футляры из-под «Бетакамов», самых совершенных видеокамер. Юра Архангельский понимающе хмыкнул: «Знали, что брать!»

Встречались комнаты, почти нетронутые. Примерка, например. Здесь было полное ощущение, что люди только что вышли на минутку. В аккуратных шкафчиках разложена парфюмерия, тюбики с гримом. Рядом с зеркалом лежал японский фен. Под настольным стеклом фотография двух смеющихся девушек, снятых как раз у входа в студию. Мирное и такое далекое время. Поднимаю с пола раздавленную кассету. На ней надпись: «Махмуд Эсембаев – народный артист».

Поднимаемся на второй этаж. Здесь все выгорело. Пожар бушевал в аппаратных. Тут есть чему гореть. Искореженное, изломанное оборудование, свисающие с потолка оплавленные кабели – все это очень напоминает фильм ужасов. Но самый большой ужас нас ждал впереди, непосредственно в самой студии. Здесь она огромная, более трехсот квадратных метров. Сквозь пробитую крышу световые блики падали на черные обугленные стены. Сверху свисает густая паутина проводов. Обрушившиеся скелеты светильников лишь угадываются в грудях золы и пепла. Я сунулся в студию, но Хумгаев задержал меня:

– Опасно! – сказал он. – Взгляни вверх...

Огромная поперечная балка, на которую навешивались тяжелые приборы, свисала, чудом зацепившись за край стены, оголенной до кирпича. Сумеречная, погруженная в черноту студия напоминала трюм затонувшего корабля, получившего несколько смертоносных пробоин. И над всем этим витал все тот же тошнотворный запах войны – запах горелого кирпича и острой снарядной кислоты.

Мы вышли на улицу. У Хумгаева в руках было две картины. Холст в нескольких местах пробит осколками.

– Я хочу подарить вам эти картины как память о трагедии нашей республики, – торжественно сказал Хумгаев. – Все равно здесь они пропадут! – добавил он каким-то потерянным голосом.

Эти израненные картины долго висели у нас в студии – не-

большие полотна, писанные маслом. Размашистым мазком художник изобразил горы и лес. Кавказская идиллия. К сожалению, в жизни она была так же истерзана, как на картине.

Двигаясь обратно, мы оказались ещё в одном месте, где следы жестокого боя были свежи и нетронуты. Холодный дождь, прошедший ночью, остудил россыпи автоматных гильз, усеявших все вокруг. Небольшой старинный особняк, который когда-то был гостевым домом обкома партии, измочален обстрелом до такой степени, что кажется, будто по нему били огромной кувалдой. Углы здания отколоты от крыши до фундамента, балки перекрытий рухнули на пол. Зрелище страшное. Я заглянул в обугленный оконный проем и увидел то, что раньше было кухней. От прямого попадания не то снаряда, не то гранаты кухонную утварь покорежило, разметало по углам.

Столь упорный бой здесь был не случайно. В этом доме продолжительное время жил Звиад Гамсахурдия, свергнутый грузинский президент. Дудаев его принял, пригрел, оказывал всяческие знаки внимания. Частенько бывал здесь, проводя длинные вечера в беседах с Гамсахурдия. После загадочной смерти Звиада его тело привезли из Грузии и похоронили напротив парадного подъезда, в ограде самого поместья. Сейчас ограда сметена артогнём, и от неё осталась только полуразрушенная проходная. Но сам памятник над могилой Гамсахурдия сохранился. Осторожно ступая, я подошёл к нему. Шальной осколок отрубил кусок гранитной стелы, на которой по-грузински и по-русски написано, что здесь покоится первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия. Сверху на стелу кто-то положил пробитую солдатскую каску. Под ногами хрустели гильзы и валялось много футляров одноразовых гранатометов. Я поднял с земли танковый шлем. Он был почти новый, но со следами крови. Хумгаев ходил следом и тяжело вздыхал.

– Это было одно из самых красивых мест в Грозном, – сказал он, показывая рукой в глубину сгоревшего сада. – Там, на берегу Сунджи, было особенно тихо и красиво. А вообще этот дом с плохой репутацией. Во время войны здесь жил Берия. Он приезжал сюда несколько раз. Сына Гамсахурдия здесь тоже убили... – добавил Хумгаев, с тоской и болью оглядывая простирающиеся до



горизонта развалины. Неподалеку горбатились бетонные обломки моста через реку...

В этой командировке нас разместили в бывшей дудаевской бане, возле стадиона «Динамо». После двадцати двух часов выходить из бани было запрещено. Подходы к ней минировались, ставились специальные сигнальные ловушки. Задеть их тоже было мало радости. Вообще в центре тогда жили немногие из командированных. Основная масса останавливалась в аэропорту «Северный», где была серьезная охрана, а на подступах стояли вкопанные танки. Но жили там, в основном, чиновники различных центральных министерств и ведомств, которых посылали в Грозный строить мирную жизнь. С нами тоже попутно прилетели проектировщики из Краснодара. Им было поручено подготовить предложения по восстановлению торговой сети. Вечером они вернулись в нашу баню полные ужаса и растерянности. Ребята даже не представляли, с какого бока подходить к восстановлению магазинов и ресторанов, если в городе были полностью уничтожены канализация и водоснабжение.

Вообще иллюзии тех дней не поддаются описанию. Считалось, что, освободив Грозный, мы встретим толпы ликующих горожан, бесконечно счастливых от падения дудаевского режима. Все это было совершенно не так. Может быть, какая-то часть чеченцев, может быть, даже значительная, и рада была избавиться от Дудаева, но способ избавления, который предложила Россия, был варварский и дикий. Превратив в руины один из красивейших городов Северного Кавказа, обездолив всех без исключения его жителей, мы могли рассчитывать только на их ненависть.

В те дни, когда по городу воинственно грохотали бесконечные бронетанковые колонны, неприязнь к русским чаще всего скрывали. Но иногда ненависть прорывалась, и мы получали, как говорится, ее полный заряд. Так было в районе железнодорожного вокзала, куда мы подъехали, чтобы снять на видео место гибели майкопской бригады. В ночь под новый, 1995 год моторизованные подразделения бригады зашли на эту площадь и оказались в каменном капкане. Я разговаривал потом с молодым майором, который один из немногих вырвался отсюда и остался жив. Он рас-

сказал, что боевики, дождавшись пока последний броневик втянется на площадь, открыли с крыш ураганный гранатометный огонь, в котором сгорела или взорвалась почти вся боевая техника. Наши солдаты, укрывшись в здании вокзала, отбивались более суток. Их радиостанции раскалились от призывов о помощи. Кавардак, который царил в те дни на улицах города, стоил нашим войскам сотен солдатских жизней и уже тогда полностью обнажил полководческую импотенцию генералов демократического призыва. Так вот, на этой самой трагической площади мы и получили тот заряд ненависти, который был адресован всему российскому. Завалы возле вокзала разбирали женщины-чеченки. Одна из них, увидев в наших руках видеокамеру, начала выкрикивать такие проклятия и ругательства, что мы не стали искушать судьбу и быстро унесли ноги.

Но ещё большими иллюзиями, как я думаю, российское руководство было обременено накануне отдачи приказа о вторжении на территорию Чечни регулярной армии, к которой потом российская телепресса приклеила полупрезрительный ярлык «федералов». Случаю было угодно распорядиться так, что мы с Петром Ефимовичем Придиусом оказались однажды живыми свидетелями утверждения этих иллюзий на высоком правительственном уровне. Было это в первой половине ноября 1994 года в Москве, в кабинете министра по делам национальностей и региональной политики Николая Дмитриевича Егорова. Министром Егоров стал в середине года, а к зиме судьба его уже бросила в самое пекло главной российской трагедии – чеченской войны...

## Годовщина парламентского расстрела

То, что в Москве к Егорову поменялось отношение, и довольно круто, я почувствовал сразу после того, как через месяц полетел вместе с ним в нашу дорогую столицу. Надо отметить, что Николай Дмитриевич хорошо понимал роль местной прессы в повышении или понижении авторитета политических деятелей. Будучи руководителем президентской администрации, он организовал для периферийных журналистов системное посещение разного рода политических и организационных мероприятий в Москве. Мы стали

бывать на крупных пресс-конференциях, общаться с важными деятелями правительства. К сожалению, с его уходом сразу все прекратилось. Водораздел между региональной прессой и центральной приобрел ещё более непреодолимый характер.

Так вот, в первых числах октября 1996 года летим мы с Егоровым в Москву. Избирательная кампания в самом разгаре, идет довольно нервно. Я понимаю, для чего я и оператор нужны в столице. Мы должны присутствовать при встрече Николая Дмитриевича с Черномырдиным, чтобы потом показать кубанцам, что авторитет Егорова в правительственных кругах по-прежнему высок и непоколебим. Но так, к сожалению, не получилось. Нас еле-еле пустили в здание Правительства, но дальше вестибюля мы так и не прошли. Больше часа мы протоптались возле гардероба и только случайно узнали, что Егоров был у Черномырдина несколько минут и давно уехал, выйдя через другой подъезд.

Мы потом долго с Юрой Архангельским метались возле ограды «Белого дома» — куда-то исчезла машина, которая доставила нас сюда. Причем в ней находилась вся наша верхняя одежда, а октябрь в Москве, сами понимаете, месяц не для пиджаков. Продрогшие, голодные и злые, мы суетились с огромной видеокамерой возле главного автовъезда на территорию «Белого дома», вызывая тревожные взгляды милицейских постов, и только спустя какое-то время обратили внимание, что число милицейских нарядов начало возрастать. Более того, появились уже и пятнистые комбинезоны омовцев. Они, правда, были без оружия, но с большими резиновыми палками в руках. Окончательно замерзшие, мы попросились в какую-то машину погреться. Шофёр нас пустил, и только там я понял, отчего весь этот сыр-бор. В машине работало радио, и бойкий репортер вел на страну репортаж, рассказывая, что происходит в эти минуты возле «Белого дома». Оказывается, это было 3 октября, очередная годовщина расстрела Парламента. По этому поводу ожидалась демонстрация протеста, и власти подтягивали в этот район милицейские силы, очевидно, ожидая беспорядков. Мы же получили редкую возможность видеть, что происходит на самом деле, и одновременно слушать по радио репортаж по этому поводу находящегося поблизости корреспондента. Врал он, конечно, вдох-

новенно. И надо подчеркнуть, без всякого зазрения совести. Небольшие группы людей, которые шли по тротуару, назвал огромной толпой. Ленивое топтание возле ограды омовцев определил как перегруппировку сил. Словом, усердно отработывал свой хлеб и обстановку для радиослушателей нагнетал как мог. Отогревшись, мы вылезли из машины и как раз попали в группу людей, которые разворачивали свои плакаты и транспаранты. Юра, бурча и чертыхаясь, опять ушёл искать пропавшую без следа «Волгу», а я, стуча зубами от холода, не без интереса стал вслушиваться в разговоры стоящих вокруг меня людей. Почти все они были одеты с учетом походного режима и ненастной погоды — в теплых, но легких куртках, удобных брюках, надёжной обуви. У многих за плечами были рюкзаки, в которых угадывались термосы. Через несколько минут я понял — многие из присутствующих были просто профессионально митингующими людьми. У них был даже свой руководитель, расторопный человек в шерстяной шапочке и со включенной жидкой бородашкой. Он вынырнул откуда-то из глубины и зычно заорал:

— Не слышу, товарищи, подлинности в негодовании!

Стоящие вокруг меня женщины, в основном пенсионного возраста, тонко и протяжно закричали. Пошумев немного, одна из женщин тихо сказала подруге:

— Мерзавец! Ещё за пакистанское посольство не рассчитался, а требует три часа орать. На такой холодине...

Появился Юра. Посоветовавшись, мы решили машину больше не искать, а стали ловить такси, чтобы уехать в аэропорт Чкаловский, откуда Егоров должен был возвращаться в Краснодар.

Добрались не без труда в Чкаловский уже затемно. Оказывается, вся отъезжающая группа уже была здесь. Сюда прибыла и машина с нашей одеждой, причём давно. Водитель, оказывается, нас не понял и ждал у другого входа. Словом, обычная наша неразбериха. Видимо, чувствуя перед нами какую-то свою вину, человек, которому было поручено нам помогать, пригласил нас в небольшой зал, где на столе был накрыт чай. В этом зале я уже бывал раза два до этого. Здесь обычно после прилета или перед отлетом собирались сановные пассажиры перекусить, выпить рюмочку, пообщаться. Обычно это были видные генералы — аэропорт-то

военный. Раньше Егорова здесь всегда встречали или провожали. Среди встречающих я видел начальника Генерального штаба Колесникова, командующего ВВС Дейнекина. С ними Егоров дружил, и встречи в аэропорту часто затягивались на несколько часов. Как я понимаю, военные к Егорову относились с большим уважением, а он к ним – с любовью. И этому есть причина. Отец Николая Дмитриевича был кадровый военный, полковник, и сыну любовь к армии привил с раннего детства.

Я присел за краешек стола и стал, обжигаясь, пить горячий чай с очень вкусными черными сухариками, большая ваза с которыми здесь стояла всегда. Рядом чаевничали ещё два наших краснодарских попутчика (Егоров, когда летал в Москву, то в самолёт всегда приглашал несколько краевых руководителей). Вдруг открывается дверь – и в зал входит сам Николай Дмитриевич, как мне показалось, довольно сумрачный. Мы поспешно встали, чтобы выйти. Но меня Егоров задержал:

– Куда ты, Владимир Викторович? Посиди, попьем чаю...

Это было, наверное, самое продолжительное мое общение с Егоровым один на один. Чуть коснувшись проблемы выборов, о которых он говорил очень неохотно и вяло, перешли на другие темы, и вдруг он заговорил о Чечне, где мы встречались в самые первые дни начала войны.

– Там было столько подлого предательства, сколько его не было за всю историю России! – сказал он, сминая пальцами хлебный шарик. – И столько же не менее подлой трусости... – добавил он с неподдельной горечью. – Мы потом когда-нибудь будем снова слагать поэмы о Мазепах и Кочубеях, а сколько Мазеп сидело только за этим столом! – добавил он в сердцах, постучав пальцем по столешнице.

И вдруг я вспомнил, как однажды в Сочи, примерно за год до начала чеченских событий, я, можно сказать, случайно, видел Дудаева. Это было в гостинице «Жемчужина», где по инициативе губернатора края Егорова была устроена выставка продукции, производимой на Кубани. Выставка была очень красочная, парадная, праздничная. Стенды буквально ломились от снеди и вин, блистали яркой упаковкой.

К концу дня, когда народ, изрядно утомившись на различных дегустациях от выпитого и съеденного, уже расходился, атмосфера в полупустых залах вдруг стала резко изменяться. Появились молодые люди с напряженными лицами и ощупывающими глазами. Я в этом отношении «воробей стреляный»! Хорошо знаю, что если охрана внезапно усиливается, значит, появится какое-то важное лицо, которое меньше всего здесь ожидают. Причём знаю и другое – что обязательно попаду в поле зрения охраны и у меня лишний раз или проверят документы, или будет следом топтать какой-нибудь шкафообразный тип. Видимо, во мне есть что-то такое, что их всегда тревожит. Если у нормальных людей пропуска проверяют, когда они идут туда, то у меня проверят и тогда, когда я иду обратно. Да ещё паспорт спросят. Причем любопытно: это происходит не только у нас в стране, но и за рубежом. Я не помню, чтобы меня в заграничном аэропорту не проверили тщательнее всех. Однажды во Франкфурте-на-Майне отвели даже в отдельное помещение и долго освещали какой-то лампой, очевидно, посчитав, что наркотики я просто заглотил. Ума не приложу, почему это происходит, но, повторяю, так бывает. Очевидно, в моем лице есть что-то такое, что полицейских всего мира беспокоит. Хотя, зная за собой такую особенность, я стараюсь придать своей физиономии максимально кроткое выражение, что их, однако, тревожит ещё больше. В Лионе, на вокзале, стоило мне только появиться, как два полицейских тут же проверили мои документы, а заодно подтащили к чемодану собаку, которая, к счастью, его обнюхала достаточно равнодушно. Я иногда думаю: сколько же настоящих террористов протащилось за моей спиной! Но это ещё не все. Не было ни единого злачного места, чтобы мне что-нибудь не предложили предосудительного: или втихаря купить золото, или понюхать анашу, или у меня что-то приобрести – скажем, чеки «Березки», которых я сроду не имел, а в период алкогольных запретов продать мне контрабандную водку. Словом, это моя особенность, которая с возрастом, увы, не исчезает, а напротив, усиливается.

Но вернемся, однако, на выставку в «Жемчужину», где как-то очень быстро количество посетителей не только уменьшилось, но и резко поменялся их состав. Появились солидные респекта-

бельные мужчины с властными манерами. Они не обращали никакого внимания на стенды, а просто слонялись по залам, явно кого-то ожидая. И вот ожидаемый, наконец, появился. Дудаева я узнал сразу. Невысокого роста, в черной шляпе, в темном строгом костюме, при галстуке, он выделялся нервной бледностью узкого лица, перечеркнутого резкой полосой тонких, хорошо подбритых усов. Вокруг него стеной возвышались телохранители. Вообще ни до, ни после этого я не видел столь свирепых рож, как у дудаевской охраны. Двухметровые «гориллы» в черных рубашках с закатанными рукавами, они производили кошмарное впечатление своей неукротимой силой и решительностью намерений. Чувствовалось по всему, что эти верные «бультерьеры» готовы порвать любого и каждого, кто хоть малой малостью покажется подозрительным в отношении «хозяина». Но более всего меня поразило то, что к руке одного из охранников был прикован никелированными наручниками мальчик-подросток. Скорее всего, это был сын Дудаева. С юной наивностью он крутил головой, пытаясь из-за спин что-то разглядеть. Тогда мы почти ничего не знали о системе похищения людей, о заложниках, но Дудаев, очевидно, хорошо помнил о национальных традициях своего народа, когда охота на людей была доходным промыслом. Наверное, по этой причине он на всякий случай обезопасил своего сына таким, как нам казалось тогда, диковатым способом.

Дудаев ходил по выставке в сопровождении Николая Дмитриевича и мэра Сочи Николая Карпова, интересовался продукцией, условиями ее приобретения, ценой, довольно дружелюбно беседовал с девушками, которые представляли ту или иную фирму. Следом брели несколько корреспондентов, случайно задержавшихся здесь, в том числе и я. Мелькнула мысль об интервью, но Егоров, поймав мой взгляд и, очевидно, все поняв, сделал отрицательный знак. Чеченский лидер исчез столь же внезапно, как и появился. А поздно вечером, когда мы гуляли по Курортному проспекту, внизу под нами на бешеной скорости промчался автомобильный кортеж. Черные машины, меняясь местами, сверкали красными мигалками и исступленно выли, пугая прохожих. Это везли куда-то Дудаева. Было смешно и горько от всего этого балага-

на. Но, как сказал когда-то Паустовский, «балаган оказался кровавым». До «большой крови» оставалось не так много. Дудаев, очевидно, в Сочи ещё раз убедившись, что его побаиваются, вел себя все более нагло по отношению к российскому правительству. Кстати, и до этого я уже сталкивался с чеченской особенностью всякую встречу обставлять максимально шумно и максимально вооруженно. Правда, в Сочи дудаевским охранникам предложили оставить при себе только пистолеты. Егоров мне впоследствии рассказал, что, для порядка порычав, они сдали в аэропорту на хранение столько оружия, что его хватило бы оснастить ударное подразделение перед штурмом города средней величины.

## Спроси что-нибудь полегче

Но впервые я познакомился воочию с этой особенностью чеченцев ещё в Кисловодске, где весной 1993 года собралась ассоциация городов юга России. Валерий Александрович Самойленко, который являлся президентом этой ассоциации, вдруг сообщил нам с Вячеславом Смеюхой, редактором газеты «Краснодарские известия», что в Кисловодск приедет мэр Грозного Бислан Гантамиров. И он действительно приехал. Вечером под окном гостиницы, где мы жили, вдруг раздался гул моторов, громкие голоса – это подъехал чеченский кортеж. Тогда ещё иностранные машины были в редкость, а Гантамиров приехал на шикарном «Вольво» в сопровождении нескольких джипов. Охраны был полон двор. Это были здоровые парни, одетые в разномастную форму. Двое оказались даже в форме латышских полицейских. Оружия на них было навешано – автоматов, пистолетов, ножей – страшно смотреть. Тогда ещё обстановка не была столь накаленной, и после ужина гантамировские охранники вместе с шофёрами мэров разных городов сидели возле телевизора, пили дармовое пиво и довольно миролюбиво общались. Я тоже подсел к компании – мне было интересно узнать, кем же являлись эти чеченские парни в той, ещё мирной жизни. Большинство были милиционерами, служили когда-то вместе с Гантамировым. Один учился на историческом факультете Грозненского университета, кстати, крайне нелюдимый и насто-

роженный. Самым весёлым оказался бывший Гудермесский парикмахер. А самый смешной, точная копия актера Фарады, до службы в охране работал в колхозе техником-осеменатором. Публика была очень пестрая, но когда речь заходила о Чечне и ее взаимоотношениях с Россией, даже весёлые и смешливые на глазах становились злыми и колючими. Уже тогда, весной девяносто третьего, чеченцы вовсю бряцали оружием, уверяя всех и вся, что смерти они не боятся и Россию на этот раз обязательно победят. Во всяком случае, те, кто был «пушечным мясом», смерти скорее всего действительно не боялись. А вот Бислан Гантамиров, молодой обаятельный красавец, с которым мы со Славой Смеухой долго беседовали утром следующего дня, думаю, к проблеме своей личной жизни и смерти относился более осмотрительно. Этот бывший старшина милиции, которого перестройка из рядового участкового выбросила в высшую garnитуру власти, был по-восточному крайне хитрым и, судя по дальнейшим событиям, очень коварным человеком. Стараясь выглядеть максимально респектабельным господином, он долго внушал нам мысль о чрезвычайно дружелюбном характере чеченских властей, об их искреннем желании создать русскому населению благоприятные условия для жизни, как в самом Грозном, так и в республике. К тому времени я хорошо знал, что многие русские в ужасе бежали куда глаза глядят, бросая жилье, скарб, нажитый годами. Я смотрел на Гантамирова, на его искреннюю белозубую улыбку и не мог себе представить, что именно под его руководством в здание грозненского горисполкома год назад ворвалась банда и выбросила в окно председателя горисполкома Кузнецова. Выбросила на асфальт, с шестого этажа. Человек погиб ужасной смертью только за то, что был русским руководителем.

Разговор закончился тем, что Гантамиров пригласил нас в Грозный, чтобы мы собственными глазами смогли убедиться в том, какие благие преобразования свершаются в городе под его руководством и при поддержке генерала Дудаева. Когда я попытался высказать опасение по поводу нашей безопасности, Гантамиров торжественно произнес, что мы будем его личными гостями и с наших голов волос не упадет. Правда, когда сам Гантамиров вернулся из Кисловодска в Грозный, там вскоре произошла какая-то

серьезная разборка с его участием. Из газет мы узнали, что большая часть его охраны была перебита, а сам Гантамиров ранен и куда-то бежал. Вот вам и все гарантии! Я потом с ним встречался ещё два раза. После того как наши войска взяли Грозный, мы случайно столкнулись с ним в коридоре здания, где располагалась российская администрация. Он резко выделялся на фоне замызганной публики, которая заполняла в те дни коридоры власти в разбитом и ещё дымящемся Грозном. На Гантамирове было великолепное светлое пальто, сверкающие штиблеты. Накрахмаленный воротничок голубой рубашки оттенял модный галстук. Он так же широко и обаятельно улыбался. Я напомнил ему о себе, и он, как мне показалось, с радостью пожал руку. К тому времени Гантамиров снова стал мэром и всем своим энергичным, уверенным видом демонстрировал свою победу над ненавистным ему (к тому времени) Дудаевым. Уже много позже стало известно, что свою победу (естественно, под прикрытием российских войск) Гантамиров использовал, чтобы украсть несметное количество денег, направленных Россией на городские нужды. Последний раз я его видел, как ни странно, в Краснодаре. Это было глубокой осенью и холодной ночью. На военном аэродроме я встречал самолёт, который должен был прилететь из Грозного.

Я долго мерз у кромки лётного поля. Никакой толковой информации о прилёте самолёта не было, хотя в диспетчерской мне сказали, что борт этот находится в воздухе. Прошло значительно больше времени, чем необходимо для полета от Грозного до Краснодара, а самолёта всё не было. Я знал, что с началом чеченских событий состоялась массовая мобилизация авиатранспортного старья, главным образом, трижды отживших свой век «АН-12». Основания для волнения были, тем более что диспетчер намекнул, что в грозненском аэропорту не всё ладно. Наконец высоко над тёмным горизонтом появились два маленьких огонька. Они стали быстро нарастать, и вот пузатый, грохочущий и свистящий четырьмя моторами «АН-12» уже заходил на посадку.

– Это тот самый, грозненский! – бросил на ходу дежурный, садясь в аэродромный «уазик».

Через несколько минут самолёт зарулил на стоянку, выключ-



чил габариты и двигатели и замер, как огромный старый кит, заплывший в тихую и глубокую бухту. Медленно и со скрипом стали открываться створки его фюзеляжа. Я подошёл и в тусклом свете бортовых лампочек увидел странную картину. Внутренняя полость самолёта была буквально забита людьми. Они стояли плечом к плечу, дожидаясь, пока трап коснется бетонки, а потом пестрой толпой заполнили пространство вокруг самолёта. Многие были с оружием. Ко мне подошёл какой-то странный маленький человек в огромной, явно не по размеру форменной куртке. Он был или пьян, или сильно болен. Как потом выяснилось, было и то, и другое – и пьян, и болен. С его плеча почти до земли свисал автомат Калашникова, а карманы куртки оттягивали гранаты. Еле ворочая языком, он спросил меня, в какой город они прилетели. Не скрывая изумления, я ответил, что в Краснодар.

– Краснодар? – удивленно протянул он. – А где аэровокзал?

– Вы на военном аэродроме, и вокзала здесь никакого нет, – ответил я.

Меня обступили другие пассажиры. Они тоже что-то спрашивали. Из их вопросов я понял, что, вылетая из Грозного, они и не ведали, где приземлятся. Лишь бы только убраться из горящего, огнедышащего города. Это было начало второго этапа войны за Грозный, самого жестокого и самого бессмысленного.

Вдруг среди толпы я заметил Гантамирова. Он, как всегда, выгодно отличался элегантностью в одежде и уверенностью в манерах. Я подошёл к нему, снова напомнил о себе и предложил помощь. Он узнал, разулыбался и, потрепав меня по плечу, сказал:

– Спасибо, дружище, ничего не надо! – и с группой сопровождающих его чеченцев быстро растворился в темноте.

Оказывается, этот самолёт должен был в Грозном забрать какое-то оборудование. События в городе разворачивались более чем угрожающе. Но, как оказалось, это был первый и единственный самолёт, который сел после тяжелых недельных боев в районе аэропорта «Северный». Пассажиров скопилось так много, что, прорвав охрану, часть из них полезла в брюхо «АН-12» без всякого спроса и разрешения. Многие были больны или ранены. Экипажу не разрешили даже выключить двигатели и приказали немед-

ленно улетать. На краю лётного поля снова затрещали пулеметы. Десантники плотным огнём пресекали попытки чеченских боевиков прорваться к взлетной полосе. Наконец груз закрепили тросами. Командир молча посмотрел на людей, набившихся в самолёт, крикнул и сел за штурвал. Взлетали в сполохах снарядных разрывов. Внизу снова разгорался жаркий бой.

– Слушай, – спросил я человека, которого ждал с этим бортом, – а кому нужно это дурацкое барахло, эти ваши компьютеры и телефоны, которые вы так заботливо тащите неизвестно куда, бросая на произвол судьбы людей?

– Ох! – взмолился он. – Спроси у меня что-нибудь полегче. Я исполняю то, что мне приказано.

В это время «АН-12» взревел двигателями. Наскоро чмокнув друга, мы обнялись. Он побежал к самолёту. Я ещё постоял, дождавшись, пока старая облезлая авиакорова с грохотом и вонью промчалась по затемненной полосе. Сердце снова тоскливо защемило. И, как видно, не зря! Через короткое время такой же самолёт, а может, тот самый, не выдержал испытания возрастом и таки упал. Разбился вместе с командующим Ленинградским военным округом, который попутно летел в Краснодар. А Гантамирова вскоре арестовали в Москве и поместили в Лефортовскую тюрьму, обвинив в крупных хищениях.

Газеты немножко пошумели по этому поводу, а потом враз замолкли. Судя по всему, чеченцы не проявили к судьбе Бислана какого-либо серьезного интереса. Где сейчас этот элегантный красавец, мне трудно сказать...

## Вспоминая Егорова

Трагическая, а во многом загадочная судьба этого человека, я надеюсь, когда-нибудь будет описана с глубиной и подробностями, того заслуживающими. Я же хочу вспомнить о Николае Дмитриевиче Егорове в пределах тех встреч, которые у меня с ним были, при этом вовсе не претендуя на исчерпывающую характеристику этого человека, как сейчас говорят, неоднозначного, но условно яркого и талантливого.

Мне кажется, что в истории нашего края это пока единственный случай, когда малоизвестный руководитель колхоза из глубинного района за шесть лет прошёл, нет – пролетел путь до одного из высших руководителей государства. С одной стороны, время способствовало этому (социальные переломы, как проснувшийся вулкан, всегда выбрасывают на поверхность новых людей), ну а с другой стороны, безусловно, надо обладать незаурядными качествами, чтобы это же время подхватило тебя и с силой потянуло вверх. Хотели этого многие, но ситуацию в полной мере удалось использовать лишь Егорову и, как я считаю, только за счет личной незаурядности.

Последний раз я видел Егорова недели за три до кончины. Я был приглашен к нему домой в просторную московскую квартиру, где я был первый и единственный раз.

Дело в том, что накануне нового, 1997 года где-то в последних числах декабря, у него случилось несчастье – сгорела подмосковная дача, просторный бревенчатый дом, довольно старый, но ещё крепкий и способный простоять многие годы. Вопреки сразу возникшим слухам, никакого злодейства здесь не было. Просто сработала наша родная, будь она неладна, беспечность. Как рассказывают, пожар вспыхнул глубокой ночью из-за неисправности в камине. Перекалившаяся теплоизоляция осыпалась, и струйки огня проникли под балочные перекрытия. Хватились только тогда, когда запылали старые сосновые бревна. Люди в чем были, в том и выскочили на мороз.

Пожарные приехали быстро, но выстоявшееся за десятилетия дерево полыхало уже многометровым костром. Поливали, в основном, соседние строения, чтобы те не занялись. В этом огне погибли тогда все богатые егоровские архивы, в том числе и многочисленные кассеты с его выступлениями, разного рода сюжетами, где он присутствовал в том или ином качестве.

Через моего сына, который несколько лет проработал с Егоровым, тот мне передал просьбу помочь восстановить видеосюжеты с его участием, которые имелись в нашем архиве. Это было время, когда ещё довольно активно обсуждались итоги губернаторских выборов в Краснодарском крае и оглушительное поражение

Николая Дмитриевича на них. По этому поводу было много ненужного злорадства, хотя, если говорить честно, Егоров и сам подлил масла в огонь, хотя бы тем, что пытался судебно оспорить совершенно бесспорные итоги выборов. Как я сейчас понимаю, здесь, наверное, было больше неотвратимой безысходности, чем разума. Тогда же все эти судебные хлопоты выглядели более чем странно. Может быть, к этому времени Николай Дмитриевич уже чувствовал, что роковая болезнь, с которой он мужественно боролся последние два года, добивает его. И как уставший пловец, попавший в смертельный водоворот, он уже не ведал, что делает. Может быть!.. Но то, что дела плохи, я понял сразу, как переступил порог.

Горько и больно было видеть, что это был уже совсем не тот Егоров, которого я привык видеть, – собранным, со скрытой внутренней пружиной, с гладким, всегда хорошо выбритым лицом. Мы прошли в домашний кабинет. Он тяжело опустился в кресло. Поговорили коротко ни о чем. В основном говорил я. Егоров слушал, низко склонив голову и полуприкрыв опухшие веки. Свет настольной лампы ещё больше усиливал ноздреватую обвислость подбородка, обострял глубокие нездоровые морщины. Чувствовалось, что физически ему очень нелегко. Силы уходили из тела, привыкшего преодолевать огромные нагрузки. Перед облучением его остригли наголо, и серый, какой-то нелепый пепельный ежик волос усиливал ощущение неблагополучия. Егоров оживился только один раз, когда я спросил его о будущей работе.

– Предложений много. Работать буду. Вот сейчас съезжу в Барвиху, приведу себя в порядок и сразу за работу, – сказал он твёрдо, и в глазах мелькнула знакомая искорка решительности.

Да! Дух такого человека сломить нелегко, подумал я, совсем не предполагая, что развязка столь близка. Слишком уж не вязалось понятие смерти с таким могучим человеком, как Николай Дмитриевич Егоров.

Наверно, сразу надо было пояснить, что я знал двух Егоровых. Одного – до отъезда в Москву, во время его первого губернаторства на Кубани, другого – после возвращения оттуда, иными словами, после освобождения от должности руководителя президентской администрации. Это были два разных человека, причём разность

эта была с полярными знаками. Я знал людей, которых власть, особенно внезапно пришедшая, деформировала радикально. На мой взгляд, Егоров не избежал этой участи. Второй Егоров, в отличие от первого, достаточно доброжелательного, всегда готового обсуждать варианты предлагаемого дела, с хорошей реакцией на разумные предложения, стал человеком раздражительным, с тяжелым взглядом, неулыбчивым и, судя по некоторым кадровым решениям, попавшим под роковое «обаяние» шептунов из «ближнего круга».

К счастью, я никогда не испытывал на себе егоровского гнева, но слышать и видеть, как он распекает других, мне приходилось. Впечатление оставалось тяжелое. Москва и всё, что было с нею связано, на Николая Дмитриевича, на мой взгляд, подействовало отрицательным образом. А впрочем, назовите мне человека, который, «покрутившись» в нашей дорогой столице, вернулся оттуда чище, порядочнее или, на худой конец, добрее! Видимо, так уж устроен столичный механизм, что «сепарирует» у человека худшие качества, а оставшееся просто сливает в канализационную трубу за ненадобностью.

День второго «пришествия» Егорова на кубанское губернаторство я запомнил очень хорошо, поскольку он прошёл на моих глазах и в некоем концентрированном виде представил нового Николая Дмитриевича, с гаммой всех его изменений. День этот начался с утреннего сообщения российского радио, что освобожденный накануне с поста руководителя президентской администрации Николай Егоров назначается главой администрации Краснодарского края. Это было тем более неожиданно, что его предшественник Евгений Михайлович Харитонов ни словом, ни жестом не выказывал, что его положение шаткое. Мы общались с ним накануне – Харитонов был полон оптимизма и планов на будущее. И вдруг нате вам! Это была сенсация не только в масштабах края. Мы ещё не успели ее как следует осмыслить, как следом идет новое сообщение – вечером Егоров прилетает в Краснодар, и по этому поводу всем краевым руководителям предложено ожидать его в актовом зале краевой администрации.

К прилёту Егорова на военном аэродроме собралось полтора десятка наиболее важных краевых и городских персон, в основ-

ном, руководители силовых структур. Я присутствовал в качестве журналиста – мы хотели в этот же вечер передать интервью с новым губернатором, взятое прямо у трапа самолёта.

Егоров прилетел вместе с Харитоновым, и я хотел, чтобы они оба сказали несколько слов о своих неожиданных служебных перемещениях. Но так, к сожалению, не получилось. Сразу бросилась в глаза некая растерянность Евгения Михайловича. Он как-то незаметно, чуть ли не последним, спустился с трапа и тут же исчез. Егоров произнес на телекамеру несколько слов и уверенно подтвердил, что он возвращается на Кубань надолго, в выборах на пост губернатора участие примет и выборов не боится. Через полчаса в актовом зале администрации, где он встречался с руководящим активом края, эта уверенность уже переросла в самоуверенность, если не сказать больше. На мой взгляд, его «тронное» выступление произвело на всех тяжелое впечатление. Временами оно носило разносный характер в стиле старых крайкомовских выволочек. Было явственно заметно, как в зале разливается гнетущее настроение. Многие из тех, кто находился в зале, были близки с Егоровым, знали его ещё с дореформенных времен. Я видел, как они мрачнели лицом, тем более что Егоров и словом, и видом обозначил свой новый губернаторский курс – курс закручивания гаек и «кто не с нами, тот против нас». Радости от встречи не было.

Николай Дмитриевич тут же, что называется, «с ходу» освободил нескольких руководителей и на их место назначил новых, главным образом из людей, которые приехали вместе с ним. Лично меня, например, сильно огорчила замена управляющего делами краевой администрации Сергея Владимировича Анисимова, компетентного работника, доброго и отзывчивого человека, из тех, кого обычно называют «трудягами». На его место был назначен приезжий из Москвы, некто Решетников. После егоровского фиаско с выборами он тихо исчез, не оставив о себе ровным счетом никакого впечатления.

Выступая в тот вечер перед руководящим активом края, Егоров ни словом, ни жестом не коснулся личности своего предшественника, будто Харитонova никогда и не было. Это было тоже огорчительно, поскольку к Евгению Михайловичу большинство ку-

банцев относились уважительно. Возможно, его стартовые деловые качества не соответствовали столь высокому посту, но то, что потенциал его как губернатора возрастал, было очевидно. Мне это было удивительно тем более, что за два года до этого, по-моему, в июне 1994 года, я присутствовал на ужине, где Харитонов, ещё в ранге главы администрации Курганинского района, чрезвычайно тепло принимал губернатора Егорова. Как потом выяснилось – с далеко идущими намерениями.

Тогда я только начинал работать в качестве председателя ГТРК «Кубань» и пользовался расположением Николая Дмитриевича, который меня на эту должность рекомендовал, и однажды пригласил в вертолетную поездку по краю. Ее маршрут завершился в Курганинске, где и состоялась та памятная, во всяком случае для меня, встреча. Ее значимость я понял позже, когда через какое-то непродолжительное время неожиданно для всех Харитонов был назначен губернатором края.

А тогда за товарищеским ужином, который давал в честь приезда Егорова Харитонов, как-то сам по себе возник разговор о том, что в крае ходят слухи о близком отъезде Николая Дмитриевича в Москву. Собственно, разговор этот затеял я, посчитав, что с меня как с журналиста «взятки гладки». На удивление, Егоров не стал возражать и подтвердил, что Президент предложил ему недавно довольно высокую должность в Правительстве. «Важное координирующее министерство», – так сказал Егоров, отвечая на мой вопрос. Как я думаю, прелюдией этого предложения стало стремительное приближение Николая Дмитриевича к Президенту, которое состоялось в Сочи весной 1994 года, во время отдыха Бориса Николаевича. Егоров поехал туда с протокольным губернаторским визитом, но так уж получилось, что Ельцин был в прекрасном расположении духа и радушно раздвинул рамки протокола. По рассказам самого Егорова, Борис Николаевич пригласил его к ужину, потом допоздна дружески беседовал. На следующий день аудиенция продолжалась уже как бы с учетом установившейся накануне теплоты. Я думаю, что тогда в завязывании этих отношений немалую роль сыграл начальник охраны Президента Александр Васильевич Коржаков. Впоследствии Егоров и Коржаков были в добрых, товарищеских отноше-

ниях, насколько это возможно на тех высотах. Как я понимаю, во всяком случае по дальнейшим событиям, там царит тот же принцип, что и у творческой интеллигенции – «Против кого будем дружить?». Уж против кого они там дружили – мне неизвестно, но приближение Егорова к Президенту, тем более столь стремительное, было опасно само по себе, тем паче, что оно в итоге дало толчок для развития у самого Николая Дмитриевича тех незавидных качеств, которые, в конечном счёте, сформировали из него совсем иного человека.

А в тот вечер, когда мы выпивали и хорошо закусывали в Курганинске, ни Егоров, ни Харитонов, ни тем более присутствующие не могли и предположить, что следующие два года станут настоящими «жерновами» для обоих. Тогда же произносились замечательные тосты, и все дружно отговаривали Николая Дмитриевича от переезда в Москву, хотя после каждого такого спича он говорил, что ни в какую Москву не собирается, а любит только свою родную Кубань, с которой связан как по жизни, так и духовно. И всем от этого было приятно, покойно и легко.

Уже впоследствии, восстанавливая в памяти события того вечера, я понял, что отъезд Егорова в столицу уже тогда был предreshен, если не решен окончательно. Как, впрочем, обговорено и решено было назначение Харитонova на его место. Визит Егорова в Курганинск, скорее всего, был неким аппаратно-дипломатическим ходом, таким ненавязчивым знакомством сопровождающих его лиц с Харитоновым, большинство из которых его просто не знали. Николай Дмитриевич как бы проверял нашу реакцию на президентское предложение о его отъезде. Наверное, ему было приятно услышать, во всяком случае из наших слов, что его на Кубани ценят, именно с ним связывают надежды на стабильность, порядок, а самое главное – экономический рост. Я думаю, что тогда люди, сидевшие за столом, говорили ему об этом искренне. К этому времени все сильно утомились от демагогии егоровского предшественника, от его теледискуссий с классиками марксизма, издегались от диких «новаций», а главное – от вечного поиска «врагов». С Егоровым связывали многое, видя в нём, прежде всего, надёжного человека, крепко стоящего на ногах, умеющего не только говорить, но и слушать других.

– Справедливый мужик! – как-то сказал мне пожилой меха-

низатор из Лабинского района, где Егоров долгое время работал. А это была серьезная оценка.

Харитонов, как я потом припоминал, скромно сидел рядом с Егоровым и помалкивал. Тост его был короток и традиционен, и потому ничего существенного в памяти не отложилось. Зато егоровское выступление я запомнил хорошо. Он говорил довольно пространно, но весомо и убедительно, и Харитонову уделил немало добрых слов, подчеркнув, что их жизнь часто сводила вместе.

– Было время, когда Евгений Михайлович был моим начальником, – сказал Егоров, – потом я поднимался наверх, а он опускался вниз, но уровень наших отношений не менялся, поскольку и он, и я – люди одной группы крови, одних убеждений и одних целей.

Так Егоров примерно характеризовал Харитонova, но тогда эту характеристику мы восприняли как обычную дань уважения хлебо-сольному хозяину в благодарность за его радушие, никак, однако, не связывая егоровское высказывание с какими-то далеко идущими планами. А в сущности, это уже и было представление нового губернатора, правда, узкому кругу. Честно говоря, Евгений Михайлович Харитонов никогда не был в обойме тех лиц, фамилии и качества которых перемывались всякий раз, когда намечалась какая-то высокая кадровая перестановка или передвижка. И скажи мне, что через короткое время именно он займет губернаторское кресло, я, как говорят на Востоке, «сел бы на ковер раздумия и положил бы в рот палец удивления». Думаю, это сделали бы и многие другие. Евгений Михайлович был, что называется, типичный работник районного масштаба. В партийные времена его бы протащили через долгий кадровый лабиринт всяких там цековских отделов и подотделов, прежде чем он возглавил край. Если бы, конечно, появилось такое желание. Освободившись от этой многоходовой бюрократии, общество вроде бы получило возможность выявить лидеров без лишней волокиты, но с другой стороны, эти же лидеры обрели возможность тихо улетать... в небытие, к тому же без объясненных причин – был и нет тебя! Что лучше, что хуже – мне судить трудно!

Я не хочу грешить, но мне кажется, свой выбор Егоров сделал не только с учетом опыта и деловых качеств Евгения Михайловича, но с учетом его врожденной деликатности и, если хотите,

внутренней интеллигентности, через которые Харитонов так и не смог переступить. В том мире это оценивается как слабость, которой и воспользовались, меняя Харитонova на Егорова. При всем моем уважении к личности и памяти Егорова, я не могу равнодушно отнестись к факту беззастенчивого и абсолютно никак не мотивированного отрешения Харитонova от должности губернатора. Это, кстати, тоже сослужило Егорову дурную службу – люди хоть и молчали, но это действие, исполненное в традициях худшего дворцового коварства, заставило многих посмотреть на Николая Дмитриевича уже другими глазами.

Но если говорить всю правду, то, наверное, мне надо вспомнить один весьма неприятный эпизод, который пришёлся на первые дни губернаторства Харитонova. Этот эпизод был связан с другой известной фигурой – главой администрации Краснодар Валерием Александровичем Самойленко. Не вдаваясь в причину крупных разногласий Егорова и Самойленко, я хочу сказать, что неприязнь эта была подогрета тем обстоятельством, что оба они выставили свои кандидатуры на выборах в Совет Федерации. Валерий Александрович в то время находился на излечении в Москве после тяжелой автомобильной аварии, и, естественно, ему трудно было влиять на ход выборов. Как я понимаю, его уговаривали снять свою кандидатуру, чего он не сделал, да и никогда бы не пошёл на это, хотя бы в силу своего характера, весьма неуступчивого и самолюбивого. Чтобы это предлагать, надо было знать Самойленко. Но расстановка сил в той избирательной кампании была все-таки в пользу Егорова. Он действительно слыл авторитетной фигурой, выглядел способным, уверенным, уравновешенным, особенно на фоне своего предшественника – бесшабашного и говорливого, вызывавшего по этому поводу у публики массу едких и иронических замечаний. Это было время, когда ещё все помнили конфликты между первым губернатором края Дьяконовым и мэром столицы Кубани Самойленко. Их публичная часть развивалась на телеэкране, где каждую пятницу губернатор края старательно «поносил» мэра города. Аргументов там было немного, а вот неприятных эмоций и агрессивной болтливости – сколько угодно. Надо отдать должное самообладанию Самойленко – даже в самых острых ситуациях он



сохранял невозмутимость, очевидно, хорошо помня утверждение Жака Руссо, что «ничто так не подпитывает клевету, как опровержение». Однако чем больше молчал Валерий Александрович, тем запальчивей Василий Николаевич «молотил» по телевидению самойленскую «тень», причём делал он это с таким самозабвением, что однажды сам Президент России упомянул об этой сваре на совещании в Чебоксарах, пригрозив снять с должности обоих. Но снял все-таки одного Дьяконова, поскольку у Василия Николаевича таких скандалов к тому времени накопилось немало, и он гремел ими, как зимний ветер железом по ржавой крыше.

А вот следующий конфликт Валерия Александровича, на этот раз с Егоровым, завершился для него плачевно. Егоров учел ошибки своего простодушного, хотя и не в меру горячего предшественника и нанёс «удар» с искусством и быстротой гюрзы – о своём снятии с должности Валерий Александрович узнал из сообщения радио, когда ехал в автомобиле. Кстати, через пару лет Евгений Михайлович Харитонов узнал о своём смещении тоже в малоподходящем месте – в гостиничной ванной, в то время когда брился, готовясь к встрече с прессой в Московском парламентском центре. Увы, но таковы современные нравы в той среде. А впрочем, там ли только! К сожалению, ни с кем мы не воюем так хорошо, как друг с другом. Самое время вспомнить, что ещё во времена Анны Иоанновны, когда пришлые иноземцы обступили русский престол, один из придворных вельмож, вконец уставший от дворцовых интриг, в сердцах воскликнул: «Нам, русским, хлеба не надобно – мы друг друга едим и тем сыты!» Как я понимаю, кушать друг друга мы продолжаем с ещё более возрастающим аппетитом. Некоторые давятся, но жевать-таки себе подобных продолжают. Память у нас слабая, особенно историческая...

## Лабиринты памяти

Так вот в продолжение рассказа о неприятности, о которой я упомянул выше. Она как раз была связана с фактом освобождения от должности Валерия Александровича Самойленко. Новый губернатор сделал это весьма оригинально. Поздно вечером меня

пригласили в депутатскую комнату Краснодарского аэропорта, где к тому времени уже находился прилетевший из Москвы Харитонов. Там же были начальник краевого Управления внутренних дел генерал Сапунов и начальник краевого Управления Федеральной службы безопасности генерал Червинский.

Евгений Михайлович достал из портфеля Указ Президента о снятии Самойленко и предложил передать его по краевому радио и телевидению. Я сказал, что сегодня в вечерних блоках новостей Указ нами уже обнародован, второй раз передавать его смысла нет. Харитонов хмыкнул, подумал и согласился. «Да, наверное, не стоит», – сказал он. Я пошёл в соседнюю комнату пить чай, а он в дальнем углу занялся разговорами с силовиками. Пока они шептались, я попытался осмыслить некоторые детали. Мне показалось, что Харитонов на этот раз в отношении меня был непривычно сдержан, если не сказать – сух. Причина такой сухости могла быть только одна – я считался человеком Самойленко, поскольку ещё недавно был его пресс-секретарем. Кстати, это была очень увлекательная работа. Общаться с Валерием Александровичем было нелегко (он человек своеобразный, если не сказать – своенравный), но интересно. Службу свою я нес исправно, хотя за рамки обязанностей пресс-секретаря никогда не переступал.

Но к этому времени возле Евгения Михайловича уже «клубились» люди, которые всегда действуют как определители – «свой» – «чужой». Мы их между собой называем «летучими мышами». По мнению «мышей», я явно смахивал на «чужого», поэтому Евгению Михайловичу они, видимо, внушили мысль, что я могу выкинуть какой-нибудь фортель. Думаю, он и решил на всякий случай подстраховаться, пригласив меня в аэропорт. Но на этом дело не закончилось. На следующее утро мне привозят отснятую видеокассету с выступлением губернатора. В нем он расшифровывает причины освобождения Самойленко. Нам было предложено в тот же день передать это выступление в эфир. Надо сказать, что материал был снят в любительском режиме, в каком-то случайном помещении, при плохом освещении. Словом, я ещё раз получил возможность убедиться, что ГТРК не доверяют, поскольку выступление губернатора снимал кто-то другой, а если уж быть совсем точным, то не доверяют мне.

«Ну, ладно, что делать!» – в который раз подумал я. Вызвал дежурного режиссера и поручил готовить кассету к эфиру. Через какое-то время режиссер заходит ко мне в кабинет и спрашивает:

– Владимир Викторович! Вы видели эту кассету?

– Видел!

– И ничего не заметили?

– Заметил, что плохо снята. Что делать? Придется взять это на наши издержки.

– А где снято, вы не обратили внимания?

– По-моему, в какой-то комнате, скорее всего, это квартира.

Но когда мне режиссер рассказал, что это за комната и что это за диван, на который усадили губернатора, – за голову уже взялся я. Дело в том, что с первых дней губернаторства в окружении Харитонова появились два довольно странных субъекта – мрачный мужчина и бойкая женщина. Они именовались психологами. Какую уж служебную роль они исполняли – мне было неизвестно, но то, что они входили в кабинет губернатора, что называется, без стука, знали все. На какое-то время они овладели Евгением Михайловичем полностью. Как потом выяснилось, они и присоветовали губернатору сделать телезаявление не в служебном кабинете, а в так называемой неформальной обстановке. А поскольку Евгений Михайлович был в Краснодаре человек недавний, жил в гостинице, они и подыскали ему место съемки у одного своего знакомого. Диван, на который усадили губернатора, был не только запоминающийся, но и весьма сомнительной репутации, как, впрочем, и вся квартира в целом. Словом, квартирка, выражаясь булгаковским языком, была в полном смысле «похабная». Психолог, который к тому же выдавал себя за специалиста телевидения, и снял все это на любительскую камеру. «Психологи» эти исчезли так же, как и появились, – внезапно. В конце концов Евгений Михайлович, видимо, и сам понял, что это за люди. Кассету в эфир выдали, но Харитонову говорить ничего не стали, чтобы не втягиваться в лишние интриги и разборки. К сожалению, через пару лет история повторилась, и сам Евгений Михайлович попал под «колеса» того же «поезда», как, впрочем, и Егоров.

Я прошу прощения у читателя, если буду время от времени

сходить с колеи своего повествования и иногда удаляться в сторону от магистральной темы. Но, плутая по лабиринтам памяти, я нахожу такие похожести между прошлым и настоящим, что диву даешься, как люди разных поколений повторяют одни и те же ошибки, особенно когда погружаются в сладкий дурман самообмана. Я и сам в данном случае не исключение, и в этой книге вы не раз найдете тому подтверждение.

Лично для меня 1994 год заканчивался неплохо. Год на посту председателя государственной телерадиокомпании «Кубань» был наполнен энергичной работой, главным образом, связанной с капитальным ремонтом студии телевидения и формированием творческого коллектива. Уже видны были кое-какие результаты, и это не только радовало, но и вселяло надежду, что если все так пойдет дальше, года за два-три мы сумеем вырваться из той разрухи, которая постигла краевое телевидение и радиовещание в перестроечные годы.

В ноябре 1994 года мы с главным редактором газеты «Кубанские новости» Петром Ефимовичем Придиусом были включены в состав группы российских журналистов для трехнедельной поездки в Соединенные Штаты Америки.

Сборы были в Москве, и мы решили это время использовать, чтобы побывать у Егорова в министерстве. Надо сказать, встретил он нас очень радушно. Молодая и обаятельная официантка бесшумно сервировала чайный столик, разлила по рюмкам коньяк.

Выглядел Николай Дмитриевич в кресле министра просто замечательно. В элегантном темном костюме, с хорошо повязанным галстуком, он был нетороплив, уверен и, что немаловажно, в хорошем расположении духа. Мы говорили о всяких пустяках, но в этом разговоре уже чувствовались новые властные, я бы даже сказал, жесткие интонации, особенно когда он отвечал на редкие телефонные звонки. Я думаю, что у Николая Дмитриевича это был период некой душевной эйфории, которая бывает у всякого человека, когда жизнь вдруг разворачивается к нему радужной стороной, и судьба, подхватив под руки, несет, как божьего избранника, все выше и выше. Тогда часто кажется, что и дальше все пойдет так же удачно. Позже один человек сказал мне, что трагедия Ни-

колая Егорова заключалась в том, что он слишком стремительно, а главное – слишком близко оказался к Ельцину. На этом примере можно понять, сколько достойных людей сгорело в отблесках царского трона. Сгораем, а все равно летим! Вот уж где загадка человеческого честолюбия.

В тот вечер мы сидели в министерском кабинете довольно долго. Егоров рассказал, что старинное здание Министерства по делам национальностей на Трубниковском переулке принадлежало князю Трубецкому. После революции, когда советское правительство переехало из Петрограда в Москву, дворец занял народный комиссариат национальностей во главе со Сталиным.

– Я как раз нахожусь в том самом кабинете, более того, сижу на том самом месте, где когда-то сидел Сталин, – рассказывал мне Егоров. – А в соседних двух комнатах была его первая московская квартира. Там, кстати, родилась его дочь Светлана...

Мы с Придиусом с любопытством крутили головами, пытаясь в просторном, но довольно мрачном кабинете, отделанном под черный дуб, узреть тень сурового горца. Как-то странно было слышать о Сталине, уже отдаленном от нас толстым слоем времени, как о человеке, который восседал в этом углу, ходил по этому кабинету, пил, как мы сейчас, чай, звонил по телефону.

Кстати, подал голос один из телефонов, мягко так, ненавязчиво, Егоров медленно снял трубку, поднес ее к уху и долго слушал, лишь изредка вставляя междометия. Лицо его было непроницаемым.

– Ты вот что, Умар, давай к воскресенью все заканчивай! – сказал он в заключение разговора и положил трубку.

Я, честно скажу, не придавал значения этой фразе, а Петр Ефимович понял сразу, с кем шёл разговор, а самое главное – о чем.

Вечером, в гостинице, обсуждая впечатление от посещения Егорова, он вдруг спросил меня:

– А ты знаешь, с каким Умаром вел Егоров разговор и какие дела надо завершать к воскресенью?

– Понятия не имею.

– Речь шла о Чечне. Авторханов, он-то и есть Умар, как я понимаю, должен к воскресенью войти в Грозный и покончить с режимом Дудаева, – Придиус горько усмехнулся. – Боюсь, что Ни-

колай Дмитриевич слишком упрощает проблему. Это же не сев озимых, который можно завершить к воскресенью или, на худой конец, в понедельник.

Думать о тревожном не хотелось, тем более нас ожидала многообещающая поездка за океан. Мы коротко посмеялись над, как нам казалось, наивностью российских политиков, пытавшихся тогда сравнить «хороших» чеченцев с «плохими» и получить при этом выгодный для себя результат. Но наивность – понятие, в общем-то, гуманное и по-человечески объяснимое. Наивный человек, насколько я понимаю, прежде всего – добрый человек. А в деле, которое обсуждали Егоров с Авторхановым, ничего человеческого не было, а уж тем более доброго.

Это были дни, когда зловещая туча чеченской трагедии сгустилась все более и более. Десятки тысяч людей, в том числе и Николай Дмитриевич Егоров, ещё не ведали, какая страшная беда подошла к порогу нашего общего дома, угрожающе нависла над их жизнями.

До сих пор ищут виновников чеченской войны. Боюсь, что не найдут никогда. На мой взгляд, Егоров был фигурой, которую в той игре использовали максимально полно, без раздумья пожертвовав ею, когда политическому закулисью надо было получить некое новое качество в подлой и грязной интриге. Как я сейчас понимаю, он был человеком долга (во всяком случае, на том этапе). Он и в страшном сне не мог предполагать, что, несмотря на заметность и фактурность министерского поста, ему была уготована роль молотка, которым забивают гвозди. Потом таких «молотков» в практике нашего Президента будет множество. Стукнул и выбросил...

Через три недели в США, в гостиничном номере города Индианаполиса, мы узнали, что российские войска вошли в Грозный. За окном переливался всеми цветами радуги большой американский город, а на телевизионном экране мелькали лица Ельцина, Дудаева, Черномырдина, Хасбулатова, ещё каких-то российских деятелей. И вдруг среди них я увидел Егорова. Диктор сообщил, что указом Президента России министр по делам национальностей Николай Егоров назначен вице-премьером и на него возложены функции по координации всех мероприятий по установлению конституционного порядка в Чеченской Республике.

Каждый вечер наша группа усаживалась возле телевизора, но даже из тех скудных видеоматериалов, которые шли по американскому телевидению, было ясно, что Россия вновь втянулась в нечто непредсказуемое и кошмарное. Ведь только-только «вытянули ноги» из афганской войны. Я хорошо помню, как тихо, как бы исподволь она начиналась. Накануне нового, 1979 года я был в командировке в Москве. Остановился у своего давнего приятеля, бывшего краснодарца. Тот работал в ЦК КПСС, в отделе пропаганды и агитации. Возвращался он обычно со службы поздно, рассказывал мало: таковы уж были партийные правила – жить и работать в системе сплошных секретов. Но на этот раз, за поздним ужином, Юра вдруг поднял на меня усталые глаза и медленно сказал:

– Прошлой ночью наши войска вошли в Афганистан.

Меня взяла оторопь:

– То есть как вошли, чего ради?

И друг мне стал объяснять, что есть в Афганистане некое Каракорумское нагорье. Американцы спят и видят, как установить там свои ракеты, чтобы простреливать нашу территорию до Урала. И мы якобы, чтобы не позволить им этого и обезопасить страну, пошли на то, чтобы войти в Афганистан своими вооруженными силами.

– Так это же война! – возразил я. – Ведь англичане сто лет барахтались в этой стране, а так и ушли оттуда с изрядно побитой мордой.

– Ну когда это было – те же сто лет назад! Тем паче, можно ли сравнивать нашу современную военную мощь с убогой английской кавалерией прошлого века. Наша задача, дорогой мой, – говорил мой друг наставительно, хотя и не очень весело, – быстро и прочно захватить стратегические плацдармы, используя антиамериканские настроения в этой стране.

Я пожал плечами, поскольку ничего не мог возразить, кроме того, что мне не нравилось само понятие «вторжение». Это сейчас мы об Афганистане знаем все или почти все, а тогда (не забудьте, что шёл, в сущности, первый день афганской войны) то была война «за семью печатями». Друг мой, занимая довольно высокий партийный пост и ведя приватно разговоры о деле, которое

было покрыто полной неизвестностью, думаю, в определенной степени рисковал. Тогда ведь вообще не позволялось обсуждать ничего, что исходило из «партийного дома», а тем более самого главного. Любое решение, принятое там, считалось не просто верным, а мудрым и прозорливым, после которого необходимо было ещё теснее сплотиться вокруг Центрального Комитета. Цену такой прозорливости мы все потом хорошо узнали, как, впрочем, и узнали, что самые главные недруги нашей страны и возглавляли сей Центральный Комитет.

Зловещие аналогии, связанные с той и вновь нарождающейся российской войной, естественно, у меня возникли сразу, но американские впечатления были довольно яркими, и они отодвинули малоприятные мысли, тем более, как я тогда считал, конкретно чеченские события меня вряд ли коснутся.

Но, как выражались герои тех же старинных романов: «О, как легкомысленно и горько я заблуждался!» Даже и предполагать не мог, что ровно через две недели буду месить жидкую грязь разбитых чеченских дорог, вдыхать вонючую гарь танковых колонн и вбирать голову в плечи от раскатов близкой орудийной канонады. Мало того, как отец буду переживать за своего сына, для которого Чечня с первых дней войны стала местом постоянных и продолжительных командировок.

А пока, широко улыбаясь, я шагаю в лаковых штиблетах по толстому ковру национального американского пресс-клуба в Вашингтоне. Мы получаем дипломы, удостоверяющие, что прослушали курс правовой журналистики, естественно, в американской интерпретации. Все просто восхитительно – обед на серебре, нарядные дипломы, улыбающиеся дамы и господа. Мы – в официальных костюмах, хорошо выбритые, причесанные и пахнущие хорошими духами. А впереди была неизвестность!

## Ёмкое русское слово

Через две недели, сидя за наспех сколоченным неструганным столом в продуваемой палатке мотострелкового полка, занявшего глубокую окопную оборону вокруг поселка Знаменского, я вспоми-

нал об Америке как о нереальном и происходившем не со мной и к тому же в совершенно другой жизни.

То, что на родине произошло нечто серьезное, мы почувствовали сразу, как только вышли из Шереметьевского аэропорта. Милиция была вооружена автоматами. На пути к Москве то и дело встречались бронетранспортеры с расчехленными пулеметами.

– Слушай, что творится? – спросил я у Сергея, друга и сослуживца моего сына, который встречал нас в аэропорту. По дороге он подтвердил, что Егоров сейчас – вице-премьер и министр национальностей одновременно. На него возложена задача координации всех действий по установлению порядка в Чечне. Все работники министерства обеспечивают эту задачу, и многие уже находятся в Чечне.

– И Саша там? – вырвалось у меня.

– Ну конечно! – сказал Сергей. – Он руководитель аппарата министерства – где же ему быть?

Вечером в гостинице включили телевизор. На всех каналах была Чечня – пальба, кровь, взрывы, разрушенные дома, беженцы, глаза, полные ужаса, и бесконечная чавкающая зимняя грязь под стальными гусеницами. Российское телевидение словно взбесилось – ни одного слова в защиту нашей армии, ни единого доброго жеста в сторону российского солдата. Кругом стреляющие чеченцы, бородатые иступленные лица, зелёные повязки на лбу, седые старцы, приплясывающие в воинственных танцах. Жуть какая-то!

Кто мог знать тогда, что в российской истории начинался один из самых мрачных и разрушительных периодов, где низость, подлость и предательство стали теми струнами, на которых исполнялась зловещая мелодия этой войны.

Первые гробы с погибшими солдатами пошли на Кубань сразу после встречи нового, 1995 года. Ещё не успели, как говорится, очухаться от Афгана, а в станицах и городах края снова завывали матери, пытаясь сорвать крышки с цинковых гробов. Потом, правда, гробы стали просто деревянными – цинка не хватало на всех.

Чечня от Краснодара не слишком далеко. Первых раненых повезли тоже сюда. В мрачных палатах и коридорах гарнизонного госпиталя враз стало светлее от бинтов и тесно от безногих, без-

руких и покалеченных пацанов. На этот раз что-либо скрыть было трудно, а оправдать новое воинственное вторжение – ещё сложнее. Тысячи обезумевших кубанских матерей кинулись сначала в военкоматы, но встретив там каменные физиономии, развернулись и вышли на улицы. Буря народного возмущения и волна беспокойства за своих детей начала быстро достигать опасных отметок. Бурлящий митинг в центре Краснодара потребовал на трибуну главу администрации края Харитонову.

Что уж там говорил Евгений Михайлович о действиях правительства, мне неизвестно, но тем не менее он немедленно публично принял предложение об отъезде в Чечню инициативной группы солдатских матерей, пообещав, что вместе с ней поедет съёмочная группа телерадиокомпании «Кубань», чтобы она запечатлела реальную картину происходящего, а затем показала ее по краевому телевидению.

– Владимир Викторович! – позвонила мне какая-то женщина из администрации края. – Евгений Михайлович дал команду, чтобы ваша съёмочная группа через час была в военном аэропорту для отлета в Чечню.

Я человек, привыкший к неожиданностям, но, честно говоря, не к таким. Правда, кому ехать, сомнений у меня не было ни секунды. Безусловно, это должен сделать я. Хотя бы для начала – это мой долг и обязанность. Такое решение у меня возникло сразу и безоговорочно.

– Назовите фамилии для полётного листа! – попросила женщина.

Я назвал свою фамилию и, чуть помедлив, Юру Архангельского. В нём я был уверен, как в самом себе. Прекрасный профессионал, смелый человек и надёжный товарищ, Юра прошёл армейскую школу на Северном флоте, где полный срок отслужил гидроакустиком на океанской подлодке.

Через час мы уже были на военном аэродроме, где встретились со своими попутчиками – представителями комитета солдатских матерей, среди которых женщина была лишь одна, а остальные почему-то мужчины. Правда, проблема у них была единая – их дети уже воевали в Чечне.



Для журналиста хорошая компания – это первое дело. Нам тогда здорово повезло. Группу возглавлял Миша Курков, молодой симпатичный хлопец, как потом выяснилось, не только хорошо ориентирующийся в обстановке, но и заботливый, а главное – надёжный в чрезвычайной ситуации человек. Он и генерал Игорь Иванович Агарков очень много сделали тогда для успеха нашей поездки, для устройства и перемещения по Чечне. Без соответствующих документов и надёжного сопровождения там можно было очень быстро попасть в непредвиденную историю, которая вполне могла бы завершиться стрельбой на поражение.

То, что мы прибыли в зону боевых действий, поняли сразу, как только выгрузились в Моздоке. Пока Курков ходил куда-то, чтобы утрясти формальности, связанные с нашим прибытием, мы расположились у входа в маленький домик, который оказался диспетчерской. Возле него лежали сваленные в огромную и беспорядочную грудку шинельные скатки, рюкзаки, какие-то мешки и железные коробки. Поверх всего набросаны автоматы, каски, ещё какая-то военная амуниция. Вокруг бродило много офицеров. Одеты в заляпанную грязью полевую форму, они производили странное впечатление. Прежде всего потому, что многие из них были выпивши, а некоторые даже изрядно. Разговорившись с одним из них, нервным и чем-то сильно подавленным, мы быстро оказались в кругу взвинченных, даже до крика, военнослужащих.

Поняв, что мы журналисты, они наперебой стали клясть начальство, бросившее их, неподготовленных и плохо вооруженных, в бой.

– Вот смотри, корреспондент! – худой, заросший щетиной майор поднес к моему лицу обшарпанный автомат Калашникова. – Ты знаешь, сколько ему лет?

– Кому? – не понял я.

– Да этому автомату! Он старше меня по возрасту. Из него стрелять нельзя. А нас в бой...

Выяснилось, что это офицеры танковой дивизии, расквартированной в городе Чайковском Пермской области. Ночью их подняли по тревоге, вскрыли старые оружейные склады, где много лет хранились на случай следующей мировой войны списанные авто-

маты, и с этим «замечательным» оружием погрузили в самолёт и перебросили в Моздок, а оттуда в Грозный. По словам офицеров, многие их товарищи погибли.

– А где же ваши солдаты? – спросил я, ещё не очень веря в правдоподобность этих рассказов. Позже, правда, я уже верил во все, поскольку видел картины и похуже.

– Какие солдаты! – горько засмеялся майор. – Наша дивизия лет тридцать как кадрированная, а иначе – кастрированная. Доблестное советское офицерство – становой хребет танковых войск. Служили – не тужили...

Он затянулся сигаретой так глубоко, что и без того впалые заросшие щеки обострились свирепыми желваками.

Я представил себе тихий районный городок. Воинская часть на окраине. Танки без горючего в ангарах. Малочисленные солдаты, в основном, красят гусеницы и копают офицерские огороды. Командиры больше похожи на совслужащих тридцатых годов. К восьми на работу, к пяти домой. Иногда учения на картах или ящиках с песком. В день полочки – выпивка средней тяжести. Серьезная выпивка по получению кем-то очередного звания. Очень серьезная – при увольнении в запас. У многих так и вся служба, как ржавая вода, тихо струится по болотным кочкам.

Иногда, чтобы жизнь медом не казалась, – тревогу объявят. Этакая привычная картонная тревога, когда застоявшееся воинство разбегается по так называемым боевым местам, тихо матюкаясь в адрес беспокойного начальства. И вдруг, в кои-то годы, сыграли настоящую боевую тревогу – бестолковую, суетную, со взаимно-исключающими указаниями, с горловым полковничьим матом, покрывающим все и вся, а самое главное – с неизвестностью, похожей на мрачную морскую бездну.

А через сутки – бой, о котором многие, прослужив полтора десятка лет в тихом, Богом забытом гарнизоне, понятия не имели. Их бросили в самое пекло, под жестокий гранатометный обстрел, кинжальные пулеметные очереди, офицеров-танкистов, согнанных в неумелые стрелковые взводы.

– Что сейчас будет? – спросил я.

– Двое суток провоевали! – майор жадно курил одну за дру-

гой предложенные сигареты. – Улетаем обратно. Других дураков пришлют... Вон, смотри, они один за другим садятся.

На посадку заходили огромные самолёты. Они с грохотом рулили в разные концы аэродрома. Вокруг него горели костры, разбивались палатки, дымили полевые кухни. Сотни прибывающих военнослужащих пытались обжить холодное, сырое пространство, заполненное грохотом танковых, вертолётных и самолётных моторов.

Есть такое емкое русское слово – «бардак». Правда, у него несколько иное первичное значение, но к той ситуации оно как нельзя лучше подходило. Время от времени со свистом садились какие-то камуфлированные вертолеты. Из них выгружались военные, обвешанные таким количеством оружия, что из-под железа были видны только ноги. Говорили, что это люди из каких-то спецподразделений. Они резко выделялись на фоне всех остальных, а особенно наших собеседников, одетых в весьма задрипанные полуватные штаны и куртки. То были, как правило, небольшие группы военных, облаченные в нарядную пятнистую форму, с множеством набитых чем-то карманов, в стальных сферических шлемах и при серьезном оружии – гранатометах, автоматах незнакомых мне марок, с гирляндами ручных гранат на поясе.

Позже, в Грозном, в Доме правительства, я спросил у одного из охранников вице-премьера Семёнова, того самого Семёнова, который сменил заболевшего Егорова, что за оружие у него – такая короткая массивная труба с прикладом. Он посмотрел на меня нехотя и столь же нехотя процедил:

– Специальное!

Кстати, этот охранник потом устроил мне допрос с пристрастием, почему я без его ведома подошёл к Семёнову и попросил об интервью. А произошло это возле столовой, куда Семёнов шёл обедать. Столовую эту хорошо знали все, кто оказался в то время в Грозном, – старое, приспособленное здание, кое-как восстановленное после обстрелов, находившееся во дворе сгоревшей небольшой больницы, которую потом переделали в гостиницу. Ту самую гостиницу, где при второй сдаче Грозного оказались заблокированы российские журналисты. Так вот этот охранник, очень молодой парень с напряжённым худощавым лицом, через несколько часов

после интервью, которое, кстати, Семёнов охотно дал, остановил меня в затоптанном и заплёванном коридоре Дома правительства и отобрал все разрешительные документы на работу в зоне боевых действий. Разговаривал при этом грубо и высокомерно, как может разговаривать человек, получивший какие-то властные полномочия в отношении другого человека, этих полномочий не имеющего. Кончилось это тем, что я послал его по одному известному всем адресу, пообещав пожаловаться на самоуправство самому Степашину и даже Виктору Степановичу Черномырдину. Как ни странно, но моя наглость возымела действие – охранник поурчал немного, но документы тем не менее вернул. Потом с обидой в голосе я рассказал об этом инциденте генералу Хоперскому, командовавшему фээсбэшниками в Чечне. Он криво усмехнулся и посоветовал к охранникам высокого начальства близко не подходить, поскольку они навешивают на себя столько оружия и взрывчатки, что при попадании осколка взрываются, как пороховой погреб. Над этим мы посмеялись, хотя парадоксы качества вооружения наших военнослужащих в Чечне встречались на каждом шагу. Те, кого бросали в самое пекло бойни, часто имели столь изношенное оружие, что оно «выплывало» пули, как старый шамкающий рот.

Позже, в поселке Знаменском, в расположении дивизии внутренних войск, это нашло ещё одно подтверждение. Нам показали тяжелое вооружение, изъятое у чеченцев. В каком-то ауле из хлева выволокли засиженную курами новейшую 122-миллиметровую пушку и несколько ротных минометов. Вместе с оператором японской телекомпании мы это все снимали как трофеи наших доблестных войск.

Японец цокал языком от восхищения, прицеливаясь объективом на орудие с длинным стволом, которое, несмотря на куриный помет и ошметки грязи, сияло суперсовершенным прицелом и выглядело крайне внушительно. Минометы же, явно бывшие в длительном употреблении, были побиты временем и сильно поцарапаны. Вечером, за кружкой водки, командир роты признался, что минометы он подменил – новенькие, отобранные у чеченцев, взял себе, а свое старье отдал как трофейное.

– А пушку-то почему не взял? – спросил я.

– Мне такая пушка по штату не положена. Это вооружение

артиллерийских частей. А мне куда с такой «дурой», да и таскать ее нечем. Тут специальный тягач нужен. А вот от пушчонок калибром поменьше, да с хорошим запасом снарядов, я бы не отказался.

– Съест-то он съест, да кто ему даст! – усмехнулся в усы бывалый прапорщик, выковыривая из консервной банки холодную свиную тушенку, которую можно было есть, как говорил мне Юра Архангельский, только по приговору военно-полевого трибунала Первой конной армии. «Почему?» – спрашивал я. «А потому, что он отличался большой жестокостью!» – отвечал Юра.

Я думаю, что самая большая загадка чеченской войны – это система обеспечения формирований боевиков оружием, боеприпасами, снаряжением, продовольствием, горючим – всем тем, без чего любая война прекращается через день. По поводу этой войны я слышал массу всяких оценок, комментариев, суждений, дискуссий, в исполнении самых различных людей, начиная от уважаемого Президента и заканчивая мелкотравчатыми «жуликами пера», готовыми за доллары отравить маму родную. Но ни один из них ни разу не попытался ответить на вопрос, может быть, самый главный и основной – откуда, из каких источников пополняли чеченцы ресурсы, необходимые для ведения войны. Ведь чтобы провести хотя бы один день столь интенсивных боевых действий, как это было, скажем, при сражении в Грозном, надо было доставлять различные грузы военного назначения, исчисляемые сотнями, а то и тысячами тонн. Откуда это все бралось, как доставлялось, каким образом распределялось? Своего оружия чеченцы не производили, боеприпасов тоже. Того, что было захвачено при разграблении арсеналов учебной дивизии, расквартированной в Грозном, хватило бы на несколько недель, а война шла несколько лет.

«Откуда?» – повторяю я свой вопрос и попытаюсь сам на него ответить. Как это ни странно звучит – с наших российских заводов. Вот уж где запретная тема. Даже такие опаленные огнем генералы как Лев Яковлевич Рохлин и Александр Иванович Лебедь уклонились от прямого ответа, когда я поставил перед ними этот вопрос, проявляя при этом чудеса дипломатии и детсадовского неведения. Хотя, как мне кажется, достаточно было вынуть из окопавшихся рук убитого чеченского боевика новенький «Калашников»

и по его заводскому номеру проследить не только путь доставки автомата в Чечню, но и скорость его продвижения.

Это была удивительная война, не имеющая в мировой истории аналогов, поскольку обе противоборствующие стороны снабжались из одних и тех же источников, то есть одних заводов, фабрик, арсеналов и складов. Значит, кто-то был очень заинтересован, чтобы граждане России исступленно крушили друг друга, создавая им для этого максимально благоприятные условия.

Кстати, стоило Егорову только один раз публично заикнуться об этом, как московская пресса с остервенением обрушилась на него. Я хорошо помню, как это было. В первые дни 1995 года Моздок стал главным пунктом сосредоточения и управления российских войск, ведущих бои в Чечне. Тот самый аэропорт, куда мы прибыли из Краснодара, на самом деле оказался военным аэродромом дивизии авиации дальнего действия. Штабные помещения этого соединения в то время стали командными пунктами, где находилось все высшее руководство операцией, в том числе и Егоров. Накануне его, Степашина и генерала Кулакова мы встречали прямо на посадочной полосе, куда приземлился правительственный «Ту-134».

У трапа поздоровались, а точнее – зафиксировались перед Николаем Дмитриевичем, что мы, съемочная группа с Кубани, тоже здесь. Он и Степашин тепло поздоровались, и кавалькада машин с начальством стремительно умчалась, а мы пошли пешком к себе в штаб, где Игорь Иванович Агарков с Михаилом Курковым разбирались с солдатскими родителями и их детьми. Одного парня Игорь Иванович нашёл почти сразу – воюет в Грозном, механик-водитель танка. На предложение приехать в Моздок ответил решительным отказом. Отец не поверил. Тогда Игорь Иванович проделал какую-то сногшибательную, только ему понятную радиокомбинацию. Действуя через командующего войсками связи, через спутниковые ретрансляторы, он сделал все возможное, чтобы отец услышал по телефону голос сына, звучащей прямо из танкового чрева.

Судя по разговору, сын подтвердил отказ ехать в Моздок.

– Сынок! – канючил в трубку отец, враз облившись слезами. – Мать сильно убивается. Я тут с начальством договорился. Ну чего ты упираешься...

Мы все подавленно молчали, наблюдая за этой нелегкой сценой. Миша крутил в руках шапку, и даже Агарков низко опустил голову, с силой разминая в руках сигарету. Тяжело вздохнув, враз осунувшийся отец наконец передал трубку и стал вытирать платком мокрое лицо:

– Не хочет... Говорит, товарищей не бросит... Товарищей... Если я по телефону одну пальбу слышу – что же там на самом деле творится?

И тут Игорь Иванович поднялся во весь гвардейский свой рост. Его командирский рокошующий бас из-под лихих казачьих усов заполнил всю комнатенку, где в плотном табачном дыму сгрудились человек пятнадцать.

– Отец! – сказал он. – Ты вырастил прекрасного сына. Я верю, он вернется домой и ты будешь гордиться им. Спасибо тебе!..

Как хотелось бы мне и дальше продолжить тему в том же духе – о доблести наших солдат, самоотверженности командиров, мудрости полководцев, стойкости отцов и матерей. Да видимо, прошли те времена, когда доблесть русских солдат и мудрость российских государственных мужей были звеньями одной политической цепи.

Лев Яковлевич Рохлин, командир гвардейского корпуса, вступившего в бой на северной окраине Грозного, с горечью потом говорил мне, что никакого корпуса, в сущности, не было. Было около четырехсот плохо обученных, собранных с бору по сосенке солдат и офицеров. А столкнулись они, как раз наоборот, с хорошо владеющими военным делом боевиками, жестокими и самоотверженными, имеющими все средства для управления боем и взаимодействия друг с другом.

Бывало, командир российского батальона или даже полка получает секретное предписание из вышестоящего штаба о плане дальнейших действий, и тут же на волну его радиостанции настраивается чеченский полевой командир и со смехом диктует это же самое предписание. Он уже все знает, все наши так называемые секреты. В детстве в одном журнале я читал детективный рассказ, как во время Великой Отечественной войны в штабе дивизии Красной Армии некий шпион подвесил к потолку специальную электролампочку, с помощью которой прослушивал и просматривал все

секретные материалы. Рассказ был лихо закручен и заканчивался просто замечательно – наши доблестные контрразведчики разоблачают шпиона вместе с его фантастической лампочкой.

В чеченской войне создавалось впечатление, что эти вражеские волшебные лампочки были развешаны в командных пунктах всех армейских уровней, при полном упразднении контрразведывательной службы.

Позднее командующий российской группировкой генерал-лейтенант Пуликовский Константин Борисович, глубоко уважаемый мною человек, рассказал, как шло управление частями при проведении войсковых операций. На его карте командующего были обозначены дислокации наиболее крупных формирований боевиков, радиообмен между которыми прослушивали российские средства связи. И вот в ходе жестокого боя «гаснет» сначала одна чеченская бригада, потом другая, затем третья. Слышны отчаянные вопли чеченцев о помощи – заканчиваются боеприпасы, большие потери и прочее. Кажется, конец близок. Ещё немного, и полное поражение противника. И вдруг команда сверху – войскам «стоп», огонь прекратить. Проходит несколько дней, и снова «оживает» эфир. Сначала зашевелилась одна чеченская «бригада», потом – вторая, третья... Разведка докладывает, что противник активно пополняет боевые формирования живой силой, оружием, боеприпасами, отводит раненых, укрепляет оборону. Через пару недель все восстанавливается, и бои начинаются как бы «с белого листа». Но об этих странных, если не сказать больше, командах сверху российская армия узнала много позже. В первый же день, когда мы сидели в узкой камерке генерала Агаркова и пытались разыскать в мешанине воюющих подразделений нескольких кубанских парней, патристические иллюзии ещё витали в воздухе.

## Ледяная ночь Моздока

В дверь просунулась стриженная солдатская голова.

– Товарищ генерал, разрешите обратиться? – пробормотала голова юношеской невнятной скороговоркой.

– Чего тебе, сынок? – спросил Агарков, глядя на солдата поверх очков. Всех солдат он называл «сынками».

– Тут какого-то Рупова спрашивают! – парень заглянул в бумажку. – Или Рукова... – пробормотал он неуверенно.

– Может быть, Рунова? – спросил Агарков.

Я привык к тому, что мою фамилию нещадно перевирают, и тут же спросил:

– Кто спрашивает?

Солдат не успел ответить, как на столе у Агаркова требовательно подавал голос массивный телефон.

– Так... так!.. – Игорь Иванович сурово гудел в трубку.

– Тебя срочно к Егорову! – сказал он мне.

Через десять минут новенький, но до крыши забрызганный грязью «уазик» подвез нас к штабу российской войсковой группировки. У входа уже ждал щеголеватый капитан. Он провел меня и Архангельского мимо часовых, и все вместе мы поднялись на второй этаж. Сквозь открытые двери, ведущие в просторную комнату, я увидел сидящего за большим столом Егорова. Рядом стоял Степашин в полевой генеральской форме и ещё какие-то высокие военные чины.

Вдруг в коридор стремительно вышел моложавый высокий человек, чем-то похожий на актера Михаила Козакова в период, скажем так, поздней молодости. Одет он был в черный, обтягивающий крепкий торт свитер, полевые защитного цвета брюки с помочами и грубые солдатские ботинки. Черные и густые, чуть тронутые седой коротко стриженные волосы оттеняли красивое и злое лицо. Сразу, без перехода он набросился на нас:

– Что вы всякую чушь снимаете? Почему не показываете народу подлинных героев войны? Идите, смотрите, как сражается настоящий русский солдат... Вот его надо показывать, а не всякую мразь...

Под таким натиском я растерянно бормотал про то, что мы ничего не показывали, так как ничего ещё не снимали.

– Так снимайте! – шумел моложавый.

Мы понятия не имели, кто он такой, хотя по тону и манерам догадались, что начальник и, судя по всему, немалый. Особенно после того, как он походя рыкнул на проходящего мимо толстого

генерал-майора. Тот сразу перешёл на тяжелую строевую рысь и, испуганно озираясь, исчез в глубине коридора.

– Вот смотрите! – моложавый подозвал какого-то парня с закопченным до угольной черноты лицом. На плече у того висел автомат, у пояса – гранаты. Парень был одет в теплую драную куртку и обут в короткие разбитые сапоги. На голове у него была черная вязаная шапочка, надвинутая почти до переносицы. Потом этих шапочек в Чечне я нагляделся и у своих, и у чеченцев. – Вот с ним поговорите! Герой Грозного, только что вывел из боя батальон. С майором поздравляю тебя, командир! – и, круто развернувшись на каблуках, моложавый столь же стремительно исчез, как и появился.

– Слушай, кто это? – спросил я свежее испеченного майора.

Тот удивленно поднял брови:

– Вы что, не знаете? Это командующий войсками Квашнин!

Теперь я понял, почему толстый генерал от одного взгляда моложавого затрусил по коридору. Квашнин в войсках слыл крутым человеком, не слишком выбирающим выражения, быстрым на решительные действия. Не знаю, как на поле боя, а в штабе это проявилось достаточно убедительно. Впоследствии Квашнин стремительно вырос, стал командующим Северо-Кавказским военным округом, а затем начальником Генерального штаба, генералом армии.

Ещё раз я его видел через два года в Краснодарском драмтеатре, во время приезда Ельцина, когда тот выступал там в рамках своей предвыборной программы. Квашнин шёл по проходу театрального зала в окружении важных генералов. Увы, от его худощавой и стремительной стройности почти ничего не осталось. Он, к сожалению, уже мало походил на молодого Козакова, а больше смахивал на того генерала, который испуганно бросился бежать от нас по темному коридору в Моздоке.

С майором мы вышли на улицу. Недалеко в раскисшем поле стояли утонувшие в грязи четыре БТР – все, что осталось от одного из батальонов Майкопской мотострелковой бригады. Парень представился нам Юрой, фамилию свою он не назвал, не захотел. Комбатом и майором он стал несколько минут назад, а неделей раньше был капитаном и командиром мотострелковой роты, которая фактически была истреблена на привокзальной площади Грозного.



Два месяца спустя я оказался там, на этой мрачно знаменитой привокальной грозненской площади, окаймленной разбитыми зданиями и руинами с горящим вокзалом. Сопоставив грустный рассказ майора о ночном бое с большим количеством потерь и увиденное, я, совсем не военный человек, и то понял, что только сумасшедший мог дать команду сосредоточить боевую технику в тесном пространстве, которое и площадью-то можно назвать лишь из чувства уважения к железнодорожному вокзалу. К тому же, здесь не было сквозного проезда. Этакий каменный мешок, с одной стороны подпертый кирпичными пятиэтажками, а с другой – старинной вокзальной постройкой. Я оказался там, когда началась расчистка завалов после взятия Грозного. Женщины-чеченки таскали в носилках обгоревший щебень и ссыпали его в кучу. Сопровождавший нас человек посоветовал покинуть это место, поскольку ситуация могла развернуться самым неожиданным образом, вплоть до стрельбы. Народ от мала до велика был накален до предела. Да и было отчего. В развалинах я увидел жуткую картину – две человеческие ноги, обутые в зелёные резиновые сапоги. А далее под рухнувшей плитой угадывались ещё несколько раздутых трупов.

– Одно из самых страшных мест в Грозном, – стал рассказывать нам шофер российского представительства, который возил нас по Грозному.

Здесь, кстати, и была уничтожена большая часть Майкопской бригады. Она вышла сюда на исходе дня, без выстрелов и без всяких препятствий. БТРами и танками забили всю площадь. Беспечность, с моей точки зрения, проявили вопиющую. К тому же напротив гастроном, естественно, без продавцов – все попрятались, когда слышали грохот танков. А тут на носу Новый год, ребята молодые, крепкие, выпить могут много. Никто из них и не предполагал, что кто-то осмелится полезть на бронетехнику, да к тому же в таком количестве. Расположились на вокзале, караулы так себе, разведки никакой. А боевики тихо прошли по крышам и подожгли из гранатометов БТРы, стоящие у выхода. Пожар, взрывы, шквальный пулеметный огонь – все обрушилось сразу.

– Здесь люди многие просто по глупости погибли! – наш сопровождающий зло плюнул себе под ноги.

Но это все было через два месяца. А в начале января многие, в том числе и мы, ещё считали, что боевые действия скоро закончатся нашей полной и сокрушительной победой – тем более министр обороны обещал ее Президенту буквально в считанные дни.

Поздно вечером, почти ночью, Егоров переехал в свою моздокскую резиденцию, а проще – в один из кабинетов штаба авиационной дивизии. Напротив расположился Степашин, в то время директор Федеральной службы безопасности. Оба они вели себя очень просто, были доступны, особенно Степашин. Мне вообще он нравился своей подтянутой молодостью, хорошей и образной речью, четким мышлением, а главное, простотой общения. Это особенно подкупало на фоне рычащих по поводу и без повода других начальников, окруженных до зубов вооруженными охранниками. Степашин же, я тому свидетель, много ездил по чеченским дорогам в сопровождении одного БТРа, свободно общался с простыми людьми, часто в глубинке. Так, например, было на станции Ищерская. Я потом просматривал снятую нами пленку и видел в толпе столь выразительные физиономии, что мороз по коже ходил как бы заново. Я со своим диктофоном выглядел в этой толпе, как жалкая овечка среди озлобленных волков, приготовленная на заклание. Почему меня не утащили – до сих пор удивляюсь!

Ночью Егоров пригласил нас в свой кабинет. В нем было холодно и как-то очень неуютно и сумрачно. Николай Дмитриевич сидел за обшарпанным столом, тяжело навалившись на него грудью. Одет он был в камуфляжную форму – толстую зимнюю куртку со светлым цигейковым воротником и такую же гимнастерку. Потом этот сюжет долго гулял по телеэкранам, в основном, вызывая ругань. Кто только не изгалялся по этому поводу – вот, дескать, и председатели колхозов повели войска в бой! Правда, именно после этого сюжета имя Егорова попало на слух. А причиной было, главным образом, то, что, отвечая на мои вопросы, Николай Дмитриевич вдруг раскрыл папку, достал оттуда бумагу и, возвысив голос, стал говорить почти возбужденно:

– Это ведь нас приговорили к расстрелу! Это ведь мы сегодня, рискуя своими семьями, идем по острию ножа, спасая Россию! А они, – он мотнул головой куда-то в сторону и вверх, – о

чём думали, когда дарили чеченцам танки, самолёты, оружие и боеприпасы...

Я помню, что в этом разговоре среди тех, кто способствовал дележу оружия в пользу чеченцев, Егоров упомянул последнего министра обороны СССР, маршала авиации Евгения Шапошникова. По-моему, прозвучали ещё какие-то фамилии, но я их сейчас не помню.

Наверное, это было самое откровенное, точнее, самое открытое интервью Егорова. С одной стороны, этому способствовала обстановка, с другой – Николай Дмитриевич всегда хорошо, а главное с доверием ко мне относился и сказал, может быть, больше, чем он сказал бы любому другому журналисту. Честно говоря, и я, и он тогда были уверены, что это интервью предназначено чисто для кубанского зрителя и дальше нашего эфира оно не пойдет. Но получилось иначе. В той командировке мы наснимали много материала, который, на мой взгляд, резко контрастировал с тем, что показывали в эти дни московские телеканалы. Мы действительно сняли немало такого, что раскрывало суть и масштабы трагедии как русского, так и чеченского народов.

По возвращении домой предложили часть материалов ОРТ. Те согласились, но крайне неохотно. Скорее так, из любопытства – Господи, ну что там могут эти провинциалы!

– Только, ребята, немного, минут пять-шесть от силы, – попросил дежурный редактор информации ОРТ перед тем, как мы приготовились «качать» материал по релейке.

Пошёл перегон чернового, немонтированного материала. Проходит десять минут. Москва просит – «качайте» дальше. Минут двадцать минут, полчаса – команды «стоп» нет. Так продолжалось почти полтора часа.

– Спасибо вам, ребята! – сказали в заключение москвичи. – Все очень неожиданно!

## Ночь под Рождество

Вечером в программе «Время», как гром среди ясного неба, прозвучало моздокское интервью с Егоровым, с фамилиями, оцен-

ками и выводами. Вой поднялся жуткий. Следующим вечером на экране уже появился сам маршал Шапошников. От его приклеенной улыбки не осталось и следа. С пузырями на устах он поносил Егорова последними словами. Вся свора во главе с правозащитником Ковалевым и с госпожой Старовойтовой пошла в бой при поддержке российской телевизионной элиты.

У меня наступили нелегкие дни. Интервью уже гуляло по мировому эфиру. Вольно или невольно я оказался причастен к скандалу, разгоревшемуся вокруг имени Егорова. Особенно злобствовала почему-то Старовойтова, называя Николая Дмитриевича колхозником и всячески издеваясь над его кубанским прошлым. Я, кстати, вспомнил, как на одном из съездов народных депутатов России, где я присутствовал в качестве журналиста, прошёл слух, что эту даму прочат в российские министерства обороны. Почти тотчас в фойе появилась едкая карикатура. На листе ватмана лихой рукой художника был изображен замечательный сюжет – возле могучей фигуры будущего министра обороны замер в почтительном поклоне маленький кудрявый портной. Склонившись над скалообразными формами будущего военачальника, он с почтением спрашивал:

– Мадам! Где будем делать лампасы?

Через несколько дней после показа моздокского интервью мне позвонили из Москвы и сказали, что Николай Дмитриевич сильно гневается по моему поводу – интервью-то он давал все-таки для кубанского телевидения, а не для всего мира. Скажу вам честно, тогда я сильно переживал, хотя сделать ничего не мог. Джинн, выпущенный из бутылки, уже жил по своим законам и правилам. Но, как потом выяснилось, это же интервью сделало имя Егорова очень известным, а известность сразу поставила его в ряд политических деятелей первой величины. Уже потом, встречаясь с Егоровым в другой обстановке, я почувствовал, что скандал, разгоревшийся вокруг него после моздокского ночного интервью, стал именно тем сюжетом, который сконцентрировал на нем внимание как врагов, так и друзей. В качестве подтверждения этого я хочу привести небольшую выдержку из статьи Александра Федотова, опубликованной позже в журнале «Элита». Это был все тот же девяносто пятый год, но уже его окончание. В элиту по итогам того года бы-

ли включены известные в стране люди, такие как Сергей Маковецкий, Елена Образцова, Вячеслав Зайцев, Ирина Аллегрова, Вячеслав Клыков, некоторые другие, в том числе и Николай Егоров. И вот, в частности, как писал о нем журналист в своем очерке:

*«...Не знаю, запомнился ли вам сюжет, прошедший по телевидению во время самых жарких боев в Чечне. Смертельно уставший от недосыпа и насквозь простуженный человек в пятнистом, не первой свежести камуфляже тогда произнес слова, которые прозвучали отчетливым диссонансом речам Гайдара и Ковалева, витийствующим под московским небом. Любить чеченцев издалека приятней и безопасней, – примерно в этом роде выразил свою мысль "армеец".*

*– Нет риска, что пылкую речь защиты нарушит дурная пуля. А что прикажете делать тем, кто защищает российскую Конституцию под снайперскими винтовками, доподлинно зная, что он и его семья гуляют по черным расстрельным спискам?*

*Признаюсь, я в первый момент подумал, что говоривший – кадровый генерал, наверняка прошедший огонь Афгана. Но в титрах высветилось: Николай Егоров, представитель Президента РФ в Чечне...*

*Сюжет снимался ночью, под Рождество, когда во многих домах в Москве загадывались желания, отмаливали у Бога свои грехи перед грядущей весёлой неделей Святков. Не знаю, икнулось ли в тот момент кому-то из перекрестившихся атеистов, старательно сеявших в Чечне ветер, чтобы впоследствии пожать бурю? В ту ночь, накануне дня рождения Иисуса, их проклинали тут как иуд, продавших за тридцать сребреников сотни жизней ребят, не доживших до двадцати...»*

В группе, с которой мы приехали в Моздок, была женщина по фамилии, если не ошибаюсь, Титова. Так уж получилось, что Миша Курков и Игорь Иванович Агарков разыскали всех кубанцев, которые к этому дню были в Чечне, кроме сына этой женщины. Я поражался тогда их самоотверженности и работоспособности. Буквально день и ночь они сидели на телефонах, куда-то надолго уезжали, вытаскивая из небытия все новых и новых людей.

Слава Богу, большинство были живы, хотя трудно было это утверждать даже на следующий день. Про одного парня командир доложил, что жив, здоров, воюет, а через час шальной миной его убило прямо на глазах у этого же командира.

Однажды ночью мы возвращались из поселка Знаменского, куда ездили с Титовой, чтобы она убедилась, что в тамошней части ее сына нет и не было. Фамилия уж больно распространенная. Как увидит она в списках Титова, а тем более сержанта, значит, это ее сын. Так вот, возвращаемся мы в Моздок. Ночь, темень жуткая, заместитель командира дивизии ехать настоятельно отговаривал.

– Запросто можете попасть в засаду, – говорил он. – Мы хотя банды и рассеяли в этом районе, но остатки вокруг бродят. Вчера машину неподалеку отсюда обстреляли, водителя убили.

Но что-то у нас свербит, тем более Агарков торопится в Моздок. Там запланирована на утро какая-то важная встреча. Словом, дрожим, а едем. Вокруг – ни зги, только «пришуренные» пофронтовому фары нашего «уазика», выхватывают узкую полосу дороги. На особо глухом участке Игорь Иванович передернул затвор «Калашникова», дослал в ствол патрон, положил в «бардачок» две гранаты.

У нас, понятно, никакого оружия нет, да если бы и было, вряд ли мы могли что-либо путное сделать. Здесь, в Чечне, я отчетливо понял, что оружие представляет силу только в умелых и тренированных руках. А такие дилетанты, как мы, в лучшем случае успевают с воплем ужаса упасть в канаву и, уткнувшись мордой в грязь, выпустить в «белый свет» весь рожок, после чего молча ждут конца жизни.

Не могу сказать, что я человек сильно смелый или до невозможности отчаянный. Думаю, что если бы тогда по нам выстрелили, я вел бы себя столь же естественно, как и большинство людей, – трясся от страха, проклиная тот день и час, когда оказался на этой ночной дороге. Но, слава Богу, все закончилось благополучно, и когда вдаль показались тусклые огоньки Моздока, я трижды перекрестился, хотя и делал это, в сущности, первый раз в жизни. Думаю, что перекрещение моё получилось истовым и искренним.

В штабе Агарков о чем-то пошептался с Курковым, после че-

го Миша вытащил меня за рукав в коридор и сказал, что нам надо пойти в госпиталь, там якобы лежит с тяжелым ранением солдат по фамилии Титов.

Мы вышли на улицу. Хлестал ледяной дождь. Башмаки мои промокли насквозь и, раскиснув, стали походить на две большие жабы. Но после ночной дороги я ничего уже не чувствовал и неважно соображал, а шагал просто так, как робот, — лужа так лужа, грязь так грязь.

Госпиталь находился в двух огромных брезентовых палатках, перед входом в которые были сколочены небольшие дощатые тамбуры, очень напоминающие сортиры. В одном из таких тамбуров молодой высокий парень, капитан-медик, сказал, что раненый в бедро сержант Титов не из Краснодара, а из Тамбова. Матери у него нет вообще, так как он детдомовский. Капитан держал в пинцете горящую сигарету и время от времени к ней прикладывался, снисходительно оглядывая наш довольно жалкий вид. Мы снова вышли под ледяной дождь и зачавкали по направлению к нашему дорожному штабу. Не успели отойти и двадцать метров, как нас окликнул все тот же капитан.

— Эй, бродяги! — крикнул он. — Вас тут какой-то Огаркин или Окуркин спрашивает. К телефону немедля приказал доставить, — хохотнул он.

Меня почему-то это крайне возмутило — снисходительность, усмешки свысока, Огаркин-Окуркин. Со мной такие вспышки бывают и, кстати, сильно по жизни вредят. Но, видимо, горбатого могила исправит. Я подошёл к капитану почти вплотную и, глядя на него снизу вверх, сказал медленно и совсем не сдерживаясь в словах:

— Ты вот что, тыловая крыса, если не хочешь стать санитаром на передовой, запомни, что человек, которого ты назвал Огаркиным или Окуркиным, на самом деле является боевым генералом по фамилии Агарков. И за твоё хамство тебя быстро из капитанов произведут в лейтенанты, а может, ещё и ниже. А заодно с помощью этого пинцета засунет твои вонючие сигареты тебе же в задницу, поскольку и без того раненым великомученикам-воинам нечем дышать. Запомнил, клизма?

Капитан вытаращил глаза. Он, видимо, всегда и со всеми

на правах полкового лекаря привык говорить крайне насмешливо и вызывающе снисходительно. Миша Курков тоже вошёл в роль и, когда капитан открыл было рот, чтобы ответить мне соответственно, сказал с грубой угрозой в голосе:

— Ты меньше рассуждай, а быстрее неси трубку, когда тебе замкомандующего звонит! — Миша возвысил Агаркова по крайней мере на четыре должностных ступени. Капитан заглотил пронзительные слова, которые собирался произнести в наш адрес, но трубку, однако, молча принес и сигарету на всякий случай выбросил. Поразмыслив, он, очевидно, принял нас за фээсбэшников. А с ними связываться наверняка охоты у него не было. Знал, видимо, каналья, что у этих ребят характер крутой.

Миша поговорил по телефону с Агарковым, и мы снова вышли на улицу. Дождь перешёл в мокрый снег. Сквозь белеющую пелену еле проступали редкие огоньки. Мы зашли за угол.

— Значит, так! — начал Миша. — Титова в списках убитых нашла некоего Титова, и можешь себе представить, тоже сержанта. Предполагает, что это её сын, и по этому поводу находится сейчас в истерике. Агарков приказал мне идти в полевой морг. Он где-то там... — Курков рукавом промокнутой насквозь куртки махнул куда-то в глухую темноту.

— А я?

— Тебе приказано возвращаться. Егоров сильно ругался, узнав, что ты пошёл со мной.

— Как же ты будешь его искать? Ты же никогда его не видел?

— Мать говорит, что у него на шее шрам. Давай, топай домой и не забудь пароль.

Мы расстались. Я побрел в сторону штаба, а Миша, наклонив голову, исчез в темноте.

Примерно через час он вернулся. Молча налил в кружку кипятка, растворил три пакета чая и так же молча, обжигаясь, стал пить, невидяще глядя в одну точку.

— Миша! — спросил я. — Ну что, нашёл?

— Там его нет! — ответил он коротко и снова стал дуть в кружку. — Знаешь! — вдруг отставил он чай и резко повернулся ко мне. — Хорошо, что ты не пошёл.

– Что значит хорошо или плохо?

– А хорошо потому, что то, что я видел, может психику сломать. Сдвинуться умом можно! – Миша покрутил пятернейazole виска.

И он начал мне рассказывать, поскольку ему, видимо, надо было об увиденном высказаться, чтобы сбросить хотя бы часть напряжения:

– Знаешь, что такое полевой морг? Это огромная палатка, поставленная прямо в степи, среди моря непролазной грязи, а точнее – в раскисшей от колёс и воды пашне. Не буду рассказывать, как я туда добирался, – это неинтересно. Зато, когда добрался, то увидел, что с «КамАЗа» сгружают какие-то здоровенные тюки из полиэтиленовой пленки. Распоряжались там два крепко выпивших прапорщика. Стал им объяснять, зачем я туда пришёл, а они смотрели на меня тупыми глазами и ничего не могли понять. Когда поняли, что я ишу какого-то там Титова, то как-то сразу стали трезветь. Один мне и говорит: «Сынок, передай тому, кто тебя сюда послал, что по шраму на горле здесь вряд ли кого найдешь. Иди лучше посмотри, а потом тому расскажешь, что видел...» Я зашёл... – Миша замолчал, а потом сказал: – Лучше бы я туда никогда не ходил... Сколько взора хватало, лежали целлофановые тюки, а из них торчали ноги в сапогах. С КамАЗа-то убитых сгружали. Действительно, какой шрам... Стал я потом говорить прапорщикам, что очень высокий такой парень, связист. Они успокоили меня – нет такого. Здесь в основном, говорят, десантники, и фамилия убитого оказалась не Титов, а Титок. Набили их вчера в Грозном. Полными «КамАЗами» подвозят сюда. Вот так-то, дорогой, устанавливается конституционный порядок...

Миша достал из кармана фляжку, выплеснул в угол чай, налил полную кружку коньяку и протянул мне:

– На, пей!

Я отпил половину, он допил до дна. Сели мы в темном углу. Ни хмель, ни сон не брали. Уже потом я узнал, что та ночь-то была Рождественской...

## Глава 10

### БАЛ ЛИЛИПУТОВ

*Мчатся бесы рой за роем  
В беспредельной вышине,  
Визгом жалобным и воем  
Надрывая сердце мне...*

*Александр Пушкин*

Слух о том, что в город доставили лилипутов, разнесся почти сразу, и не потому, что городок был маленький, а прежде всего потому, что время было шибко «слуховое». Шла война, и в тыловой уральский Камышлов, стоящий на главном ходу Транссибирской магистрали, правдивые известия о том, что происходит на фронтах, приходили составами разбитой боевой техники (немецкая – показательно открытая, наша – всегда укутанная брезентами). Её гнали в Сибирь, на металлургические заводы Кузбасса и Северного Казахстана, но иногда она отставивалась на пристанционных путях, пропуская более важные маршруты: с востока – литерные эшелоны с войсками и оружием, чаще всего танками Челябинска и Нижнего Тагила, а с запада – длиннющие составы, переполненные ранеными. Эти поезда, составленные из разнокалиберных пассажирских вагонов, шли, как говорили мои родители-железнодорожники, первопроходно, то есть всегда на «зелёный», коротко останавливаясь у вокзального перрона, чтобы сменить паровоз, быстро вынести умерших и оставить часть раненых местным госпиталям. Остальных, как правило, тяжелых – ампутирован-



ных, контуженных, обожженных – везли дальше, в крупные госпитальные центры Новосибирска, Омска, Томска, иногда до Красноярска и даже Иркутска.

Я это, по малости лет, не очень помню, но мама часто рассказывала, что вторую половину сорок первого года и весь сорок второй западный Транссиб был забит эшелонами с эвакуированными. По ходу продвижения в тыл их разгружали, расселяли по уральским местностям, оставшихся везли в Сибирь, Среднюю Азию, распределяя по всему востоку страны аж до самого Енисея.

Эти переполненные «телятники», собранные в бесконечные, плачущие навзрыд поезда, шли непрерывным потоком, спасая миллионы людей от фашистского нашествия. В одном из таких скорбных эшелонов двигалась в казахстанский Уш-Тобе с крохотной дочуркой и моя будущая теща, последним поездом вырвавшись из почти окруженного Ленинграда...

В Камышлове эвакуированных было полно, особенно почему-то евреев из Харькова. Ко времени моего осознания действительности (а это произошло лет в шесть, как раз к середине войны) я больше всего боялся не покойников из санитарных поездов (я их вообще не боялся), а старого Арона Гейзермана, зубного врача деповского медпункта. Он как-то предложил моему отцу удалить два передних зуба, болтающихся «на ниточке» у меня во рту. Но, увидев в его руке зловещие стальные щипцы, я заорал так, что переполошил старух, ожидающих очереди в коридоре. С сомкнутым вмертвую, как у бультерьера, ртом, я умудрился визжать и биться так, что потерявший душевное равновесие отец дал мне такую затрещину, что проблема тут же сама собой разрешилась. В мгновение умолкнув и сосредоточенно пошарив рукой по дёснам, я обнаружил, что зубов уже нет. Старый Арон, почесав щипцами за ухом, предположил, что я их просто заглотил...

## Сковорода из Красного Сулина

Арон Израилевич Гейзерман слыл в Харькове известным стоматологом, по его рассказам, у него лечилась вся украинская элита и даже тот знаменитый профессор Гринблат, светило по уху, гор-

лу, носу, о котором в своем романе упоминает Паустовский. Гейзерман жил в нашем доме, в крохотной каморке с двумя взрослыми незамужними дочерьми – Бертой и Софой. До войны Берта играла на арфе в киевской опере, а Софа служила гримером, тоже в Киеве, но на киностудии, работала даже с самим Пырьевым, когда тот снимал на Украине «Богатую невесту» и «Трактористов», потрясших страну неизбывным счастьем колхозной жизни.

Считалось, что в Камышлове Гейзерманы устроилась совсем недурно. Берта работала учительницей музыки в клубе, переделанном из старого купеческого дома, на берегу уютной речки Пышма, а Соня – парикмахером на вокзале. Они сердечно дружили с моей мамой и почти каждый вечер бывали у нас. Барышни даже пытались учить меня пению, но я оказался безголосый, бездарный, к тому же патологически упрямый, так что слава такого рода меня обошла стороной навсегда уже в ту пору.

Отцу моему в старом бревенчатом двухэтажном доме дали лучшую квартиру – две комнаты на первом этаже с большой кухней и огромной, в половину её, русской печкой, где мама сушила наши с братом валенки. Квартира была специально отделена от всех остальных – для начальника депо, и у неё было одно важное достоинство – единственная в доме уборная. Это являлось немаловажным обстоятельством для дружеского общения с Гейзерманами, поскольку для всех остальных обитателей дома во дворе существовал мрачный сортир, вокруг которого шныряли здоровенные пристанционные крысы (которых я, кстати, тоже не боялся), но у сестер они вызывали ужас, равный свирепым бомбежкам, под которые они покидали свой пылающий Харьков...

Так вот, о том, что нынешней ночью в город привезли два вагона лилипутов, я узнал рано поутру, когда, проснувшись, привычно подслушивал, как мама на кухне разговаривала с тетей Софией. Кто такие лилипуты, я понятия не имел, но по возбужденному шепоту сообразил (я вообще не по возрасту был опасно сообразителен), что это какие-то важные персоны.

Время от времени они появлялись в нашем доме, командировочные чиновники из управления Свердловской железной дороги. Папа привозил их на обед, который проистекал в оживленных

разговорах, главным образом, о службе, совершенно мне не интересных. В такие часы мама страшно суетилась, старалась из того скудного, что имелось в доме, приготовить нечто привлекательное, что ей, безусловно, удавалось. Прежде всего, это был борщ, освоенный ею в совершенстве ещё во время армавирской юности, с неповторимым и неизведанным секретом приготовления, подвластным только людям, родившимся на Кубани.

Когда из раскаленного жерла русской печи рогатым ухватом она доставала примятую дюралевую кастрюлю, то аромат кулинарного волшебства заполнял всё кухонное пространство, где проходила большая часть нашего быта – от кормёжки до купания в жестяном корыте, взятом в отвале деповской бани и отдраенном мамой до блеска кирпичным обломком. Отвлекусь на секунду – у моей жены сегодня кастрюля «Цептер», загадочно мерцающая кнопками, как деталь ночного истребителя, а борщ – извини, Аллочка!

За кастрюлей следовала не менее знаменитая картошка со свиным салом, жаренная до хрустящего искушения в сковороде неправдоподобной огромности. Но в один из переездов нашей семьи к новому месту службы отца эта сковорода исчезла, но я хорошо её помню не только по уральскому детству, но уже взрослым парнем – этакое черночугунное сооружение с отлитой по борту надписью – «Красный Сулин».

В те камышловские годы, когда её, раскаленную, опасно шкворчащую, извлекали из печи, вокруг сразу возникало оживление, потому как от вида жареной картофельной груды, истекающей головкружительным запахом, удержаться от восторженных восклицаний было просто невозможно.

В моей памяти эта шкворчащая сковорода, которую мама часто выставляла на воскресный завтрак (а за столом всегда были гости, прежде всего, соседи Гейзерманы), смыкалась с другим, ещё более сильным впечатлением от утренних сводок Совинформбюро. В начале сорок третьего года я уже кое-что соображал, особенно когда из черного раструба репродуктора начинал рокотать волшебный голос Левитана:

«...В ходе дальнейшего развития наступательной операции нашими войсками освобождены...» – и далее следовало длинное пе-

речисление названий, абсолютно мне неизвестных, но вызывающих у взрослых взрывы восторга. Но однажды прозвучало – Красный Сулин! Я тут же упёр палец в чугунные буквы на сковороде, умиля собравшихся сообразительностью и попытками самостоятельно научиться читать, в том числе и таким неожиданным способом.

Много лет спустя, познакомившись с Юрием Борисовичем Левитаном (он пару раз приезжал в Краснодар), я рассказал ему историю красносулинской сковороды. Он усмехнулся и сказал своим неповторимым «левитановским» баритоном, что знаком с Камышловом, поскольку бывал там в сорок втором году, ездил за капустой для коллектива.

– Из Москвы-то? – изумился я.

– Да нет... Из Свердловска...

И только тогда я узнал, что во время войны это был страшный секрет на уровне самых важных тайн Генштаба. Оказывается, радиостудия, откуда озвучивались сводки Совинформбюро (во всяком случае, в первую треть войны), находилась в главном городе Среднего Урала – Свердловске, а все её сотрудники и люди, имеющие отношение к этому делу (техники, уборщицы, охранники), не могли даже во сне заикнуться, что известия с фронтов в исполнении уверенного «левитановского» голоса звучат за полторы тысячи километров от столицы. Советские люди твёрдо считали, что слова «Говорит Москва!» звучали и звучат всегда из столицы СССР, даже если враг прорвался в Химки. Эта ложь, как я понимаю сегодня, воистину была «святой»...

– Меня тогда в лицо, конечно, мало кто знал, но голос выдавал сразу, – рассказывал на встрече с работниками Краснодарского телерадиокомитета Юрий Борисович. – В Москве ещё куда ни шло, но в Свердловске это было недопустимо, поэтому я или молчал, как рыба, или сипел, как простуженный морж. В Камышлове как раз пришлось хрипеть, чтобы не возбудить местное население... Знаете, – сдержанный Левитан вдруг оживился, видимо, вспомнив что-то особенное из того великого времени, когда ему воистину внимала вся страна. – В Свердловске я нередко ходил в театры, особенно оперный. Эвакуация загнала на Урал много замечательных писателей, художников, музыкантов, артистов, в том

числе и певцов Большого театра. Однажды, потрясенный куплетами герцога в опере «Риголетто» в исполнении Нэлеппа, я не выдержал и во всю глотку заорал «Браво!». Слава Богу, что тогда восторженно кричал весь зал и мой вопль удивил только ближние ряды. Но на следующий день меня вызвал представитель Комитета обороны и сказал: «Учтите, Юрий Борисович, нам приходится тратить много усилий, чтобы парировать интерес, который проявляет к вашей персоне разведка врага. Вот, почитайте, как оценивает вас Геббельс...» И подаёт мне газету с переводом... Не помню дословно, но смысл такой: «Первым, кого мы повесим, когда войдём в Москву, будет жидовский проповедник Левитан». С тех пор я говорил только у микрофона, и не столько потому, что опасался Геббельса, а скорее потому, что всегда больше боялся нашего НКВД...

Однажды отец привел в гости солидного мужчину в форме генерала, и уже при погонах. Значит, шёл уже сорок третий год – новую форму для армии и железнодорожников ввели с 1 января сорок третьего. Естественно, первыми переодели маршалов и генералов. Мама вначале с удивлением взглянула на нарядного военного в незнакомой форме, а потом с визгом кинулась ему на шею. Оказывается, это был их однокурсник по РИИЖТУ (Ростовскому институту инженеров железнодорожного транспорта) Казимир Пельненко. После защиты диплома он ушёл в железнодорожные войска, и сейчас вот – новоиспечённый генерал, пройдя, правда, к тому времени две войны – финскую и вот эту, Отечественную. Ничего удивительного в этом не было. События стремительно подгоняли время, формируя у людей самую высокую меру ответственности. Вскоре моему отцу тоже присвоили звание старшего железнодорожного начальника – полковника.

Камышловское локомотивное депо, так называемое обратное, где составы меняли паровозы, считалось одним из крупнейших на Свердловской дороге. Прежде всего потому, что оно занимало место на главном ходу Транссиба, связывающего Восток и Запад страны. Наш дом находился рядом со станцией, день и ночь сотрясаясь от стука бесконечных колес длинных составов. А паровозы действительно были огромные, стометровой длины, называ-

лись они «ФД» (Феликс Дзержинский), такие железные мамонты, окутанные гарью и паром, стремительно передвигающие под брюхом гигантского котла сверкающие от горячего масла стальные суставы передаточных механизмов.

Я думаю, человечество не придумало сухопутного транспортного средства более грандиозного по размерам, весу и впечатлениям, чем советский паровоз «ФД», который за годы войны перевез большую часть оборонных грузов. Неслучайно на всех плакатах, восхваляющих мощь страны и скорость её продвижения к коммунизму, обязательно на первом плане фигурировал могучий «ФД». А у нас-то он гудел под боком, сотрясая стены и мебель. Слава Богу, её был самый минимум – стол, три кровати, тумбочка и пять табуреток, все казенное, с чернильной отметкой о принадлежности СВЖД, то есть Свердловской железной дороге, «родной и любимой», как пелось в деповском гимне, что сочинил руководитель клубного духового оркестра Аркадий Бетев.

Депо было, как бы сейчас сказали, градообразующим предприятием, и отец в городе считался заметным человеком. Во-первых, должностью, а во-вторых, возможностями – транспортом, топливом, ремонтной базой, рабочей силой. Большая часть населения так или иначе была связана с «железкой», ей принадлежали лучшие школы, больницы, детские сады, дорожный пионерский лагерь в сосновом бору возле деревни Погорелка, дом отдыха на другом берегу Пышмы и подсобное хозяйство с фермами и угодьями. Словом, государство в государстве, и поэтому, хотите – не хотите, все шли на поклон к железнодорожникам. Такие порядки, говорят, завел сам Сталин, по убеждению моего отца, очень много сделавший для развития железнодорожного транспорта...

Так вот, просидели тогда друзья всю ночь, вспомнили счастливое студенчество на берегах тихого Дона, говорили о судьбах однокурсников, половина из которых к тому времени уже была выбита войной. Выпили за их светлую память, за будущую победу, черпая закуску из той самой сковороды, где жареная картошка была в тот раз усилена грибами из местного леса и колбасой из наркомовского пайка.

Оказывается, сковорода была подарком моим родителям на

студенческую свадьбу, инициатором которого был как раз Казимир Пельненко. Он пришёл в институт рабфаковцем с металлургического завода, того самого Красного Сулина, где в литейном цехе слыл первым стахановцем, то есть передовиком дальше некуда. Отец рассказывал, что Казимиру, совсем молодому парню, сам Калинин в Кремле вручал орден Трудового Красного Знамени. Свадьба у них на курсе была первая, и Пельненко поехал тогда на родной завод, где лично отлил ту самую чугунную ёмкость, что сопровождала моих родителей большую часть жизни. Сковорода исчезла из нашей семьи, по-моему, в Хабаровске, где у нас была уже просторная генеральская квартира в центре города, хорошая мебель, появилась даже фарфоровая китайская посуда (после того, как отец побывал на эвакуации наших войск из Порт-Артура) и сковорода замасленной черноты, да ещё гомерических размеров, уж совсем не монтировалась с теми изысканными застольями, которые мои родители, как все южане, сильно уважали, сердечно приветчая тех, кто бывал в нашем гостеприимном доме, в том числе и Пельненко, после войны ставшего большим министерским начальником.

Я уже не помню, но, по-моему, мама при отъезде из Хабаровска подарила её кому-то из соседей. Во всяком случае, последний раз нашу сковороду я видел на каком-то дачном пиршестве, под огромной грудой амурского толстолобика. Возможно, даже ещё и жива, если китайцам не спроворили. Когда-то мы построили им гигантские металлургические заводы, а в ельцинское время отправили в их мартены всю нашу социалистическую индустрию – паровозы, станки, краны, рельсы, грузовики, трактора, комбайны, сенокосилки, бороны, чайники, кастрюли и, наконец, сковородки. Словом, все то, что, надрывая жилы и пупы, не жалея ни чужих, ни своих, создавали наши отцы и деды.

В моей семье от «своих» сегодня остались только три пригоршни того, о чём большой советский поэт в восторженном сорок пятом кричал на весь свет, поверженный невиданным народным сплочением:

*Из одного металла льют  
Медаль за бой,  
Медаль за труд...*

Скажем честно, нынче это всё там же, где паровозы со сковородками – в турецких да китайских «гееннах огненных». Сегодня отношение к заслугам перед отечеством выглядит куда как проще. Лично я поздравление по поводу награждения орденом (смешно даже сказать) Почёта и приказ об увольнении получил в одном конверте.

Самое удивительное, что ни меня, ни моих друзей, с которыми поступили ещё хуже, это совсем не взволновало. Как говорил доблестный капитан Мышлаевский из любимой пьесы Сталина «Дни Турбиных» – «достигается упражнением!»! А вся наша нынешняя действительность – и есть «упражнения» одних над другими по поводу, а чаще даже без него, а нередко просто так, как измывается утверждающий себя мироед над безответными холопами...

### Они такие же, но маленькие...

Эту историю, в какой-то степени трагикомичную, я хочу воспроизвести не столько по своим впечатлениям, сколько реконструировать по воспоминаниям других людей (прежде всего, отца и матери), хотя какие-то детали хорошо помню, был мал, но не по возрасту любопытен. Мама утверждала:

– Наш Вова – всякой дыре затычка! – и была, к сожалению, права.

Я знал не только все заборы вокруг станции, но и все дырки в них, куда без труда мог провести любого желающего. Тогда заплотов без дыр не существовало, потому как доски часто выламывали для личных нужд – кому на дрова, кому курятник накрыть. Пацаны чаще всего шастали по путям, когда там застревали составы с битой техникой. Надо, конечно, напомнить, что наша, истерзанная снарядами огнём, никогда не смешивалась с вражеской. Они и шли отдельными эшелонами, немецкая – открытая, наша, как я уже говорил, плотно укрытая, и если трофейную мы «петрушили» как хотели, то под брезенты лазить было «западло», о чём знал любой пацан, промышлявший на тупиках многорельсового станционного пространства.

Прибытие лилипутов стало новостью «первополосной» – горо-

дишко загудел. Рано утром у нас на кухне, захлёбываясь от возбуждения, трещала станционная «Кикимора», тётка Варька, с незапамятных времён работавшая уборщицей на вокзале и собиравшая до кучи всякие слухи и впечатления о происшествиях, которых вечно было полно на перроне и вокруг него. Особенно если времена беспокойные да станция на «большой дороге».

Через неё кто только не ехал – Ленин в ссылку, Сталин – из неё, Чехов на Сахалин, Распутин в родной Тобольск вообще не один раз. Здесь, на камышловском вокзале, Григория Ефимовича чуть было мужеского естества не лишили. Сошёл проездом из атласного купе отведать в ресторации знаменитого пышминского налива в кляре, да попал на глаза местным хлебным ссыпщикам, гуляющим по случаю удачной зерновой сделки, дюжим красномордым мужикам при больших деньгах. Слово за слово – и пошло-поехало:

– Пошто блуд в Тобольске устраиваешь, нешто надо Урал позорить? Запаятовал, как дрыном на лошадиной ярмарке потчевали?... Так напомним!..

Григорий было огрызаться, дык его дланью за бороду, а другую – под ряску нырь, а в ней ножик бритвенной заточенности, коим разделявают рыбные пироги, что в постные дни славят уральские деревни. Секунда – и шлёпнутся на полы залитые мадерой распутинские «сверхвозможности», так радующие царских фрейлин, да заорал Ефимович во собственное спасение так, что сбежались, придерживая шашки-фуражки, все пятеро привокзальных гороховых. Еле отбили «божьего человека»! Так до Петербурга больше и носа не казал...

Варька, торопливо шмыгая махорочной сиплостью, трещала вполголоса:

– Барахла у них!.. Узлов, корзинок... Ужас! Из вагонов прямо толпой в зал ожидания, как мошкara, побежали!.. Бают, артисты с Украины! Одеты баско... А старшой вот при такущей бороде, сам-то мне по пояс. Теплынь ведь, а он в шубе... И шапка купеческая, песцовая... Командовал, представляешь, чисто как Егорыч из кубовой, одним матом...

«Бают» и «баско» – это из местного диалекта, обозначает – «говорят» и «богато». Я – уличный, всего уже нахватался и часто

помогаю маме, воспитанной в традициях ростовских проспектов, переводить местных на понятный ей язык. А матом на железной дороге говорят все. Все, кроме моего отца. Ни разу в жизни я не слышал от него ничего подобного, хотя сам этим «с ранья» владел неплохо, поскольку в семь лет уже и курил. Но это так, штрихи к колориту и особенностям текущего времени.

– Потом в грузовики из Еланских лагерей стали их вояки сажать – кого за шкурку, кого прямо за жопу... Смехота одна! Я помогала... Жалко ведь, такие маленькие... Как птенчики пищат...

Варвара умела любую новость окрасить драматизмом, словно последний раз в своей жизни. Наш сосед, одноногий художник Степан Китун, рисовавший портреты Сталина даже с закрытыми глазами, но, главным образом, писавший плакаты типа: «Всё для фронта, всё для победы» или «По путям не ходить», но чаще – «За курение – трибунал», мрачный, пьющий, всегда небритый человек, говорил: «С тобой, Варька, хорошо на кладбище ходить...»

– И куда же их? – спросила мама.

– Бают, в Обуховку... – заговорщически просипела Варвара.

Обуховка – дом отдыха железнодорожников, с начала войны стоял наглухо заколоченный. А места вокруг сказочные – река, сосняк шишкинской живописи, с уютными полянами, белоснежными березовыми вкраплениями, пронизанными солнцем, с зарослями черемухи и рябины, роскошных уральских плодоносов. Берега тут высокие – Пышма с прозрачными перекатами, сквозь которые хорошо видны стайки шустрых пескарей. Мы их ловили старыми наволочками, жарили на железном листе и ели, обжигая руки и рты. Впрочем, тогда ели всё, что елось (даже то, что и нет, паслен, например), а уж что давала река и лес – в первую очередь. Времена военные, голодные, еда и тепло для всех были заботами первоочередными...

Вечером папа поведал «секрет» появления липипутов. Оказывается, Пельненко, ведавший в эвакуационном комитете размещением беженцев, уговорил отца принять их именно тут, в Камышлове.

– Места тихие, уютные, лесные, – убеждал он дружески, хотя по должности мог просто приказать. – Они ведь под охраной Красного Креста, везли их даже литерным... За каждого отчиты-



ваемся... Откуда? С Украины, но основная группа – цирковые из Польши и Львова. Какими-то сложными путями в Союз попали... Держатся общиной, хотя внутри есть супружеские пары... Какие дети? Ты чё! – засмеялся Пельненко на естественный вопрос – как же без детей? – Лилипуты, Витя, рождаются от нормальных... Низом называется, от греческого слова «карлик»... Мне профессор Щепотинник из мединститута разъяснил, что причина в нарушении функции желез внутренней секреции... А так обычные люди. Ну, конечно, не без придури! Есть и руководитель, я бы назвал даже попроще – вожак. Очень любопытный тип, бывший импресарио, говорит, из Варшавы... Зовут его – ты будешь смеяться – Геродот!.. Геродот Маркович Козолуп, с театральным псевдонимом Геродот Солнечный. Я с ним встречался, прелюбопытный тип, – с усмешкой повторил Пельненко. – Впрочем, ты скоро и сам поймёшь...

– А куда же я их дену, – сопротивлялся отец. – Ты же знаешь, всё под завязку, на пределе...

Депо в городе – самое крупное предприятие. Большая часть населения работает на «железке», всяких там НГЧ, СВЧ, УНР, АЦБ и прочих полузагадочных и загадочных организациях, обслуживающих дорогу, и поэтому многие городские проблемы, начиная от медицинских и кончая топливными, так или иначе висели на старшем железнодорожном начальнике, то есть на нем, моем отце.

– Ты их в Обуховку отправь, – предложил Пельненко.

– А топить чем?

– Ну это мы решим! Порубочный билет дополнительно выделим, угля подброшу... Надо, Витя, надо! Никуда не денемся. Людей, тем более таких, необходимо принимать... И кстати, не называй их лилипутами...

– А как?

– Запомни, они – маленькие! Такие же, как мы, но маленькие. Так и зовите – ма-лень-ки-е! – и, помахав рукой, уехал...

Отец потом вспоминал – люди были маленькие, а вот проблемы с ними оказались как раз наоборот...

В городе и окрестностях их стали называть проще – карликами, а Козолупа – просто Карлом. Улицы вскоре запестрели плакатами китуновского исполнения:

*«Иллюзии, предсказания, глубинное познание души!  
Покоритель изысканной публики Варшавы, Лондона, Праги, Парижа  
Геродот Солнечный!»*

И портрет в чалме и маске, а чуть ниже:

*«Представление в клубе ж.д.*

*Для желающих – индивидуальные встречи круглосуточно»*

Оказывается, Берта Гейзерман помнила его ещё по Украине.

– Тот ещё жулик! – усмехалась она, а когда увидела плакаты и маску в чалме, хохотала до упаду.

– Какой Лондон, какой Париж! Вшивый парикмахер из занюханной Мишаны, прибил к нам на львовских гастролях... Потом украл что-то и сбежал... А сейчас, гляди, где объявился, сурок хуторской...

Берта как-то в клубе попыталась напомнить ему о прошлом. Козолуп оглядел её сверху вниз и обратно, а потом, разгладив обеими руками бороду, надменно промолвил:

– Мадам! Сожалею, но вас я вижу впервые!..

Через какое-то время появился к нам во двор верхом на сивой кобыле, что была выделена «маленьким» для хозяйственных нужд, главным образом, для перевозки хвороста и дров. Кобылу под уздцы держал кучер, древний дед по имени Авдей. Деповские острословы говорили, что если вдруг появится желание наложить на себя руки, то надо напоследок (чтобы отбросить всякие сомнения) взглянуть на Авдея и его кобылу, и тогда ощущение безысходности станет неотвратимым. Оба – кожа да кости, и почему стоят на ногах и копытах – непонятно. Тем не менее, Авдей, кряхтя и охая, помог Геродоту сползти на землю и почтительно замер у лошадиной морды.

Козолуп приехал представиться моему отцу, но папы дома, как всегда, не оказалось. Поэтому разговор, под изумленные взоры соседей, состоялся с мамой, которая выколачивала на улице нашу с Женькой зимнюю одежду, готовя её на летнее хранение, дабы не сожрала моль. Я ещё тогда заметил – как в стране очередная хрень, так сразу активизируются вечные недруги человечества – моль, вши, тараканы, клопы, мыши, крысы, чесотка, стригу-

щий лишай, всякий там фурункулез. Мама, видимо, об этом знала, поэтому в лето нашу зимнюю «лопатину» (тоже из местного диалекта) безжалостно лупила палкой и, пересыпав махоркой, прятала до холодов.

Геродот, как сказочный гном из сказок братьев Гримм, снял с лохматой гривы широкополую фетровую шляпу и, поклонившись в пояс, окончательно вогнал всех в ступорное состояние.

– Мадам! Позвольте выразить вам и вашему окружению, – в церемонном поклоне он обвел шляпой круговое пространство вплоть до дворового сортира, откуда, гремя костылями, вылезал Китун, – почтительное уважение...

Берты, по счастью, не было – её и ещё двух теток из банной цирюльни отправили в соседствующие с городом Еланские военные лагеря, где они день и ночь стригли налысо мобилизованных рекрутов. Берта возвращалась суток через трое, падала без сил на кровать и долго-долго молчала, уткнувшись в угол, а потом (я слышал) говорила маме:

– Евушка! Не могу больше. Ведь совсем мальчишки!.. Каждый день эшелоны уходят... А мы по ночам вороха волос сжигаем и ревём в голос...

Еланские лагеря были основной базой формирования уральских и западно-сибирских дивизий для фронта. Много позже, будучи студентом, я проходил там военную подготовку и на старых, почерневших от времени досках армейских пищеблоков читал грустные, как эпитафии, надписи. Одну запомнил на всю жизнь:

*«Мамуля! Не вари больше пшено, тут наелся на всю жизнь. Завтра на фронт. Как приеду, напишу. Ребята, передайте маме, что я Серёга Порошин из Свердловска, улица Ключевская, семь. 30 октября...»*

Год стёрся, но потом прочитал в каком-то военном справочнике, что 10 ноября 42 года началось наступление на Сталинград 64-й армии. Сразу с марша она вступила в бой и «...в первый же день прорвав оборону противника, обеспечила ввод в прорыв 13-го танкового, 4-го механизированного и 4-го кавалерийского корпусов...».

Вряд ли Серёга из Свердловска что-то успел написать своей мамуле... Здесь, под Камышловом, как раз и формировались дивизии той самой, 64-й, от которой к концу Сталинградской битвы остались, в основном, братские могилы...

Много лет спустя я ехал машиной по командировочным делам из Краснодара в Волгоград. Выбрал короткий путь – через Белую Глину, Сальск, Волгодонск, Камышин... Бескрайне тянулась одноликая, выжженная солнцем приволжская степь. Глазу не за что было зацепиться, только потрескивавшие от перепада стужи и жары телеграфные столбы да облупившиеся памятники над воинскими захоронениями со стёртыми от времени и забвения буквами: «Пали смертью храбрых в боях за Советскую Родину...»

Через эти места и проходила полоса наступления героической 64-й армии... То, что сводки Совинформбюро называли прорывом, в сущности, было отчаянной силы навалом прямо на ошенившиеся иступленным огнём немецкие позиции, лично от фюрера получившие приказ стоять до конца. Никто и никогда не пытался посчитать, во сколько жизней (а уж тем более материнского горя) обошёлся Родине тот прорыв, открывший путь к разгрому врага, потрясший мир героической жертвенностью в самой страшной и невиданной по масштабам человеческой бойне, которая волею судеб разыгралась в центре России, на великой русской реке...

## Фраера ушастые

Хитрый Козолуп по случаю прибытия на «эвакуационный постой» старательно объезжал местное начальство. Надо ли удивляться, что вскоре после «визитов вежливости» «маленьким» сменили безымянную сивую кобылу на вполне приличного мерина по кличке Карька, списанного с угольного склада, да и деда Авдея приодели – выдали форменный железнодорожный картуз и старую кондукторскую шинель, которую он не снимал даже в жару.

Но главное – липидуты стали «выныривать» в местах, где фигурировали продовольственные карточки и шелестели денежные бумажки, например, при городской бане. В Камышлове она была одна, работавшая по принципу «мужики – бабы», то есть один

день – женский, а следующий – мужской. Никто ведь не считает, сколько человек хлещет себя в парной – десять или двадцать. Да и веник у «маленьких» можно было попросить «из-под полы», но уже за отдельную плату, свеженький, берёзовый, а то и получить втихаря крохотный кусочек мыла, в то время продукт строго нормированный.

А уж в кино – так тем более, особенно когда народ готов был двери снести, чтобы посмотреть фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». И это понятно! Даже американцы присудили своего «Оскара» этой документальной картине, впервые показавшей миру, как убедительно горят танки вермахта и замечательно выглядят в снегах Подмоскovie груды замерзших немецких трупов. На этом месте народ восторженно орал и хлопал в ладоши, особенно мы, дети...

Вскоре потеснили и вотчину Софы Гейзерман, втиснув рядом с её парикмахерским креслом маникюрный столик, за который уселись сестры-близнецы Рая и Роза Руль.

– Представляешь, – жаловалась София моей маме, – грею я клиенту воду, шоб его качественно побрить... Не успею оглянуться, а он уже исчез...

– Клиент?

– Да шо ты! Кипяток... Говорю: «Роза, ты зачем это сделала?» Отвечает: «Я не Роза». Обращаюсь к Райке, она говорит: «Я – Роза»... Вот сучки! Маленькие, но такие хитрые...

Софу, преувеличенно большую, особенно на фоне фарфоровых, как ёлочные куколки, близняшек, раздражало даже не то, что время от времени что-то исчезало, например, мыло для помазка (возможно, оно в бане и всплывало).

– Представляешь (это у неё было разгонное для возмущения слово), вчера ухитрились откусить от мыла целый кусок, даже зубы отпечатались. Спрашиваю – что это такое? Говорят – мыши... Что за мыши с лошадиными зубищами?..

Но раздражало Софу всё-таки не столько покусанное мыло или утянутый в неизвестном направлении тройной одеколон, обмененный на рынке на банку смальца у тех же липипутов, сколько странная речевая особенность, с помощью которой «маленькие»

общались меж собой, особенно на людях. Они говорили на каком-то тарабарском языке, причём столь стремительно, что ни понять, ни сообразить, о чём идет речь, было невозможно.

Я, кстати, как-то в разговоре со своим коллегой, профессором культурологии Науменко, упомянул об этом, и он вдруг ожил, сказал, что сам когда-то неплохо владел таким языком, порождением двоечников, малолетних мошенников и всяких темных людишек, проживавших в родном ему городе Моздоке. Он и объяснил, что в обычные слова надо что-то добавлять или убавлять, или переставлять, но делалось это столь быстро, что простому человеку понять, о чём идет речь, не было никакой возможности. И солидной, этаким трибунной стати Владимир Емельянович вдруг призадумался, наморщил лоб и через паузу выдал трескучую фразу, которую сразу же перевёл:

– А не кинуть ли нам на котлы того фераера ушастого?

Кинуть – это значит «снять», котлы – «часы», а «фераер ушастый» – это я... Хохотали растроганно вместе, потому как из нашего замечательного детства ещё что-то помнили...

Так вот, Рули часами тарабарили, как утверждала Софа, на своем «собачьем» языке, после чего она, внучка кроткого щепетовского раввина, готова была задушить их собственными руками и, возможно, задушила бы, но хитрющие близняшки, почувствовав, что София на пределе, вдруг предложили ей бесплатный маникюр в любой день недели.

– Представляешь, Ева! – заговорщически шептала она (тогда почему-то при разговоре шептали все). – То, что они сучки, я ни на секунду не сомневалась, но маникюр сделали – закачаешься! Лучше, чем Стелла Оскаровна с Крещатика. Представляешь, я сверх оплаты относилa ей в подарок лучший шоколадный торт из кондитерской, шо на Фундуклевской, где надо было записываться за декаду у самого Фроньки Штафдахера, горел бы он ясным пламенем, жулик и бабник! За меньшее и не подходи... Даже с Мариши Ладыниной своё взяла до копейки. А эти кошёлки уселись каждая на свою руку и под собачье «мурлыканье» сделали то, с чем бы Стелка возилась полдня. Посмотри на мои руки!.. Разве такими руками можно сейчас кого-то задушить, окромя Гитлера?..

Мама завистливо вздыхала, потому что папа запретил ей пользоваться услугами станционной парикмахерской. Время от времени он брал её с собой в Свердловск, где она делала маникюр, причёску, но это случалось редко, к тому же всё исполняли много хуже, чем те же Рули.

Папа вообще был человеком крайне щепетильным. Тогда, кстати, это было распространённым явлением, особенно среди комсомольцев тридцатых годов, пришедших на ключевые должности через рабочие факультеты и коммунистические субботники и, несмотря на полковничьи погоны, всё ещё распевających по революционным праздникам:

*Наш паровоз, вперёд лети!  
В коммуне остановка.  
Иного нет у нас пути,  
В руках у нас винтовка...*

Винтовки у него, конечно, никакой не было, а вот револьвер был, здоровенный, тяжелый, волнующе пахнущий оружейным маслом. Однажды с братом Женькой, ещё более шкодливым, чем я, не выдержав искушения, тихонько вытянули его из-под подушки, на которой после бессонной ночи убойным сном спал уставший отец (тогда работали и днем, и ночью, так «рекомендовал» Сталин), и попытались взвести курок, однако он был такой тугой и неподатливый, что, сопя и гоняя сопли, мы револьвер уронили-таки. Но даже от оглушительного грохота отец не шелохнулся, и мы, сунув наган обратно, вытерли масляные руки о пододеяльник и решили, что дело шито-крыто. Но мама, увидев пятна на белоснежном белье (а чистота достигалась невероятным трудом, так как за недостатком мыла стирали золой, перемешанной с речным илом), сразу сообщила, в чём дело, и после короткой выволочки потребовала, чтобы револьвера в доме не было, и отец стал носить кобуру только на работе. Во время войны железнодорожники приравнивались к военным как по дисциплине, так и по личному вооружению, особенно те, кто был непосредственно связан с движением поездов.

Повторюсь, но папа до такой степени был показательно бескорыстен, что даже дрова для печи колол сам, правда, чаще с со-

седом по второму подъезду, знатным машинистом, ленинским орденоносцем Федором Ивановичем Каракиным.

Федор был настоящей русский богатырь, большой, сдержанный, силищи невероятной и такой же доброты. Огромным, как из фильмов сказочника Роу, колуном, который он лично отковал в деповской кузнице, с одного замаха в прах разносил неподъемные сосновые чурбаны, которые мы с Женькой, бегая наперегонки, собирали по всему двору.

За один воскресный день, бывало, вдвоем умудрялись на рубить дров на целый месяц, и не только себе, но и щедроному Гейзерману с его вальяжными дочерьми, одна из которых, а именно Софа, плотно якшавшаяся до войны с киношниками, восхищенно говорила:

– Жаль, Ваня Пырьев не видит! Федор – это же готовый киногерой всесоюзного масштаба, поярче, чем Борька Андреев...

Тогда страна безумела от восторга при виде на экране выходцев из народных глубин – Бориса Андреева, Петра Алейникова, Николая Крючкова. Но у Софы было на этот счет иное мнение:

– Да ну их, пьяницы и дебоширы... Федя – вот настоящий русский мужчина! Богатырь, красавец! За таким советские бабы побегут куда хочешь...

Но однажды и добродушный Федя был поставлен на край бешенства, и сделал это не кто иной, как мой брат-погодок Женька. Он вообще отличался какими-то странностями, из которых главной была изобретательная шкодливость.

Однажды на путях он подобрал кусок карбида и бросил его в очко дворового сортира. На беду рано поутру туда собрался Китун, как всегда, с цыгаркой в зубах. Ахнуло так, что вслед за досками дырявых дверей вылетели Степановы костыли, а потом он сам, сизым голубем, весь понимаете в чём...

Скандал разразился страшный! Федор Иванович, держа Женьку за шкуру, поднёс к крыльцу, куда на шум уже выскочила мама, испуганные сестры и даже сам Гейзерман. Был выходной, и двор быстро наполнился возбужденным людом, часть из которого без раздумий предложила Женьку линчевать. Народ огорчил не столько оглушенный Китун, сколько потеря отхожего места, разру-

шенного до состояния щепок, белой оскаленностью похожих на зубы мертвой акулы.

Старожилы утверждали, что наши дворовые сооружения – ровесники начала постройки Транссиба. Это в итоге и спасло Китуну от более серьезных неприятностей. Крыша – сплошное гнилье, вместе с обрывками рубероида, прикрывавшего посетителя летом – от солнца, зимой – от снега, сразу улетела в небеса.

Женька, сложив на пузе руки, беспомощным котенком висел в могучей руке, никак не реагируя на вопли возмущенных соседей и тихие мамины слезы. Только один раз, подняв огромные глазщи с длинными ресницами, прошептал:

– Я сейчас в штаны напишаю...

И написал, что несколько изменило тональность народного гнева.

– Ну чё вы на него накнулись?! – зычно заорала Кикимора. – Орёте! Он чё, соображает?.. Дитё ведь... Чаво-чаво? Водку надо жрать меньше, вот чаво! Провонял всё, смолишь тут табачищем... – Варька разъярённой вороной кинулась на бедного Китуну, которого сердобольные соседи пытались оттереть длиннорукой шваброй.

На счастье, примчалась «пожарка» из восстановительного поезда. Вначале она дала тугую струю по Степке, от которого во все стороны полетели радужные искры, а потом продолжительно окатила последствия, смыв с забора и сараев содержимое выгребной ямы, накопленное минимум с начала войны.

Отец был в отъезде, и Фёдор Иванович, отпустив, наконец, Женьку, взял дело ликвидации последствий ЧП в свои твёрдые руки. Завернутого в простынь Китуну отвели домой, пообещав новые костыли вместо старых, вдоль и поперёк перетянутых изолентой. Мама втихаря сунула ему в карман бутылку водки и что-то долго шептала на ухо.

Вскоре, напустив на морды озабоченную хмарь, появились официальные лица. На конном ходу под двумя сытыми жеребцами примчался начальник городской милиции Ян Борисович Гайлис, строгий возрастной мужчина из бывших латышских стрелков. Он говорил с сильным акцентом и, бегло осмотрев место происшествия, спросил:

– Пострадавших нэт?

– Нет-нет!.. Всё в порядке, Ян Борисыч! – дружно загалдел народ, но суровый Гайлис строго ответил:

– Развэ там порадак? – он сделал жест в сторону разрушения. – За дэтами надо слэдыт, товарищи... – и, повернувшись к крайне расстроенной маме, подчеркнул: – Эва Иогановна! Этот малчик трэбует вниманья, с вашей стороны особенно...

Женька равнодушно потянул соплю, но получив от мамы демонстративную затрещину, наконец, заскулил. Гайлис, успокоенный, быстро уехал, но тут появился начальник НГЧ, толстый и пузатый Егор Терентьевич, и прямо от ворот стал орать. Так он решал все проблемы, возникавшие в нашем поселке. Наконец, с железным стуком прикатила ассенизационная машина, известная в городе ржавая рухлядь, которую весело называли «говновозкой». Сопя и откашливаясь, она откачала то небольшое, что осталось в выгребной яме.

Зато к сумеркам, как по мановению волшебной палочки, на фоне полувековых сараев, покрытых струпьями коричневой вагонной краски (на советской «железке» это был самый распространенный цвет), солнечным сосновым тесом засиял двухместный, пахнущий хвоей новый туалет. Сортиром его называть было уже как-то неудобно, тем более оправившийся от шока Китун старославянской вязью начертал на дверях две самые публичные буквы – «М» и «Ж».

Однако через некоторое время завистливые злодеи торопливым дегтем дописали, и получилось – «Мудаки» и «Жиды». Пришлось все сосновое великолепие замазывать той же маскировочно-коричневой, после чего наш туалет вновь превратился в сортир, навсегда потеряв половое разделение, – через обезличенные двери шли без разбору все, даже те, кто и не жил в нашем доме.

А Женька, как ни странно, после той истории получил некую уважительную известность, хотя вернувшийся из командировки отец все равно пришёл в ярость и отлупил его ремнем. Досталось и старшему – считалось, что идея с карбидом принадлежала таки мне. Но это была неправда, поэтому, когда отец нас наказывал, Женька молчал, как глухонемой, я же ревел в голос, больше от обиды.



– Да он бы никогда не додумался! – больше всех надрывалась Кикимора. – Это всё Вовкины проделки, я знаю!

Конечно, репутация моя была, мягко говоря, не очень, особенно после того, как зимой я притащил в дом оторванную руку. Вместе со взрослыми пацанами я лазил как-то по составам, и через узкое отверстие, пробитое бронебойным снарядом, проник в чрево немецкого танка, где за брезентовой обшивкой нашёл замерзшую до каменного состояния человеческую кисть с кольцом на пальце. Снять мне его не удалось, и тогда, спрятав удачную находку под драную кроличью шубу (чтоб старшие пацаны не отобрали), я выбрался наружу и ринулся в сторону дома, но на перроне угодил прямо в объятия мамы. Было темно, и, крепко взяв за шиворот, гнобя упреками, она потащила меня в сторону дома, где сразу стала греть воду, чтобы отмыть неугомонного ребенка от дневных наслоений.

Улучив мгновение, я сунул находку под кровать, в надежде, что утром, когда дома никого не будет, я с ней разберусь. Но утром проснулся от дикого вопля. Пришедшая убирать квартиру Варька вдруг увидела, что детская кроватка подтекает черной лужицей. Она залезла туда шваброй и какое-то время тупо соображала, что такое (папа-то растаяла), а когда поняла, стала орать так, что бедная мама ещё долго не могла прийти в себя от пережитого ужаса. Что потом было – лучше не вспоминать!..

Позже Арон водил меня к медицинскому светилу, психиатру, тоже эвакуированному из Харькова. Тот долго обстукивал колени резиновым молоточком, заставлял показывать язык, закрывать глаза, ловить левой рукой правое ухо и наоборот, с закрытыми глазами хватать нос, дышать – не дышать, и, наконец, спросил:

- Мышь в руки взять можешь?
- Какую? – буркнул я.
- Просто мышь. Живую...
- Запросто...
- А мертвую?..
- Противно, но если надо – возьму...
- А змею?
- Ядовитую?

– Ну да...

– А вдруг цапнет... Нет, пожалуй, не стану...

– А таракана?

– Чего его брать, прихлопну и всё...

– Что я вам скажу... – пожилой психиатр посмотрел на маму, кусающую от волнения губы. – Отклонений не вижу, все реакции в норме, – но, повернувшись к окну, за которым тянулся бесконечный состав, груженный грудями горелого железа, вздохнув, добавил: – Нормы сегодня, милая барышня, к сожалению, не совсем нормальные... Но он, с моей точки зрения, реагирует на них вполне адекватно. Ребенок ведь открывает жизнь теми реалиями, что наличествуют, и о других не ведает. Поэтому, в отличие от нас с вами, все воспринимает как норму...

Доктор невесело усмехнулся, пожелал маме справиться с проблемами, в частности со мной, но при нашем уходе сказал:

– Он ведь не на обрубок реагировал, а на кольцо, что по сегодняшним обстоятельствам вполне естественно... Но вы не волнуйтесь, война закончится, и всё станет на свои места... Скорей бы только!..

Мама тяжело вздохнула...

Таисия Васильевна, жена Федора Ивановича, симпатизировала Женьке и всегда брала его с собой в лес, особенно когда ходила в Белый Яр, изумительное по красоте место на высоком берегу Пышмы, с густым сосновым бором, окутанным таинственной тишиной, нарушаемой лишь птичьим гомоном. Подложив под голову платок, она ложилась на спину и, закрыв глаза, слушала...

Чтобы внимать уральскому лесу, надо быть там своим – знать повадки, места, особенности, прежде всего, собственного поведения, тогда лесная тишина, тонкая, как папиросная бумага, вдруг станет расплзаться вначале робким, а потом чуть посильнее звучанием отношений, в которых лес живёт, когда в одиночестве. Таисия Васильевна прикладывала палец к губам и выразительно показывала глазами наверх, туда, где почти наглухо смыкались кроны.

Первым отзывался самый смелый и самый энергичный – дятел. Сначала два-три осторожных стука, потом – длинная пауза.

Как опытный дирижер, он сперва пробует палочку о пульт и вдруг, решительно взмахнув, выдает первую трель, затем вторую и начинает исступленно лупить по сосновой коре кремневой закалки клювом. Запрокинув голову, я ищу его, а он, не переставая стучать, юлой крутится вокруг ствола, уходит от взора, подавая остальному птичьему миру сигнал:

– Не бойсь, ребята! Всё в порядке!.. Выходи!..

И тут лес начинает наполняться многообразным таинственным звукоизлиянием – посвистыванием, пощелкиванием, нежной свиристелью, далеким уханьем...

Северный лес – не юг, и уж тем более не дельта Амазонки, он молчаливее, строже, но в короткое, особенно жаркое лето, раскрывается такой звенящей серебряными колоколами красотой, что даже самая зачерствевшая душа не устоит от восторга. У него, конечно, нет радужных попугайных расцветок, оттенки более тонкие, нежные, одухотворенные, особенно возле опушечных или болотных мест, расцвеченных бусинками ягод, упрятанных в сочную траву. Но зато запахи – более чувственные, насыщенные, вместе с горячей хвоей создающие непередаваемый аромат соснового великолепия, с хрустальной чистоты воздухом, излечивающим многое, но прежде всего – израненную душу.

Таисия Васильевна учила нас правильно ходить по лесу, общаться с ним, видеть и запоминать.

– Наш лес не каждого в себя пустит, – распевно, по-уральски говорила она, разгребая тонкой палочкой хвою над еле заметным бугорком. Вдруг под жухлыми иголками мелькает упругая белизна – свежий груздь. Я – хищник, кидаюсь сразу, а Женька – нет! Наморщив длинный нос, он ножичком срезает ножку и снова присыпает ямку хвоей.

– Молодец, Женечка! – говорит Таисия Васильевна, ласково поглаживая его по лохматой голове. Позже, сидя на траве и разложив в подоле грибы, она долго и сосредоточенно их чистит, бережно раскладывая в просторной корзине, шляпками обязательно вверх.

Оба Каракиных – великие мастера по части использования лесных даров, особенно засолке груздей. Зимой их, пахнущих смородиновым листом и ещё чем-то непередаваемо терпким, сверка-

ющей горкой выкладывают из кадушки в глиняную корчажку, рядом с парующей, только-только с плиты, картошкой, белой и рассыпчатой (которая растет только на Урале), и тогда под звон вилок сразу вспоминаются летние, с долгим терпением ожидаемые дни...

## Щеглов и щеглы

Двоюродный брат Таисии Васильевны служил в Свердловске, в тамошней консерватории, и считался знаменитостью. Ещё бы – известный музыкант, близко общающийся в областном центре с самим Бажовым, автором прославленной «Малахитовой шкатулки», и написавший даже по мотивам одного из его сказов не менее сказочную симфонию.

Павел Петрович Бажов в Камышловe почитался свято. Ещё до революции он работал тут учителем словесности, и в городе проживало немало его бывших учеников, в том числе и родственник Таисии Васильевны. Но у брата была ещё одна грань известности – он занимался орнитологией, на любительском уровне, конечно, и когда на лето приезжал в отчий дом, то свободное время посвящал неизбывной страсти (тогда ещё не было слова «хобби»). Да и фамилия у него для этого увлечения была более чем подходящая – Щеглов, Григорий Макарович Щеглов.

Много лет спустя я неожиданно встретил его в Краснодаре. Он работал там же, где сейчас я, – в университете культуры и искусств.

На каком-то филармоническом концерте, набравшись смелости, в антракте я подошёл, напомнил Урал, но он, заслуженный-перезаслуженный деятель, уже профессор, внимал рассеянно. Приподняв подбритые брови и наморщив напудренный лоб, вспомнил только моего отца.

– Суровый был, однако, субъект, – почему-то сказал именно так, очевидно, желая подчеркнуть какую-то давнюю и до сих пор не забытую обиду. – А вы чем заняты? – спросил он скорее из вежливости, чем из любопытства.

– Работаю на телевидении младшим редактором, – ответил я, хотя по моему виду и ежу было понятно, что где бы я ни трудился, все должно было быть с приставкой «младший».

– Ну-ну... – хмыкнул он и, на мгновение приклеив полуулыбку на выбеленное лицо, повернувшись к кому-то, ушёл, высокомерно размахивая фалдами концертного фрака. В тот вечер он с успехом дирижировал сводным хором...

Дом Щегловых стоял на берегу, бревенчатый, просторный, с резными наличниками на окнах, с большим подворьем, каретным сараем, хозяйственными службами, крытый железной крепости еловым тесом, таким, которого ни время, ни свирепые уральские морозы не берут, только постепенно погружая кровлю в темно-насыщенные тона.

Неподалеку перекинут через Пышму мост, тоже серый от старости, но могучий до такой степени, что стоит не шелохнувшись, даже когда с той стороны движутся машины, груженные неподъемной тяжести заснеженными бревнами. Мама говорила, что через этот мост идет дорога на Тобольск. Лютой зимой вместе с Софьей она ездила в ту сторону менять в дальних деревнях вещи на продукты и помнила это путешествие до самой кончины, особенно безысходный волчий вой...

Не надо тугο размышлять, чтобы уразуметь, что в таком домовладении должны обитать исключительно благополучные люди. Так оно и было! Отцы Таисии и Григория были родные братья, очень состоятельные люди из зажиточного рода Щегловых, ставившие в этих местах торговлю битой птицей, в основном знаменитым шадринским гусем, в чистом виде дотягивающим до шести кило весом. Федор Иванович рассказывал, что перед Рождеством обозами в полусотню саней возили мороженую птицу в Екатеринбург – разлеталась влёт...

В гражданскую войну сами купцы, естественно, сгинули куда надо, но старший оставил сыну вот это домовладение. Ходили слухи, что защитил несовершеннолетнего Григория от окончательного разорения, или, точнее, от раскулачивания, как раз Павел Петрович Бажов, который в ту пору единолично комиссарствовал в Камышлове от имени местного комитета бедноты...

Возвращаясь с Белого Яра, мы иногда с Таисией Васильевной заходили сюда, погружаясь в непривычный мир благополучия и умиротворенности, словно и войны никакой не было: ни скудных

продовольственных карточек, ни эвакуационных уплотнений, когда на десяти метрах ютились по десятку человек. Помог все тот же бывший комиссар, к той поре превратившийся в известного писателя, по слезной просьбе подписал ходатайство, подчеркнув, что даже в самые трудные времена страна обязана беречь таланты, а Григорий Щеглов, молодой, растущий, подающий надежды композитор, работает сейчас над симфонической сюитой о великом Сталине...

Павел Петрович Бажов, удивительной светлости человек, в ту пору не только знаменитый, но и очень авторитетный, изо всех сил старался обогреть, а главное – умиротворить огромное количество творческих деятелей, хлынувших на уральские просторы, ища спасения от нашествия безжалостного врага. Надо сказать, что это удалось ему в полной мере!

Сотни людей из Москвы, Украины, Белоруссии после войны славили Баждова как спасителя, с теплотой и благодарностью вознося доброго и сердечного человека, в самые трудные времена добывавшего основные благоденствия – хлеб, кров и тепло, дабы сохранить жизнь каждого творца, заброшенного лютой войной на далекий Урал. Вот таким он был, маленький, уютный старичок, с большой окладистой бородой, добрыми и лучистыми глазами, всегда излучавшими светлые, ободряющие чувства.

Единственный, кто никогда не вспоминал о старом сказочнике публично, был внук, приснопамятный для всех россиян конца прошлого века Егорушка Гайдар. По правде говоря, деда своего он никогда не видел, поскольку родился через шесть лет после его смерти. Кстати, и другого своего дедушку, что по линии отца, тоже, выражаясь по-уральски, «не шибко поважал», поскольку появился на свет через пятнадцать лет после героической гибели Аркадия Петровича Гайдара в жестоком бою с гитлеровцами, тоже замечательного детского писателя и редкого романтика, всегда и везде воспевавшего советскую действительность, которую потом, не жалея сил, топтал родной внук.

Вот так получается, что ничего хорошего к Егорушке от предков и не пристало. Чего беречь сейчас душу бессмысленными воспоминаниями, ежели отрок, на славе дедов набалованный «шоколадной» жизнью, стал тем «Горынычем», что без угрызений, в

один присест в премьерское кресло проглотил сбережения всех тружеников огромной страны, сколачивающих личное благополучие по рубliku от ударной работы в досрочных и срочных пятилетках. Обездолит, змей, всех враз, сожрав одномоментно, как сладкую морковку с бажовского огорода, многолетние трудовые накопления, и при этом не подавился, хотя, к сожалению, помер рано...

А всё во имя того же самого мифического будущего, которым постоянно опыляют наши мозги, обещая всем вместе и каждому в отдельности райскую жизнь, что всегда выполняется с точностью до наоборот:

– Вот пройдем через временные трудности – тогда заживём!.. И всё, как видите, идём...

Мы с Женькой, попадая за ворота щеголовского подворья, вмиг затихали до состояния подавленного восторга. И было отчего!

Под обширным навесом, закрывающим половину дворового пространства, свиристел на разные голоса птичник, и не какой-то вонявший помётом курятник, а большие клетки с разнообразными обитателями уральского леса, в ту пору ещё не тронутого экологическими потрясениями, типа Кыштымской катастрофы, равной средней величины ядерному взрыву.

Лес и вправду был нетронутый, девственно чистый, поэтому то, что называлось фауной, гармонично вписывалось в изумительную флору, ещё не опутанную колючей проволокой секретных объектов, упрятанных в северную глухомань. Это будет, но потом, через несколько лет после войны, когда страна начнет готовиться к новым потрясениям и станет энергично лопатить глухие таёжные пади, пряча под кроны нетронутых лесов ракетно-ядерные чудовища...

А сейчас глаза разбегаются от шустрого мелькания под весёлым гомон. Таисия Васильевна хорошо разбиралась в этом и старалась привить нам познания, всякий раз подчеркивая, что птичка – тварь божья.

– Почему тварь? – спрашивал я, поскольку не раз слышал, как взрослые, выражая свою неприязнь друг к другу, употребляли именно это слово, особенно Варька Кикимора, оглушительно скандая на вокзале, кому мести перрон.

– Тварь – от понятия «творить», «создавать», «созидать», и

делать это хорошо, творчески, – терпеливо разъясняла Таисия Васильевна. – Господь, как и всё, окроплял это своей любовью. Вот, взгляни, это – чечетка, – показывала она на серенькую хрупкую птичку, украшенную изящной красной «шапочкой». – Их очень много в лесу, но увидеть сложно. Она умело прячется, особенно когда насиживает яйца... А этот красавец – чиж... Как тебя, Женя, дразнят во дворе?

– Чижик-пыжик, – буркнул Женька, – иногда Долгоносик...

– Вот это тот самый чижик... Смотри, какой замечательный! Очень любит хвойные леса, но непременно поближе к водоемам. Купается с огромным удовольствием, даже в холод. Бывалоча, так намокнет, что взлететь не может... А вот это моя самая любимая пичуга, и называется – снегирь, – Таисия Васильевна показала на акварельно раскрашенную особь, с чёрной головой и ярко-красной манишкой. – Их стихия – зима! Тот, кто умеет подражать позыву снегиря, может даже стаю подманить. Федя хорошо это делает – укроется под сосной и потихоньку: «Ди-и-и... Ди-и-и...» Глядишь, на зов уже десяток летит... Очень доверчивая, радушная птичка, и замечательно к человеку относится. У нас раньше в Камышлове редкий дом, где бы снегирь не жил... Он ведь погоду предсказывает. Ежели нахохлился, сидит сердитый в углу клетки – значит, жди ненастья, а то и метели, а если суетится, прыгает, глазки блестят – значит, всё будет прекрасно! Вот это уже иной типаж, – Таисия Васильевна постучала ногтём по сетке, за которой сидела кирпично-красная птица с насупленным видом и странновато переkreщенным клювом. – Это клест, царь ельников, пихтовых чащ. Забирается на самую высокую крону, и только шишки летят вниз. Если в сосновом лесу урожай – жди нашествия клестов... Очень красиво летают, как по волнам, вверх-вниз... А это самая дорогая нам с Гришей птичка, щегол называется, – она весело засмеялась, – я же в детстве тоже Щегола... Его, озорника, уж ни с кем не спутаешь. Взгляните, сколько многоцветия в окраске – тут и красное, и желтенькое, и черное... В траве его никогда не увидишь... Гриша силки на щегла всегда высоко-высоко ставил, лучше на старую яблоню... Если щеглы в саду водятся, вредителям не жить, всех подберут...

Наконец, на высокое крыльцо в образе старосветского поме-

щика выходит братец Григорий. Он в длиннополом полосатом халате, турецкой феске и с трубкой в руке.

– Ба-а-а! – кричит зычно, с кучерскими интонациями. – Таисия! Ты, как Хозяйка Медной горы, опять явилась ко мне из чащи лесной! Прелестно!

Пока родственники целуются, мы с Женькой, как два пня, стоим в стороне, не зная как себя вести. Я замер истуканом, Женька, как всегда, ковырял в носу. Братец Таисии Васильевны, не обращая на нас ровно никакого внимания, подчеркнуто шумно и театрально артикулируя, громко вещает, как хорошо ему работает именно сегодня, в этот чудесный июльский день, в отчем доме, когда птичье сообщество озарило радугой все окрест, а прежде всего – его страждущую душу...

Он говорит ещё что-то подобное, но я вижу, как из дома появляется маленький человечек с длинной бородой, в фетровой шляпе с большими полями. Сразу соображаю, что Геродот, видать, и сюда протоптал тропу.

– Таичка! – спохватился Щеглов. – Позволь представить тебе моего большого друга и замечательного артиста, психолога и гипнотизера... Нет-нет! Геродот Маркович, прошу вас, не возражайте, именно мастера гипнотического воздействия, последователя Вольфа Мессинга, уважаемого Геродота Солнечного... Потрясающий человек!

Геродот, раздувая бороду, развел руками, словно хотел сказать: «Ну полно вам, голубчик!»

Он как-то умудрился дотянуться и поцеловать руку рослой Таисии Васильевне (чем вогнал ее в краску), сиплым голосом закатил витиеватый комплимент, а потом в паузе вдруг спросил:

– Если не ошибаюсь, это детки начальника местного депо?

– Да! – ответила она. – Мои друзья, особенно вот этот касатик-носатик, – и Таисия Васильевна прижала к себе Женьку. – Друг мой сердечный!.. Правда, Женя?

Тот зажмурился и согласно швыркнул носом.

– Таичка! Чаю? – заорал Щеглов, да так, что в дальнем углу каретного сарая по тесной клетке стала метаться полуоблезлая от зимней линьки лиса.

– Нет-нет, Гришенька! Спасибо, – сестра мягко отвела приглашение. – Мы домой! Тем более мальчиков, наверное, уже ждут...

Геродот, опираясь на трость, проковылял с нами до ворот, снова попытался поцеловать руку Таисии (что с трудом, но удалось) и почтительно промолвил сиплым басом:

– Заходите к нам в Обуховку... Мы поем, танцуем и даже балы устраиваем. Уверю вас – это очень интересно...

## Бал лилипутов

О том, что Женька бывает у лилипутов, я понял по тому, что вскоре он тоже начал слегка тарабарить. Пару раз сходил туда с Таисией Васильевной, а потом стал откалываться от грибников и ягодников, втихую сворачивая в Обуховку, благо было совсем недалеко. Однажды с полным лукошком роскошных белых грибов его привез на двуколке сам Геродот, наговоривший смутившейся маме массу любезностей и особо отметив воспитание сына.

Вот это уже было для бедной мамы совсем неожиданно – она ещё не отошла от истории с карбидом и вообще стала привыкать к мнению, что её дети – исчадия ада. Слава Богу, случай тот стал уже забываться и казалось, что обстановка, наконец, выправляется, тем более что меня стали готовить к школе, ужас в том, что всем двором, поскольку я был там единственным первоклассником. Даже Китун, который меня откровенно недолюбливал, пожертвовал из своих запасов акварельные краски с кисточкой, что, поверьте, в ту пору было королевским подарком.

Но вдруг возникла другая неприятность – в деповском подсобном хозяйстве пропало две овцы. Наверное, надо ещё раз подчеркнуть, что учет и распределение любого вида продовольствия являлись во время войны делом сверхстрогим и очень ответственным, поэтому пропажа овец вызвала большое беспокойство, прежде всего, у нашего отца, отвечавшего за все производство, начиная от состояния локомотивного хозяйства и готовности паровозных бригад до прачечных и рабочих столовых, куда до крошки шли все дополнительные продукты. Часть его перепадала детскому садику и яслям, но только самая малая, поскольку тяжелый труд



поездных железнодорожных бригад должен был снабжаться по самой высокой, так называемой фронтовой, норме.

Я сам слышал, как вечером отец рассказывал зашедшему на огонек Федору Ивановичу:

– Представляешь, исчезли среди бела дня. Пастухи уверяют, что близко никого не было, паслись на опушке, все на глазах... Стали вечером считать – двух нет!

– Может, волк? – спросил Федор.

Отец пожал плечами:

– Может, и волк... Но откуда? Если бы зимой, я ещё понимаю... Пастухи – члены партии, инвалиды войны, к тому же вооружённые ружьями... Как испарились...

Но через три дня исчезла ещё одна овца. Факт этот уже заинтересовал Гайлиса. Он лично допросил пастухов, но те клялись, что овцы провалились, как сквозь землю. Вот были – и сразу нет!

Отец ходил чернее тучи и даже кричал на заведующего хозяйством, что если хоть одна животное пропадет, он лично отдаст его под трибунал за ротозейство. Но овец не нашли, зато пропало пять кур. Кто-то аккуратно сдвинул шифер на крыше птичника и через небольшое отверстие утащил курей, предварительно передувив, поскольку на земле остались пух и перья. Грешили на лисовина, поскольку, как вспоминали старожилы, бывали случаи и похлеще. Тот же Китун говорил, что однажды лис забрался в крольчатник и, перерезав кроликов, всю ночь таскал их в нору, которую потом обнаружили.

Возле ферм устроили засады, но когда обворовали водяную мельницу у загородной запруды, стало ясно, что лисы тут ни при чём.

Мельницу следственно осмотрели, установили, что воры проникли через небольшое вентиляционное отверстие под крышей. Утащили два мешка муки, аккуратно пересыпав ее в свою емкость, исчезнув опять тем же путем. По приказанию Гайлиса привели служебную собаку, но она, сунув нос в траву, жалобно завывала. Многоопытный опер понюхал траву и, сморщившись, объявил:

– Понятно! Кайенская смэс...

– Что это такое? – спросил мельник, старый дед по фамилии Банных.

– Смэс красного пэрца с разной дранью, – ответил милиционер и тут же скомандовал: – Собаку увэдыте, а то последнего пса угробым...

Одна радость – в мучной пыли был обнаружен след детской ножки. Банных клялся-божился, что детей тут сроду не бывало и быть не могло:

– Вы чё, мужики, тут опасно... Механизмы разные, колеса крутятся, да и вход любым посторонним строго воспрещён, пищевое предприятие всё-таки...

Гайлис вечером рассказал отцу, что без «маленьких» тут не обошлось, тем более, что в отверстие мог пролезть только небольшой, но достаточно ловкий и сильный человек.

Естественно, что после этого взоры правоохранителей развернулись в сторону Обуховки, но «маленькие» вели себя без всяких признаков беспокойства, хотя по городу уже ползли разные слухи, прежде всего, что Геродот ведет себя там, как настоящий хан.

Обедает, например, только в компании с мерином, тем самым Карькой, которого по торжественным случаям разукрашивают лентами и под песнопения водят вокруг догорающего кострища. Обед обоим накрывают на единой столешнице – на одном конце восседает Геродот, на другом, сунув морду в прорубленное в стене отверстие, Карька чавкает овсом.

Как-то спросили об этом, но Геродот ответил, что готовит лошадь к специальному представлению о сближении человека с животным миром, уверяя, что это будут уникальные достижения.

– Вы знаете, дорогая Таичка, – говорил он Таисии Васильевне, – историю о бедном Фифисе.

– Кто такой Фифис? – осторожно спрашивала сбита с толку женщина, главным образом, совместными трапезами с лошадью.

– Боже праведный, вы не знаете, кто такой Фифис! – восклицал Геродот, картинно воздев руки. – Вы послушайте, – и он начинал пересказывать историю, случившуюся в Париже в начале двадцатого века.

Некий французский профессор медицины, стремясь найти средство против «испанки» (тогдашняя разновидность гриппа), уносящей тысячи жизней, решил попробовать изобретенную им сыво-

ротку на собаке. Где-то в районе Булонского леса кусочком колбасы (как профессор Преображенский из «Собачьего сердца») подманил утерянного кем-то фокстерьера, привел его в лабораторию и сделал прививку. В результате фокстерьер тут же сдох, но эксперимент получил публичную огласку. За поисками вакцины следил весь мир, поскольку от той «испанки» люди мерли как мухи (даже председатель российского ВЦИКа Яков Михайлович Свердлов, первая потеря в ленинском окружении).

Посмертное фото фокстерьера было опубликовано во многих газетах, где несчастного Фифиса опознала хозяйка, крайне экзальтированная дама, и тут же подала на профессора в суд, требуя для него смертной казни. К возмущению тотально присоединились хозяйки несравненных жужу и бижу, оплакивая горячими слезами бедного Фифиса.

– Повр Фифис! – рыдали они («повр» – бедный).

Но самым «повр», тем не менее, оказался профессор. Однажды на улице его даже забросали тухлыми овощами. Более того, всякие консьержки, молочницы, девственные барышни, старые девы и домашние хозяйки обратились к президенту Франции с требованием предать «живодера» суду Линча, лучше принародно на площади Бастилии.

За профессора вступилась интеллектуальная (или как бы сказали сейчас, продвинутая) пресса, но скандал приобрел ещё большую силу – страна буквально раскололась на человеко- и собаколюбов. Когда в кинотеатрах показывали документальные ленты о поисках животворящих вакцин с участием животных, сеансы, как правило, заканчивались драками, прямо тут же, в зале. Сбор средств для защиты животных превзошёл объемы помощи инвалидам мировой войны. Какой-то выживший из ума маркиз пожертвовал бездомным собакам поместье и дом в полсотни комнат...

– Я хочу сблизить любовь человека к животным и любовь животного к человеку, – важно продолжал Геродот, рассказывая Таисии Васильевне о своих экспериментах, в систему которых, в частности, входили и совместные обеды с Карькой...

Но вскоре грибки, шлявшиеся по окрестным лесам, стали улавливать давно забытые запахи, идущие со стороны Обуховки.

В ту пору они были ещё более раздражающими, чем рассеянный иприт, – это были ароматы шашлыка. Надо ли говорить, что очень скоро слухи о чужеродных запахах достигли чутких ушей майора Гайлиса, который обложил Обуховку плотным кольцом наблюдения.

Первыми попались четыре «маленьких» мужичка, которые трясли чью-то сеть в тихой заводи возле обворованной месяц назад мельницы. Однако их пришлось отпустить, поскольку украденную рыбу они лихо сбросили в речку, а затем стали орать, что хотели ликвидировать браконьерскую сетку, так как она противозаконна и нарушает Гаагскую конвенцию об охране животного мира, и если им мешают это делать, то они напишут жалобу лично товарищу Кагановичу.

Про Гаагскую конвенцию, понятно, в Камышлове никто слыхом не слыхивал, зато про Лазаря Кагановича все были прекрасно осведомлены, особенно на СВЖД, где Лазаря боялись как огня, отлично помня, как однажды на дорожном совещании комсостава, достав из кармана френча бумажку, он объявил список «врагов народа», эдак человек на полсотни, среди которых были, в частности, предшественники моего отца и самого Гайлиса...

Через какое-то время стал известен и секрет исчезновения «бедненьких» овечек. Один из пастухов, увечный инвалид Фролыч, полковой разведчик, год отлежавший в местном госпитале, клятвенно пообещал скотокрадов поймать. И, представьте себе, поймал! Однажды, накрытый в черемуховых зарослях лопухами, он увидел, как к отаре со стороны соседнего березняка тихо бредут два барашка. Но не случайно Фролыч получил на фронте свой орден Славы, что-то ему в этих барашках не понравилось. Толкая вперед костыль, он подполз и увидел, что из-под шкуры торчат человеческие ступни. Как и положено бывалому воину, тут же заорал:

– Хальт! Хенде хох!

Но не тут-то было! Из леса мошкаркой вылетела пестрая ватага, огрела Фролыча по голове его же костылем и мгновенно исчезла вместе со шкурами.

Всё это Фролыч, ощупывая перевязанную голову, рассказывал Гайлису. Единственное, что настораживало майора в потерпевшем, – это запах застарелого самогона...

– М-да... – промолвил Ян Борисович. – Брать надо с поличным... И не дай Всэвышний, если их поймают мэстные крестьянэ...

Дело в том, что издревле в Камышловском уезде существовал довольно изуверский способ борьбы со скотокрадами – их обмазывали дегтем, вываливали в перьях и вешали за ноги на сухой сосне, после чего ее могли и поджечь. Цыгане это хорошо знали, объезжая уезд по широкой дуге. На что уж отчаянной удали слыл разбойник и конокрад Гришка Новых (он же Григорий Распутин) – и то сюда никогда не совался.

О ситуации отец доложил Пельненко, сказав, что Гайлис настроен решительно и собирается провести в Обуховке тотальный обыск.

– Значит так! – в телефонной трубке зазвучали стальные генеральские нотки. – Никаких обысков, тем более тотальных...

Потом уже чуть полегче (друзья все-таки) добавил:

– Ну, похватаем их сейчас... Мы и без этого знаем, что они жулики, а Геродот – так первостатейный... Нам ещё в прошлом году осенью от украинского НКВД пришли ориентировки – аферист высшего класса. А че дальше? Там их почти сотня, причём в крепкой круговой поруке. Скажи мне – куда сажать? Чем кормить? Как содержать? Учти, Витя, эта категория под патронажем Красного Креста, а это нынче серьезно... Так что терпи, брат, играй-те с ними в игры и ждите, когда мы их отправим восвояси... Судя по сводкам, Харьков вот-вот освободят. А начальству Гайлиса я скажу... Вот прямо сейчас и скажу...

О том, что майор по своей линии получил соответствующие указания, было видно по его желвакам, играющим под туго натянутой кожей всегда до скрипа выбритого лица, да фуражке, зло натянутой на самую переносицу.

Вот уж верно, он был настоящий латышский стрелок, из тех, кто под командованием матроса Балтфлота Паши Малькова ещё охранял Кремль и вождя революции. Дай ему волю, не задумываясь, утопил бы расхитителей социалистической собственности в Пышме, но дисциплина, особенно партийная, для него было понятие святое. Поэтому, выставив посты возле опасных объектов, в оперативных целях стал заезжать в Обуховку и как-то даже пере-

кусывал в компании с Геродотом и Карькой, терпеливо выслушав историю о «бедном Фифисе».

Однажды Геродот пригласил горожан на летний бал, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, портрет которого, в исполнении неутомимого Китуна, висел прямо над воротами. Мало что помню от того бала, только шумную, залихватскую музыку на губных гармошках, дробь барабанов, толпу разодетых лилипотов и танец посреди ромашковой поляны. Взяв себя под локоть, «маленькие» длинными шеренгами, наступая друг на друга, угрожающе весело пели:

*А мы просо сеяли, сеяли...*

И дружно топнув каблуками по траве, отбегали назад. И сразу на них, громко звуча, шла противоположная шеренга:

*А мы просо вытопчем, вытопчем...*

В ответ тут же неслось:

*А мы коней выпустим, выпустим...*

Снова по траве – оглушающее бабах, и сразу такой же громкий ответ:

*А мы коней выловим, выловим...*

И так далее. Очень смешно было!

Потом важных гостей повели кушать, правда, без Карьки. Подали жареные грибы с куском свинины и мелко нарезанную репку, основной уральский деликатес. Отец с Гайлисом переглянулись – в нашем районе свиньи пока не пропадали... «Может быть, только пока», – незаметно подмигнул милиционер моему отцу.

Глядя на самодовольного Геродота, нетрудно было сообразить, что он отлично понимает свою защищенность, и не столько Красным Крестом, сколько какими-то высшими соображениями власти, иногда трудно понятными всем остальным. Одного он не понимал – что на свете нет силы, позволяющей безнаказанно воровать у советской власти, особенно в пору, когда на всех пристанционных пакгаузах висело самое лаконичное произведение неутомимого Китуна – «За курение – трибунал!».

Можете себе представить: если за курение – трибунал (то есть запросто вплоть до расстрела), то за украденную свинью вполне можно было схлопотать столько, что будешь париться на лесосеке остаток жизни. Так что гневить ту власть было не просто опасно, а смертельно опасно, тем более злить такого кристально-го большевика с подпольным стажем, как Ян Гайлис, всегда с неизменным «ТТ» на командирском ремне. Он и спал с ним в обнимку под подушкой... Такое строгое время было!..

### Спасибо родному вождю!

Стремление майора разгромить-таки «воровское гнездовье», окопавшееся в Обуховке, было столь очевидным, что многим казалось, что завершение и, несомненно, наказание будут неотвратимыми. Но вмешался Его величество случай, лишний раз подтверждая, что жуликам везет больше, чем всем остальным.

Сталин, дабы подчеркнуть приближение победоносного окончания войны, вдруг объявляет выборы в Верховный Совет, о существовании которого и думать-то забыли. Война с первых дней естественным образом похерив все иные институты власти, сформировала, в сущности, один, но зато особо значимый орган – Верховное Главнокомандование.

И это было правильно – съезды партии, сессии, всякие пленумы, активы и прочее только разжижали бы реальное единоначалие, столь необходимое для концентрации усилий на борьбу с врагом, и население страны с пониманием отнеслось к такому ходу дел. Тем паче, там, где устанавливается реальный «вождизм», всё остальное выглядит как золоченые кисти на знаменах – красивые, но бесполезно болтающиеся предметы.

И вдруг – на тебе, выборы! Ещё грохочут пушки и рвутся снаряды, а уже выборы! Естественно, советский народ, привыкший выполнять и перевыполнять, это известие (особенно если судить по газетам) принял с привычным ликованием.

Это сейчас любая выборная компания – повод для возбуждения скандалов, изысканных обвинений-оскорблений и митингов на свирепом морозе, раскалывающих общество, как сосновые чурба-

ки, что крушили Федор Иванович с моим отцом перед отопительным сезоном. Ну и, само собой, как говаривал кот Базилио, превосходная возможность «вцепиться в рожу» друг другу.

Тогда же выборные действия подавались как торжество социалистической демократии, ещё раз подтверждающее «единство партии и народа». И совсем не беда, что в бюллетене наличествовала лишь одна фамилия и одна партия, поскольку она была руководящая, и она же, естественно, направляющая. Глядя на сегодняшнюю ситуацию, уж не знаю, что лучше?..

Иосиф Виссарионович вообще был «великий комбинатор» по части воодушевления народных масс на различные победительные затеи. К тому же, когда могучие «сталинские удары» добивали ненавистного врага в нескольких сотнях километров от столицы рейха – вкуче это не оставляло сомнений, что конец войны близок, и не просто конец, а победительный гром на всю планету. А дальше – новое возвращение к «сталинской конституции», каждой буквой подтверждающей торжество демократии в самой лучшей интерпретации – опять же сталинской. Читаешь ту конституцию – и плакать хочется от восторга. Беда в том, что между словами и делами у нас всегда много разночтений. Поэтому даже сверхстрогое «За курение – трибунал!» немногих отучило курить на посту в рукав тулупа...

Смутно, но помню, как наш маленький городок, затерявшийся на просторах огромной страны, в день выборов (или как тогда говорили, «народоизъявления»), как маковое поле, покрылся кумачовыми флагами, яркими плакатами и транспарантами, где в различных восторженных модификациях звучал единственный призыв: «Все на выборы! За блок коммунистов и беспартийных!»

Надо ли сомневаться, что в тот день народ, от мала до велика, оживленными толпами валил на улицы. Малые, то есть дети, – чтобы придать картине необходимую завершенность массовой восторженности, большие – чтобы торжественно исполнить свой гражданский долг.

Уверяю вас, никого не подгоняли, и 99,99 процента только подчеркивали в общественном сознании ничтожность тех 00,01, что лишили себя удовольствия отдать голос за «лучшего кандидата в депу-

таты», которого (как, впрочем, и сейчас) никто не знал, но то, что он лучший, в этом (в отличие от сегодняшнего) никто и не сомневался.

У нашего двора был, кстати, особый повод радоваться – кандидатом в депутаты выдвинули знатного машиниста дороги Федора Ивановича Каракина, и его портрет в непривычном галстуке висел на всех заборах, рядом (страшно даже сказать) с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, единым кандидатом от всего советского народа...

День был воскресный, и празднично разодетые горожане под духовой оркестр паровозного депо (где самодеятельно играли настоящие железнодорожники, а не переодетые лабухи) текли непрерывным потоком в тот самый Дом культуры на берегу Пышмы, над которым в обрамлении электрических лампочек висел в блистательном исполнении Китун огромный портрет Сталина в маршальской форме и такая же зажигательная надпись – «Избирательный участок»...

И вдруг (вот уже это, по законам добротной драматургии интригующее «вдруг») внимание народа переключается на мост, по которому со стороны Обуховки под бой барабанов и звуки гармошек двигалась нарядная колонна, издающая вопящие децибелы. Это шли «маленькие» в полном сборе под водительством Геродота, за которым тащили большущий портрет опять же Сталина, очень похожий на тот, что висел над избирательным пунктом. Степка Китун потом признался, что за полкило махорки и две бутылки водки потел всю ночь.

Лилипуты, под изумленные взоры и барабанный грохот, подошли к клубному крыльцу, уступно, ступенька над ступенькой, заняв его полностью. Откуда-то появился табурет, на который взобрался Геродот и, властно подняв руку, оборвал шум:

– Дорогие товарищи! Музыка народная, слова Геродота Солнечного – «Спасибо родному вождю». Солист Геродот Солнечный! Исполняется впервые...

Он снял шляпу и, вскинув бороду, деланым басом громко запел:

*Когда на весеннем рассвете  
Над Родиной солнце встаёт,  
Вождю своему дорожному  
Привет посылает народ...*

После первого солирующего куплета пронзительными голосами взвыли лилипуты:

*Садами в просторах Отчизны  
Родные края зацвели.  
Спасибо, Великий Учитель,  
За счастье родимой земли!*

Геродот вошёл в образ. Ещё выше задрал голову и переступив на услужливо подставленный стол, он делает шаг к толпе и кричит уже во все луженое горло:

*Навстречу врагам и пожарам,  
Во имя Отчизны святой,  
С великою верой в победу  
За Сталиным шли мы на бой...*

И снова из широко распахнутых ртов несется пронзительный рев припева:

*Свободны родимые земли,  
И враг беспощадно сметён,  
Спасибо, герой полководец,  
За славу победных знамён...*

Геродот, вкладывая в текст песни максимальное количество елеса, вглядывается в майора Гайлиса, сурово замершего в парадной форме возле своей тачанки:

*И все, кто желает свободы  
И мира на шаре земном,  
Великого Сталина имя  
На знамени пишет своём...*

И, наконец, опять оглушающим хором:

*И всюду гремит на планете,  
Над солнечной нашей землёй:  
«Да здравствует Сталин любимый,  
Да здравствует Сталин родной...»*

Стоит ли говорить, что после выборов доблестный Гайлис



мечтал лишь об одном – как побыстрее сплавить «обуховских певунов» куда подальше, тем более Украину уже месяца три как освободили...

На вокзале они пели ту же песню, у которой, как потом оказалось, был другой автор и другой, кстати, довольно известный композитор. Геродот демонстративно тепло попрощался с папой, пытался обняться даже с Гайлисом, а потом долго махал всем той пыльной фетровой шляпой, которой, как говорили в старину, накрывал всех, включая и героического Яна...

А в Обуховке, где вскоре решили возродить место отдыха поездных бригад, в лесной глуши нашли прикопанную шкуру бычка, пропавшего пару месяцев назад из дальнего колхоза с вечно пьяными пастухами. Тогда на них и списали исчезнувшего теленка. Позже, в Свердловске, Пельненко, навещая нашу семью, рассказывал отцу:

– Самое смешное, Витя, что их было двое...

– Кого? – недоумённо спрашивал папа.

– Да Геродотов...

– Как? – ахал отец.

– У него был брат-близнец... Звали его Геркулес. Бороду они переклеивали, особенно когда Геродот запивал. А злодейства все творил как раз Геркулес... Но скажи, Витя! – Пельненко восторженно хлопал отца по плечу. – Организация какая – сотня народу, а никакой информации... Учись, как надо держать язык за зубами!..

Сразу после войны, в том же Камышлове, у нас появился ещё один брат – тихий, как овечка, Витька. Он и профессию потом выбрал тише не придумаешь – внешнюю разведку КГБ, исчезая безо всякого следа в заграничных «омутах» на годы. Когда осенним днем семьдесят пятого мама внезапно скончалась, его ночью на несколько часов доставили в Краснодар военным самолётом...

Мы с Женькой (привычно шумно) учились в Свердловске, в железнодорожной школе, и родители, чтобы как-то передохнуть, отправляли нас на всё лето обратно в Камышлов, в пионерлагерь СВЖД, что на высоком берегу Пышмы, в которой я однажды чуть не умудрился утонуть. В последний момент меня за трусы выволок физрук, здоровенный парень Коля Емельяненко, который дол-

го не знал, радоваться ему или огорчаться. Помню, отжимая свои нарядного атласа физкультурные брюки, отфыркиваясь, аки морж, он назидал:

– Угомонишься ли ты, Вова, когда-нибудь?

Говорят, школьником в том лагере бывал и Боря Ельцин... Вполне возможно, потому как к разъезду Бутка, где он жил, самым близким городом был как раз Камышлов (километров сорок, не более), а родители Бориса Николаевича, по-моему, к железной дороге тоже имели отношение. Да и, судя по искалеченной руке, по вагонам тоже лазил...

В послевоенные годы городок заметно притих, как-то скукожился, депо расформировали, паровозы исчезли. В нашем доме сменились почти все жильцы. Остались только Таисия Васильевна и Федор Иванович.

Уже студентом я приезжал к ним, изрядно постаревшим. По вечерам, после чаепития, обязательно с домашним вареньем из лесных ягод, Таисия Васильевна устраивалась с вязанием у окна, а Федор Иванович доставал из шкафа большой никелированный баритон (с юных лет он дудел на нем в деповском оркестре, созданном, говорят, ещё при начале Транссиба) и, медленно расхаживая по комнате, играл, чаще всего старинный вальс «Осенний сон». Его медовое звучание я слышу по сию пору...

## Вынужденное послесловие

Летом 1957 года в Москве состоялось грандиозное событие – Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Хрущёв в ту пору пытался надеть на лицо угрюмой страны маску доброжелательной открытости.

Ни до, ни после ничего подобного в нашей столице не происходило. Десятки тысяч молодых людей всех мировых национальностей, рас и оттенков, помнящие испепеляющие ужасы мировой войны, со всех концов света съехались в советскую столицу, провозглашённую как центр общечеловеческих ценностей, в основе которых стояли две главные добродетели – мир и дружба. Причём на века...

Это было действительно незабываемое зрелище, когда по главной московской магистрали, Садовому кольцу, сквозь толпы ликующих москвичей двинулись колонны разукрашенных вдрызг грузовиков, переполненных сгорающими от восторга белозубыми молодыми людьми с белыми, черными, желтыми и даже фиолетовыми лицами.

Казалось, что с этой минуты начинается именно то, о чём мечтал и писал (причём лет за триста до Маркса) величайший фантазёр, мыслитель, создатель коммунистической утопии Томмазо Кампанелла, сын итальянского сапожника.

Его литературную радужность в самой коммунистической стране разрушил до колючепроволочной реальности сын уже грузинского сапожника – Иосиф Виссарионович Сталин.

И вот, наконец, здесь, в Москве, новое возвращение к «Городу Солнца». Так, по крайней мере, нам, двадцатилетним, казалось... То, что тогда облекалось в многообразные формы иллюзий, особенно творческие. Страна проникновенно пела голосами Визбора и Окуджавы, восторженно зывала нежным горлышком Беллы Ахмадулиной и гремела зычным басом Роберта Рождественского, оглушающе обволакивал пространство баритон Кобзона и исподволь укрепляла ещё более иллюзорную загадочность двусмысленными монологами Таганка...

Как я понимаю нынче, в последнем содержалась особо злобующая мистификация, поскольку именно в районе Таганской пло-

щади, в то же время и почти под тем самым дерзким театром, где раздирал грудь страстным свободолюбивым рычанием Володя Высоцкий, день и ночь стучали отбойные молотки. В три смены, несмотря на умиротворяющие речи правителей и праздничные кавалькады всемирных и мирных фестивалей, копался сверхсекретный и сверхглубокий пункт управления термоядерной войной, семь гектаров таинственных площадей на глубине сто семьдесят метров, укрепленных сверхбетоном и сверхсвинцом, способных пропускать лишь слабый шум от разрушенной и пылающей в ядерном костре Москвы.

Всё рассекретил тот, кто потом сдал всех и вся, но на этот раз не столько по умыслу, сколько за ненадобностью. Состязание брони и снаряда завершилось созданием вакуумной бомбы. Противник хоть и не знал, где находится наше главное убежище, но, безусловно, догадывался о его наличии, а для очередного злодейского изобретения, коим является вакуумная бомба, глубина, бетон, металл и свинец уже не были серьезным препятствием. Поэтому архисекретный объект, заглотив пару годовых московский бюджетов, потерял однажды всякий смысл...

В связи с этим несколько лет назад в Москве открылось довольно странное культурно-зрелищное заведение – «Музей холодной войны». Я там бывал, хотя и сейчас туда попасть довольно сложно. Надо заранее записываться, посещение только группой, причём ограниченной...

Небольшой гурьбой накапливаемся в крохотном московском дворике, прикрытом для придания рекламной таинственности армейской маскировочной сеткой. За три сотни рублей покупаем входной билет в виде сувенирного пропуска якобы на суперсекретный объект, на котором вместо физиономии красуется резиновое рыло в противогазе, и вослед за экскурсоводом входим в странный особнячок этакое позднебоярского стиля, что-то вроде осколка старорусского быта, которыми когда-то были утыканы всякие там Засе-лья, Заречья, Замостья и Замоскворечье.

Он только сверху такой, старый и сводчатый, на самом деле – муляж, полностью отлитый из железобетона, выполняющий роль бешеной прочности колпака, прикрывающего спуск в штоль-

ню, по которой пролёт за пролётом около получаса спускаемся по ступенькам в преисподнюю, о существовании которой знали считанные единицы, включая не всех членов Политбюро.

Не ведали ничего даже те, кто там работал. Их на недельные дежурства везли «под шторкой», хитро опускали так, что всегда казалось, что трудятся где-то на высоте. При этом они давали кровную клятву молчать до гроба, как, впрочем, и после него...

Экскурсовод, снисходительно циничный московский мальчик, для достоверности переодетый в камуфляж, по достижении «дна» нажимает кнопку, и стальная плита весом в десяток тонн начинает медленно сдвигаться. Кругом запущенная мрачность с облезлой краской тюремных оттенков.

Я, подверженный клаустрофобии, невольно ёжусь и спрашиваю у «камуфляжа»:

— А вдруг эту штуку заклинит?

С ироничной снисходительностью он смотрит на меня и, полуотвернувшись, отвечает высокомерной ухмылкой:

— Не волнуйтесь! Здесь имеются мощные торпедные аппараты...

— Для чего? — выдохнула рядом стоящая девица в коротеньких шортах.

— Чтобы выстрелить нашими телами на поверхность...

— Как выстрелить? — ахнула барышня.

Мальчик, рассматривая стройные ножки девушки, зловеще рассмеялся:

— Я так шучу... Не волнуйтесь, не заклинит...

Чтобы понять что-то из нашей многофигурной жизни — прошлой, настоящей, а будущей особенно, в отношениях верха к низу и низа к верху — надо обязательно посетить то заведение... Пока не поздно!

Поговаривают, что на эти «пространства» (которые, судя по всему, даже инициативный Юрий Михайлович не знал к чему приспособить) положили глаз вездесущие китайцы, считая, что лучшего места для выращивания шампиньонов человечество никогда не создавало...

Но вряд ли получится! Только последний дурак может иметь

под задницей китайский огород, к тому же не совсем понимая, что и как там производят — грибы или опиум.

Может быть, самым что-то придумать? Новый вариант «города Зеро», например. Возьмем да поселим туда неугомонных — тех, кто на поверхности все время что-то переделывают, реформируют, переставляют, перестраивают; из старого в новое и тут же обратно, укрупняют и сразу сокращают, переименовывают, отменяют, вводят снова. Ищут то, чего нет и никогда не будет, споря до пузырей из носа в безнадёжных поисках «золотого квадрата», похожего на тот, что в Монте-Карло предваряет игорные заведения.

Мы ведь даже у себя в крае, правда, в глубинных тенетах азовских болот, затевали что-то подобное. Вскоре, однако, угасли, поняв, что только конченный идиот поедет в комариное безлюдье спускаться с себя последнее. Лучше это, конечно, делать в комфортной тиши на берегах лазурного моря. Поэтому сейчас, не потеряв надежды стать отечественным Монако, косимся в сторону Анапы, размышляя, как половчее совместить добродетель и порок, то бишь детский сад и публичный дом...

Однажды прямо в центре Монте-Карло, напротив самых шикарных казино, мы с Сергеем Николаевичем Колосовым, выдающимся кинорежиссером и милейшим человеком, пили пиво, и он со своей удивительной полуулыбкой рассказывал, как однажды «гонял» тут рулетку. Дело в том, что Колосов приятельствовал с самим герцогом, и тот одарил его как-то своей высокой милостью, пожаловав монаршее приглашение в самый раскаленный таинственностью зал, где сотни тысяч долларов порхают между пальцев, как радужные бабочки. Пожаловать — пожаловал, но предупредил, что играть надо осмотрительно. Сергей Николаевич рассмеялся:

— Вот там, сразу за «квадратом» высоченная скала отвесно обрывается прямо в море. Там, бывало, последний момент оставляли тех, кто после проигрыша терял ко всему интерес... Говорят, чаще всего это были наши соотечественники... Иногда и не успевали...

Можно, конечно, в том подземелье устроить гигантскую рулетку, но лучше все-таки «город Зеро». Пусть там, «во глубинах», спорят до горловых спазмов в поисках волшебных вариантов гар-

моничного общественного устройства тут, у нас, на поверхности. Пусть там будут и Болотная, и Поклонная, тем более что маленькому человеку в огромной и такой колючей для него стране так мало нужно – меньше говорильни, а больше покоя и семейного благополучия, как результата полезного рукотворного труда.

Мы же вот уже почти столетие мечемся в поисках «доброго барина», знающего, где зарыта «зелёная палочка». А как находим (не «палочку» – барина), так сразу, вскинув руки, снова хором поем:

*Когда на весеннем рассвете  
Над родиной солнце встаёт,  
Вождю своему дорожному  
Привет посылает народ...*

Мы – ему, он – нас! Тем и живём, но зато стабильно, то есть с надеждой, передавая её, матушку, из поколения в поколение. Судя по всему, это и есть та «палочка-выручалочка», о которой мечтал ещё незабвенный Лев Николаевич Толстой...

Ожидание хорошего, как известно, всегда лучше, чем само хорошее, тем более в стране, где характер отношений друг к другу всегда определял всё. Или почти всё...

## Содержание

<b>Слово издателя. Т.А. Василевская.....</b>	<b>3</b>
<b>Глава 1</b>	
<i>Парень в кепке и зуб золотой.....</i>	<i>5</i>
<b>Глава 2</b>	
<i>Посмотри мне в глаза.....</i>	<i>63</i>
<b>Глава 3</b>	
<i>Вечная игра.....</i>	<i>163</i>
<b>Глава 4</b>	
<i>Радостные сны.....</i>	<i>223</i>
<b>Глава 5</b>	
<i>Дыхание Кармадона.....</i>	<i>269</i>
<b>Глава 6</b>	
<i>Полночь «патриархов».....</i>	<i>297</i>
<b>Глава 7</b>	
<i>Во времена оные.....</i>	<i>339</i>
<b>Глава 8</b>	
<i>Под лучезарным небосклоном.....</i>	<i>359</i>
<b>Глава 9</b>	
<i>Обед у президента.....</i>	<i>387</i>
<b>Глава 10</b>	
<i>Бал лилипутов.....</i>	<i>463</i>
<i>Вынужденное послесловие.....</i>	<i>506</i>

*Литературно-художественное издание*

**Владимир Викторович Рунов**

**Страна отношений. Записки неугомонного**

**Редактор:** *А.В. Зоркина*

**Корректор:** *Ю.А. Полушина*

**Художник:** *С. Тараник*

**Вёрстка:** *А. Руденко*

ISBN 978-5-905568-07-7



9 785905 568077

ООО «Книга»

тел.: 8(861)-251-06-84

8928-04-26-778

e-mail: [t\\_vasilevskaya@bk.ru](mailto:t_vasilevskaya@bk.ru)

Отпечатано: